

Русская литература

№ 4

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1968

Год издания одиннадцатый

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Ф. Я. Прийма. Великий художник русского слова	3
Т. П. Голованова. Тургенев и советская литература	20
Г. А. Бялый. О психологической манере Тургенева (Тургенев и Достоевский)	34
А. Н. Смирнова. О теме народа в прозе первых лет революции (1917—1921)	51

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. Д. Смирнова. Пометы М. Горького на книгах И. С. Тургенева	65
Статья С. Г. Скитальца о Тургеневе (публикация В. А. Громова)	73
Г. Г. Фирсов. Тургеневская общественная библиотека в Париже	80
В. И. Малышев. Об изучении наследия протопопа Аввакума	89
Д. С. Бабкин. Русская потаенная социальная утопия XVIII века	92
Ю. К. Руденко. К вопросу о юношеских дневниках Н. Г. Чернышевского как литературном произведении	107
И. М. Порочкина. Воспоминания М. Горького о Л. Толстом в откликах сла- вянской печати	116
Л. Л. Бельская. Роль А. Блока в становлении поэтики раннего Есенина . . .	120

ПОЛЕМИКА

А. Ф. Бритиков. Старое и новое в трактовке трагедии Григория Мелехова . .	131
А. А. Морозов. Проблема значительно сложнее	148

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТТРИБУЦИЯ

Р. Б. Заборова. Изучая рукописи Есенина	155
В. Е. Гусев. Еще раз об авторе «Красного знамени»	162

(см. на обороте)

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. А. Шошин. Сердцем друга	174
Л. В. Крутикова. Прочитан ли Бунин?	182
Л. А. Холодович. Японский критик о романе И. С. Тургенева «Новь»	192
А. А. Жук, В. В. Прозоров. Парадокс о сатире	195
В. В. Базанов. Новые библиографические материалы о С. А. Есенине	199
А. И. Павловский. Книга о литературной Сибири первых лет революции . .	203
Н. А. Грознова. Новое исследование о Леонове	207
К. И. Ровда. М. Горький у болгар	210
В. Н. Баскаков, Е. И. Кийко. Монография польского ученого о Тургеневе	221
 ХРОНИКА	 224
Г. М. Фридлендер. Памяти ученого	232
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литера- тура» в 1968 году	235

Редакционная коллегия:

В. В. ТИМОФЕЕВА (главный редактор)

В. Г. БАЗАНОВ, А. С. БУШМИН, Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ, Л. Ф. ЕРШОВ,
В. А. КОВАЛЕВ, К. Д. МУРАТОВА, Ф. Я. ПРИЙМА, Н. И. ПРУЦКОВ

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. 4. Тел. 12-42-24

Журнал выходит 4 раза в год

ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК РУССКОГО СЛОВА

В стремительном беге времени, «уплотняющем» события прошлого и проясняющем для нас лишь самый общий их смысл и тенденции, все более и более неразличимыми для простого глаза становятся непосредственные обстоятельства, определившие пафос и нравственно-эстетический облик выдающихся писателей-классиков. Немало жизненных проблем и коллизий, служивших предметом напряженного внимания для русских писателей XIX века, для их героев и их читателей, кануло в Лету и может быть понято в наше время лишь с помощью исторических пояснений. Но время теряет полноту своей власти над подлинно великими творениями художественного слова, и среди них почетное место принадлежит произведениям И. С. Тургенева, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем ныне. Неопровержимым свидетельством необыкновенной жизнестойкости художественного наследия этого выдающегося писателя-гуманиста является 200-тысячный тираж только что завершенного академического полного собрания его сочинений.

Тургенев — неизменный спутник советского читателя во все периоды его жизни. В школьные годы из тургеневских рассказов мы выносим едва ли не первые, окрашенные всей непосредственностью детских эмоций, представления о том, в какие невыносимые условия ставило людей труда, уродуя их физическую и моральную красоту, крепостное право. В зрелом возрасте перед нами раскрывается вполне все величие писателя, чей смелый голос еще в глухую ночь царствования Николая I прозвучал приговором темному царству крепостнического рабства и произвола, писателя, создавшего летопись духовных исканий целой эпохи и оставившего нам мудрость своих горьких, но в конечном счете оптимистических раздумий о непреходящем общественном смысле нравственного подвига независимой личности, о судьбах своей родины...

Как по художественному мастерству своему, так и по познавательному значению своих произведений Тургенев стоит в одном ряду с наиболее выдающимися нашими писателями-романистами XIX века. Но даже самые великие из них, Толстой и Достоевский, не заслоняют Тургенева, ибо как художник он обладает неповторимым лицом, отличительная примета которого состоит прежде всего в том, что он больше, чем кто-либо из великих мастеров русской прозы, по особенностям своего мировосприятия и дарования был поэтом. Неслучайно он начал свою литературную деятельность как стихотворец и некоторыми, написанными в самом начале 40-х годов стихотворениями («Баллада», «Похищение» и др.), не говоря уже о позднейших более зрелых поэтических опытах (поэмы «Параша», «Разговор», «Андрей», «Помещик»), заложил надежные основы своей литературной известности. Молодость Тургенева совпала, однако, с периодом крушения в литературе романтических канонов и форм, сопровождавшегося повсеместным вытеснением стихов прозаическими жанрами. Во второй половине 40-х годов, не обладавший верою в собственное поэтическое призвание, Тургенев приступает к написанию очерков из народной жизни. Созданные в результате этой творческой эволюции «Записки охотника» (1847—1852) связаны нитями преемственности с возникшим в 40-е годы на Западе и у нас физиологическим

очерком. Обстоятельства литературного движения той поры, определившие многое в замысле тургеневского цикла, в свою очередь определялись закономерностями русской жизни, властно поставившей перед общественностью вопрос о ликвидации крепостного права, явно пережившего свои исторические сроки. Во второй половине 40-х годов подготовки крестьянской реформы начинает заниматься даже правительство, побуждаемое к тому как нарастанием крестьянских волнений в стране, так и возникающей в Европе революционной ситуацией. «Записки охотника» явились для Тургенева творческой реализацией данной им в годы юности «аннибаловской клятвы»,¹ клятвы борьбы с крепостным правом. В духе и стиле натуральной школы Тургенев охотно вводил в свои очерки различного рода этнографические сведения и «экономические подробности», но несмотря на это мы не без оснований считаем «Записки охотника» произведением поэтическим. Художественный стиль этого знаменитого цикла очерков и рассказов некоторые современные автору критики называли «сентиментальным натурализмом», ставя при этом книгу Тургенева в тесную творческую зависимость от деревенских повестей и рассказов Б. Ауэрбаха и Ж. Санд. Ошибочность такого взгляда очевидна, несмотря на то, что к разработке деревенской темы западноевропейской литературой русский писатель относился с большим вниманием и сочувствием. В отличие, однако, от автора сентиментальных «Шварцвальдских рассказов» и создательницы идиллических «Чертова болота» и «Маленькой Фадетты» Тургенев возводил свои «Записки охотника» на прочном фундаменте реалистической эстетики, вдохновляясь идеями и советами В. Г. Белинского. Деревня в сочинениях Ауэрбаха и Ж. Санд была оторгнута от сферы реальных экономических и правовых отношений, в то время как у русского писателя, даже в наиболее «поэтических» его очерках, крестьянский быт, деревенские типы, их привычки, язык и психология показаны в социально-исторической обусловленности и, в частности, как результат воздействия крепостнических отношений. Противопоставленность сельских тружеников привилегированным классам и прежде всего классу помещиков превосходно понимал и Д. В. Григорович, предвосхитивший своей «Деревней» (1846) появление «Записок охотника», однако трогательным произведениям из народного быта Григоровича явно недоставало историзма и художественной глубины. Не хватало этих же качеств и народным рассказам и очеркам В. И. Даля. Далекие от дагерротипной литературы 40—50-х годов, крестьянские очерки Тургенева были насыщены самой актуальной для своего времени философской и публицистической проблематикой.²

«Записки охотника» явились книгой борьбы, значение которой Н. А. Некрасов определил в следующих стихах:

Во лжи дремать ты не давал,
Клеймя и проклиная,
И маску дерзостно срывал
С глупца и негодяя.³

Публицистичность тургеневских произведений на крестьянскую тему не носила, однако, декларативного характера. Автор не навязывал своих

¹ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, Сочинения в пятнадцати томах, т. XIV, изд. «Наука», М.—Л., 1967, стр. 9. (Далее ссылки на серию «Сочинения» приводятся в тексте: римская цифра обозначает том, арабская — страницу. Ссылки на серию «Письма» также приводятся в тексте с дополнительным указанием на название серии).

² См.: В. А. Ковалев. «Записки охотника» И. С. Тургенева и «западническая» публицистика 1846—1848 гг. «Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена», 1937, т. VII, стр. 127—165.

³ Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. II, Гослитиздат, М., 1948, стр. 121.

выводов читателю. Его «охотничьи» очеркам, так же как и примыкающему к ним рассказу «Муму» (1852), был в высшей степени присущ глубокий гуманизм, энергия внутреннего, скрытого протеста. «Записки охотника» стали книгой борьбы в силу законов самого реалистического искусства.

Десятки помещичьих типов мужского и женского рода, то выписанных подробно, как господин Пеночкин, или Зверков, или Мардарий Аполлоныч Стегунов, то бегло очерченных, то дающих о себе знать даже находясь где-то за сценой, как, например, госпожа Лоснякова в рассказе «Контора», представляли убедительную картину преступлений и духовной опустошенности своего сословия, и неудивительно поэтому, что в 50-е годы в официальных и реакционных кругах Тургенев снискал себе известность крайне оппозиционно настроенного и опасного литератора.

Общественная жизнь всегда принимает определенные национальные формы. Национальный быт, национальный характер в самых разнообразных своих проявлениях — это категории реальной действительности. И не теоретически только исповедуемый, а подсказанный интуицией реализм Тургенева проявился в том, что выведенное в «Записках охотника» «простонародье» — это истинно национальные типы, с богатой национально-исторической родословной, но почти без всякой родословной литературной. Только русский исторический процесс и многотрудная жизнь «всевыносящего русского племени» могла выработать такие характеры, как Сучок из очерка «Льгов», как Касьян с Красивой Мечи из одноименного рассказа, как Лукерья из рассказа «Живые мощи».

С детских лет Тургенев был пристальным наблюдателем русской жизни, в том ее виде и с теми противоречиями и уродствами, которые порождались обстановкой барской усадьбы. В апреле 1843 года в письме к В. П. Боткину, отмечая, что Тургенев обладает самобытным мнением и юмором, В. Г. Белинский писал: «Вообще Русь он понимает».⁴ Свое понимание и знание России писатель настойчиво углублял в годы работы над «Записками охотника» и в период своей деревенской ссылки, длившейся с апреля 1852-го по ноябрь 1853 года.

Автору «Записок охотника» было чуждо абстрактное славянофильское умиление перед мужиком как носителем субстанциональных свойств русского национального характера. До Тургенева, если не считать некоторых образов Пушкина и творчества Кольцова, мужик изображался в русской литературе преимущественно как объект сострадания. Вслед за Кольцовым, но на новом материале и более богатыми изобразительными средствами, Тургенев открыл русской литературе и общественности *конкретного* мужика, обладавшего собственным миром традиций, воззрений, запросов и эстетических представлений. Тургеневские мужики — это выхваченная из жизни галерея *разнообразных* типов с богатым и сложным миром внутренних переживаний. Возьмите лесника Фому. Он далеко не из тех персонажей, о которых говорят, что это положительный или отрицательный тип. Чувствительный по натуре, он вместе с тем бессердечен и жесток по долгу службы. Фома внемлет в конце концов мольбам мужика-порубщика и отпускает его на волю. Но он мог бы пустить в ход всю силу своей власти и безжалостно расправиться с нарушителем закона. В данном случае чувство жалости взяло верх, и Бирюк лишь упрощает рассказчика молчать об этом, так как сам он, будучи человеком зависимым, ежеминутно боится барской над собой расправы. Зависимость поведения человека и даже его характера от окружающих условий, развращающее воздействие поместного быта на патриархальные крестьянские

⁴ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 154.

нравы превосходно изображены Тургеневым в «Конторе», «Малиновой воде» и других рассказах и очерках цикла.

Творческая сила Тургенева рельефно проявилась и в том, что он дал в своей книге рассказов ряд изумительных по художественной силе и жизненной правдивости портретов русских женщин-крестьянок. По существу, он первый в русской литературе изобразил русскую крепостную женщину в ее, с одной стороны, безграничной покорности и забитости, а с другой — в ее доброте и доходящей до самоотречения жертвенности.

Русские мужики со страниц «Записок охотника» предстали перед читателем как трудолюбивый и выносливый, смысленный и талантливый, но заслуживающий лучшей участи народ, народ, подавляемый сословием господ, состоящим из жестоких самодуров и бесчувственных «деревяшек» (IV, 223). И отдельные положительные персонажи из дворян, вроде Петра Петровича Каратаева из одноименного рассказа, не меняли впечатления от книги.

В «Бирюке», «Ермолае и мельничихе», «Певцах», «Свидании», «Моем соседе Радилове» и некоторых других рассказах цикла наглядно раскрываются существенные стороны тургеневского психологизма. Это характеристика внутреннего мира человека через изображение его поступков, даже сюжетно малозначительных, это тщательный выбор ситуации, способствующей выяснению психологии персонажа, это речевая характеристика героя, порою — описание жестов и мимики действующих лиц.

В системе изобразительных средств Тургенева одно из важнейших мест принадлежит пейзажным зарисовкам. Писатель живописует природу по-разному. В тургеневских романах и повестях пейзаж тесно связан с сюжетом, он как бы вливается в характеристику настроения и психологии персонажей.⁵ Названные функции изредка принимает на себя также и пейзаж «Записок охотника», например в «Певцах». Вообще же в очерках «охотничьего» цикла пейзаж более автономен и чаще всего служит для контраста с «сюжетным» действием. На фоне сверкающей богатством красок гармонической природы картины барского самоуправства приобретали особый философский смысл и воспринимались вдумчивым читателем как возмутительная аномалия. Таков, по крайней мере, пейзаж в «Льгове», «Бурмистре», «Свидании». В очерке «Лес и степь» пейзаж становится абсолютно суверенным. Тургенев любит порою своим родным краем и с готовностью описывает его. Но природа, с точки зрения автора, обладает не только собственным лицом, но и душой. В пейзажных зарисовках «Записок охотника» раскрывается неуловимая связь, существующая между природой края и национальным характером ее обитателей. И даже в тех случаях, когда автор подчеркивает отличительные приметы *орловских* или *калужских* лесов и полей, он стремится в конечном счете выявить характерные особенности не областного, а русского национального ландшафта.

В свое время, характеризуя творческие особенности Тургенева, А. Доде писал, что, кроме «глаз», которыми обычно довольствуются западноевропейские писатели, у их русского собрата по перу есть еще «обоняние и уши».⁶ Десятками примеров и сравнений можно было бы подтвердить правильность этого наблюдения, сделанного иностранным автором. «Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и

⁵ См. об этом: А. Г. Цейтлин. Мастерство Тургенева-романиста. «Советский писатель», М., 1958, стр. 188, 196.

⁶ A. Daudet. Trente ans de Paris. Paris, 1889, p. 325.

прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной...» (IV, 97). Как в этом, взятом из «Бежина луга» отрывке, так и всюду, характеризуя звуки и запахи внешнего мира, Тургенев стремился достичь физической его ощутимости и, так сказать, — установления интимных связей между читателем и природой. В повышенном внимании к звуковой стороне изображаемых явлений, кроме того, сказался музыкальный характер писательского дарования Тургенева.

Глубокое понимание взаимосвязей природы и человека проявилось не только в пейзажных зарисовках, оно отразилось на всех звеньях поэтики писателя. Мир человеческих отношений Тургенев сравнивает с явлениями природы не только в привычных нашему восприятию случаях, но и там, где этого вовсе не ожидает читатель. Эту мысль достаточно будет проиллюстрировать на нескольких образцах тургеневских метафор и сравнений. Голос у Лукерьи «слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки» («Живые мощи»); «Мы начали перелетывать с берега на берег, как кулички-песочники» («Призраки»); «Фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни» («Первая любовь»); «Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой» («Чертопханов и Недопюскин»); дятел «хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса» («Первая любовь»); «В одной из соседних комнат, в столовой, гудело, как залетевший шмель, однообразное бормотанье дьячка» («Несчастливая»); сплетня «принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника» («Гамлет Щигровского уезда»); «Подробности эти обросли, если можно так выразиться, первоначальный ствол самой истории, как опенки обрастают срубленный пенек» («История лейтенанта Ергунова»). И т. д.⁷ Такого тесного сближения человеческих поступков и переживаний с окружающей природой, какое дает Тургенев, мы не найдем, пожалуй, ни у кого из современных ему прозаиков, не говоря уже о его предшественниках.

Книга крестьянских рассказов Тургенева открывала перед русской литературой широкую перспективу дальнейшей разработки народной темы. «Читал „З[аписки] о[хотника]“ Тург[енева], — отметил в своем Дневнике за 1853 год Лев Толстой, — как-то трудно писать после него».⁸ В этих словах содержится признание колоссального художественного открытия, какое совершил в середине прошлого века Тургенев циклом своих очерков и рассказов. Это открытие, однако, сам автор склонен был недооценивать. В середине 1853 года он писал П. В. Анненкову: «Мужички совсем одолели нас в литературе. Оно бы ничего; но я начинаю подозревать, что мы, так много возившиеся с ними, все-таки ничего в них не смыслим. Притом все это — по известным причинам — начинает получать такой идиллический колорит, что Геснеру должно быть очень приятно в гробу. Пора мужичков в отставку» (Письма, II, 160). Содержание этого письма связано с проявившимся в эту же пору у Тургенева стремлением отрешиться от «старой манеры» (см. там же, стр. 71 и 77) и перейти к новым жанровым формам и новым приемам стиля.⁹ В последующем творчестве Тургенева «мужички» хотя и не были отставлены полностью, но уже не привлекали к себе столь пристального внимания писателя. Факт этот тем более примечателен, что именно в последующий период, во второй половине 50-х годов, в годы первой революционной

⁷ См.: В. И. Дьяконов. Сравнения Тургенева. В кн.: Тургенев и его время. Под ред. Н. Л. Бродского. М.—Пг., 1923, стр. 77—141.

⁸ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений (юбилейное издание), т. 46, Гослитиздат, М.—Л., 1934, стр. 170.

⁹ См.: К. К. Истомин. «Старая манера» Тургенева (1834—1855 гг.). Опыт психологии творчества. СПб., 1913.

ситуации (1859—1861) и позднее жизнь русского крестьянства открывалась перед взором писателя новыми, неизвестными дотоле сторонами.

В «Записках охотника» Тургенев живописал дореформенную деревню и уже в силу этого был ограничен в изображении крестьянских типов во всей их многообразности. Остался не воспроизведенным у русского писателя, в частности, крестьянин-бунтарь. В ходе усилившегося в годы революционной ситуации размежевания между демократами и либералами Тургенев разошелся с лагерем разночинной демократии и порвал с «Современником». Знаменитому писателю, по словам В. И. Ленина, «претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского...»¹⁰ Писатель не отказался от мысли расширить состав «Записок охотника», в частности издание их 1874 года было дополнено им тремя очерками, однако это дополнение не устраняло отмеченную выше «неполноту» цикла. К начатым в 40-е годы, но не завершенным тогда по цензурным соображениям очеркам «Землеед» и «Русский немец и реформатор» Тургенев не проявлял особого интереса, но в 1860 году он предполагал включить в «Записки охотника» написанный в 1857 году рассказ «Поездка в Полесье», в котором вывел на сцену поджигателя из мужиков — Ефрема. Тема крестьянина-разбойника, притом освещенная одно-сторонне, была чужда основному замыслу «Записок охотника», и, по-видимому, поэтому писатель воздержался от включения «Поездки» в цикл при его переиздании в 1874 году.

Тема мужика-бунтаря, другими словами — крестьянского восстания, получила более выпуклую художественную реализацию в «Призраках» (1863—1864), в изображении «народных снов». «...Вдруг возле самого уха раздался грубый бурлацкий смех — и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться... Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего, удары весел и топоров, треск как от взлома дверей и сундуков, скрип снастей и колес, и лошадиное скакание, звон набата и лягз цепей, гул и рев пожара...»

— Степан Тимофеич! Степан Тимофеич идет! — зашумело вокруг, — идет наш батюшка, атаман наш, наш кормилец! — Я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня... — Фролка! где ты, пес? — загремел страшный голос. — Зажигай со всех концов — да в топоры их, белоручек!» (IX, 95—96).

Крестьянский вопрос, особенно в пореформенный период, был для Тургенева предметом самых напряженных раздумий. И нет никаких оснований утверждать, как это делают некоторые исследователи, что писатель не верил в способности русского крестьянства к протесту. Конечно, формальные аргументы для подобных утверждений есть, например письмо писателя к В. Ф. Лугинину от 8 октября 1862 года. «Главное наше несогласие с О^кгаревым» и Г^ерценом — а также с Бакуниным, — писал Тургенев, — состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные или реформаторские начала в *народе*; на деле же это — совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова... существует только в меньшинстве образованного класса — и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем» (Письма, V, 49). По прочтении этого отрывка остается только определить, что понимал писатель под «революцией в истинном и живом значении этого слова». Подразумевая под нею путь реформ, Тургенев полагал, что осуществить их может лишь мыслящее меньшинство «образованного класса». Писатель не верил ни в моральный престиж, ни в государственную целесообразность самодержавной власти.

¹⁰ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 206.

Вера в реформы «сверху», несколько воодушевлявшая его в начале 60-х годов, в скором времени рухнула. Веры в государственные способности дворянского сословия у Тургенева не было и раньше. Не было у него также никаких упований, связанных с неуклонным ростом отечественной буржуазии. Возлагать же надежды на участие в государственных преобразованиях неграмотного и отсталого крестьянства Тургенев не мог в силу своих либерально-западнических предубеждений. Писатель нисколько не изменял при этом своим прежним взглядам. Революционные демократы видели спасение страны в освобождении народа из-под власти и от культурной опеки господствующих классов. Тургенев же полагал, что инициативу крестьянских масс надлежит поощрять лишь в меру успехов общенародного культурного развития, осуществляемого при помощи «образованного класса» (Письма, V, 51).

Веру Герцена в крестьянскую общину в своих письмах к нему Тургенев неправомерно отождествлял с славянофильством. Он высказывал при этом проницательные суждения об экономическом расхождении деревни, о появлении в ней кулачества, этой «буржуазии в дубленом тулупе» (Письма, V, 52). Но главной целью, которую преследовал Тургенев в названной переписке, было доказать адресату бессмысленность его планов, направленных на подготовку крестьянского восстания, этого, с точки зрения писателя, жестокого и бессмысленного бунта.

Живя с 1861 года преимущественно за границей, Тургенев во время своих непродолжительных поездок на родину прислушивался к крестьянским толкам, старался постичь крестьянские настроения и чаяния. Писатель был далек от мысли рассматривать русского мужика как существо с неизменной, закосневшей в вечном невежестве психикой. Встречавшийся в феврале 1880 года с Тургеневым Эдмон Гонкур записал любопытные его суждения о трех поколениях русских крестьян: «стариков, с их несвязной речью, полной звучных восклицаний и ничего не значащих междометий и наречий; ...поколение сыновей, бойких говорунов и краснобаев; наконец, поколение внуков, молчаливых, уклончивых, в сдержанности которых чувствуется скрытая разрушительная сила».¹¹ Эта разрушительная сила вселяла в писателя известные опасения и заставляла называть русского мужика «сфинксом» (XIII, 182). И вместе с тем автор «Записок охотника» до конца своей жизни продолжал верить в жизнеспособность, светлый ум, глубину чувств и высокие нравственные свойства русского мужика, подтверждением чего могут служить такие тургеневские стихотворения в прозе, как «Маша» (XIII, 155), «Два богача» (XIII, 176) и «Повесить его!» (XIII, 189).

Мысль о руководящей роли дворянской интеллигенции в жизни нации была всегда близка Тургеневу и ее судьбы постоянно занимали творческое сознание писателя, как это видно из ряда его рассказов и повестей, посвященных «лишнему человеку». Одним из наиболее ранних опытов Тургенева в этом роде был «Гамлет Шигровского уезда» (1849), вошедший в «Записки охотника». Между незадачливым Васильем Васильевичем, героем названного рассказа, и всецело ушедшим в себя Чулкатуриным, героем написанного годом позднее «Дневника лишнего человека», есть немало общего: это раздвоенность сознания, рефлексия и сознание своей общественной и личной несостоятельности. Если причины неполноценности Гамлета Шигровского уезда и Чулкатурина писатель находил как бы в них самих, то в последующих своих произведениях, написанных в период между 1852-м и 1855-м годами, — в «Трех встречах», «Двух приятелях», «Переписке», «Затишье» и «Якове Пасынкове» — он задался целью вскрыть социально-исторические причины появ-

¹¹ Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни, т. II, Гослитиздат, М., 1964, стр. 275.

ления «лишних людей». Изучение родословной «лишних людей», восхитившей к творчеству Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, лишь в ограниченной мере могло оказать творческую помощь Тургеневу. «Лишний человек» 40—50-х годов, по справедливому замечанию исследователя,¹² имел свой ареал распространения и свою особую судьбу, он был характерен не только для дворянской, но отчасти и для разночинной образованной молодежи, формировавшейся под воздействием философского идеализма в один из наиболее мрачных периодов в истории России. Раскрыть духовный мир провинциальных «гамлетов», изобразить воздействие на них среды и выяснить как отрицательную, так и положительную их роль в нашем общественно-культурном развитии, — все это потребовало от Тургенева новых средств в изображении внутреннего мира героя. Напряженная работа писателя над рассказами и повестями 50-х годов подготовила его переход к наиболее монументальному эпическому жанру — к роману.

В первом опыте Тургенева в новом жанре, в романе «Рудин» (1856), запечатлены типичнейшие черты духовной биографии русской дворянской интеллигенции 30—40-х годов прошлого века. Силою своего интеллекта, энтузиазмом, критическим отношением к существующему правопорядку и блестящим полемическим даром Рудин возбуждает к себе симпатии всех, в ком не угасли вера в высокое назначение человека, готовность к нравственному подвигу и стремление к общему благу. Так же, как и Агарин, герой некрасовской поэмы «Саша» (1856), Рудин может способствовать духовному пробуждению других, но он бессилен повести их за собой и при первых же столкновениях с действительностью обнаруживает свое полное банкротство. Его идеалы абстрактны и беспочвенны, они расходятся с делом. Но Рудин изображается в романе как жертва обстоятельств и времени. Воспитанник идеалистических кружков 30-х годов, он не мог быть иным. Разоблачая Рудина, автор вместе с тем и сочувствовал ему. В ответ на возгласы критики о полной несостоятельности его главного героя Тургенев дополнил впоследствии роман эпилогом, в котором Рудин изображен в действии — он погибает в 1848 году на баррикаде в Париже за дело свободы.

Проблема *гамлетизма*, раздвоенности сознания дворянского интеллигента занимала Тургенева не только в «Рудине», но и в его последующих романах. В Лаврецком и Михалевиче («Дворянское гнездо»), в Берсенева («Накануне»), Литвинове («Дым») и Нежданове («Новь») нетрудно обнаружить типично рудинские черты российского гамлетизма.

В «Рудине» определился самый тип жанра романа, созданного Тургеневым. Отвергая устаревшие формы западноевропейской романистики, основанной на интриге с неожиданными, нередко мелодраматическими ситуациями, автор «Рудина» опирался главным образом на успехи, достигнутые в разработке этого жанра русскими классиками — Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем. «Роман, — говорил Тургенев, — ... с трудом освобождается сейчас от приемов *феерии*, которыми пользовался вначале. Благодаря известной романтической прелести он пленял наивное воображение. Но теперь, когда *вкус* очищается, надо отбросить все эти низшие средства, упростить и возвысить этот род искусства, который является искусством жизни и должен стать историей жизни».

Это суждение, получившее известность в изложении Мопассана,¹³ позволяет заключить, насколько строго продуманной была система литературно-эстетических взглядов русского писателя.

¹² С. М. Петров. И. С. Тургенев. Творческий путь. Гослитиздат, М., 1961, стр. 179.

¹³ См.: Ги де Мопассан, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. 11, М., 1958, стр. 177.

В отличие от пространных романов Л. Н. Толстого, Достоевского и Гончарова романы Тургенева компактны, и общественно-исторический их фон представлен в сжатом виде. Действие развивается столкновением противостоящих друг другу идейных концепций, и поэтому описания быта, в том числе семейного быта, в тургеневских романах отводятся второстепенная роль; любовная интрига изображается лишь в ее возникновении и в ее кульминационных моментах. Романами Тургенева свойствен «конденсированный» психологизм и чужды приемы замедленного описания внутреннего мира человека. Тургеневский роман насыщен философской, общественной и даже политической проблематикой, это роман по преимуществу социально-психологический, сюжетным центром которого выступает «интеллектуальный» герой.

Воплощением замысла создать тип передового современника явился второй роман Тургенева «Дворянское гнездо» (1859). «Культурному слою», а по условиям того времени — дворянской интеллигенции, как уже сказано, писатель отводил важную роль в общественном развитии и судьбах нации. Герой романа Федор Лаврецкий — лучший представитель дворянской среды. Автор знакомит читателя с историей рода Лаврецких, представляя последний в самом невыгодном свете. Прадед главного героя отличался особенно крутым нравом и жестокостью. Он сек своих крепостных так, что «иной... и не выдерживал» (VII, 342). Историей рода Лаврецких Тургенев осудил социальную практику дворянского класса. Грехи отцов и дедов роковым образом отражаются на судьбах детей и внуков, парализуя их волю и нравственные силы. Но для лучших людей из дворянства есть выход — искупить грехи своих предков сближением с народом. На этот путь и становится Федор Лаврецкий. Вместе с автором осуждает Лаврецкий сословные предрассудки русского барства, и вместе с автором он кровно связан с дворянским усадебным бытом. Печать обреченности, которой отмечена жизнь дворянских гнезд, наполняет душу Лаврецкого элегической грустью. В спорах с западником Паншиным он обнаруживает свое умственное и нравственное превосходство, но в его взглядах нетрудно обнаружить и чисто славянофильское смятение перед развивающейся жизнью. С искренним сочувствием говорит Лаврецкий о мужике, и лучшим занятием для представителей своей среды он считает «пахать землю» (VII, 233). Тургенев не случайно делает своего героя дворянином лишь по отцу (его мать вышла из среды крестьянской). Это обстоятельство способствовало сближению героя с «народной правдой». Готова к такому сближению и Лиза Калитина, воспитанная простой крестьянкой. В образе Лизы был воплощен тургеневский идеал русской девушки.

На пути к счастливому будущему Лаврецкого и Лизы возникают неодолимые преграды — и их роман завершается драматически. Вместе с гибелью надежд на личное счастье Лаврецкий утрачивает также и веру в свою общественную пригодность. О путях сближения с народом у героя нет сколько-нибудь ясных представлений. Психология и поведение Лаврецкого сближают его с «лишними людьми».

Художественное значение романов Тургенева, и особенно «Дворянского гнезда», невозможно, разумеется, раскрыть способом их отвлеченно-социологической характеристики. Ни общественное поведение, ни гражданские идеалы главного героя не имели большого назидательного смысла для русской читающей публики в канун революционной ситуации, когда роман был впервые опубликован. И тем не менее «Дворянское гнездо» — может быть, самый поэтический тургеневский роман, пользовался исключительным успехом у современников и не утратил своего художественного обаяния и донныне. «Дворянское гнездо» — произведение непреходящей ценности, ибо в нем в высшей степени проникновенно и правдиво запечатлены жизненный уклад и нравственные уст-

ремления лучшей части русской дворянской интеллигенции 40-х годов прошлого века. В недовольстве Лаврецкого существующим порядком вещей, в его попытках найти выход из круга неразрешимых противоречий, в чистоте чувств и отношений главных героев проявилось их превосходство над косной средой, с которой вступают они в роковой конфликт, непринужденно реалистически и вдохновенно изображенный автором.

«Поэтом смирившихся в своем несчастье» назвал Тургенева Георг Брандес,¹⁴ однако это определение датского критика, которое не без оснований можно применить к героям Достоевского, а отчасти и к героям позднего Толстого, применительно к Тургеневу не выдерживает критики. Лиза в «Дворянском гнезде» уходит в монастырь, но сам автор, возвышающий героиню, далек от поэтизации ее поступка и совершенно чужд идее очистительной роли религиозного страдания. Тургеневское изображение покорности и смирения, в частности женского смирения, скрывало в себе не апологию их, а отрицание. «...Если русская женщина, — писал П. А. Кропоткин, — сыграла такую великую роль во всевозможных формах жизни во время последнего 50-летия нашего освободительного движения, то для нас, людей этого поколения, нет сомнения в том, что весьма многим мы обязаны именно Тургеневу».¹⁵

В момент выхода в свет «Дворянского гнезда» вопрос об активном общественном деятеле с небывалой остротой был поставлен революционно-демократической критикой. Документом этапного в этом отношении значения была статья Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» (1858). В новом романе «Накануне» (1860) Тургенев пошел навстречу велениям жизни и пожеланиям прогрессивной критики, он, по словам Н. А. Добролюбова, «попытался стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени».¹⁶ В центре романа автором был поставлен подлинно общественный деятель, болгарин родом, разночинец Инсаров, всецело проникнутый идеей освобождения своей родины от турецкого ига. И болгарину Инсарову, а не воспитанному в духе уважения к сомнительным авторитетам Берсеневу и не пропагандисту эгоистической морали Шубину отдает руку и сердце русская девушка Елена Стахова. Но изображаемый вне родной национальной стихии Инсаров не мог все же предстать перед читателем во всем богатстве своих переживаний. О делах Инсарова во славу его родины мы узнаем из рассказов других лиц. Что же касается русских связей Инсарова, то они ограничились кругом людей, далеких от общественной борьбы. В статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов превосходно раскрыл различие между *революционно-демократическим* и *тургеневским* пониманием типа общественного деятеля.¹⁷ Написанная в эзоповском стиле статья Добролюбова требовала от русской литературы создания «русских Инсаровых», которые повели бы борьбу против «врагов внутренних», поскольку «мы народ владетельный, а не поработенный».¹⁸

К созданию образа «русского Инсарова» Тургенев подошел вплотную в своем романе «Отцы и дети» (1862), в центре которого стояла фигура лекарского сына Базарова, материалиста по своим философским и радикала по своим политическим убеждениям.

¹⁴ Георг Брандес. Иван Тургенев. СПб., 1888, стр. 8.

¹⁵ Тургенев и его время, стр. 7.

¹⁶ Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, т. II, ГИХЛ, 1935, стр. 212.

¹⁷ См.: Г. А. Бялый. Тургенев и русский реализм. М.—Л., 1962, стр. 137—151.

¹⁸ Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в шести томах, т. II, стр. 239.

Система взглядов, которую излагает «нигилист» Базаров в спорах с представителями дворянского рода Кирсановых, была действительно свойственна если и не всей, то по крайней мере некоторой части радикально-разночинской интеллигенции 1860-х годов.

Автор изобразил Базарова не примитивным ниспровергателем крепостнической культуры и морали, а натурой, в умственном отношении возвышающейся над сторонниками традиционных форм жизни, натурой сложной и в известной мере загадочной, и это нередко давало повод для самых неожиданных истолкований замысла произведения критикой. Реакционеры обвиняли писателя в симпатиях к «нигилистам», тогда как значительная часть радикальной молодежи усматривала в романе пасквиль на революционеров. Злободневность проблематики тургеневского романа создала ему неслыханную популярность среди современников. Споры вокруг «Отцов и детей» стали фактом и фактором не только литературной жизни, но и политической истории страны. В историко-литературной науке споры об этом романе Тургенева продолжаются и поныне.

Тургенев наделил своего героя всеокрушающим интеллектом и сильным характером, и это свидетельствовало о жизнеспособности типа. Среди антагонистов Базарова в романе нет лица, достойного стоять с ним рядом. Его противники изображены как представители уходящего с исторической сцены класса, и о них сам Тургенев впоследствии заявит: «Они лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность» (Письма, IV, 380). И вместе с тем «жизнеспособный» Базаров погибает в романе от простой случайности, поскольку в его лице, по признанию автора, была задумана «фигура... сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на гибель» (там же, 381).

В образе Базарова Тургенев открыл русской литературе тип общественного деятеля-разночинца, представлявшего собой не только новое поколение («детей»), но и новый социальный слой, идущий на смену дворянству. В своем признании Базарова и даже известном преклонении перед ним Тургенев обнаружил глубокое понимание общественно-политических сдвигов, происходивших в пореформенной России. Но полного восхищения новым героем у автора, разумеется, быть не могло. Так, например, нигилистическое отношение Базарова к искусству («Рафаэль медного гроша не стоит» — VIII, 247) не только не импонировало, но и претило Тургеневу. И награждая своего героя грубым антиэстетизмом, автор «Отцов и детей» хотел несомненно дискредитировать эстетические воззрения Добролюбова и Чернышевского.

Если подходить к Базарову как к одному из нескольких выдвинутых жизнью типов радикальной молодежи, он приобретет все признаки исторической достоверности. Но если оценивать тургеневского героя как обобщенный образ ведущих революционно-демократических деятелей эпохи, то легко обнаружится его несоответствие с ними по весьма существенным пунктам.

С этой точки зрения, самое значительное отступление Тургенева от исторической достоверности состояло в том, что он наделил Базарова эгоистической неприязнью к мужику. «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну а дальше?» (VIII, 325) — декларация эта находилась в решительном несоответствии с помыслами и принципами русских революционеров-шестидесятников, *мужицких* демократов. И общность своих интересов с интересами и чаяниями русского мужика «революционеры 61-го года» подтвердили не только в своих программных документах и публицистических статьях, но и на деле.

Сложный и противоречивый образ Базарова отразил в себе мучительную сложность и противоречивость отношений Тургенева к русской революционной демократии 60-х годов.

В романе «Дым», написанном Тургеневым через шестилетний промежуток после «Отцов и детей», отсутствовала «героическая» личность. Внимание автора было сосредоточено на умственных настроениях и духовных исканиях русской интеллигенции в период наступившей после 1863 года жестокой правительственной и общественной реакции. Сатирическим негодованием проникнуты страницы романа, изображающие жизнь высшего света, правительственной верхушки и царской администрации. Наряду с этим, в критическом свете показана в романе и жизнь переживавшей в ту пору состояние идейного разброда русской революционной эмиграции. Симпатии автора в «Дыме» отданы выходцу из разночинной среды, но постепеновцу по убеждениям западнику Потугину.

Порвав в 1860 году с «Современником», Тургенев опубликовал свои романы «Накануне», «Отцы и дети» и «Дым» в «Русском вестнике» Каткова, журнале крайне реакционного направления. Внутренняя логика взаимоотношений с Катковым не могла не привести Тургенева к разрыву с ним, и свои сочинения, написанные после «Дыма», писатель публиковал по преимуществу в либеральном «Вестнике Европы».

Последний роман Тургенева «Новь» (1877) создавался в период бурного подъема революционного движения в России, в годы «хождения в народ». Общение с П. Л. Лавровым и другими представителями русской революционной эмиграции помогло писателю составить довольно целостную картину и концепцию той освободительной борьбы, которую вели народники с самодержавием.

Помимо благородного, но слабовольного революционера Нежданова, кончающего жизнь самоубийством, в романе «Новь» выведены также образы мужественных революционеров — Маркелова, Остродумова, Машуриной, Марианны. Образы тургеневских женщин-революционерок и особенно Марианны с ее готовностью к самопожертвованию во имя счастья других были новым и многозначительным явлением в русской литературе.

Революционное движение в романе «Новь» было показано как закономерный результат бедственного положения страны и народного недовольства — эта мысль в предшествующих романах Тургенева не нашла достаточного отражения. Образы стражей самодержавия — консерватора Калломейцева и либерала Сипягина — раскрывали перед читателем несостоятельность и гнилость той политической системы, с которой боролись революционеры.

И вместе с тем образам революционеров автор романа придал оттенок трагической обреченности. Они не находят сочувствия в крестьянской среде, да и не в состоянии его найти, так как при всем своем мужестве и преданности светлым идеалам народники-революционеры, с точки зрения автора, — люди, страдающие догматизмом и узостью своих убеждений. Фанатизм мешает им отграничить реальное от несбыточного, необходимое от фантастического. Целесообразность революционных методов борьбы с самодержавием ставилась в романе под сомнение. «Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, а глубоко забирающим плугом» — гласил эпиграф к роману. Народническая «соха» не пригодна для общественных преобразований. «Плуг» — это просвещение, постепенное устранение существующего зла, умение «не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы», как писал об этом Тургенев А. П. Филосовой (Письма, X, 295).

Носителем авторских взглядов в романе представлен разночинец Соломин. Он сторонник глубоких, но постепенно проводимых государственных преобразований. Фабрика, где Соломин работает управляющим, представляется ему самой удачной точкой приложения сил, местом для осуществления его реформаторских замыслов, «ареной» его деятельности. Взгляды Соломина не получили, однако, в «Нови» развернутой характе-

ристики, и для образа своего центрального персонажа у писателя не нашлось достаточно выразительных красок. Впоследствии в беседах с С. Н. Кривенко и другими лицами о незавершенности образа Соломина говорил сам Тургенев.¹⁹

Длительное пребывание на Западе, особенно в последние годы жизни Тургенева, отрицательно сказывалось на полноте его информации о происходивших переменах в русской жизни. Писатель болезненно переживал это, однако в силу многих причин вынужден был по-прежнему жить за пределами родины и «лепиться к краешку чужого гнезда» (Письма, III, 320). Но пребывание писателя за рубежом приносило и свои полезные результаты для русской культуры. Близкие отношения Тургенева с западноевропейскими литераторами (особенно французскими) немало способствовали развитию международных литературных связей и укреплению престижа русской художественной литературы на Западе. Неуклонно возраставший в то время среди зарубежных читателей интерес к русской культуре Тургенев направлял в полезное русло. Он выступал с протестами против отдельных издателей, авторов и переводчиков, стремившихся использовать этот интерес в политически сомнительных или же коммерческих целях; помогал зарубежным литераторам-энтузиастам переводить как свои собственные произведения, так и сочинения других русских писателей; неустанно пропагандировал там лучшие достижения русской литературы, проявляя при этом полное равнодушие к росту собственной писательской известности. Особенно поразительным был энтузиазм, обнаруженный Тургеневым в пропаганде за рубежом произведений Л. Н. Толстого. Несмотря на разрыв своих отношений с автором «Войны и мира», длившийся около 17 лет (1861—1878), Тургенев предпринял за это время десятки всевозможнейших попыток, направленных к тому, чтобы сделать имя и творчество гиганта русской литературы доступным западноевропейскому читателю. Некоторые из них наталкивались на большие трудности, но Тургенев никогда не останавливался перед ними и, как свидетельствовал Эмиль Золя, «всегда возвращался к Толстому».²⁰ И только будучи прикованным болезнью к постели, Тургенев уже не мог с прежней неутомимостью пропагандировать за рубежом «великого писателя русской земли» (Письма, XIII, кн. 2, 180), как назвал он Толстого на смертном одре.

Значение Тургенева в установлении контактов зарубежного культурного мира с русской культурой не ограничивалось, однако, его ролью пропагандиста русских писателей. На основные западноевропейские языки романы Тургенева, не говоря уже о «Записках охотника», были переведены гораздо ранее произведений Л. Толстого и Достоевского, Гончарова и Писемского. Еще в середине прошлого века Тургенев положил начало периоду планомерного и интенсивного воздействия русской литературы на литературы стран Западной Европы и Америки. Сотни и тысячи зарубежных читателей по сочинениям Тургенева впервые знакомились с Россией, с жизнью и национальным характером русских людей. Более того, Тургенев был одним из первых писателей не только России, но и всего славянского мира, творчество которых вошло в мировой культурный обиход.²¹ Эту мысль французский мыслитель и публицист Эрнест Ренан в своей речи над гробом русского писателя выразил в следующих словах: «Честью для великой славянской расы, появление которой

¹⁹ И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. М.—Л., 1930, стр. 240—241.

²⁰ E. Séménoff. Qui a introduit Léon Tolstoi en France? «Mercure de France», 1928, 15 septembre, p. 720.

²¹ См.: М. П. Алексеев. Мировое значение «Записок охотника». В кн.: «Записки охотника» И. С. Тургенева (1852—1952). Орел, 1955, стр. 36—117.

на авансцене мировой истории есть самый поразительный феномен нашего века, честью для нее является то, что она столь рано нашла такого безупречного выразителя».²²

После завершения работы над своим последним романом Тургенев прожил еще семь лет. В истории России этот небольшой отрезок времени был наполнен событиями огромного политического значения. В самом начале 1877 года в Москве проходил судебный процесс над 50-ю революционерами-пропагандистами. В мае того же года, вскоре после выхода в свет романа «Новь», состоялся суд над членами народнического «Южно-русского союза рабочих». На заседаниях этого суда присутствовал приехавший из-за границы в Петербург Тургенев.²³ В конце 1877 года начался процесс 193-х — «дело о пропаганде в 37-ми губерниях». Затем последовала новая серия аналогичных процессов. Именно в последнее семилетие своей жизни Тургенев особенно тесно сближается с П. Л. Лавровым, знакомится с П. А. Кропоткиным, Г. А. Лопатиным и другими видными революционерами.

В январе 1879 года раздался выстрел Веры Засулич. «История с Засулич, — писал тогда же Тургенев, — взбудоражила решительно всю Европу» (Письма, XII, кн. 1, 312). Русские «нигилисты» становятся предметом самых разнородных толков, небывалый интерес проявляла к ним иностранная печать. Об участниках политических процессов 70-х годов заговорила и художественная литература. Героизм 193-х был прославлен в сборнике стихотворений «Из-за решетки», изданном в Женеве в 1877 году. Политический энтузиазм революционных народников нашел глубокий отклик в стихах умирающего Некрасова. И даже во взглядах отдельных писателей либерального толка происходят сдвиги в пользу «нигилизма». Так, Я. П. Полонский пишет в 1878 году стихотворение «Узница», воспевающее героизм женщины-революционерки. События русского освободительного движения подсказывают новые творческие замыслы и Тургеневу. Ближе знакомясь с революционерами-семидесятниками, он, по словам Д. Н. Овсяннико-Куликовского, «с изумлением отмечал в них черты, напоминавшие ему людей 40-х годов, и ему пришлось наглядно убедиться в том, как неполно и неверно изобразил он „новь“ 70-х гг. в своей „Нови“».²⁴

Укреплению связей Тургенева с русской радикальной молодежью немало способствовал приезд его в Россию в начале 1879 года. И петербургское и московское прогрессивное студенчество с энтузиазмом встречало прославленного писателя, выражая надежду на то, что он окажет нравственную поддержку «детям». Надежда эта не оказалась праздной.

В конце 1879 года Тургенев пишет сочувственное предисловие к очерку «В одиночном заключении» политического эмигранта И. Я. Павловского, и оно вызывает глубокое возмущение в охранительном лагере. «Московские ведомости» в насмешку написанной доносительской статье обвиняют писателя в «кувыркании» перед революционной молодежью. В своем публичном ответе на эту выходку охранителей Тургенев вынужден был заявить, что он «всегда был и до сих пор остался „постепеновцем“, либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ *только свыше*» (XV, 185), но, разумеется, не по этому в особой обстановке написанному документу, а по всей совокупности слов и дел писателя мы должны судить о его

²² E. Renan. Discours prononcé sur la tombe de I. Tourguéneff le 1-er octobre 1883. В кн.: I. Tourguéneff. Oeuvres dernières, deuxième édition, Paris, 1885, p. 299.

²³ См.: М. П. Скверин. Первая рабочая социалистическая организация в Одессе (1875). Одесса, 1921, стр. 9.

²⁴ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Собрание сочинений, т. VIII, изд. 5-е, СПб., 1914, стр. 218.

истинных взглядах и намерениях. Вскоре после инцидента с «Московскими ведомостями» автор «Нови» содействует появлению во Франции романа «Жертвы царя» другого русского политического эмигранта Михаила Ашкинази. По прибытии в Россию в начале 1880 года Тургенев неоднократно встречается с литераторами-народниками (Г. И. Успенским, С. Н. Кривенко, Н. С. Русановым и др.), обсуждает с ними план издания нового журнала и обещает свое сотрудничество в последнем. Огромное впечатление произвела на писателя казнь первомартовцев (3 апреля 1881 года). Она тревожила как политическое, так и творческое сознание писателя, подтверждением чего могут служить изготовленные им для себя портреты Перовской, Желябова и Кибальчича,²⁵ равно как и написанное под воздействием суда над первомартовцами стихотворение в прозе «Порог». Существующее мнение о том, что «Порог» является простым повторением одной из сцен романа «Новь», плохо соотносится с истиной. В «Нови» есть изображение жертвенности революционера, но нет ее поэтизации, в «Пороге» личность идущей на смерть девушки-революционерки поэтизируется, и мы вправе рассматривать это стихотворение в прозе как принципиально новый шаг в идейно-творческом развитии Тургенева.

В последние годы жизни Тургенев начал работу над новым романом, содержание которого он изложил И. Я. Павловскому в следующем виде. «Молодой человек, русский, образованный и очень смелых передовых идей, приезжает в Париж, где знакомится с русской женщиной, которая замужем за французом. Муж ее — радикал, деятельно занимается политикой, человек на виду, на него возлагаются надежды людьми его партии. Одним словом — талантливый и передовой француз... Тут сто тысяч мелочных сцен, показывающих неумение француза возвыситься до широких гуманных идеалов своей супруги. Он живет обыденной жизнью, политической дня, этими бурями в стакане воды... являются на сцену ревность без всякой причины, мелочность, грубые требования, дразниги, и все должно кончиться любовью жены его к своему соотечественнику».

На это важное свидетельство Павловского в свое время обратил внимание П. Л. Лавров.²⁶ В последнее время плодотворное сопоставление припоминаний Павловского с другими родственными им мемуарными источниками было произведено И. С. Зильберштейном. Особенно любопытно сравнение показаний Павловского с воспоминаниями Н. М. Ремезова — со следующим из них отрывком: «Героями его (нового романа Тургенева, — *Ф. П.*), судя по словам покойного, должны были быть русская девушка-революционерка, вышедшая замуж за французского социалиста и скоро понявшая всю глубину духовного различия и взаимного непонимания между нею и мужем».²⁷

Несмотря на то, что данных о последнем незавершенном тургеневском романе сохранилось немного, сопоставление их с фактами творческой истории и содержанием «Нови» подтверждает, как нам представляется, всю значительность совершившихся в идейно-творческом сознании писателя изменений. В самом деле, задумав вывести в романе «Новь» тип русского «романтика реализма» революционера Нежданова, Тургенев намеревался противопоставить ему «настоящего практика на американский лад» (ХП, 314), каковым и явился со временем радикал-реформист, защитник западноевропейских форм жизни Соломин. Уход главной героини «Нови» Марианны к Соломину имел символическое значение. Сопоставляя в «Нови» тип революционера русской «закваски» с типом радикала западноевропейского толка, автор отдавал

²⁵ См.: И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. стр. 68.

²⁶ Там же, стр. 73—74, ср. стр. 145—146.

²⁷ И. Зильберштейн. Страницы последнего романа Тургенева не найдены или утрачены? «Литературная газета», 1968, № 32, 7 августа, стр. 7.

2 Русская литература, № 4, 1968 г.

предпочтение последнему. Содержание вновь задуманного романа было во многом противоположно «Нови», во всяком случае сюжет его развивался в противоположном направлении: родственная Марианне героиня нового романа, разочаровавшись в революционере *западноевропейского* (французского) образца, уходила к революционеру *русского* типа.

Политическое мировоззрение Тургенева характеризовалось исключительной противоречивостью. Личность впечатлительная, рефлектирующая, подверженная колебаниям, он был прежде всего художником, а не политическим борцом. Он не выработал для себя стройной системы политических взглядов и до конца жизни симпатизировал в основном либерализму, понимаемому, однако, не в смысле программы или догмы. Известно, что В. И. Ленин, называя Тургенева «либералом»,²⁸ вместе с тем восхищался им как мастером слова («... язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч»)²⁹ и использовал его творчество, в частности образ Пеночкина (рассказ «Бурмистр»), утонченного крепостника с «мягкими формами обращения» и «европейским лоском»,³⁰ в борьбе с русскими либералами типа графа Гейдена. В либеральных воззрениях Тургенева даже в 60-е годы, в кульминационные моменты его расхождений с революционными демократами, сказывались и демократические элементы и тенденции, которые в конце его жизни, под воздействием революционного движения 70-х годов, проявились с большой силой.

Серия тургеневских романов — это художественная летопись русской общественной мысли и борьбы, летопись, в которой отразились и все достоинства могучего дарования автора и историческая ограниченность его мировоззрения. Однако Тургенев не только летописал происходящее, но и разгадывал будущее. В его социологических прогнозах было немало открытий, подтвержденных дальнейшим ходом событий, но были и промахи мысли, исторически вполне объяснимые. Чутко откликаясь на каждый новый роман Тургенева, русская передовая общественность нередко расходилась во мнениях, спорила и более того — боролась с писателем. Эти споры подтверждали, что творчеству Тургенева была присуща огромная двигательная сила. Оно «рассекало» узловые проблемы русской жизни, пробуждало к ним общественный интерес, возбуждало умы и волновало сердца. По определению П. Л. Лаврова, типы, созданные зачинателем русского общественно-политического романа, — это «ступени, по которым неудержимо и неотразимо шла к своей цели русская революция».³¹ Не будучи революционером, Тургенев, как сказал об этом П. Ф. Якубович, «служил русской революции сердечным смыслом своих произведений».³² Тургеневское творчество исполнено глубокого нравственного пафоса. Как художник и одновременно как историк, вникая в смысл общественного развития, писатель-гуманист пропел «отходную» дворянскому классу, с которым по рождению и воспитанию был органически связан. Его деятельность, по определению М. Е. Салтыкова-Щедрина, «значительно повысила нравственный и умственный уровень русской интеллигенции».³³

Вместе с тем Тургенев способствовал повышению эстетического уровня русской литературы. Ему принадлежит заслуга открытия новых сфер в художественном освоении действительности. Его творчество явило

²⁸ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 260.

²⁹ Там же, т. 24, стр. 294.

³⁰ Там же, т. 16, стр. 43.

³¹ И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, стр. 79.

³² Там же, стр. 8.

³³ М. Е. Салтыков-Щедрин, Полное собрание сочинений, т. XV, Гослитиздат, 1940, стр. 612.

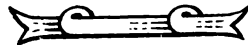
всему миру непревзойденные образцы русской художественной прозы. Автор «Записок охотника» обладал поразительным даром соединять в искусстве слова боевую публицистичность с «артистизмом» выражения. В художественном развитии русского общества Тургенев составляет целый этап. Энергией тургеневского воздействия, как это подтверждается коллективным опытом исследовательской мысли, питалось творчество таких писателей, как Л. Н. Толстой и Писемский, Некрасов и А. Н. Островский, Чехов и Бунин, Короленко и Горький.

Бури трех революций, отделяющие нашу эпоху от эпохи Тургенева, не только коренным образом изменили социальную структуру общества, но и его эстетические вкусы и запросы. Но тургеневские «Записки охотника», его романы и повести, его новеллы и стихотворения в прозе сохраняют и сейчас свою эстетическую и эмоциональную значимость, ибо они — творения высокого искусства и, как таковые, гораздо долговечнее произведшей их эпохи.

Тургенев был глубоким знатоком жизни и человеческой психологии, изменяемость которой не поспевает за сменой экономических укладов и формаций. Он был величайшим мастером в изображении пробуждающегося человеческого чувства, неуловимых душевных движений, взлетов и падений человеческой души.

Тургенев навечно вошел в русскую художественную культуру, стал ее плотью и стимулом дальнейшего ее развития. И усваивая ее, мы в опосредствованном виде воспринимаем и Тургенева. Поэтому определить собственно тургеневскую струю в советской литературе, добыть «экстракт» тургеневского воздействия на наших писателей нелегко, да это не всегда и необходимо. Думается все же, что отплески этой струи можно обнаружить и в шолоховских пейзажах и типах, и в романах с «интеллектуальным» героем С. Н. Сергеева-Ценского, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, К. А. Федина, Л. М. Леонова и других советских романистов. Думается также, что незримая благословляющая десница Тургенева коснулась не только наших прозаиков, но и поэтов, тех из них, которым свойственно стремление к высокому по содержанию и форме искусству, уважение к национальным литературным традициям, забота о чистоте русского языка, мелодике и гармонии поэтической речи.

В романтике чувства, в реализме, открывающем в современности облик грядущего дня, во внутренней гуманности и художественном изяществе, в мудрой простоте, противостоящей риторике и вычурности, состоит непреходящая ценность творческого наследия Тургенева — великого художника русского слова.



ТУРГЕНЕВ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Более ста лет отделяет нас от времени, когда за Тургеневым утвердилась слава властителя дум своей эпохи. В стремительном потоке жизни сменяли друг друга поколения, иные времена несли с собой иные песни, иные думы, но имя Тургенева не меркло на литературном горизонте новых эпох, и на разных этапах истории по-разному творчество писателя оказывалось созвучным мыслям и чувствам его потомков.

В настоящей статье мы коснемся только отдельных сторон большой и недостаточно еще изученной проблемы наследования традиций Тургенева в советской литературе. В основе наших наблюдений лежит мысль о том, что пути наследования и самое понятие наследования настолько же многообразны, насколько многогранна и неоднозначна была творческая индивидуальность Тургенева.

Принято считать, что наследование определенных классических традиций идет по линии эстетической преемственности при некоем обязательном родстве писательских душ. В какой-то мере это действительно так. Но весь вопрос в том, как, по каким признакам определять родство талантов и их «очевидную» близость. В применении к Тургеневу это значит, что наследовать его литературный опыт могут писатели, которым близка тургеневская лирическая стихия, психологическая устремленность его писательского взгляда, его внимание к идеально-нравственной стороне человеческих отношений, его любовь к природе, музыкальность и «живописность» его повествовательной манеры, влюбленность в родной язык и его выразительные возможности — наконец, весь высокопоэтический строй его прозы. Но в определенных аспектах усваивать литературный опыт Тургенева могут также и те писатели, которые работают в другой стилистической манере, которым критическая устремленность творчества Тургенева ближе, нежели его утверждающие начала, писатели, склонные к публицистическому слову более, чем к слову интимному, к гротеску более, чем к психологическому портрету, и т. д.

Именно так — далеко не однозначно — воспринималось творчество Тургенева еще при его жизни. Закономерно, что Тургеневу посвящал свои первые произведения молодой Толстой. Не случайно Тургенев был первым редактором Фета. Можно найти объяснение и тому, что ранним своим учителем считал Тургенева предсимволист К. Случевский. Однако закономерно и то, что близким другом и первооткрывателем Тургенева был «неистовый Виссарион». Именно Белинский провозгласил Тургенева писателем общенародного значения и предсказал ему большое будущее. «Миры истин» открывал для себя в творчестве Тургенева глубоко социальный поэт Некрасов, многие годы находившийся под обаянием его таланта. Но, быть может, один из наиболее горячих и увлеченных отзывов о Тургеневе принадлежит писателю отнюдь не лирического темперамента. Речь идет о Салтыкове-Щедрине и его известном отзыве о Тургеневе в письме к П. В. Анненкову. Мы позволим себе привести его в той части, которая подтверждает мысль о сложном соотношении понятий «творческая индивидуальность» и «художественная преемственность».

Плененный светлой поэзией «Дворянского гнезда», Салтыков-Щедрин писал: «Да и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора? Но ведь это будут только общие места, а это, именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом...»¹

Сам Щедрин развил и продолжил в свойственной ему одному литературной манере некоторые мотивы творчества Тургенева, в частности по-своему довел до конца рассказ об обитателях «дворянских гнезд» в «Пошехонской старине».² После смерти Тургенева в его некрологе Салтыков-Щедрин конкретно оценил значение писателя для отечественной культуры: «В современной русской беллетристической литературе нет ни одного писателя..., который не имел в Тургеневе учителя и для которого произведения этого писателя не послужили отправною точкою».³

Столь же широко оценил значение Тургенева для новой эпохи А. М. Горький, назвавший писателя «одним из творцов литературы нашей» и постоянно обращавшийся мыслями к его творчеству в своих лекциях и литературных заметках.⁴

Общее значение и гуманный сушность традиций Тургенева полнее других определил А. Фадеев. Размышляя о судьбах русской литературы XIX века в ее связях с современностью, он обращал особое внимание на историческую обусловленность развития таких индивидуальностей, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Некрасов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Чехов, Горький. Эти великие художники «следовали один за другим; многие из них сосуществовали вместе. Это показывает, что при кажущейся стабильности общественного порядка глубокий процесс развития происходил, по существу, в народной жизни».⁵

Фадеев внимательно наблюдал за процессами, происходившими в современной ему литературе. В его выступлениях — много внимания к окружающей жизни, к тому, как современная литература отражает действительность. Но характерно: о чем бы писатель ни говорил — о героических военных годах, о трудностях колхозного строительства, о нравственном облике советского человека, — он соотносил свои наблюдения над художественным творчеством не только с новыми, порой еще потенциальными явлениями действительности, но и с теми фактами, теми сходными явлениями русской истории, русской культуры, которые содержали, на его взгляд, полезные уроки.

Какие имена русской классической литературы чаще всего привлекаются в этих сопоставлениях в качестве ориентиров, можно судить по приведенному выше перечислению. Особое место среди этих имен занимает И. С. Тургенев. В обращении советской литературы к опыту пи-

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XVIII, Гослитиздат, Л., 1937, стр. 144.

² См. об этом подробнее: И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, Сочинения в пятнадцати томах, т. VII, изд. «Наука», М.—Л., 1964, стр. 496—497. (Далее ссылки на серию «Сочинения» приводятся в тексте: римская цифра обозначает том, арабская — страницу. Ссылки на серию «Письма» также приводятся в тексте с дополнительным указанием на название серии).

³ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 611.

⁴ См. об этом публикуемое в настоящем номере журнала сообщение А. Д. Смирновой «Пометы М. Горького на книгах И. С. Тургенева».

⁵ А. Фадеев, Собрание сочинений в пяти томах, т. IV, Гослитиздат, М., 1960, стр. 420.

сателей-классиков была своя последовательность. В революционные годы на первый план выступают революционные традиции русской литературы — вольнолюбивая поэзия декабристов, молодого Пушкина, Лермонтова, Некрасова, революционная мысль Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Годы гражданской и Великой Отечественной войны наряду с непреходящим влиянием освободительных традиций отмечены особым вниманием к древнему героическому эпосу, к патристической прозе Гоголя, Толстого. Годы послевоенного восстановительного труда с их центральной проблемой воспитания нового человека повысили интерес к этическим исканиям Толстого, Достоевского и, конечно, Тургенева. Но важно отметить, что Тургенев не «прикреплен» исключительно ни к одному из названных периодов. Круг тем, соотносящихся с его творчеством, охватывает многие годы и многие периоды нашей жизни.

Так, говоря о героическом начале в русском народе, Фадеев неоднократно напоминает о том, что это начало «чуждо видели» Некрасов и Тургенев и не кому-нибудь другому, а Тургеневу удалось «открыть» «разночинца Базарова, в котором... молодежь находит родственные себе черты».⁶

Имя Тургенева закономерно соотнесено и с литературой 20—30-х годов нашего века, когда особую остроту приобрела крестьянская тема. Фадеев часто и по разным поводам обращается к «Запискам охотника», восхищаясь их социальной остротой, художественным совершенством, их устремленностью в будущее русского народа. В связи с очередными задачами молодой советской литературы Фадееву важно было разобраться в том, как Тургенев понимал русский национальный характер. Он выделяет в «Записках охотника» те наблюдения писателя, которые касались «больших крестьянских характеров», оттеняли созидательные возможности русского народа, его практическую сметку, самобытный, порой истинно государственный ум. Особенно часто останавливается Фадеев на следующем эпизоде: Хорь и Калиныч слушают рассказы автора о заграничье. Хорь оценивал их по-своему, по-хозяйски, с отбором: «...это у нас не шло бы, а вот это хорошо, — это порядок», — говорил он. Именно этот эпизод навел самого Тургенева на мысль, что «Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях... Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай» (IV, 18).

Фадеев развивает ассоциацию, возникшую у писателя. В своих заметках «Из записных книжек» он приводит строки стихотворения П. А. Вяземского о Петре:

Петр был не пошлый подражатель
Одних обычаев и мод;
Нет, с бою взял завоеватель
То, в чем нуждался наш народ.

И добавляет: «Это же понимание было присуще Тургеневу (см. «Хорь и Калиныч»). Использование иностранного, того, что там есть передового, в интересах *своего* государства, *своего* народа, не поступаясь, не пренебрегая своим, — такова линия истинно прогрессивных преобразователей...»⁷

В другом месте Фадеев делает еще более широкие обобщения: «В лице лучших своих сынов русский народ проявил себя в истории как народ-деятель, народ-преобразователь. Светлый гений Ленина поистине подобрал в себя самые лучшие, самые сильные, самые передовые и благородные черты русских преобразователей и революционеров...»⁸

⁶ Там же, т. V, стр. 239, 240.

⁷ Там же, стр. 184.

⁸ Там же, т. IV, стр. 356.

Кроме проблемы национального характера, существовавшей и для Тургенева не самоцельно, а в связи с его размышлениями о судьбах народа в преддверии крестьянской реформы, Фадеев, современник величайших социальных преобразований нового века, уделил много внимания социальным проблемам «Записок охотника».

Глубина взгляда Тургенева на судьбы крестьянства как класса выражалась в том, что он за двадцать лет до крестьянской реформы увидел в простом русском народе мощные подспудные силы, а в неотвратимом акте отмены крепостнических отношений распознал основное звено исторического развития России. Сила Тургенева заключалась не только в поразительной художественной интуиции писателя-реалиста, заметившего в окружавшей его жизни новые явления, сила была и в осознанном, деятельном стремлении к определенной цели, в практическом осуществлении той «аннибаловой клятвы» бороться с крепостничеством до победного конца, которую дал Тургенев еще в юности. Целеустремленность эта поистине удивительна. Смолodu было определено не только общее направление деятельности, но и названа почти безошибочно будущая писательская программа. Биографы Тургенева с этой точки зрения мало уделили внимания записке «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине», написанной Тургеневым в 1842 году при поступлении на службу в Министерство внутренних дел. В этой официальной записке Тургенев в строгом порядке пунктов охарактеризовал «неудобства» крепостнических отношений, по его личным наблюдениям, в поместьях Орловской губернии. В той же записке сообщалось, что автор намерен ближе познакомиться с жизнью крестьян, изучить их характеры, привычки, потребности, — чтобы тем легче было содействовать улучшению и изменению их быта, чтобы тем легче было приобщить их к новым формам жизни, поднять их нравственно, укрепить чувства личного достоинства и права — «те чувства, которыми до сих пор еще бедна богатая русская душа».⁹ Следующей своей задачей автор считал изучение роли и значения дворянства на переломном этапе русской истории (см.: I, 459—472).

Намеченная программа была уже в ближайшие годы осуществлена писателем в «Записках охотника», а затем и в его романах.

Вот эта целеустремленность и привлекла особое внимание Фадеева. На примере «Певцов» из «Записок охотника» он развивает мысль о тенденции, которая присуща художественному произведению так же органично, как дыхание присуще живой жизни. В частности, говоря об атмосфере русской деревни в «Певцах», Фадеев обращает внимание на естественную социальность всех восприятий жизни у Тургенева, вплоть до пейзажа. «Конец „Певцов“ — этот вечер и голос: „Антропка, тебя тятка высесть хочет“ — это, знаете ли, надо уметь увидеть и услышать и — если Вы не забыли „Певцов“, поверьте — это глубоко социально».¹⁰

В 40-е и особенно в 50-е годы, с их обострившимся вниманием к духовному совершенствованию человека, имя Тургенева стало чаще всего упоминаться в связи с проблемой положительного героя и сопутствующими ей нравственными проблемами. И снова Фадеев, считавший, что Тургенев — «писатель, недооцененный современной критикой и литературоведением», в специальной статье «О Тургеневе» отдает должное тургеньевским гуманистическим традициям в позднейшей литературе. По убеждению Фадеева, Тургенев вслед за Пушкиным стоит

⁹ Последние слова взяты из чернового автографа романа «Дворянское гнездо», где применительно к деятельности Лаврецкого повторены некоторые положения записки 1842 года. См. об этом подробнее: Тургеньевский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева, IV. Изд. «Наука», Л., 1968, стр. 156—157.

¹⁰ А. Фадеев, Собрание сочинений в пяти томах, т. V. стр. 366—367.

у истоков «самой основной и... самой прекрасной линии развития русской прозы».¹¹

Мы остановились так подробно на мыслях Фадеева о Тургеневе не потому, что в его творческой практике больше, чем в творческой практике других советских писателей, тех самых тургеневских черт, на которые он столь верно указал как критик. Конечно, Фадеев в чем-то следовал литературным заветам своего любимого писателя — хотя бы в эмоциональности восприятия «до конца русской» природы, в особом, тургеневском, «способе изображения юности, женской красоты»,¹² что так очевидно проявилось в образах «Молодой гвардии». И в то же время писатель выражал сожаление, что не достиг совершенства Тургенева в изображении людей «интеллектуальной складки»¹³ и что его «литературная походка» так мало родственна соответственной «„походке“ Тургенева».¹⁴

В суждениях Фадеева о классической литературе заметно акцентировано внимание на основных проблемах творчества Тургенева, не потерявших значения для современности. При этом нельзя забывать, что Фадееву, в течение многих лет возглавлявшему Союз советских писателей, был хорошо виден — и далеко не безразличен — достаточно широкий круг явлений современной литературной жизни.

Едва ли целесообразно искать в советской литературе прямых последователей Тургенева, непосредственно усвоивших его художественный опыт. Только эпигонская литература рабски следует за своими кумирами. Это хорошо понимали и современники Тургенева. Салтыков-Щедрин метко охарактеризовал одного из таких эпигонов Тургенева: публике «кажется, например, что г. Авдеев совсем не г. Авдеев, а просто псевдоним Тургенева, под которым последний издает свои „произведения поплоче“».¹⁵

В литературных явлениях, имеющих свою индивидуальность и временную обусловленность, можно лишь с большой осторожностью и только в определенных ракурсах выделять традиционное, делая при этом скидку и на субъективность восприятия традиционного, и на отсутствие каких-либо безусловных критериев в этом вопросе. Попробуем взять для сравнения какой-нибудь определенный и характерный поворот авторских интересов, скажем, внимание писателей к узловым явлениям народной жизни в эпоху радикальных социальных переустройств, и из многих других аспектов этой темы выделим проблему положительного героя с сопутствующими ей нравственными проблемами.

В названном русле тургеневские традиции наиболее отчетливо выступают в творчестве А. Толстого, автора трилогии «Хождение по мукам». И действительно, есть много общего в нравственных исканиях любимых героев А. Толстого и Тургенева, в неразрывной связи их судеб с судьбами страдающей родины, в общей национальной и демократической атмосфере повествования. По наблюдениям К. Федина, «нигде в другом русском романе не называется так часто имя России, как в „Хождении по мукам“..., о русском народе говорится в романе почти в каждой главе, в каждом отрывке — об этом „страстном, талантливом, мечтательном и практичном дьявольски“ народе, как сказал о нем герой романа Телегин».¹⁶ Мысль о том, что Алексей Толстой, как реалист новой общественной формации, не только наследовал, но и развивал тур-

¹¹ Там же, стр. 234.

¹² Там же.

¹³ Там же, т. IV, стр. 375.

¹⁴ Там же, т. V, стр. 481.

¹⁵ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 373.

¹⁶ Конст. Федин, Собрание сочинений в девяти томах, т. IX, Гослитиздат, М., 1962, стр. 343.

тургеневские традиции, К. Федин иллюстрирует на примере женских образов романа «Хождение по мукам»: «... Даша и Катя — прекрасные женщины, горячие, самозабвенные в любви, стойкие, терпеливые в несчастье, умные, красивые всегда. У них есть предшественницы, мы знаем этих русских девушек и женщин, определяемых словом — тургеневские, они возвышенны, чисты и, не поступаясь женственностью, никогда не теряют самообладания. Толстой нашел их захлестнутыми великим событием, когда они, как Катя с Рощиным в Ростове, отправлялись с узелком и чайником за спиной вместе с народом на великую муку, и эти тургеневские женщины к своим прежним чертам присоединили новые, поставившие их во времена революции и гражданской войны вровень с мужчиной».¹⁷

К. Федин особенно чуток к тургеневским традициям в творчестве А. Толстого потому, что он и сам является писателем того художественного направления, которое связывают с именем Тургенева.

Федин продолжает прежде всего традиции тургеневского интеллектуализма. Его герои много думают о судьбах родины, о судьбах культуры и искусства — и раздумья эти очень личны для автора. Замысел его романов, как и романов Тургенева («Дворянское гнездо», «Дым»), нередко рождается из интимных впечатлений лирического свойства. Так, его трилогия «Первые радости», «Необыкновенное лето» и «Костер», как рассказывает автор, была задумана под впечатлением как бы впервые им увиденного прекрасного зимнего города, в котором бился пульс обновленной жизни. Возникло стремление рассказать об одной женской судьбе, судьбе актрисы. Затем рамки романа расширились, темой его стала сама история, жизнь русского общества на протяжении полувека начиная с предреволюционных лет. Но и в новом своем виде трилогия выбрала в себя заветные черты первого замысла. Через все повествование проходит история русской женщины Анны Парабукиной, идущей по жизни об руку с главным героем романа Кириллом Извековым.

Кирилл Извеков — герой революционной эпохи. Но он живет и действует в романе на протяжении многих десятилетий, меняясь и отражая в себе характерные черты времени, как менялись от романа к роману герои Тургенева, люди 40-х, 60-х, 70-х годов. —

Федин развивал традиции Тургенева — летописца эпохи, Тургенева-лирика, ваятеля незабываемых женских образов. В романах «Необыкновенное лето» и «Костер» перед нами параллельно проходят судьбы Аси Пастуховой, жены драматурга Пастухова, и Аночки Парабукиной. Оба эти образа олицетворяют верность и преданность любящей женской души, обе женщины исполнены очарования и прелести. Но как различно их нравственное влияние в семье! Деморализованный житейскими невзгодами в дни гражданской войны писатель Пастухов готов идти на поклон к атаману белогвардейской шайки, завладевшей городом. И побуждают его к этому шагу слезы жены, жаждущей безопасности для близких. Сила Аси Пастуховой — в ее слабости.

Побуждения Аночки Парабукиной, актрисы, влюбленной в свое дело, благородны и гражданственны. Ее сила — в независимости цельного характера, в запасе душевной энергии, которой она оделяет и мужа в трудные для него дни, когда заколебалась его вера в себя на посту партийного руководителя.

Женственность не самоцельна, она имеет свои интеллектуальные варианты на разных нравственных уровнях — вот на чем сосредоточил свое внимание Федин, рассказывая о женщинах советской формации.

Приводя наиболее очевидные примеры развития в новой литературе тех или иных линий творчества Тургенева, мы отнюдь не считаем

¹⁷ Там же, стр. 346; см. также стр. 354.

возможным ограничить круг этих наблюдений. На наш взгляд, можно значительно расширить представление о наследовании традиций Тургенева советской литературой.

Тургенев охватил своим писательским взглядом жизнь нескольких поколений. Его творчество отличалось широким стилевым диапазоном, сочетало в себе реализм с элементами романтизма, критическое начало с идеальным, лирическое и психологическое повествование с сатирическим и публицистическим. Тургенев был и поэтом, и прозаиком, и критиком, он работал в различных литературных жанрах. Созданные им очерки, повести и романы являются классическими, вершинными, до настоящего времени «действующими» образцами жанра.

Каждое из художественных завоеваний Тургенева могло развиваться и развивалось в последующей литературной жизни, включаясь в иные, новые художественные системы.

* * *

Из крупнейших советских писателей, наиболее полно осветивших жизнь крестьянства в послереволюционные годы, в первую очередь, должен быть назван Шолохов, автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины». В глубинном и разностороннем раскрытии крестьянской темы Шолохов как бы конденсировал художественный опыт прошлого и опыт молодой советской литературы. Как вершинное явление в русле определенной темы творчество Шолохова соотносимо не только с творчеством Л. Толстого (такие сопоставления уже делались в литературоведении), но и с творчеством Тургенева. Сразу оговоримся: речь идет не о сопоставлении художественных систем *в целом*, не о сближении индивидуально отличных друг от друга писательских натур, а лишь о некоторой общности творческих интересов двух больших художников, о равномасштабном соотношении социальных и нравственных вопросов в их мировосприятии, в их эстетике.

В самом деле, и Тургенев и Шолохов, проявив необычайную зоркость и чуткость к своему времени, обратили взгляд к ведущим силам истории: Тургенев — к расправляющему богатырские плечи крестьянству, к разночинной интеллигенции, тогда еще только начинавшей свой революционный путь и — в контрастном преломлении — к дворянству, уходящему с исторической сцены или вынужденному «опрощаться»; Шолохов — к разбушевавшимся стихиям русского крестьянства на гребне народной революции, к главарям революционной бедноты — и в контрастном преломлении — к агонизирующим, озверевшим силам контрреволюции. Среди милых сердцу автора героев «Поднятой целины» два — Макар Нагульнов и Андрей Разметнов — плоть от плоти народной, потомственные казаки; Давыдов — посланец нового господина истории, пролетариата, рабочая косточка, матрос. В выборе новых положительных героев ярче всего проявилось новаторство Тургенева и Шолохова. Можно не говорить о фабульном содержании «Поднятой целины», поскольку ход событий характеризует «положительность» названных героев на жизненном материале, не подлежащем сравнению с другой эпохой. Но нравственные постулаты, из которых исходит автор в определении духовных ценностей новых героев времени, могут быть соотнесены с этической концепцией Тургенева.

Каким должен быть полезный деятель эпохи в условиях исторического перелома, в атмосфере активной борьбы? Кто, какие люди могут обеспечить прогресс и благоденствие родины?

Тургенев называл совокупность качеств, о которых идет речь, «нравственным составом личности». В период общественного подъема в России накануне революционной ситуации 60-х годов писатель ищет

в жизни и создает собирательный литературный образ натур сознательно-героических, побуждаемых к деятельности высокими идеалами и чувством долга. Что считает Тургенев наиболее важным в «нравственном составе» героической личности? В статье, специально посвященной этому вопросу, он указывает на «веру прежде всего..., веру... в истину, находящуюся *вне* отдельного человека, нелегко ему дающуюся, требующую служения и жертв»; на «преданность к идеалу», на готовность «подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью», жить «вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам... — притеснениям». Такой человек «бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой: ему не до того. Смиранный сердцем, он духом велик и смел..., воля его — непреклонная воля». Подобного рода бескорыстные энтузиасты способны повести за собой великое множество поверивших им людей, без таких энтузиастов «не подвигалось бы вперед человечество» (VIII, 173—174, 189). Собирательный образ героической личности преломился в характерах самых значительных литературных героев Тургенева: мы встречаем его важнейшие черты в Инсарове и частично в Базарове; в Маркелове из «Нови» и в героине замечательного стихотворения в прозе «Порог».¹⁸ Образ был настолько реален, что самим писателем сближался с некоторыми русскими революционными демократами, с Чернышевским.¹⁹ Современники же видели в подобных натурах прообраз будущих преобразователей России, о которых писал, например, Н. П. Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (1861): «...жизнь не останавлилась, обстоятельства усложняются, народные потребности растут и, наконец, вызовут из раскачавшегося общества действительных деятелей, способных на деле разработать рост из существующей почвы и, следовательно, не разделенных от народа. Наши сильные личности впереди».²⁰

Сила положительных героев Шолохова также в крепости их «нравственного состава». Сама жизнь щедро предоставляла писателю материал для наблюдений, но есть у его героев и литературная родословная. И не только Рахметов Чернышевского стоит у истоков этого родословного древа. Мы находим у Давыдова многие качества, определенные Тургеневым для личностей, «подвигающих вперед человечество». Он свято верит в свой идеал — победу мировой революции, верен своему долгу; он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, и, не задумываясь, жертвует жизнью во имя этого дела. Давыдов бесстрашен, терпелив, воля его непреклонна. Он не отличается красноречием, но слово его исполнено силой убеждения, мысль — ясностью целей, и это помогает ему вести за собой крестьянское большинство в труднейшие дни коллективизации.

Из названных качеств важнейшим для героев Тургенева является верность общественному долгу. Однако содержание этого понятия не было стабильным у писателя. Ход истории, развитие народной жизни вносили свои коррективы и обогащали его.

Был период, когда понятие долга сводилось Тургеневым к исполнению суровых нравственных (в духе христианской морали) обязанностей человека перед обществом, к безусловному самоограничению личности,

¹⁸ См. об этом подробнее: Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы. Горький, 1965, стр. 146—163.

¹⁹ См.: Г. Б. Курляндская. Романы И. С. Тургенева 50-х—начала 60-х годов. Казань, 1956, стр. 83 («Ученые записки Казанского ордена Трудового Красного Знамени гос. университета им. В. И. Ульянова-Ленина», т. 116, кн. 8).

²⁰ Н. П. Огарев, Избранные произведения в двух томах, т. II, Гослитиздат, М., 1956, стр. 458.

стремящейся к какому-то своему отдельному счастью. Всякое удовлетворение страстей расценивалось тогда писателем как недопустимое торжество эгоизма, отлучающего человека от служения высоким целям.

Одна из повестей Тургенева 50-х годов, «Фауст», содержание которой — расплата человека за радости любви, кончается суровой нравственной сентенцией: «... жизнь не шутка и не забава; жизнь даже не наслаждение... жизнь — тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы возвышенны они ни были, — исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща» (VII, 50).

Известный трагизм мировосприятия остается у Тургенева и в дальнейшем, но поэзия и философия отречения постепенно исчезают из его произведений. «Возрожденческий» пафос теории разумного эгоизма, проповедовавшейся писателями революционно-демократического направления, в период общественного подъема в России по-своему захватывает и Тургенева. В «Дворянском гнезде» идеи долга и жертвенности «оркестрованы» уже в совершенно иной тональности, чем в «Фаусте». Никому не принес пользы уход Лизы Калитиной в монастырь — и значит, бессмысленно отречение, совершенное ею по чувству долга. Жизненный опыт смирившегося Лаврецкого также не влек за собой вывода о пагубности всяких страстей вообще. Изуродованный спартанским, однородным, аскетическим воспитанием юноша не смог отличить истинных ценностей любви от влечения к соблазнительной женщине. А имел ли он вообще право на любовь женщины, если поставил себе целью найти свое дело на земле, стать хорошим хозяином, понять народную правду? Да, если женщина будет другом, а не хищным зверьком, не бездушной самкой, как Варвара Павловна, его жена. Еще только в мечтах, не уверенный в своей правоте представлял себе Лаврецкий возможности сочетания двух идеальных начал: любовного и гражданского. «... Лиза не чета той: она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не отвлекла бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед к прекрасной цели» (VII, 226).

В романе «Накануне» открывается еще больший простор для свободного любовного чувства, которое обогащает человека в его деяниях: героиня, по-своему понимая нравственные законы долга, уходит за возлюбленным туда, где решалась участь его родины. Исполнена любви и товарищества нравственная атмосфера романа «Новь», где ставятся сложнейшие вопросы революционных исканий русской интеллигенции. Показаны эти искания так, как они происходят в жизни: в тесной взаимосвязи личных и общественных импульсов.

Для многих писателей нашего века также характерна некоторая эволюция в отношении к любовной теме. В первые послереволюционные десятилетия этическая концепция долга перед народом, высокого служения родине нередко подавляла поэзию чувств камерных, интимных, первозданно личных. Суровые будни суровых лет определяли и некоторую приглушенность любовных мотивов.

Нельзя сказать, что любви вообще не было места в молодой советской литературе. Мы говорим о тургеневских традициях в освещении любовного чувства, о любви, которая непосредственно связана с исполненными очарования и силы женскими образами.

Как говорил А. Фадеев в 1944 году, «преклонение Тургенева перед женственностью..., в котором есть свое обаяние, необычайная пре-

лесть, своя правда... — это то, чего недостает нашей литературе, которая чрезмерно натуралистична, приземлена».²¹

Новое «открытие» любви как той сферы человеческих отношений, в которой наиболее полно обнаруживается духовное содержание личности, произошло в связи с общим повышением интереса к нравственным проблемам жизни нашего общества.

Любопытно стремление некоторых современных писателей вернуться к прошлому в изображении женских характеров на разных этапах нашей полувековой истории начиная с революционных лет. Об этом прямо говорит В. Катаев в недавно опубликованной повести «Трава забвения»: «Что меня заставляет писать о ней, о мало мне знакомой — может быть, даже выдуманной — женщине Клавдии Зарембе?.. Откуда идут эти настойчивые требования написать портрет молодой женщины, героини первых лет революции?» Молодых писателей упрекали в том, что «они не пишут о революции и отмалчиваются, ссылаясь на то, что нет сюжетов, нет героинь».²² И Катаев по канве сохранившихся воспоминаний воссоздает историю героини, которая в литературу революционной эпохи должна прийти, отличаясь в чем-то существенном, по мысли автора, от тургеневской Елены, гончаровской Верочки, Веры Павловны Чернышевского и в то же время наследуя их незабываемо прекрасные черты. Это — история любви молодой коммунистки, которая влюбилась в преследуемого ею, по заданию Чрезвычайной комиссии, врага — белого штабс-капитана и, верная долгу, обрекла его на смерть, а себя на нечеловеческие страдания. Как легко заметить, приведенный сюжет почти полностью повторяет сюжет романтической повести Б. Лавренева «Сорок первый». Но В. Катаев поставил себе задачей рассказать о старом «совершенно по-новому, небывало» — он и рассказывает свою историю в новой манере свободного размышления с широким кругом ассоциативных впечатлений и идей... Но как отчетливо встает за образом Клавдии Зарембы, перешагнувшей порог привычного, вступившей на трудную стезю политической борьбы, тень другой девушки, готовой и к подвигу, и к жертве во имя свободы. Речь идет о стихотворении в прозе «Порог».

Особой сферой, в которой наиболее часто Тургенев сопоставляется с писателями нового времени, является мир русской природы. И действительно, можно назвать множество имен из числа русских и, в частности, советских писателей, которые так или иначе преломляли в своем творчестве тургеневскую философию природы или его художественную манеру в искусстве словесного пейзажа. Здесь естественно было бы вспомнить поэта и мыслителя, ученого-природоведа и страстного охотника М. Пришвина, который «свою душу, себя в незнакомой природе отразил или, наоборот, незнакомую природу отразил в зеркале своей души».²³

Если для Пришвина характерно влечение именно к *незнакомой* природе, глубокая познавательная страсть, то в творчестве другого писателя и страстного охотника, И. С. Соколова-Микитова, нас захватывает сильнее всего поэзия простых и эмоционально знакомых каждому человеку примет родины, цвета и запахи родных лесов и полей.

Как отметил А. Твардовский, «характером своего письма — неторопливого без топтания на месте, обстоятельного без мелочных излишеств детализации, певучего без нарочитой ритмической „озвученности“» И. С. Соколов-Микитов более всего обязан классической русской тради-

²¹ А. Фадеев, Собрание сочинений в пяти томах, т. V, стр. 234.

²² «Новый мир», 1967, № 3, стр. 79—80.

²³ М. Пришвин. Дневники 1948 г. Запись 20 февраля.

ции, «И. С. Тургеневу с „Записками охотника“ в первую очередь».²⁴

Многообразно отзывалась лирическая устремленность таланта Тургенева в литературном наследии Паустовского. К сожалению, автор известной монографии о творчестве Константина Паустовского Л. Левицкий не включает Тургенева в число писателей, «избирательно» значимых для Паустовского — ни в русле стихийной, ни в русле сознательной «избирательности». Не включает на том основании, что Тургенев в одном из своих подверженных минутному настроению писем говорит о недопустимости личного, субъективного начала в описаниях природы и человека, и — что уж совсем удивительно — на том основании, что чуждую Паустовскому философию природы проповедует... Базаров.²⁵

Справедливо указывая на творческую близость Паустовского Чехову, Бунину, Пришвину, Л. Левицкий несправедливо обходит своим вниманием Тургенева. Между тем сам Паустовский в числе писателей, «творческая манера» которых его привлекла, на втором месте после Чехова называет Тургенева.²⁶ Отдает должное Тургеневу и Паустовский — ценитель сокровищ русского языка. В статье «Живое и мертвое слово» он пишет: «Наш язык — наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость! Глубоко прав Тургенев, сказавший, что такой великий язык мог быть дан только великому народу».²⁷

Но и без этих прямых указаний на Тургенева ясно, что в творчестве Паустовского, автора многих рассказов о простых русских людях — об их природной талантливости («Во глубине России», «Стекольный мастер»), душевной отзывчивости («Старый челн», «Синева», «Снег», «Дождливый рассвет»), об их скромных и будничных подвигах («Колотый сахар», «Беглые встречи», «Доблесть») — и о рядом с ними живущих людях, черствых, равнодушных к злу и добру, потерявших чувство «народной правды», нашли продолжение гуманистические традиции Тургенева, автора «Записок охотника». Мы имеем в виду жизненный материал этих рассказов и их нравственную ориентацию. Ясно и то, что в искусстве Паустовского — одного из лучших пейзажистов наших дней — нашли отклик и получили новую жизнь литературные заветы Тургенева, певца русской природы. О психологичности и лиризме пейзажа Тургенева написано достаточно много — здесь не требуется открывать Америк. Пейзаж его не автономен и не самоцелен, он органично включен в духовный мир человека. Он трагичен и зловещ, как зловеще грозное небо в «Фаусте», когда его не могут видеть иным предчувствующие трагический исход своей любви герои. Он знакомо, печально гостеприимен, когда разворачивается перед глазами вернувшегося на родину Лаврецкого. Он прост и разъят на элементы, когда характеризует рационализм Базарова. Пейзаж входит неотъемлемой частью в концепцию человека и родины у Тургенева и Паустовского. И Тургеневу и Паустовскому в высшей степени присущи многокрасочность восприятия мира и тот «свойственный всякой мировой душе симфонизм», о котором говорил Ив. Бунин, т. е. «не столько логическое, сколько музыкальное построение художественной прозы с переменами

²⁴ А. Твардовский. О родине большой и малой. В кн.: И. Соколов-Микитов, Сочинения в двух томах, т. I, изд. «Художественная литература», М., 1959, стр. 7.

²⁵ См.: Л. Левицкий. Константин Паустовский. «Советский писатель», М., 1963, стр. 213, 180—181, 274.

²⁶ К. Паустовский. Поэзия прозы. В кн.: Советы молодому автору. М., 1965, стр. 275.

²⁷ Там же, стр. 291.

ритма, вариациями, переходами от одного музыкального ключа в другой... и пр.»²⁸

Музыкальные, звуковые впечатления у обоих писателей отличаются тончайшими нюансами и не только сообщают нужную тональность лирическому повествованию, но и чрезвычайно точны, реальны сами по себе, удивительны по умению «слушать» жизнь родной природы. Вспомним рассказ Тургенева в «Дворянском гнезде» о медленной, замершей жизни сельца Васильевского с ее редкими звуками деревенской тишины, тишины морского дна. Эта тишина, эти звуки коснулись заветных струн сердца Лаврецкого — «никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины». Три разных тишины перед дождем, услышанные Паустовским, также не самоцельны, они выражают его теснейшее духовное приобщение к жизни полюбившейся ему средней России. В рассказе «Умолкнувший звук» в ритме волн, набегających на берег, писатель узнал гекзаметры Гомера и понял, почему их создал именно такими слепой певец: тайна поэзии, связанной с реальными обстоятельствами жизни, открылась писателю в симфонии морского прибоя.

Много сходного и в отношении обоих писателей к слову — народному и литературному: метрически организованному, как бы задумчивому в размышлениях, и мускулистому, активному в диалоге, в прямой речи. Даже в автобиографическом жанре, в житейских воспоминаниях Тургенева и Паустовского одинаково сложно и поэтично сочетаются между собой собственно мемуарный, информационный слог и стиль стихотворений в прозе.²⁹

Есть родственные Тургеневу черты в лирическом строе повествования и другого советского писателя — Ю. Казакова. Размышления Казакова о жизни уходящей и о жизни расцветающей по-тургеновски элегичны, проникнуты чувством единения с миром вечно обновляющейся природы. В рассказе «На охоте» много общего с философскими настроениями «Поездки в Полесье», «Довольно» Тургенева. В своем величественном круговращении природа равнодушна к радостям и тревогам человека. Когда-то охотник Петр Николаевич был так же молод и неутомим, как его сын Алексей, изведавший восторги первой охоты в тех же краях, что и отец. Поросли травой следы бывших охотничьих стоянок, постарели седые ели, поубавилось сил у отца, но на его глазах в сыне торжествовала молодость с ее жаждой впечатлений, деятельной энергией, радостями первооткрытия, — и, грустно смирившись, исполненный доброжелательства к новой жизни отец ведет сына по заветному краю своей молодости, где он, в свою очередь, перенимал когда-то заветы отца... В рассказе «Старики» судьбы двух чудаков раскрываются в их социальной типичности и в их психологической индивидуальности, как судьбы людей в «Старых портретах», в рассказах «Отчаянный», «Конец».

Есть у Казакова, как и у Тургенева, чудесные рассказы о детях. Трудно не вспомнить «Бежин луг», когда встречаешься с тихим мечтательным Никишкой в рассказе «Никишкины тайны», со смелым крестьянским мальчишкой Яшкой в рассказе «Тихое утро». Казаков, как и Тургенев, внимательно приглядывается к миру детской души, его интересует, как и Тургенева (вспомним рассказ «Часы»), процесс становления личности с первых лет жизни; его симпатии — на стороне натур сильных, добрых, душевно богатых. И сам интерес Казакова к детской теме находится в русле тургеновской заботы: как «человека из себя делать» (Письма, III, 238).

²⁸ «Новый мир», 1967, № 3, стр. 43.

²⁹ См. применительно к Паустовскому: Т. Хмельницкая. Лирика в прозе, «Нева», 1956, № 8, стр. 165.

Можно говорить и о созвучии некоторых мотивов в творчестве Тургенева и В. Солоухина. Сам Солоухин называет многие имена русских классиков, к голосу которых «надо прислушаться» («Владимирские проселки»), и среди них чаще всего упоминается С. Т. Аксаков. Эпиграф из Аксакова об искусстве художественного повествования предпослан «Капле росы». И все же писательская позиция Солоухина с ее поэтическим видением природы и человека, с ее обостренным чувством современности содержит в себе и много тургеневского. Интерес к русскому национальному характеру органичен для творчества Солоухина, как и для творчества Тургенева. Вспомним героев В. Солоухина из «Владимирских проселков», например председателя «Красной нивы» Сергея Ефимовича Ваняткина, в колхозе у которого «чистота, порядок, какая-то хозяйственная основательность во всем, на что бы ни упал взгляд» («День первый»), а где-то рядом живут и такие люди, как старый учитель, научивший талантливого паренька Захарку «красоту видеть» («День девятый»), как бурдачевский сапожник Петруха, «личность замечательная», любитель-рыболов, человек одержимый, «артист и, видимо, немного поэт» («День четырнадцатый»). Не дальних ли потомков Хорей и Калинычей встретили мы у Солоухина? Не с Тургеневым ли он единоклубен в той своей «пристальной сыновней и художнической преданности ненаглядной красе русской земли», о которой пишет Л. Леонов?³⁰

Еще очевиднее тургеневская струя в поэзии Солоухина. Его нерифмованные стихотворения по философской и лирической своей тональности во многом напоминают стихотворения в прозе Тургенева. Да и по манере своей сочетать реальное («чтоб хлеб, а не писанный пряник»), иногда почти газетную хроникальность событий с миром большой мечты и с поэзией познания (стихотворения «Счастье», «Жить на земле...», «Каждый день по утрам...») Солоухин близок к Тургеневу.

* * *

Мы отмечаем только некоторые черты общности с Тургеневым в творчестве разных писателей, не говоря о различиях. Но и сказанного достаточно, чтобы прийти к заключению о многообразии путей наследования вообще. В самом деле, кем больше был Тургенев: писателем острого социального взгляда, критически настроенным реалистом, активным деятелем общественной борьбы или лириком со склонностью к созерцательности, романтиком, поэтом прежде всего? Он был и таким и таким. Он мог давать и претворять в жизнь «аннибалову клятву» борьбы, восхищаться подвигами Гарибальди, срывать маски с цивилизованного варварства, открывать в недрах народной жизни ее революционные начала и дерзко бросать вызов в лицо господствующим классам. «*Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса*» (Письма, IV, 380), — писал он об «Отцах и детях», писал, несмотря на свою кровную принадлежность к этому классу. И он мог с той же искренностью эстетически сожалеть об оскудевании милых его сердцу «дворянских гнезд», в историческом масштабе надеяться на нравственные силы самоусовершенствования, уповать на реформы, не признавать революций, проповедовать доброту, быть поэтом тишины и печали. Все это естественно совмещалось в одном таланте, вобравшем в себя многообразные заботы века.

³⁰ Владимир Солоухин. Лирические повести. Изд. «Московский рабочий». М., 1961, стр. 4.

Новому веку он передал то, в чем нуждались его потомки, черпавшие из того источника, который был им необходимей и ближе. Вот почему можно говорить с равным правом о тургеневских традициях, усвоенных и А. Толстым, и Фединым, и Шолоховым, и Паустовским, и Припвиным, и Соколовым-Микитовым, и Казаковым, и Солоухиным — писателями, столь не похожими друг на друга ни по характеру таланта, ни по восприятию жизни.



О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МАНЕРЕ ТУРГЕНЕВА

(ТУРГЕНЕВ И ДОСТОЕВСКИЙ)

Психологическая манера Тургенева чаще всего определяется сопоставлением ее с психологическим методом Л. Толстого. Действительно, «тайная» психология Тургенева и толстовская «диалектика души» настолько противоположны, что сопоставление их напрашивается само собой.¹ Гораздо реже сравниваются в современном литературоведении принципы изображения душевной жизни человека у Тургенева с манерой Достоевского, хотя совершенно очевидно, что и эта параллель может принести плоды. И в старое время, и в наши дни устанавливалась прежде всего связь и близость обоих писателей в их подходе к человеку в 40-х годах, в начале их творчества. Говорилось о влиянии «Бедных людей» Достоевского на поэтику других представителей натуральной школы, разрабатывавших тему забитого, угнетенного, униженного человека.² Для Достоевского эта тема и эта психология оказалась значительной на протяжении всего творчества, у Тургенева она уступила место другим социально-психологическим проблемам и прежде всего вопросу о «лишнем человеке», его сознании, его психологическом облике, его идейном мире.

Тема эта, однако, не чужда была и Достоевскому. У него тоже были свои «лишние люди», неприспособленные к жизни романтики, мечтатели, погруженные в себя, вроде Ордынова в «Хозяйке» (1847) или героя «Белых ночей» (1848). В новом психологическом облике человек, разорвавший связь с миром и уединившийся навсегда, предстал много лет спустя в знаменитых «Записках из подполья» (1864). В психологическом облике этого человека появились мучительство и самоистязание, доведенные до предела. Эта черта, характерная, казалось бы, прежде всего для героев Достоевского, была уже гораздо раньше у тургеневского Гамлета Щигровского уезда (1849), страшно самолюбивого человека, упоенного самоанализом и познавшего жестокую отраду самобичевания. «Словно опьяненный презреньем к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям», — говорит о себе тургеневский герой, предвосхищая психологический облик подпольного человека, у которого эгоизм перешел в собственную противоположность, в стремление к несчастью, в самопожертвование наизнанку, в готовность на любые лишения ради самоуслаждения страданием. В еще большей степени обнаруживаются черты сходства подпольного человека Достоевского с главным героем «Дневника лишнего человека» (1850—1856).

Можно ли в данном случае говорить о прямом влиянии только что названных рассказов Тургенева на «Записки из подполья» или сход-

¹ См.: Г. Б. Курляндская. 1) Романы И. С. Тургенева 50-х—начала 60-х годов. «Ученые записки Казанского университета», т. 116, кн. 8, 1956; 2) Метод и стиль Тургенева-романиста. Тула, 1967; Г. Бялый. Тургенев и русский реализм. «Советский писатель», М.—Л., 1962.

² В. Виноградов. Тургенев и школа молодого Достоевского (конец 40-х годов XIX века). «Русская литература», 1959, № 2, стр. 45—71.

ство вызвано самими историческими условиями, породившими черты психологического подполья у «лишних людей» конца 40-х годов, — в любом случае сходство психологического рисунка персонажей и самой манеры их изображения у писателей, так не похожих друг на друга, знаменательно. Укоренившееся представление о кардинальной противоположности психологической манеры Тургенева и Достоевского, очевидно, сильно преувеличено. Не могло не быть значительного сходства у писателей, подходивших к человеку прежде всего со стороны его идейного мира, ставивших своей целью изучение форм сознания современного человека, недовольного жизнью и измученного ею. Сюда входил и интерес к тем болезненным изломам сознания, которые сопутствуют напряженной работе мысли и совести. Не надо забывать, что у обоих писателей идейное наполнение личности рассматривалось как нечто, захватывающее человека вполне, пронизывающее весь его мир, определяющее его поведение и нравственный строй. Другое дело, что на фоне общего сходства черты различия особенно резко бросались в глаза.

Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся сначала к более подробному анализу родственных произведений обоих писателей — к «Дневнику лишнего человека» Тургенева и «Запискам из подполья» Достоевского в их соотношении. Прежде всего можно отметить некоторые черты формального сходства и сюжетных совпадений. Оба произведения написаны в форме воспоминаний, от лица человека, уже пережившего свою молодость: одному за 30 лет (у Тургенева), другому (у Достоевского) — за 40. В центре повествования — рассказ о неудавшихся и мучительных отношениях героя с молодой девушкой, которую, кстати сказать, в обоих произведениях зовут Лизой. Этот новеллистический эпизод подан как своеобразный аргумент или пример, который должен подтвердить правильность рассуждений героя о том, что представляет собою он сам как социально-психологический тип. Оба рассказчика пишут не для читателя, а для себя, они подчеркивают это, но в то же время как бы чувствуют читателя, ориентируются на него и нередко прямо обращаются к нему.

Всего интереснее, однако, не эти внешние, хотя и очень характерные, черты повествовательной манеры, общие для обоих произведений, но и разительные черты сходства в самом психологическом облике героев. У обоих в натуре — мнительность, подозрительность, натянутость, и это с самого детства. Оба страшно одиноки и оторваны от живой жизни и «естественного порядка вещей», которого не понимают именно в силу своей отвлеченности. «... Наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, так же неспособен понять, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами» (5, 198),³ — говорит о себе герой Тургенева, но это в равной мере характерно и для героя Достоевского, который всегда попадает впросак при столкновении с реальной жизнью, который ждет от людей того, чего они не собираются делать, и, напротив, не предвидит их самых натуральных поступков. Достаточно вспомнить хотя бы мучительнейший эпизод в ресторане, чтобы убедиться в этом. Примеры таких элементарных просчетов настолько многочисленны, что их можно не приводить вовсе. «Вообще наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться» (5, 201). Это опять-таки говорит о себе тургеневский герой, не предвидевший даже такого естественного хода вещей, как вторичный визит к Ожогиним князя, его соперника, которому явно приглянулась Лиза. Точно так же герой Достоевского не мог предвидеть такой

³ Тургенев цитируется по «Полному собранию сочинений и писем» (изд. «Наука», 1960—1968; курсивом выделен номер тома), Достоевский — по «Полному собранию художественных произведений» (ГИЗ, М.—Л., 1926—1930; римская цифра — том, арабская — страница). Тома писем обозначаются буквой «П».

простой вещи, что его Лиза, придя к нему домой и увидев, что он несчастен, пожалеет его со всей простотой и естественностью обыкновенного, нормального человека.

Оба героя несчастны и робки от самолюбия, принимающего в повести Достоевского гигантские размеры, оба погружены в свои одинокие мысли, в мельчайшие наблюдения, причем «их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу», как замечает тургеневский Чулкатурин, хотя это мог бы сказать о себе и герой «Записок из подполья». В трудных случаях жизни оба героя, точно загипнотизированные своим несчастьем, не могут выйти из мучительного положения и, как в дурном сне, оказываются прикованными к месту своего мучения, хотя, казалось бы, имеют полную возможность встать и уйти. «Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напряженное желание уйти — все это, вероятно, было весьма замечательно в своем роде» (5, 202), — говорит Чулкатурин, и ему вторит его двойник, человек из подполья: «Да чего тут! Сейчас же, сию минуту, встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова... Из презренья... Сию минуту уйду!..» И сразу вслед за этим: «Разумеется, я остался» (IV, 158). Характерно здесь не только само душевное состояние, которое роднит обоих героев в сходных положениях, но и тот тон ядовитого презрения к себе, которым проникнуты их воспоминания о подобных эпизодах. «...Ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали» (5, 203), и в этом состоянии герой Тургенева, подобно своему подпольному собрату, становится смешон при всей жгучей истинности и глубине переживаемых им страданий. «...Я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастья» (5, 204) — вот еще одна характерная психологическая черта обоих героев: занятый прежде всего собой, погруженный в свои переживания, одинокий, вернее — уединившийся человек начинает если не любить свое несчастье, то во всяком случае — любоваться им. Он узнает, наконец, «сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания своего собственного несчастья» (5, 219). У героя Достоевского эта черта особенно сильно развита, он неоднократно подчеркивает ее и даже как бы настаивает на ней. «...Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения» (IV, 112—113), — говорит он и затем подробно комментирует природу и генезис замеченного им у себя психологического парадокса.

Еще одна важная черта внутреннего мира и подпольного и «лишнего» человека — это злость. «Записки из подполья» так именно и начинаются: «Я человек больной... Я злой человек». Подпольный герой и потом много раз возвращается к этой автохарактеристике, подтверждая ее и тем эпизодом с Лизой, в котором эта черта особенно ярко проявилась. У Тургенева мотив злости также занимает видное место в психологическом самоанализе, которому подвергает себя «лишний человек». Вот пример. На балу он замечает, к несчастью, слишком явные приметы влюбленности Лизы в князя. «Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто тронуло, а наконец взбесило. Я внезапно почувствовал себя необыкновенно злым и, помнится, необыкновенно обрадовался этому новому ощущению и даже возымел некоторое к себе уважение» (5, 209). В злости герой Тургенева находит некое самоутверждение, вот почему чувство злости помогает ему в ту минуту, когда это самоутверждение ему особенно необходимо, т. е. во время дуэли. Он нервничает, волнуется и больше смерти боится показаться трусом своему самоуверенному светскому противнику. «Я внутренне посылал свои нервы ко всем чертям; но, взглянув, наконец, прямо в лицо князю и уловив на губах его почти незаметную усмешку, вдруг опять разозлился и тотчас успокоился» (5,

215). Здесь все близко Достоевскому, не только общая психологическая схема, но и стилистические особенности: дважды употребленный в одной фразе эпитет «необыкновенно» в первой цитате и столь характерное для Достоевского словечко «вдруг» во второй.

Итак, мы можем констатировать сходство психологической манеры Тургенева и Достоевского, сходство временами поразительное. И оно не должно нас удивлять. В пору «Записок из подполья» Достоевский много думал о «лишних людях», уступающих сейчас свое место «почвенным» силам русской жизни. В «Объявлении о подписке на журнал „Эпоха“ 1865 год» он писал: «Мы видим, как исчезает наше современное поколение, само собою, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих „лишних людей“» (XIII, 520). Признания каких «лишних людей» имел в виду Достоевский — Гамлета Щигровского уезда, Рудина или Лаврецкого, сказать трудно. Во всяком случае, говоря о «лишних людях», он не мог не обратиться мысленно к тому единственному герою Тургенева, который самим автором был назван этим именем. В этой связи следует вспомнить пронизательное замечание А. П. Скафтымова в его исследовании о «Записках из подполья»: «За вычетом выпрямленности, крайней последовательности и конечной осознанности герой подполья является для Достоевского одним из тех „лишних людей“, о коих он писал в „Объявлении Эпохи“ на 1865 г.».⁴ Приведу еще один факт этого же рода. Задолго до А. П. Скафтымова, в 1904 году, С. Н. Трубецкой, рассуждая о героях Чехова и Горького, мимоходом сказал: «Тургенев впервые отметил появление лишнего человека, Достоевский показал, какое пакостное, дрянное и вредное маленькое животное может жить иногда в такого рода субъектах, как безмерно их самолюбие, как растет их жестокий, чудовищный эгоизм (Записки из подполья)».⁵ Оставляя в стороне характеристику подпольного героя, обратим внимание на то, что он рассмотрен здесь как своеобразное продолжение и развитие тургеневского «лишнего человека». Для С. Н. Трубецкого это настолько очевидно, что он даже не считает нужным аргументировать свое положение.

При таком близком, бросающемся в глаза родстве персонажей Тургенева и Достоевского сходство в методах психологического анализа было более чем естественно. Однако сходство не есть тождество, и различия, о которых пока не было речи, так же несомненны и разительны, как черты близости. Прежде всего это различие количественное, различие в силе и напряженности родственных или даже одинаковых психологических состояний. Возьмем, например, чувство злости, которому оба автора придают большой смысл. Мы видели, как оно изображается у Тургенева. Будучи следствием болезненности и социально-психологической ущербности человека, оно, однако, проявляется у него в пределах психологической нормы. В отличие от Тургенева Достоевский не только не стремится к этой норме, но сознательно ее отрицает и всегда стремится нарушить ее. Его герой, например, не просто зол со всеми вытекающими отсюда последствиями, он зол до трудно представимой степени, до такой степени, что со злости готов даже обогатить самого себя. «Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие», — говорит он (IV, 109), но в следующем же абзаце заявляет: «Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал» (IV, 110). А так как быть злым, озлобленным есть все-таки некая позиция, даже не без оттенка возвышенности, чего подпольный человек за собой признать не хочет (и именно со злости и от презрения не хочет), то он зло-

⁴ А. Скафтымов. «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского. «Slavia», 1929, гоѡ. 8, сеѡ. 2, s. 331.

⁵ Проф. кн. С. Н. Трубецкой. Лишние люди и герои нашего времени. «Научное слово», 1904, кн. II, стр. 35.

радно заявляет, что «в сущности никогда не мог сделаться злым». «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым» (IV, 110). Так у Достоевского психологическое состояние, достигая мыслимого для него предела, превращается в психологический парадокс.

Вот еще пример этого рода. Герой рассказывает, иронически, разумеется, как в мечтах он иной раз погружался во «все прекрасное и высокое», и тут же спорит с вымышленным противником (это частая черта у Достоевского, идущая еще от «Бедных людей»), спорит с тем, кто заметил бы ему, «что пошло и подло выводить все это теперь на рынок». Затем после короткого спора с противником он все-таки соглашается с ним: «А, впрочем, вы правы, действительно и пошло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь, все будет одно другого подлее...» (IV, 147). Это уже не просто самоосуждение, а высший градус его, это заострение психологического состояния, доведенное до трагического гротеска, до фантастики, до беснования, которое автор прерывает только потому, что в принципе оно может продолжаться бесконечно. У Тургенева такого рода психологический анализ был бы невозможен.

Чтобы различие методов выступило наглядно, сопоставим сходные ситуации в обоих произведениях. Оба героя, находясь в обществе, чувствуют себя оскорбленными и желают наказать присутствующих презрением. У Тургенева дело происходит на балу, у Достоевского — в ресторане. Герой Тургенева холодно и развязно подходит «к одной длиннотейшей барышне с красным и глянцевитым носом» (5, 209) и приглашает ее танцевать. Он нарочно усаживается с нею напротив князя и пускается «критиковать все и всех на свете, особенно напирая на столичных молодчиков и петербургских мирлифлеров» (5, 210), кончается это все ссорой с князем и вызовом его на дуэль. Герой страдает невыносимо, однако страдания его некрасивы и смешны, его «мести» никто не замечает, сам он натянут и неестествен, но при всей неестественности и даже болезненности своего состояния он действует в пределах нормальной логики чувства. Герой Достоевского ведет себя иначе: он принимается молча ходить от стола до печки и обратно, презрительно улыбаясь и желая обратить на себя внимание; его, так же как у Тургенева, никто не замечает, а он продолжает ходить, нарочно стуча сапогами и становясь на каблуки. «Я имел терпенье проходить так, прямо перед ними, с восьмью до одиннадцати часов все по одному и тому же месту, от стола до печки и от печки обратно к столу». У него кружится голова, минутами ему кажется, что он в бреду. «В эти три часа, — вспоминает он, — я три раза вспотел и просох», и эта «низкая» деталь, переданная с ядовитой точностью («три раза»), отражает безмерность презрения героя к себе и безмерность его тогдашнего унижения. «Порой, с глубочайшею, с ядовитою болью вонзалась в мое сердце мысль: что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет (опять усиление и нагнетание, которое может продолжаться до тех пор, пока его не остановишь, — Г. Б.), а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни» (IV, 160—161). Три превосходных степени рядом как нельзя более характерны для стиля психологического анализа в «Записках из подполья». Такой стиль решительно противопоставлен Тургеневу.

«... Сам чувствуешь, что до последней стены дошел...» (IV, 113) — говорит по другому поводу герой Достоевского, именно в таком состоянии он и становится интересен автору. Тургенев же интересуется своим героем в любом состоянии. Но даже в иных случаях и доводя своего героя до «последней стены», он все-таки чуждается психологической гиперболи-

зации и парадоксальных поворотов чувства. Возьмем тургеневского героя в самые мучительные минуты его жизни. На балу он испытывает «невыносимые мучения» (5, 210). Свои переживания на первом вечере в присутствии князя у Ожогиных он сравнивает со страданиями того молодого лакедемонца, который, «не пикнув», позволил лисице «съесть все свои потроха». «Я не могу найти лучшего сравнения для выражения моих несказанных страданий в течение того вечера, когда я в первый раз увидел князя подле Лизы» (5, 202). Авторская характеристика мучений героя ограничивается здесь хотя и выразительными, но в то же время сдержанными эпитетами («невыносимые мучения» и «несказанные страдания»). Кроме того, самый прием сравнения переносит внимание на другой объект и этим как бы смягчает ощущение боли. Далее (в эпизоде у Ожогиных) показано, какую форму принимают страдания героя; самое выразительное здесь — это «тоскливое и напрасное желание уйти» (об этом уже была речь в другой связи) и смешная попытка «простить» Лизу, вовсе не чувствовавшую своей вины, а потому ничего не понявшую. При этом герой «придал лицу своему необыкновенно живое и развязное выражение, криво усмехнулся, протянул руку над головой в направлении потолка... и даже собирался повернуться на одной ножке...», однако не повернулся, боясь упасть по причине какой-то неестественной окоченелости в коленях» (5, 203).

Это одно из наиболее близких к Достоевскому мест по беспощадности самоизобличения, по соединению смешного с мучительным, по жестокой выразительности физических деталей, вроде «неестественной окоченелости в коленях». Это почти как у Достоевского, но именно *почти*: даже и здесь чувствуется грань, разделяющая обе манеры. У Тургенева мучительный эпизод ограничен минутами; это не три часа хождений героя Достоевского от печки к столу; герой Тургенева, как и подпольный человек, не забудет пережитого до конца своих дней, но он не скажет об этом с задыхающейся интонацией Достоевского («десять лет, двадцать лет, сорок лет...»).

Иногда у Тургенева изображение мучительных переживаний человека, дошедшего до «последней стены», смягчается особым строем повествования: то вводится прием сравнения (как в приведенном примере с молодым лакедемонцем), то появляются спокойные, строго упорядоченные синтаксические конструкции с элементами ритмизованной прозы, как такая, например, развернутая фраза: «Когда страдания доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными... Но нет! смех не только сопровождает слезы до конца, до истощения, до невозможности проливать их более — где! он еще звенит и раздается там, где язык немеет и замирает сама жалоба...» (5, 218). Здесь функцию смягчения выполняют синтаксические и ритмические средства, а также некоторое тяготение всей фразы к афоризму, т. е. к такому построению, при котором данный конкретный случай как бы отдаляется от нас самим фактом переноса в категорию всеобщего.

Чаще же всего Тургенев не доводит свое изображение до такой черты, где нужно было бы прибегать к смягчению. Так, состояние Чулкатурина перед поединком передается такими скупыми и скромными средствами: «Я... сам чувствовал себя бледным, и руки мои, к страшной моей досаде, слегка дрожали... горло сохло» (5, 215). После дуэли: «Я взглянул на его (раненого великодушного противника, — Г. Б.) побледневшее лицо, на этот окровавленный платок и, совершенно потерявшись, пристыженный и уничтоженный, стиснул ему руку...» (5, 216). Для тургеневского метода в данном случае характерно определение «слегка» в первом примере (руки «слегка дрожали») и единственный, до банальности простой жест, в котором сказалась «уничтоженность» героя, — во втором примере («стиснул ему руку»).

Стоит отметить еще одну черту несходства между психологической характеристикой героя у Тургенева и Достоевского. Подпольный человек после длительных размышлений, проб и тяжких неудач совершает иной раз действия, не имеющие никакой практической мотивировки и порожденные только игрой самолюбия, злости, жаждой самоутверждения и т. д. Таково, например, почти маниакальное его стремление «состукнуться» с офицером, не уступавшим ему дорогу на тротуаре. Герой Тургенева может быть смешон в своей болезненной амбиции, он может быть жалок в общении с людьми и наедине с собой, из самолюбия и мнительности он при всем своем уме может делать очевидные глупости, но все это у него будет происходить во вполне обычных житейских взаимоотношениях и столкновениях, а не в той безвоздушной атмосфере, в которой нередко протекают психологические процессы у человека из подполья.

Все эти резкие черты несходства порождены, разумеется, не просто различием художественного темперамента писателей: мягкой сдержанностью одного и «жестокостью» другого, а различием их художественных целей. Тургенев при анализе того или иного социально-психологического типа стремится выяснить его сущность и природу, он хочет показать, что представляет собою этот тип как культурно-историческое явление, каковы главные черты его характера, как этот характер проявляется в обычной жизни и в тех чрезвычайных обстоятельствах, которые безошибочно проверяют жизненную ценность человека (любовь, ревность, крутые столкновения с людьми и т. д.). Цель Достоевского иная, он идет дальше Тургенева и применяет другой метод выяснения сущности социально-психологических явлений. Для него эта сущность раскрывается не в сегодняшнем состоянии факта, а в том, к чему он ведет, во что может и должен прорасти при крайнем развитии его характерных свойств. Понять явление для Достоевского значит довести его до предела, до «последней стены».

Сущность явления для Достоевского проявляется только в гипертрофированном состоянии, в такой его форме, когда дальнейшее его развитие становится уже невозможным. Так, в «Записках из подполья» речь идет о гипертрофии сознания уединившегося человека. Доведенная до предела рефлексия лишает его способности действовать, и волею автора он сразу же объявляет эту ненормальность нормой, законом. «Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция, т. е. сознательное сложа-руки-сиденье» (IV, 118). Чтобы действовать, надо найти обоснование действия или, как выражается подпольный герой, «первоначальную причину», но ее-то он и не может найти именно из-за «слишком яркого сознания» (IV, 113). «Я упражняюсь в мышлении, а следственно у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления» (IV, 119). Это в высшей степени характерно для Достоевского: сущность у него проявляется не в нормальном состоянии мысли и чувства, даже не на высокой ступени их развития, а в их чрезмерности, невероятности, утрировке.

С изучения особенностей гипертрофированного сознания начал свою деятельность и Л. Толстой. В этом была черта эпохи, поставившей на очередь вопрос о роли людей образованного сословия, об их силе и слабости, об их нравственных исканиях, об их погруженности в себя и связанных с этим особенностях мысли и совести. Герой автобиографической трилогии Л. Толстого говорит о себе: «Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю,

о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил». ⁶ Для Толстого, как мы видим, такое развитие сознания *неестественно*, «безвыходный круг анализа» характеризуется как нечто патологическое («ум за разум заходил»). Для Достоевского же мыслительный процесс, заходящий в бесконечность, есть «именно сущность всякого сознания и мышления». Тургенев в этом отношении ближе к Толстому, чем к Достоевскому. Он изучает гипертрофированное сознание и демонстрирует его ущербность. Достоевский экспериментальным путем доводит эту ущербность до высшей мыслимой точки, до предельной возможности, граничащей уже поэтому с невозможностью, и делает это для того, чтобы выяснить сущность подпольного мышления, его особые законы, совсем не похожие на законы обыденного сознания. Бытовая правдоподобность при таком методе, конечно, не подразумевается и заменяется другими формами художественной правды, которая должна вызывать в читателе не узнавание знакомой реальности, а горестное изумление при виде трудно представимой возможности.

То же различие целей и методов видим мы у Тургенева и Достоевского в изображении новых людей, противостоящих героям вынужденного, как у Тургенева, или сознательного, как у Достоевского, «сложаруки-сиденья». У Тургенева новый тип возник сначала как полная противоположность «лишним», гамлетикам, грызунам, как деятель, не знающий колебаний и раздвоенности, как безупречно цельная натура, как воплощение донкихотского начала. Это был Инсаров в «Накануне». Потом эта резкость противопоставления была смягчена, донкихотство соединилось с гамлетизмом, появился Базаров. У Достоевского герой сознательной «инерции» сразу вслед за «Записками из подполья» сменяется героем совсем иного рода в «Преступлении и наказании» и так же, как у Тургенева, возникает по закону противоположности при одновременном сохранении некоторых черт превзойденного типа. Сохраняется уединенное мышление, сохраняется своеволие, сохраняется стремление довести логическую идею до крайности. Но возникает моральная невозможность сидеть сложа руки при виде того, как «кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское» (IV, 122), в то время как у подпольного героя этот факт служил одним из аргументов против перестройки мира на основе разума. Подпольный человек бунтовал против подчинения законам разумной необходимости, предписывающим человеку соблюдать свою выгоду. Разум он оставлял «людям с крепкими нервами», не понимающим утонченного наслаждения неразумностью страдания. Сознание, считал он, «бесконечно выше, чем дважды-два. После дважды-двух уж, разумеется, ничего не останется не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании, хоть и тот же результат выходит, т. е. тоже будет нечего делать, но, по крайней мере, самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего» (IV, 131). Что произойдет с человеком, если он решится выйти из подполья и вопреки ретроградным парадоксам подпольного мыслителя захочет направить свою волю не на отрицание «арифметических» законов разумной необходимости, а на их осуществление, если он откажется «заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание», а напротив, раскроет свои чувства и отвергнет созерцательное бездействие, — вот вопросы, на которые должно было ответить повествование о судьбе Раскольникова. Как у Тургенева неизбежность появления новых людей возникала в перспективе повестей о людях «лишних», так и у Достоевского «Преступление и наказание» заложено было в проблематике «Записок из подполья».

⁶ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 2, Гослитиздат, М.—Л., 1930, стр. 58.

У обоих писателей «антигерои» (словечко подпольного человека) сменились героями, которые вновь вступили друг с другом в идейные и художественные соотношения.

И сразу же обнаружились разительные черты сходства в идейно-психологической трактовке нового человека у Тургенева и Достоевского. Чем определяется внутренний мир этих людей, какими стремлениями? «...Большую частью они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего» (V, 212). Эти слова Раскольникова о людях, «имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*», в одинаковой степени могут быть отнесены и к нему самому, и к Базарову. Вспомним в «Отцах и детях» слова Павла Петровича: «вы все разрушаете» — и объяснения Базарова: «Сперва нужно место расчистить» (8, 243). Это основа, на которой строится психологический анализ в обоих романах. Главная психологическая черта, которая определяет все развитие внутренней жизни героев, их судьбу и, следовательно, движение сюжета, — это противоречие между мировоззрением и натурой. В отличие от Добролюбова, Чернышевского, Герцена, которые видели главный признак новых людей в гармоническом единстве их взглядов и внутренних влечений, Тургенев и Достоевский настаивают на их раздвоенности, на борьбе мировоззрения с натурой. Достоевский устами Разумихина прямо обвиняет социалистов в игнорировании природы: «Натура не берется в расчет, натура изгоняется, природы не полагается!» «С одной логикой нельзя через природу перескочить!» (V, 209). «Отсюда прямо, — иронизирует Разумихин, — что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут...» (V, 208). Это едва ли не прямой намек на Базарова с его афоризмом: «Исправьте общество, и болезней не будет» (8, 277). В «Отцах и детях» нет резонера вроде Разумихина, но о несостоятельности прямолинейной «логистики» там говорят события и факты, прежде всего любовная история в романе, обнажающая противоречие между рационалистическим мировоззрением Базарова и непобедимыми проявлениями «романтизма» в его душе, того самого «романтизма», который он жестоко осмеивает. У обоих писателей новый человек, говоря словами Н. Страхова, — это «человек теории, и его создала теория».⁷ Если не знать, о ком сказаны эти слова, их можно отнести в равной степени к обоим героям. Страхов писал это о Базарове, но без всяких изменений он мог бы применить свою формулу к Раскольникову. Для современного читателя это было бы даже привычнее: о власти идеи, теории над человеком и о герое как о человеке теории принято говорить только в связи с романами Достоевского, начиная с «Преступления и наказания». После появления работы Б. М. Энгельгардта «Идеологический роман Достоевского» (1924) это стало общим местом. Тем характернее, что слова о человеке теории, о человеке, созданном теорией, сказаны были уже в 1862 году, до появления идеологического романа Достоевского, об «Отцах и детях» Тургенева.

Итак, у обоих романистов герой создан идеей, теорией, она господствует над ним, подчиняет его себе, становится его страстью, его второй натурой, но именно второй, натура первая, первичная ей не подчиняется, вступает с ней в борьбу, и ареной этой борьбы становится психология человека.

При всем несходстве идей Базарова и Раскольникова власть идеи порождает у каждого из них ощущение своей особой значительности и как бы отъединенности от людей, погруженности в себя. Человек становится горд, даже надменен, необщителен. Замкнутость особенно ясно называется не столько в области идей, сколько в сфере чувств. Люди этого

⁷ Н. Страхов. Отцы и дети. В его кн.: Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. Изд. 2-е, СПб., 1887, стр. 35.

типа больше всего бояться раскрыть свое сердце, «рассыропиться», говоря словами Базарова. Герой такого склада «угрюм, мрачен, надменен и горд», он «ужасно высоко себя ценит», он «чувств своих не любит высказывать, и скорей жестокость делает, чем словами выкажет сердце». Это сказано о Раскольникове (V, 175). И Базаров иной раз проявит «надменную гордость», как например в разговоре с Павлом Петровичем: «Мой дед землю пахал, — с надменною гордостью отвечал Базаров» (8, 244). В другом случае неожиданно, на какой-то миг раскрывается «вся бездонная пропасть базаровского самолюбия» (8, 304). В третьем случае он сам, вовсе не склонный к самохвальству, на прямой вопрос Аркадия «Ты высокого мнения о самом себе?» ответит после небольшого молчания с многозначительной расстановкой: «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, тогда я изменю свое мнение о самом себе» (8, 324—325). «Выказать сердце» прямо и непосредственно для него так же невозможно, как и для Раскольникова, он может это сделать только косвенно, как например в прощальном разговоре с Аркадием, когда его жесткие слова скрывают слова совсем иные, которым Базаров не позволяет прорваться; в конце концов он сам признается в этом: «Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу...» и т. д. (8, 381).

Надменная гордость обоих героев приводит их к своеобразному аристократизму, который выражается в презрении к народу, к массе, к толпе, т. е. к тем самым людям, ради которых они требуют «разрушения настоящего во имя лучшего». Этот психологический парадокс оба автора подчеркивают особенно настойчиво, видя в нем один из самых характерных признаков людей этого типа, сторонников отрицательного направления, у которых презрение и злоба в этом случае служат формой проявления любви. Базаров гордится тем, что его дед землю пахал, что он умеет говорить с народом, и он же на ядовитое замечание Павла Петровича «А вы говорите с ним и презираете его в то же время» спокойно отвечает: «Что ж, коли он заслуживает презрения!» (8, 244). Услышав однажды от мужика, что «чем строже барин взывает, тем милее мужику», Базаров «презрительно пожал плечами и отвернулся» (8, 384). Он произносит свои ставшие знаменитыми слова о Филиппе или Сидоре, которого он «возненавидел» за то, что для него «должен из кожи лезть» (8, 325), и горький тон этих слов выдает его подлинное чувство, далекое от ненависти в обычном смысле этого понятия. Базаров восклицает: «Какую клевету ни взведи на человека, он в сущности заслуживает в двадцать раз хуже того» (8, 326), — и он же заявляет: «Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними» (8, 324). Точно так же и Раскольников. Он поклоняется страданию кротких, и он же считает их «тварью дрожащей». Его сострадание Мармеладовым достигает последнего предела, и он же думает о них с глубоким отвращением: «И привыкли. Поплакали и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!» (V, 25). В другом случае он формулирует это парадоксальное противоречие своего чувства так: «Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлеем называет» (V, 131). Он спасает на бульваре девочку от преследований гнусного франта, и он же через минуту произносит: «Пусть его позабавится». Далее он восклицает со злобой: «Да пусть их переглотают друг друга живьем, — мне-то чего?» (V, 44) и т. д. «Казалось бы чего хуже? — говорит о подобных случаях в жизни отрицателя современный ему критик. — А между тем впечатление, производимое этими случаями, служит не во вред» герою, потому что он «сам страдает от этой злобы более, чем те, к кому она относится», и потому, что он, «несмотря на все свои взгляды, ... жаждет любви к людям. Если эта жажда проявляется злобою, то такая злоба составляет только обратную сторону любви».⁸ Эти слова взяты из цитиро-

⁸ Н. Страхов. Отцы и дети, стр. 39

ванной уже статьи Страхова, и сказаны они о Базарове (в частности, по поводу его слов о Филиппе и Сидоре); образ Раскольникова еще не был тогда создан, но слова эти заранее были сказаны и о нем, настолько близок идейно-психологический облик обоих отрицателей.

Одну только поправку можно внести в приведенное суждение критика, но и она будет относиться к обоим героям. Действительно ли «не во вред» героям служат случаи, о которых только что шла речь? И да, и нет. Они служат им не во вред в том смысле, что не лишают этих героев читательского сочувствия, но они все-таки приносят им вред, потому что свидетельствуют об их трагическом отрыве от тех, ради кого они живут и действуют. Народ, представленный мужиками в «Отцах и детях», считает Базарова «шутлом гороховым»; народные низы в «Преступлении и наказании» символизированы Соней Мармеладовой, она же прямо осуждает Раскольникова за гордыню, а ее устами говорят все «бедные, кроткие, с глазами кроткими» (V, 225), о которых с болью думает Раскольников. А «мужики наши», как язвительно замечает Порфирий Петрович, для Раскольникова те же иностранцы (V, 277). Для Базарова «русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф» (8, 355), что в общем одно и то же. Между тем Раскольников считает себя вправе «сломать что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя!» (V, 269) или, как сказано было в черновике романа, «сгрести их в руки, и потом делать им добро».⁹ Базаров убежден в том, что его отрицательное направление вызвано «народным духом» (8, 244) или, как сказано было в черновике романа, «мы не одни и народ не против нас». И тут же рядом была заявлена готовность «сладить с целым народом», а не «подлаживаться под него» (8, 453), что также недалеко от Раскольникова. В обоих случаях автор отделяет себя от своего героя, видя в его «аристократизме», самонадеянности, в присвоении права решать судьбу масс помимо их воли признак трагического величия и трагической ущербности. В обоих случаях мы видим отражение идейно-психологических противоречий того исторического периода, когда движение демократов-разночинцев в защиту масс уже развернулось, а «движение самих масс»¹⁰ еще не началось. У обоих романистов, у каждого по-своему, отражение этих противоречий проникнуто сочувствием герою, ощущением его нравственной высоты и в то же время неприятием его стремлений.

«Злоба», составляющая «оборотную сторону любви», постоянная глухая борьба с «натурой», «самоломанность», говоря словами Базарова, недовольство людьми — все это порождает у обоих героев, столь отличных друг от друга, внутреннее беспокойство, страдание и тоску. Недовольные обществом, недовольные людьми, они очень часто бывают недовольны и собой, больше того, на себя они подчас злобятся сильнее, чем на других, и это новый источник их страдания. После второй встречи с Порфирием Петровичем, после неудавшегося его «сюрприза», Раскольников со злобной усмешкой выходит на улицу. «Злоба же, — поясняет автор, — относилась к нему самому: он с презрением и стыдом вспоминал о своем „малодушии“» (V, 292). Вряд ли стоит перечислять все случаи, когда злобится на себя Базаров, когда он над собой иронизирует, топает на себя ногой и презирает за малодушие и «романтизм».

«Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца», — так говорит Раскольников (V, 216) и так же чувствует Базаров. Мы помним его тоскливые слова о «лопухе», который вырастет из него в то время, когда мужик будет жить в белой избе, его ощущение

⁹ Из архива Ф. М. Достоевского. «Преступление и наказание». Неизданные материалы. ГИХЛ, М.—Л., 1931, стр. 80.

¹⁰ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.

собственного ничтожества перед вечностью мира, ощущение, которое ему «смердит» и вызывает в нем «скуку да злость» (8, 323), его размышления о том, что «каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним развешаться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь» (8, 306). Ощущение своей ничтожности перед стихийными силами мира, обида за это ничтожество и возмущение его бессмысленностью всегда было для Тургенева признаком атеистического сознания или, во всяком случае, религиозного скептицизма. Он сознавал это чувство в себе и наделил им Базарова. Правда, о боге, о религии Базаров не говорит прямо ни разу, но он так выразительно молчит об этом, что ни у кого не остается сомнения относительно его отношения к вопросам веры. Раскольников, в отличие от последующих героев Достоевского, на религиозные темы также прямо не высказывается, он только изредка проговаривается. «Да, может, и бога-то совсем нет», — говорит он Соне со злорадством и со смехом (V, 262). Поленьку он просит помолиться за себя; но вспомнив потом про это, восклицает по-мальчишески: «ну да это... на всякий случай!» (V, 156). В разговоре с Порфирием Петровичем он утвердительно отвечает на вопрос о вере в бога, но вряд ли говорит с ним искренно. «Твердо» он отвечает только о вере в новый Иерусалим, однако остается неизвестным, каким смыслом он наполняет этот символ. Зато во время прощания с матерью, в минуту великого размягчения духа, он уже с глубоким чувством просит помолиться за него. Он, конечно, еще, по Достоевскому, не верующий человек, но его сознание как бы трепещет возможностью веры. Это очень далеко от базаровского полного и бесповоротного отрицания. Близко только одно: безрелигиозное сознание тревожно и беспокойно не только у Раскольникова, но и у Базарова.

Неудивительно, что черты трагизма в сознании тургеневского героя высоко ставил именно Достоевский, вспомнивший в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» (IV, 65). Через несколько лет он дал своему Раскольникову тот же «признак великого сердца» и тоже несмотря на его нигилизм. Эти черты лишены только комические нигилисты, обезьяны нигилизма, своего рода шуты в трагедии, как Кукшина и Ситников в «Отцах и детях» и Лебезятников в «Преступлении и наказании». Эти персонажи в обоих романах лишены внутреннего мира и именно поэтому нужны для психологической обрисовки людей «широкого сознания и глубокого сердца», для их характеристики от обратного, как важны нули для понимания единиц. В «Преступлении и наказании» этот принцип косвенной психологической характеристики главного героя разработан гораздо шире, чем в «Отцах и детях». Рядом с Базаровым стояли только Ситников с Кукшиной, рядом с Раскольниковым оказывается еще и трагическая фигура Свидригайлова, не идущая ни в какое сопоставление с Лебезятниковым. В «Преступлении и наказании» сопоставлены разные виды трагического сознания, чего вовсе не было в «Отцах и детях», но принцип косвенной психологической характеристики оставлен в силе.

Проводя параллель между рассматриваемыми романами Тургенева и Достоевского, следует отметить, что самая тема «отцов и детей», взятая как рознь политических течений, в «Преступлении и наказании» прямых аналогий не имеет, но в узком смысле, как взаимоотношение родителей с детьми, эта тема в «Преступлении и наказании» некоторые соответствия находит. Такие психологические коллизии, связанные, в частности, с внешне грубоватым, а, по существу, любовным и сердечным отношением Базарова к старикам родителям и их боязливой привязанностью к сыну, которого они больше боготворят, чем понимают, откликаются в романе Достоевского изображением глубокой любви Раскольникова к матери и скорбным гневом на нее за готовность принести счастье дочери в жертву

благополучию сына. Но еще больше черт сходства в обрисовке психологического состояния матери, боящейся излишним выражением любви и заботы раздразнить своего сына. Пульхерия Александровна так же готова ступешаться, отойти на задний план перед сыном и так же готова признать целесообразность и современность такого поведения, как Василий Иванович Базаров. «Я ведь понимаю, все понимаю; теперь я уж выучилась по-здешнему и, право, сама вижу, что здесь умнее. Я раз навсегда рассудила: где мне понимать твои соображения и требовать у тебя отчетов?» И далее: «Но только, Родя, как я ни глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире» (V, 417, 418). По психологическим побуждениям, по тону и характеру речи это очень близко к аналогичным эпизодам тургеневского романа.

Можно провести еще некоторые параллели, показывающие черты сходства в психологической разработке образов новых людей у обоих писателей, но достаточно и этих. Родство несомненно велико и в общих контурах, и в отдельных частностях и деталях, вроде только что отмеченных, причем родство, вызванное не только общностью темы, но и сходством в понимании внутреннего мира бунтарей и отрицателей, вступивших в борьбу с современным обществом, но побежденных не им, а законами самой жизни. В самом деле, у обоих романистов герой «побежден не лицами и не случайностями жизни, но самой идеей этой жизни».¹¹

Но так же, как и в случае с «Записками из подполья» и «Дневником лишнего человека», за чертами сходства лежит глубокое и принципиальное различие. Оно прежде всего заключается в том, что Тургенев, изучая и показывая внутренний мир нового человека, не выводит своего героя за пределы обычных житейских отношений и столкновений. Базаров, чей образ должен был представлять, по словам Тургенева, некий *pendant* с Пугачевым, произносит свои разрушительные речи в гостях у приятеля, за чайным столом, он спорит в деревне со «старенькими романтиками», бранит «аристократишек», и только. Самое резкое столкновение с людьми старого мира не ведет его дальше безобидной дуэли, а между тем, как говорил автор, «если он называется нигилистом, то надо читать: революционером» (II 4, 380). Его социально-психологический облик вырисовывается в идейных спорах с противниками, во взаимоотношениях с родными, с друзьями и в столкновениях с извечными силами любви и смерти. Словом, человек у Тургенева проясняется самыми существенными сторонами характера в обыденной жизни с ее естественным течением, вбирающим в себя и великие мгновения, и долгие годы простого существования. У Достоевского процесс анализа начинается с убийства, с его подготовки и свершения. Все процессы духовной жизни неотвратимо влекут к катастрофе. Именно в необычном, в чрезвычайном, в катастрофическом проявляются особенности психики человека, и обнаруживаются они в лихорадочном сокрытии следов преступления, в напряженной борьбе со следователем, в не менее напряженной борьбе с самим собой, в борьбе между стремлением логически оправдать преступление и внутренней потребностью наказания. В этом психологическая основа трагизма личности Раскольникова. Трагизм тургеневского героя имеет в основе своей наказание без преступления. «Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или другую дорогу, а потом они же нас казнят» (6, 168). Эти слова Алексея Петровича из «Переписки» могли бы повторить все идеологические герои Тургенева от Рудина и Лаврецкого до Базарова и Нежданова.

Сознание, определенное обстоятельствами, социальными и природными, не включает в себе ничего таинственного или резко индивидуаль-

¹¹ Н. Страхов. Отцы и дети, стр. 47.

ного (что в общем одно и то же). Оно не предполагает проникновения в загадочные глубины души, оно поддается изучению при помощи скудных методов «тайной психологии», о которой уже немало написано исследователями Тургенева. Другое дело Достоевский. Поступки человека у него далеко не всегда могут быть объяснены однозначно. Вот пример из «Преступления и наказания». Перед явкой с повинной Раскольников был близок к самоубийству, он стоял над водой и был готов утопиться, но что-то удержало его. Что же именно? Он думает, что это была простая трусость, слепой инстинкт, но готов принять и другое объяснение: не трусость удержала его, а гордость. Сестра поддерживает его в этом мнении, и это льстит ему. «Как будто огонь блеснул в его потухших глазах; ему точно приятно стало, что он еще горд» (V, 421). Однако потом оказывается, что оба предположения, психологически как нельзя более правдоподобные, не только не обязательны, но, очевидно, и неверны. Автор сообщает от себя, что Раскольников «уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его...» (V, 442). Вот уже третье объяснение, к которому явно склоняет нас автор своим прямым вмешательством в процесс психологического анализа. Но автор далеко не всегда приходит на помощь читателю, чаще всего причины поступков не разъясняются и остаются загадочными. Это связано с постоянной мыслью Достоевского о том, что вовсе не только «обстоятельства определяют нас», но и свободная воля, та дарованная человеку свыше свобода выбора между добром и злом, против которой восстает великий инквизитор. Не всегда возможно предусмотреть, что в каждом случае определит поступок человека — сила обстоятельств или не зависящая от этой силы и враждебная ей внутренняя свобода. Говоря словами старца Зосимы, «многое из самых сильных чувств и движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь», так как «корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных» (IX, 316).

Вот почему так жестоко смеялся Достоевский над самоуверенными адвокатами, оправдывавшими преступников доводами о психологической неизбежности преступления, к которому они, эти преступники, были приведены якобы непреодолимой силой обстоятельств, включая и не зависящие от человека, но известные психологам-адвокатам законы страстей. Гордая претензия постигнуть скрытые пружины побуждений и поступков человека, тайну его мыслей и чувств представляется Достоевскому забавной. Известен его отклик на речь адвоката по делу Каировой в 1876 году. Каирова совершила покушение на жизнь своей соперницы, и адвокат употребил всю силу своего красноречия, чтобы доказать, что при тех обстоятельствах, в которых она находилась, ничего другого она сделать не могла. Нисколько не оспаривая силы обстоятельств, Достоевский, однако, считал возможным и другой поворот событий, при котором Каирова «уже в последнюю минуту, с бритвой в руках... оцупила бы вдруг в себе женщину, воскресшую в новую жизнь» (XI, 293). Итак, по крайней мере на равных правах в жизни человека участвуют законы психологии и возможность некоего чуда, в данном случае — чуда воскресения в новую жизнь.

Дмитрий Карамазов по всем законам психологии должен был совершить отцеубийство. Он был к нему подготовлен денежной тяжбой, чувством глубокой обиды, непреодолимым физическим отвращением к отцу и, наконец, самым сильным, по Достоевскому, чувством, влекущим к преступлению, — ревностью. Недаром в «Сне смешного человека» процесс развращения человечества представлен в таком виде: сперва появляется ложь, «затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... скоро, очень скоро брызнула первая кровь» (XII, 119). Все эти причины греха и преступления были и в жизни Дмит-

рия, но кровь отца от его руки тем не менее не брызнула. Прокурор, следовательно, даже адвокат показывают психологически, что так должно было совершиться или, по крайней мере, так могло быть. Могло быть и даже должно было быть по законам психологии и общественной жизни, но не было. Почему же не было? Никакой психолог не может ответить на этот вопрос, не знает этого даже сам подозреваемый, потому что здесь чудо. «... Слезы ли чьи, мать ли моя умолила бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но черт был побежден» (X, 145).

В отличие от Дмитрия Карамазова Родион Раскольников должен был совершить преступление и совершил его. Он был подведен к убийству логикой мысли и силой материальных обстоятельств (на последнем особенно настаивал Писарев), и «брызнула кровь». Первая часть романа мотивирует неизбежность убийства законами социально-психологической детерминированности. Раскольников, уже зараженный своей идеей, на каждом шагу встречает доказательства ее справедливости. Жизнь развертывается перед ним картины, показывающие невозможность примирения со злом. Он сталкивается с безграничностью человеческой слабости (Мармеладов), безграничностью человеческого страдания (Катерина Ивановна), безграничностью человеческого самопожертвования (Соня). В своей семье он видит повторение мармеладовской истории, причем бесцельное жертвоприношение должно совершиться ради него самого. Он видит обещенную девочку на бульваре и преследующего ее франта — новый вариант мармеладовской истории и истории своей семьи. На помощь теории приходит чувство, на помощь ей приходит также случай, все это заглушает протестующий голос «натуры», принимаемый им за недостойный и малодушный эстетизм, преступление определено силой обстоятельств и подготовлено поэтому психологически, оно не могло не совершиться, и оно совершилось с железной необходимостью, почти вопреки воле самого преступника. Пользуясь тургеневскими категориями, можно сказать, что обстоятельства определяют Раскольникова, они наталкивают его на раскрывшуюся перед ним дорогу и потом они же его казнят.

Законы необходимости действуют в «Преступлении и наказании» полнее и сильнее, чем в других романах Достоевского, и внутренний мир Раскольникова гораздо больше и яснее разгадывается психологически, чем, например, внутренний мир Дмитрия Карамазова. Следователь и прокурор, пойдя психологическим путем в объяснении поступков и побуждений Дмитрия, жестоко ошиблись, психология не оправдалась. Зато Порфирий Петрович, идя тем же путем, безошибочно разгадывает внутренние пружины преступления Раскольникова. В «Бесах» другой психолог, архиерей Тихон, так же безошибочно видит самые потаенные уголки сознания Ставрогина. Ставрогин во время разговора с архиереем внезапно признается ему в любви («я вас очень люблю»), и через какую-нибудь минуту Тихон шепотом говорит своему собеседнику: «не сердись». Это значит, что Тихон угадал возникающее у Ставрогина чувство гнева к нему, Тихону, за неожиданную и неуместную нежность. Ставрогин соглашается с этим диагнозом. «Вы правы, — говорит он, — но вы грубый циник, вы унизительно думаете о природе человеческой». И далее сразу же он замечает: «Злобы могло и не быть, будь только другой человек, а не я...» (VII, 562). Все дело, однако, в том и заключается, что Тихон вовсе не думает унизительно о всех людях вообще, «о природе человеческой». Он говорит только о Ставрогине и именно о Ставрогине, а не о «другом». Характерна, однако, мысль о том, что психологический анализ заключает в себе элемент цинизма. Мысль о предопределенности человеческих чувств и поступков, по Достоевскому, унизительна для человека. Алеша Карамазов глубоко задумывается над этим вопросом: «... нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному... в том, что мы

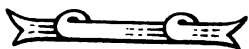
так его душу теперь разбираем...» (IX, 215).¹² Здесь речь идет о безответном штабс-капитане Снегиреве. Тем более унижительным должно представляться анатомирование души таким людям, как Ставрогин или Раскольников. Ставрогин прямо говорит: «...я не люблю шпионов и психологов» (VII, 562). И далее: «Монах был бы самым лучшим уголовным следователем!» (VII, 567). Уголовный следователь Порфирий Петрович не монах, но для Раскольникова он такой же «проклятый психолог», как Тихон для Ставрогина, и он не менее точен в своих психологических анализах. Тихон понимает Ставрогина как одного из «оторвавшихся от родной земли» (VII, 579). Так же понимает Раскольникова Порфирий Петрович. Для людей безнародных, беспочвенных существуют прежде всего законы социальной среды и исторических обстоятельств, для них невозможно чудо воскресения, разве только они будут очищены страданием, как это случилось с Раскольниковым. Толчки совести, не раз потрясавшие его душу после преступления, свидетельствовали о возможности для него перелома, и он совершился, правда — за пределами романа, но совершился. Раскольников обрел почву и родную землю. Но до этого, в период своей безнародности, беспочвенности, когда он равнодушно слушает евангельские строки о Лазаревом воскресении, он подлежит законам среды и обстоятельств и поддается психологическому анализу. Люди «среды», при всей своей кажущейся загадочности и подлинной сложности, вполне объяснимы, а проницательному взору таких незаурядных психологов, как Порфирий Петрович или Тихон, они открыты, точно на ладони. Ивана Карамазова психологически правильно анализируют даже Смердяков и Черт, а несравненно менее высокого умом и духом Дмитрия не могут правильно объяснить до конца не только судейские, но и сам Иван Карамазов. У людей, подобных Дмитрию, всегда останется нечто, человеческому взору и предсказанию недоступное, не говоря уже о таких людях, как князь Мышкин или Алеша Карамазов.

Люди «среды» взращены и ограничены современностью, они воплощают данный период жизни человеческой и потому могут быть поняты и истолкованы исторически. Их дело может быть и «фантастическое, мрачное», как дело Раскольникова, но это «дело современное, нашего времени случай» (V, 370). Изучая сознание этих людей, психолог имеет дело «с человеческим текущим умом», ему подвластным, а не с «вековечным и абсолютным», выходящим из-под контроля аналитической мысли. Вне этого контроля остаются те возможности, которые существуют для людей, чья душа соприкасается с «вековечным и абсолютным», и прежде всего возможность внезапного озарения, когда истина открывается воочию. Пушкинский Рыцарь бедный, принятый и усвоенный Достоевским, «имел одно виденье, непостижное уму», и оно определило всю его жизнь. «Смешной человек» Достоевского тоже имел такое видение, он тоже «видел истину», и после этого стал совсем другим человеком, для которого, конечно, будут тесны обычные нормы и мерки внутренней жизни и недостаточными окажутся обычные приемы психической анатомии. «Неисповедимы пути, которыми бог находит человека», — сказано в одной из черновых заметок к «Преступлению и наказанию»,¹³ и с того момента, когда начинается рассказ об этих путях, прекращается действие психологического закона. Психологически Раскольников должен был покончить самоубийством. Отступление от законов психологии сделано для того, чтобы сберечь его для воскресения, для чуда, а оно и есть нечто, противоположное закону.

¹² См. об этом эпизоде: Б. Кузнецов. Образы Достоевского и идеи Эйнштейна. «Вопросы литературы», 1968, № 3, стр. 155—156.

¹³ Из архива Ф. М. Достоевского. «Преступление и наказание». Неизданные материалы, стр. 213.

Возвращаясь к Тургеневу, можно сказать, что для него психологический анализ — это метод универсальный и в тех пределах, в которых он его признает, применимый решительно ко всем людям, — к людям мысли и обостренного сознания, как герои его романов, и к людям непосредственной жизни, как крестьяне из «Записок охотника», и к маленьким людям с большим сердцем вроде Петушкова. При этом каждый человек определен вне его лежащими силами и стихиями — истории и природы. И то и другое для Тургенева «вековечно и абсолютно», но то и другое познаваемо, хотя и далеко еще не познано. Он допускал таинственное в жизни человека, но непознаваемое отвергал, по крайней мере — художественно. Как мы видим, он решительно расходился с Достоевским в самом принципе психологического анализа, в понимании его возможностей и границ. И вместе с тем писатели-антагонисты близко сходились, когда имели дело с историко-культурными и социально-психологическими явлениями русской жизни, каковы «лишние люди», люди рефлексии и подполья и новые люди, люди логики и отрицания. Достоевский и во втором случае доводил свой анализ до предела. «Вопрос ставится у стены: „Презираете ли вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?“» (II IV, 58). Так писал Достоевский по поводу Ивана Карамазова. Тот же вопрос и так же «у стены» ставил он Раскольникову. Аналогичные вопросы Тургенев ставил своему Базарову, иногда, подобно Достоевскому, он делал это «у стены». Однако сущность социально-психологических явлений раскрывалась для него не «у стены», а в жизненном потоке.



О ТЕМЕ НАРОДА В ПРОЗЕ ПЕРВЫХ ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ

(1917—1921)

В литературе периода гражданской войны изображение народа имело свои особенности, обусловленные эпохой. Однако до последнего времени искания ранней советской прозы, связанные с темой народа в революции, не привлекали достаточного внимания. Лишь недавно появились работы, в которых серьезно и обстоятельно исследуются процессы, характеризующие развитие прозы первых лет революции.¹

Вполне правомерно, что в поле зрения исследователей попадает наиболее крупный и емкий жанр прозы — роман, в какой-то мере повесть. В литературоведческий обиход вошло большое количество забытых и полужабытых произведений. Например, довольно подробно анализируются повести Б. Лавренева «Кровный узел» (1919), Н. Степного «Пролетарий» (1919), М. Сивачева «Желтый дьявол» (1920), А. Соболя «Бред» (1921) и др. С полным основанием выделено творчество А. Чапыгина и В. Шишкова. Эти писатели пытаются, еще не выходя за пределы критического реализма, разобраться в путях и перепутьях интеллигенции и крестьянства в революции. Их опыт поучителен в том смысле, что наглядно обнаруживается ограниченность решения поставленных проблем средствами критического реализма, даже если изображается не настоящее, а прошлое.

Изучение литературы периода гражданской войны ставится в связь с решением вопроса о становлении социалистического реализма, о соотношении нового творческого метода с другими направлениями в литературном движении эпохи. В ходе дискуссии сложилась точка зрения, что понятия «социалистическое искусство» и «социалистический реализм» отождествлять неправомерно.

«В период своего формирования и бурного экстенсивного роста, — пишет А. С. Бушмин, — социалистическое искусство и социалистический реализм не совпадают в объеме. Первое шире второго, а отношения между ними — это отношения между историческим и логическим. Социалистический реализм составляет главную тенденцию, главное направление, все более утверждающее себя, но не исчерпывающее всего социалистического искусства».² Наблюдения, сделанные исследователем, дают

¹ См.: В. В. Бузник. Тема революции и гражданской войны. Рождение новой прозы: новые темы, конфликты, герои. Формирование социально-психологического романа нового типа. В кн.: История русского советского романа, кн. 1. Изд. «Наука», М.—Л., 1965, стр. 49—93; Л. Ф. Ершов. Русский советский роман. (Национальные традиции и новаторство). Изд. «Наука», Л., 1967, стр. 43—82, и т. д. Литературе периода гражданской войны посвящена книга Л. М. Фарбера «Советская литература первых лет революции (1917—1920 гг.)» (изд. «Высшая школа», М., 1966), но она не имеет исследовательского характера.

² А. С. Бушмин. Методологические задачи литературоведения. В кн.: Вопросы методологии литературоведения. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 45. См. также: А. Овчаренко и Р. Самарин. Литература борьбы и созидания.

ключ для осмысления и истолкования тех произведений в ранней советской прозе, в которых нашли воплощение стихийный социалистические тенденции в жизни и сознании народа. Все большее внимание начинают привлекать произведения «переходного» характера. В этом отношении примечательны замечания, высказанные С. М. Петровым: «Мне кажется, что понятия „интуитивный социализм“, „эмоциональный социализм“, „социализм чувства“, а также проблему недостатка „теоретического образования“ следует применить и в анализе идейно-эстетической эволюции некоторых советских писателей в первые годы революционной эпохи».³

Следовательно, такие особенности народного сознания, как «интуитивный социализм», «социализм чувства», были не только реальностью времени, но и фактором художественного мышления, чертой, определяющей творческую позицию писателя.

Революция происходила в крестьянской стране. Немаловажное значение приобретали вопросы, связанные с многовековой историей крестьянства, с теми ценностями, которые были заложены в духовном обиходе деревни.

«Социализм чувства» в различных проявлениях — отличительная черта мироощущения широких слоев крестьянства. Процесс освобождения от мелкобуржуазных иллюзий и переход к пролетарскому социализму для крестьянства был труден, долг и противоречив. При этом в первые годы революции в самой действительности еще только зарождались формы приобщения крестьян к социализму. Это путь от первых коммун до массовой коллективизации, пройденный за полтора десятилетия.

Эстетические искания, связанные с изображением деревни, исследованием духовного мира крестьянина в знаменательное время, носили сложный, подчас противоречивый характер. Своеобразной проверкой творческой зрелости художника стали глубина и правдивость изображения социальных преобразований, происходящих в деревне.

Однако, оценивая творчество многих писателей, мы еще не освободились от системы взглядов, сложившихся в 20-е годы. Правомерно ли, например, термин «писатель-бытовик» применять к творчеству А. Неверова и Л. Сейфуллиной (тем более, что, как правило, это направление связывалось с натурализмом)? Правда, появилось и несколько иное толкование этого термина. Так, В. В. Бузник пишет: «Л. Сейфуллина и А. Неверов выступали „открывателями“ нового революционного быта, вернее, бытия народной массы».⁴ Но пока это толкование недостаточно подкреплено и обосновано, а между «бытом» и «бытием» различия очень существенны. Вот один из наиболее характерных примеров.

А. Неверов в годы гражданской войны создает рассказы «По-новому» (1919), «Красноармеец Терехин» (1919), «Новый дом» (1919—1920), «Я хочу жить» (1920), «Марья-большевичка» (1921), приступает к осуществлению наиболее крупного замысла — роману «Гуси-лебеди» (1918—1923). Эти произведения дают право резко выделить их автора из серого и безликого ряда «бытовиков». Складывалась система взглядов и принципы изображения нового героя, наиболее полно раскрывшиеся в повестях «Андрон Непутевый» (1922) и «Ташкент — город хлебный»

Социалистический реализм и современный литературный процесс. «Правда», 1966, № 278, 5 октября; А. Овчаренко. Социалистический реализм и современный литературный процесс. «Вопросы литературы», 1966, № 12, стр. 4—29; А. Метченко. О социалистическом реализме и социалистическом искусстве. «Октябрь», 1967, № 6, стр. 185—200; С. М. Петров. Октябрьская революция и социалистический реализм. «Октябрь», 1967, № 7, стр. 195—203, № 8, стр. 185—197, и др.

³ «Октябрь», 1967, № 8, стр. 186—187.

⁴ История русского советского романа, кн. 1, стр. 99—100.

(1923). Для литературы первой половины 20-х годов эти повести имели огромное значение.

А. Неверов — своего рода первопроходец в нашей литературе. Он одним из первых показал, как революция подняла все жизнеспособное в деревне, пробудила творческие начала в народном характере (Терехин, Марья-большевичка, Федякин, Андрон Непутевый). В чем, например, своеобразие небольшого рассказа «Красноармеец Терехин»?

Крестьянский парень вырос в маленькой тесной крестьянской избенке среди грязи и нищеты. Когда-то он мечтал о богатстве и удаче, думал: «Наплевать на других! Только бы мне хорошо».⁵ Теперь иные мысли наполняют его. «А подошла и раскрылась перед ним великая, тяжелая истина: ему, как и Якову, придется умереть за других. Не за себя только, не за свой пятистеноч, а за светлую, просторную избу для всех; и для этих чуваш с татарчатами, если уцелеют они в боях, и для тех, кто остался в деревне, кого знает и не знает он, но кто пойдет вслед за ним по непройденной, рано оборвавшейся дороге» (стр. 170).

Терехину удалось преодолеть и страх смерти в бою. Он вырос и осознал тяжесть всей своей прошлой жизни не только потому, что увидел мужиков родной деревни робкими, завистливыми, ворующими, как отец, ржавые гвозди, мечтающими разбогатеть в одиночку, но и потому, что постигнул сущность истинных их врагов. «Они убили мужицкими руками и бескорыстного Якова. Они держали и их с отцом в грязной телячьей избенке. Они и воровать заставили отца, щелкать зубами по-звериному...» (стр. 171).

Единство с людьми рождает и готовность умереть «за светлую, просторную избу для всех».

Можно отметить известный схематизм рассказа. Но важно другое. Думы, затаенные мечты крестьянского парня переданы в движении, эволюции. Найдено и соответствующее художественное решение — мироощущение, раздумья Терехина вылились в форму народного сказа, противостоящего пыльниковской сказовости.

На первый взгляд, сказ А. Неверова прост, но в нем емко передается своеобразие крестьянского мышления и ритма речи. «Терехиным — отцу с сыном — никто не вез. Избенка у них маленькая, тесная, грязная. Ни повернуться, ни разбежаться негде, и жили они в ней, как телята, привязанные веревкой за шею. Сроду из лаптей не вылезали. А пили-ели не то, что хотели, а то, чем судьба угощала» (стр. 163).

В рассказе «Красноармеец Терехин» уже обозначены контуры художественной системы А. Неверова. Здесь не названа деревня, нет определенного места действия. Это в духе жанра сказа. Действительность рисуется в восприятии Терехина, ищущего ответа на вопрос: в чем смысл, цель жизни?

«Пришла революция.

Это была не судьба, созданная невежеством, а гневная народная воля» (стр. 164).

«У Терехина было такое ощущение, словно он шел не по земле, а по тонкой натянутой веревке: вот-вот оборвется веревка!» (стр. 166).

А вот Яков Московский понимал, что «нельзя нам строить новую жизнь в одиночку». Была в нем какая-то притягательная сила, хотя сказанные им слова для Терехина были нелегкими. Не стало Якова — «будто вырезали кусок здорового мяса, полоснули ножом» (стр. 169).

В рассказе отсутствует портрет Терехина, нет изображения его поступков, равно как и деталей окружающего мира, зато выявлено другое —

⁵ А. Неверов. Избранные произведения. Гослитиздат, М., 1958, стр. 165 (далее ссылки приводятся в тексте).

пробудившаяся, мучительно бьющаяся, ищущая мысль. Из двадцатидвух-летнего обычного деревенского парня рождается борец, готовый заменить погибшего Якова. Революция вошла в душу человека, заставила выстрадать ее «великую и тяжелую истину». А. Неверов вплотную подходит к изображению социально-психологических перемен, вызванных революцией в жизни деревни.

Рассказ «Марья-большевичка» еще в большей степени подтверждает, что А. Неверов особенно пытливно всматривается в лик нарождающейся новой деревни. Марья терпела все выходки «плюгавенького — шапкой закроешь», «сердитого, не дай господи», мужа. Изменение общих представлений о жизни дало выход и марьиному индивидуальному бунту. Она вырывается из-под власти семейно-бытовых отношений, ищет себя в новой, едва начавшей укладываться социалистической России.

Марью, бунтовавшую баб, пытавшуюся поддержать большевиков, мужики избирают в волостной Совет как будто в шутку, а «хватъ — всерьез дело пошло». Махнули рукой. «Марья так Марья. Пускай обожгется...» Тем более, что народ — «не охотник на должности становиться, особенно в нынешнее время» (стр. 199). Но Марья правила толково и умело, при этом «большевистскую руку держала» (стр. 200).

Здесь сказ имеет подчеркнуто традиционно-фольклорный характер. Особый тон создается тем, что рассказывает о Марье приверженец патриархального уклада, для которого Марья — разрушительница устоев, освященных веками. Вместе с тем рассказчик вынужден признать свое полное бессилие: новое берет свое. Кажется, избавились от Марьи: напали казаки, и уехала она с большевиками. Но, заключает со вздохом рассказчик, «много теперь развелось их» (стр. 200).

Как можно видеть, и Терехин и Марья проходят путь «перековки человеческого материала», пока еще, правда, намеченный автором несколько схематично. Неверов стремится проникнуть в глубины крестьянской жизни, развороченной до дна революцией. В многослойной жизни деревни он выделяет прежде всего те пласты, которые связаны с изменением психологии, мироощущения крестьянства. Однако у А. Неверова новое жизненное содержание воссоздается в традиционной форме, явно сковывающей писателя. Новаторские художественные решения им еще не были найдены. Вряд ли все объяснимо субъективными причинами — силой таланта писателя; следует учитывать и объективные обстоятельства — состояние советской прозы в момент ее рождения. Трудности, вставшие перед А. Неверовым, — неизбежное явление на пути первооткрывателя. А. Неверов относится к тем писателям-«чернорабочим», которые прокладывают пути другим.

В широком и разнообразном потоке ранней советской прозы следует выделить также роман В. Зазубрина «Два мира» (1921) и повесть А. Малышкина «Падение Дaira» (1920—1921).

Революция все привела в движение. Бурно, даже хаотично рождались новые связи, отношения, в которых многое было необычным, даже неожиданным. В национальном характере открылись такие «непредвиденные» особенности, которые нелегко было вначале понять и объяснить. При этом не так-то просто было отказаться от сложившихся ранее представлений, принять и отразить стремительно наступающую новь. Не случайно авторами значительных прозаических произведений оказались писатели, вместе с народом прошедшие «беды, победы и будни» гражданской войны, ощутившие себя частью массы, впитавшие ее настроения. Среди них особое место принадлежало А. Малышкину и В. Зазубрину.

В повести «Падение Дaira» А. Малышкина взгляд на мир целостен, объемлен и широк. Новый мир охватывается символически обобщенно, он еще в дыме романтической мечты. В романе «Два мира» В. Зазубрина дано несравненно более подробное, местами даже натуралистическое опи-

сание повседневности. Эти два начала еще не соединены, но и не отгорожены глухой стеной. Именно так соотносены «Падение Даира» и «Два мира».

А. Неверов показал, как преодолевался «идиотизм» деревенской жизни, совершался переход к жизни «за всех и для всех». Произведения В. Зазубрина и А. Малышкина рассказали о том, как революция вошла в сердце народа, привела в движение те начала народной жизни, которые связаны с национально-историческим опытом крестьянства.

Хотя роман «Два мира» еще не может быть назван собственно произведением социалистического реализма, В. Зазубрин все же предугадал искания, которые будут характерны для литературы 20-х годов.

Оценивая «Два мира», литературоведы в большей или меньшей степени совпадают в своих положениях с высказываниями Б. Пильняка в рецензии, появившейся вскоре после публикации романа.⁶ Б. Пильняк писал: «Романа, в сущности, нет, как нет ни фавулы, ни завязки, ни персонажей, как нет ни Красной армии, ни ее бойцов в дивизии, ни души и мозга». «Очень ярко, с волосами и на головах и на животах, описаны офицерские пирушки. Очень ярко видно, как смерть иногда бывает „стаканом чая“. Совсем не ярко видна революция, — уже по одному тому, что автор смешивает скотобойню с революцией и арсеналами скотобойных необходимостей воссоздает ее — революцию. Художнические ресурсы автора очень невелики. Роман его состоит из ряда обрывков, построенных исключительно „описаниями“ и „разговорами“...»

Революция заставила в повести оперировать массами, масса-стихия вошла в „я“ органически».⁷

Нетрудно заметить, что Б. Пильняк романа не принял, по сути и не понял. Если читать роман внимательно и без предубеждения, то можно увидеть, что не «революция смешана со скотобойней», а раскрыта история поражения и последующего распада колчаковской армии. Причина ее гибели — «скотобойные» приемы «умиротворения» крестьян, которые для Зазубрина составляют не «массу-стихию», а вначале стихийно, затем все более осознанно поднимающийся на защиту революции народ.

Современных литературоведов больше интересуют те особенности романа «Два мира», которые вызваны «неспаянностью, недостаточной внутренней сопряженностью и органической обусловленностью типических жизненных обстоятельств и — героев».⁸ Сравнивая роман с прозой начала 20-х годов, В. В. Бузник подчеркивает, что в повестях 1922—1923 годов «основой сюжета служили уже не „революция вообще“ и не пересказ одного из подлинных эпизодов гражданской войны, но конкретная человеческая судьба».⁹ Наблюдения исследователя, во многом тонкие и точные, страдают некоторой односторонностью. Литературоведы-сибиряки в ряде работ последних лет пошли иным, более плодотворным путем. Хотя имя Б. Пильняка они не упоминают, но спорят с ним, явно продолжая иные тенденции критического истолкования романа В. Зазубрина. Им близка концепция Валерия Правдухина, считавшего роман «Два мира» явлением талантливым, незаурядным, несмотря на «обнаженный реализм».¹⁰ В их работах роман «Два мира» глубже соотносится с литературой 20-х годов и рассматривается как произведение о судьбах народа,

⁶ Б. Пильняк. Влад. Зазубрин. Два мира. Роман в 2-х частях. Часть I. Издание Поарма 5. 1921 г. «Печать и революция», 1922, кн. 1, стр. 294—295.

⁷ Там же, стр. 295.

⁸ История русского советского романа, кн. 1, стр. 88.

⁹ Там же, стр. 103.

¹⁰ В. Правдухин. Художественная литература за семь лет. (Проза 1918—1924 гг.). «Сибирские огни», 1924, № 5, и другие его статьи.

о процессах его политического пробуждения под влиянием жестоких уроков борьбы.¹¹

В книге изображено крестьянство Сибири с его своеобразной исторической судьбой, социально-психологическим и нравственным складом. При этом «Два мира» остаются художественным документом периода гражданской войны по характеру видения мира, в известной мере ограниченному возможностями времени.

В. Зазубрин подчеркивал, что он писал агитационное произведение, шел по свежим следам событий. Цель его — «дать красноармейской массе просто и понятно написанную вещь о борьбе „двух миров“». ¹² Это обусловило своеобразие романа, отбор жизненного материала, характер освещения его. «Два мира» — это роман-событие, роман-размышление, главное же в нем — подведение итогов пережитого человеком и народом. Он пронизан единой, все объединяющей мыслью о подвиге народном, он отвечает на вопрос об источнике силы и победы революции.

На первый взгляд, перед нами летопись, хроника событий гражданской войны в Сибири. Тем более, что сам Зазубрин подчеркивал, насколько его заботила подлинность и достоверность повествования. Кажется, что изложение событий составляет главную цель автора, так как нет ни одного героя, который объединял бы их своим участием. «Хождение по мукам» молодого колчаковского офицера Барановского, его колебания не могли стать центром произведения. Герой остается фактически в стороне от процессов, преобразующих народное самосознание. И все же «Два мира» — это значительное художественное полотно и по материалу, и по осмыслению истории. А главное — в нем есть то, что необходимо для существенного преобразования крупного жанра прозы: черты складывающегося в процессе становления нашей литературы нового принципа изображения народа. При этом следует подчеркнуть, что книга В. Зазубрина существенно отличается от романов-хроник первой половины 20-х годов («Русь» П. Романова, «Две войны и два мира» С. Малашкина, «Вихрь» А. Демидова, «Колчаковщина» П. Дорохова и др.), в которых господствовала описательность. Открытия В. Зазубрина нашли продолжение в произведениях других писателей — А. Серафимовича, Д. Фурманова, Вс. Иванова.

Открытие В. Зазубрина — в изображении поднятого революцией крестьянства, осознающего себя силой, творящей новый мир. Сюжетный стержень романа — борьба двух лагерей за крестьянство: победа ждет тех, кто поведет его за собой. Почему зажиточное, кондовое сибирское крестьянство пошло за большевиками, а не за Колчаком?

Ответом служит изображение преступлений колчаковцев, стремящихся забыть, довести крестьянина до такой степени терпения и покорности, чтобы он выполнил любое, самое жестокое и нелепое приказание, угасить в нем разум и уничтожить все человеческое, низвести до животного существования и шагать по согнутым спинам.

Ряд глав посвящен истории Медвежьего. В. Зазубрин показывает, до какого состояния можно довести людей, покорно выносящих все притязания господ. Карательный отряд полковника Орлова занимает село без боя. После молебна он начинает на площади такую расправу, что «безот-

¹¹ См.: Л. Баландин, В. Я. Зазубрин, В кн.: Писатели-сибиряки. Литературно-критические статьи. Вып. II. Новосибирское книжное издательство, 1959; В. Трушкин. Первый советский роман и его автор. В его кн.: Литературные портреты. Писатели-сибиряки. Иркутское книжное издательство, 1961, стр. 176—199; Э. Г. Шик. Роман В. Зазубрина «Два мира» и отражение гражданской войны в советской литературе 20-х годов. В кн.: Советская литература 20-х годов. Южно-Уральское книжное издательство, 1966.

¹² В. Зазубрин. Два мира. Новосибирское книжное издательство, 1959, стр. 19.

четный смертельный страх колыхнул массу». Автор сумел передать это дошедшее до своего апогея состояние безысходности. Рубленая, экспрессивная фраза как бы воссоздает судороги страха и подавленности.

«Серая пыль площади. Белые пятна. Живые, полуголые. Свист. Железные прутья. Кровавые рубцы. Кровь. Красное мясо. Колокольный звон лгал. Радости не было. У церковной ограды дергались ноги. Рука крючила пальцы. Белые камни вспотели. Красный пот глядел полосами, брызгами, каплями. Мертвых было сорок девять. Окровавленных шестьдесят. Но были выпороты все. Уничтожены, растоптаны. Пестрая толпа с болью еле встала, зашаталась. А колокол все лгал» (стр. 50). Над толпой довлеет «тяжесть силы», разъединяющей, сковывающей, убивающей все человеческое.

Но только ли покорность, долготерпение видит В. Зазубрин в народе, в крестьянской массе? Ненавидевший большевиков поручик Мотовилов говорит: «Нет, тут в этой войне не оружие играет первую роль, а что-то другое, какие-то непонятные для меня духовные причины» (стр. 128). Революция пробуждает в народе все бунтарское, непокорное и творческое, развивает инициативу, будит человеческое и в ходе борьбы рождает новые связи, взаимоотношения людей. «Может быть, не все шли охотно в бой, может быть, даже коммунисты, но каждый чувствовал на себе тяжесть силы, огромной, давящей, толкающей вперед робкие ноги, силы всего многомиллионного коллектива, проснувшегося, поднявшегося на борьбу пролетариата, силы всех угнетенных и эксплуатируемых масс. Огромное, неумолимое поступательное движение колосса коллектива втягивало в крутящийся водоворот борьбы не только золото и драгоценные камни, но и щепень и мусор, грозя раздавить изменников и малодушных» (стр. 118).

Во главе партизанского движения стоят народный учитель-самоучка, бывший политкаторжанин Суровцев и комиссар полка — питерский рабочий Василий Молов. В ходе борьбы крестьянство выдвигает из своей среды талантливых руководителей, таких, например, как Григорий Жарков.

В. Зазубрина порой упрекают в том, что «в романе нет, если не считать образа подпоручика Барановского, глубокого психологического анализа характеров героев, писатель не входит в подробности их жизнеописания» (стр. 8). Но «не входят в подробности жизнеописания» писатели в 20-е годы и когда речь идет о Клычкове и Кожухе. Подобное изображение героя носило принципиальный характер: от руководителя, вожака и воспитателя масс требовалась полная отдача духовных сил борьбе. Это поглощало его без остатка. Все личное, интимное отступает, уходит вглубь. Сама масса от такого руководителя требует беззаветного служения ей, только за таким она пойдет.

В. Зазубрин сделал первый шаг в изображении именно такого характера (Суровцев, Василий Молов). В возвышенно-романтических тонах написан образ Григория Жаркова — крестьянина, ставшего народным вожаком. Партизаны, прижатые колчаковцами к непроходимой тайге, вырубая просеку, выходят к реке и уплывают на плотах от карателей. Забота о людях, ответственность за них дают Григорию Жаркову внутренние силы, чтобы найти выход из создавшегося положения.

Народ предстает активной исторической силой, в ходе борьбы становится коллективом, объединенным единством цели. Особенно важно, что крестьянство в тягчайших испытаниях начинает осознавать, насколько опасны долготерпение и покорность (крестьяне Медвежьего вплоть до глубоких стариков ушли-таки в партизанский отряд). Подобное изображение массы явилось серьезным творческим завоеванием В. Зазубрина и ранней советской прозы в целом.

Всматриваясь в процессы, все сдвинувшие в народной жизни, писатель видит, как сквозь хаос, сумятицу, стихию начинает пробивать дорогу новое. Крестьяне сами делают выбор в сложных условиях рево-

люционной ломки. В национальном характере побеждает жизнестойкое, ищущее, творчески активное.

В. Зазубрин шел к социалистическому реализму, изображая народные истоки революции и героя, рожденного временем.

«Падение Даира» А. Малышкина — произведение иного жанра. Такой поворот романтического видения мира, который воплощен в этой книге, родила сама преобразующаяся действительность. Повесть А. Малышкина наглядно показывает, как революционный романтизм смог войти, влиться в социалистический реализм.

В последней работе об А. Малышкине, принадлежащей перу И. Крамова, утверждается, что «Падение Даира» — вещь экспериментальная, но что «будущего этот эксперимент не имел». Поэтому А. Малышкин «довольно скоро отказался идти путями, проторенными своей первой большой удачей».¹³

Конечно, в середине 20-х годов А. Малышкин в известной степени «преодолевал» прежние «художественные, а частью и идейные концепции». Да и не только А. Малышкин. «Преодоление» можно понимать по-разному: отказ от всего предшествующего или продолжение, иное качественное наполнение прежних традиций с опорой на непреходящее, что содержалось в прошлом опыте. В первом случае художника ждут невосполнимые утраты, во втором — творческое завоевание новых рубежей в осмыслении развивающейся, никогда не стоящей на месте действительности.

В центре повести — образ массы, «великого кочевья», «множеств», «становья орд, идущих завоевывать прекрасные века». И. Крамов не вносит ничего сколько-нибудь существенного в понимание образа массы, а повторяет довольно распространенное представление о характере ее. По его мнению, «в „Падении Даира“ человек поглощен массой, личность растворена и затеряна в „кочевье“, внимание писателя сосредоточено на изображении стихийных сил, развязанных революцией. Эта особенность повести несомненно связана с мыслью, что революция требует жертвенного отказа личности от самой себя во имя высшего блага масс».¹⁴ Такое утверждение как раз и вызывает сомнение и вместе с тем объясняет, почему И. Крамов не понял значения повести как для последующего творчества А. Малышкина, так и для литературы 20-х годов.

Думается, что главное для А. Малышкина — не изображение анархической стихии, а поэтизация возвышенной веры в прекрасное будущее, которая помогает преодолеть стихийно-необузданные порывы, объединяет и сплачивает массу. Домыслом И. Крамова является утверждение, что А. Малышкин показал «жертвенный отказ личности от самой себя».

В годы гражданской войны рождались новые связи и отношения. Отразить этот процесс в литературе было нелегко. Только еще нащупывались пути изображения новой личности, рожденной массой, прошедшей с ней нелегкий путь преобразования и возрождения.

Повесть А. Малышкина построена на контрастном противопоставлении масс, идущих от тьмы к свету, и старого, одряхлевшего мира. Побеждает народная правота. Этот прием характерен для литературы периода гражданской войны (от «Двенадцати» А. Блока до «Двух миров» В. Зазубрина), в 20-е годы он будет использован и обогащен.

Социальный портрет массы рельефен и емок при всей романтической обобщенности. Сюжет повести отражает не только события, связанные со штурмом Даира, но и процессы духовного изменения массы.

Литературоведами уже отмечалось, что «„множества“ — не совсем безликая масса, что образы Микешина и Юзефа содержат в себе извест-

¹³ И. Крамов. Александр Малышкин. Очерк творчества. «Советский писатель», М., 1965, стр. 47—48.

¹⁴ Там же, стр. 48.

ные черты индивидуальной характеристики... Уроки борьбы становились стимулом роста сознания героя». ¹⁵ Выделена и такая особенность: «Сочетание торжественно-романтической интонации с конкретностью бытового рисунка согласуется с идейной трактовкой поставленной темы: будничное, на первый взгляд ничем не примечательное и даже внешне грубое, исполнено величайшего смысла, ибо на нем лежит отблеск героики революции». ¹⁶

В композиционном строе повести этот замысел воплощен последовательно и цельно. Органично вписывается в повесть и образ командарма. Примечательно то, что он чаще всего появляется в бытовых сценах, своеобразно сопутствуя Микешину и Юзефу. Рассмотрим с этой стороны композицию некоторых эпизодов повести.

«И так было надо: гул становий, двинутых по дикой земле, брезжущий в потемках рай — в этом было мировое, правда». ¹⁷ Так пишет автор. Этому эпизоду предшествуют мысли командарма: «Он знал, что над этой ночью будет еще, горящая и невозможная; в огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий, из построенных на крови эпох...» (стр. 148).

Такие романтико-патетические характеристики, как правило, начинают и завершают главы или отдельные сцены. В центре же конкретное, зримо ощутимое изображение событий. Вторая глава начинается так: «В селе Тагинка штабы двух дивизий» (стр. 145). Далее две сцены: совещание, на котором командарм излагает план операции, и сцена на улице — у костра, основные действующие лица которой — командарм, «толстомордый парень» (Микешин) и пожилой, «глядящий на огонь из-под скорбных полузакрытых век» (Юзеф). Они выделены из общей массы и в дальнейшем появляются в наиболее важных, узловых сценах. Между ними и массой существует невидимая связь.

Показательна композиция сцены у костра. Командарм вышел на улицу. Затем рисуется общая картина ночного отдыха: «Это было становье орд, идущих завоевывать прекрасные века» (стр. 147). Командарм подошел к костру. Мы видим группу людей его глазами, в центре — Микешин и Юзеф. Вместе с ним слушаем разговор, который ведут бойцы. При общем устремлении «завоевывать прекрасные века» каждый по-своему выражает заветное. Юзеф: «У бедных дома нема. Една семья, една хата — интернационал». У него, как сказал Микешин, «и дома-то нет, кругом один тернационал остался». Другой парень добавил: «Все книжки читаешь, умна-ай!» Микешин же, как сказал сутулый, «все больше насчет жратвы» (стр. 148).

Они, голодные и оборванные, верят, что в Даире найдут несметные богатства, «пошеничный хлеб, аль сала, аль свинина, прямо задарма». Сутулый спросил командарма: «...там столько добра напасено, что скажем, на весь бедный класс хватит? Или как? Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и ничего не ответил» (стр. 148). В органический сплав, в единый поток вливаются отдельные сцены, в которых дифференцированно раскрывается масса, в центре — наиболее характерные представители ее.

Смотр красных войск. Опять выделены Микешин и Юзеф: «И эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи); в пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе, закинув голову и орлом глядя вперед; другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брызжущие сны...» (стр. 161).

¹⁵ А. Хватов. Александр Малышкин. Очерк жизни и творчества. Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 23.

¹⁶ Там же, стр. 25.

¹⁷ Александр Малышкин, Сочинения в двух томах, т. 1, Гослитиздат, М., 1956, стр. 149 (далее ссылки приводятся в тексте).

Один — весь в настоящем, сиюминутном, другой — отрешенно, в будущем. Микешин настолько практичен, что унес плакат и обмотал им ноги, но он же сказал Юзефу: «Давай друг за дружку держатца!» Разве это не возрождение самим Микешиным пока не понятого чувства дружбы, товарищества, пусть смутное, неосознанное ощущение, что наивному и беспомощному Юзефу нужны поддержка, тепло человеческого участия. Во время боя над убитым Юзефом кричал Микешин, «охрипнув, разевая в гуле будто безмолвный рот: „Братишка, аль же в тебя попали, а?.. Эх, друг-то ведь какой бы-ыл...»

И, обернувшись к озерам, махал винтовкой.

— Жлобы!.. Вы!.. Напоследок и его, а-аа?..» (стр. 168).

Завершается бой эпически замедленно. «В заревах армия форсировала пролив, и множества пили пресную воду на том берегу, и, упав камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле.

И командарм в далекой избе, на попоне, завернувшись головой в шинель, спал не спал — видел зарева, висящие в безднах, и идущих из черных снов в века» (стр. 169).

Композиционный центр заключительной (VIII) главы — образ Руси, нарисованный в духе и стиле «Слова о полку Игореве». Это своего рода символ величия родины, единства ее прошлого и будущего. Образ этот тревожен и щемящ.

Не только в этой главе, но и во всей повести ощущается переключки с героическим прошлым русского народа. Уже А. Хватов особо подчеркнул, что «Падение Даира» — героическая повесть, наследующая традиции «Слова о полку Игореве»;¹⁸ подробно о влиянии древнерусской исторической и воинской повести пишет Л. Ф. Ершов.¹⁹

В те годы для Б. Пильняка и для А. Ремизова решающим оказалось стремление от настоящего «уйти в исторические сумерки», в чем проявилась их связь со скифско-эсеровскими концепциями революции. Обращаясь к древнерусской традиции, Малышкин не поэтизирует допетровскую Русь, не противопоставляет далекое прошлое — настоящему, а ищет связь времен. Для понимания современности он опирается на те периоды героического прошлого, в которых народно-героическое начало, как ему кажется, не замутнено ничем преходящим. Он хочет создать «чистый» народный эпос.

Завершается повесть Малышкина знаменательно. «Массы расступились под железным упором рядов. На правом фланге впереди шел рослый, с обветренным красным лицом, в новой английской шинели, с ногами, красными, как кровь; глаза, не мигая, упорно глядели перед собой в крики толп, в пенье труб, в светлы культур» (стр. 172). Командарм: «На шествии бесконечных, на сиянии пространств — недвижим был в остром шишаке профиль каменного, думающего о суровом. Полуракрытый рот хотел крикнуть призывно и властно.

Армия, командарм вступали в Даир» (стр. 172).

В повести «Падение Даира» как бы сосуществуют две стиливые струи: романтическая, преобладающая в изображении общего пафоса времени, в раскрытии историко-национальных истоков подвига народа, и реалистическая — в деталях повседневного воинского быта, в обрисовке представителей массы.

Есть полное основание сделать вывод: в повести «Падение Даира» проявились новаторские тенденции изображения народа и личности, начал формироваться художественный принцип воспроизведения массовых сцен. Писатель улавливал социальные и нравственно-психологические сдвиги в мироощущении людей, более того — рост самосознания народа.

¹⁸ А. Хватов. Александр Малышкин, стр. 24.

¹⁹ Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 64—72.

В историческом опыте прошлого эти подспудные начала проявлялись в наиболее трагические эпохи. Поэтому А. Малышкину оказался так родствен и близок древнерусский эпос.

В. Зазубрин и А. Малышкин выступили в роли разведчиков, преодолевая каноны романтизма и критического реализма, открывающих новые пути художественного изображения эпохи. Иной путь выбрал Б. Пильняк. Его роман «Голый год» (1921) многими современниками тоже воспринимался как явление новаторское, многоголосое воспроизводящее события революции. «Динамической» прозе Б. Пильняка подражали, «кожаные куртки» переключались в произведения многих писателей. На первый взгляд, «Два мира» и «Падение Даира» кажутся чем-то похожими на прозу Б. Пильняка. На самом же деле «Голый год» Б. Пильняка резко отличен от произведений В. Зазубрина и А. Малышкина. Если В. Зазубрин и А. Малышкин ищут в народной жизни то, что определяет ее будущее, то Б. Пильняк в революционной действительности привлекает то, что связано с прошлым.

Писатель видит, что революция все сдвинула с места. Но как это ни парадоксально, его как художника привлекает прежде всего то, что устояло под напором революции, осталось неизменным. Таким ему представляется крестьянство, якобы живущее по своим извечным законам. Его не затронули петровские реформы, не поколебала и революция. При разорванности композиции, при внешнем отсутствии событийных связей между жизнью уездного городка и затерянного на просторах России села Старый Курдюм есть внутренняя общность. Все вырвано с корнем, выброшено на просторы сумасшедшим вихрем мчащейся России. Куда, к чему — неизвестно. А вот Старый Курдюм не сдвинешь.

На первый взгляд, в центре романа — уездный городок, в окупованный мир которого ворвался вихрь революции. Быт, уклад купечества, особенно семьи Ратчиных, выписаны подробно, подчеркнуто физиологически. Вырождение княжеского рода Ордыниных — не столько социальный и нравственный, сколько биологический процесс. «Самое страшное, что мне осталось, — это тоска и смерть. Стервятники вымирают»,²⁰ — подводит итог своей жизни Борис Ордынин. Он считал себя «центром, от которого расходятся радиусы» (стр. 63). Революция разрушила эти иллюзии. Все же основная причина его самоубийства иная.

На Ордыниных лежит неизгладимая печать вырождения. Борис признается: «У меня сифилис, у Егора сифилис. Константин, Евграф, Дмитрий, Ольга, Мария, Прасковья, Людмила — умерли детьми, якобы в золотухе. Глеб — выродок, Катерина — выродок, Лидия — выродок, одна Наталья — человек...» (стр. 84). Натуралистическое описание биологически вымирающего, никому не нужного, выметенного революцией старинного княжеского рода снижает остроту социальной характеристики, даже снимает вопрос о классовой борьбе. С кем бороться? Есть «вообще революция», а всему остальному — конец.

Б. Пильняк видит, что уездно-обывательский мир внутренне гнил, затягивает людей в свое болото, губит все живое. Но как сам писатель понимает цели и задачи революции? Какие силы, по его мнению, она вызвала к жизни? На что она опирается и к чему устремлена? Ответы на эти, жизнью рожденные, вопросы и раскрывают историософию Б. Пильняка. С одной стороны, он показывает, как все мало-мальски жизнедеятельное из среды дворянства и купечества уходит в революцию (Наталья, Донат). Но что они в ней находят? Донат отвергает прошлое, но не видит будущего, это вызывает у него тоску и тревогу. Наталья Ордынина ищет успокоения и утешения в семье: не любя большевика Архипова, соглашается стать его женой.

²⁰ Б. Пильняк. Голый год. ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 64 (далее ссылки приводятся в тексте).

Неизменное состояние всех героев, в том числе и тех, кого нарицательно именуют «кожаные куртки», — тоска, томительная, сосущая, смертельная тоска. Возникающий временами мотив бодрости (правда, несколько экзальтированной, истеричной) имеет чисто внешнее, декоративное значение.

Основная сила жизни, в глазах Пильняка, — мужик, живущий по законам звериной правды. Все попытки что-либо изменить наталкиваются на его сопротивление.

Наиболее колоритная фигура крестьянского деятеля в революции — председатель комитета бедноты Иван Колотуров-Кононов. Он двадцать лет крестьянствовал, революция нарушила заведенный порядок жизни. «Иван Колотуров плохо понял, что надо будет делать, но когда пришла революция, докатилась до степи, — он первый поднялся, чтобы — делать. И почувал тоску» (стр. 156). В княжеской экономии ему тягостно, особенно мучает оторванность от земли, пахоты, необходимость подписывать ненужные, непонятные бумаги. «Старинные кувалдинские часы» по распоряжению Ивана Колотурова вынули из футляра, он их «отнес и бросил в нужник». «Вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой, на печку» (стр. 158). Заключение автора: «И помещичье Поречье, Поречье анархистов, Поречье Ивана Колотурова — погибли потому, что *Поречье было мертво*. Потому, что и у первых, и у вторых, и у третьего... — не было самого первого: воли *действовать, творить*, ибо творчество *всегда* разрушает» (стр. 159).

Как будто для Б. Пильняка главное в революции — это разрушение привычного, традиционного уклада жизни. Однако Иван Колотуров в силу темноты и невежества, сам не зная того, уничтожает уникальнейшие вещи, разрушить же крепь деревенской патриархальности он не в силах. Поэтому Иван Колотуров, по мнению писателя, — человек иной жизни, отношения к миру, несовместимого с революционными преобразованиями. Не случайно жизнь села Старый Курдюм оказалась непоколебленной революционными бурями. «По несколько раз были красные и белые», сжигали и грабили, в селе «нет молодых мужчин: одни ушли в революцию, другие ушли с белыми» (стр. 171). Но старый уклад неизменен — «варяжские времена». Писатель поэтизирует патриархальный быт с изобильной грубой едой, с русскими банями, вплоть до избы, в которой «пол-избы печь, на печи древняя старуха и полдюжины ржанных ребят, в углу свинья, в красном углу — хозяин, образа, генерал и царская фамилия» (стр. 169). Этот мир не посещает тоска, он живет извечно, устойчиво и неизменно.

Революция перевернула вверх дном жизнь провинции. Активно творят, действуют только большевики: «...из русской рыхлой корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили — и баста» (стр. 176). Они пустили завод, «ибо нет такого, чего нельзя сделать, — ибо нельзя не сделать... Большевики. Кожаные куртки. „Энегрично фукцировать“. Вот что такое большевики» (стр. 177).

Это вызов провинциальным будням. Но состоялся ли он? В истолковании этого мотива некоторые современные литературоведы²¹ идут за А. Воронским, который писал: «Кожаные куртки и Русь XVII века. Это — из двух эпох. Вместе им не ужиться... У Пильняка как-то пока мирно уживаются и любовь к кожаным курткам, и любовь к зоологической Руси».²²

²¹ См.: М. М. Кузнецов. Советский роман. Очерки. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 123—130.

²² См. вступительную статью А. Воронского в кн.: Борис Пильняк. Рассказы. Изд. «Никитинские субботники», М., 1927, стр. 21.

Подобное наблюдение имеет свое основание. Однако при более внимательном анализе легко обнаружить существенную близость между Иваном Колотуровым и большевиком Архипом Архиповым. Об Архипове: «Бумаги писал, брови сдвигал (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так: — константиновать, энегрично, литефонограмма, фукцировать, буждет — русское слово могут — выговаривал: — магуть. В кожаной куртке, с бородой как у Пугачева» (стр. 176; курсив мой, — А. С.). «Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная, — и черны глаза» (стр. 185).

Всей логикой повествования, в котором резко снижена роль социально-политических закономерностей, писатель показывает, что именно биологическое начало определяет поступки людей, выступает импульсом сюжетного развития. Рабочие завод восстановили, по сути, не в силу особого влияния большевиков, а в силу слепой экономической необходимости. «...Нечего было есть. Вот и все. Власть менялась восемь раз, у рабочих осталась одна мать — машина» (стр. 182).

Образы большевиков у Пильняка не просто статичны. Нравственно-психологически они в прошлом. Не случайно упрощенно-физиологически изображена женитьба Архипова и Натальи, подчеркнуто сходство Архипова с Пугачевым. В ночи, «в сером ветре, в совином радостном крике», в сумерках человек в кожаной куртке — свой, на месте.

Недоразумение в том и заключается, что, начиная с А. Воронского, литературоведы считают: большевики Б. Пильняка ратуют за стальную Русь, борются со звериным, стихийным, пугачевским. Но остается незамеченным, что представление Б. Пильняка о крестьянской Руси таково, что и Пугачев для него — воплощение первозданного, звериного. Большевики беспомощны перед этой силой, подчиняются ей. Они сами — дети стихии, живут и существуют по ее законам, они — в прошлом, будущее для них — «страшно», «тошно», «тоска».

Безусловно, Б. Пильняк отразил определенные стороны времени. Его «кожаные куртки» — выходцы из наиболее отсталой, малокультурной части мелкобуржуазной прослойки. Они — дети окуривщины. Это не организаторы новой жизни, а своеобразные выразители неонароднических и анархистских настроений с примесью славянофильства. А. Воронский прав, когда говорит, что «в историософии» самого Б. Пильняка эти взгляды мирно уживаются с «мужичьим анархизмом». Но вряд ли следует ставить в один ряд с ними «большевизм 1918 года».²³ Если творчество только в разрушении, если основное в человеке и в народе — первозданно-неизменное, зверино-извечное, то нет надежды изменить мир, невозможен и прогресс. Б. Пильняк не увидел в революции народного героического характера, не заметил тех черт, которые свойственны лучшим представителям партии, не отразил их огромной организаторской, преобразующей роли и нравственного влияния на массы.

Проза первых лет революции сделала определенные шаги в художественном осмыслении только что родившегося нового мира.

В эти годы уже были созданы произведения, ставшие исходными пунктами развития советской литературы. Немногое из прозы тех лет выдержало проверку временем, явилось основой для литературного развития 20-х годов. Но и те произведения, которые не пережили свою эпоху, должны привлечь наше внимание.

²³ Борис Пильняк. Рассказы, стр. 9. Подробно о философских взглядах Б. Пильняка см. в кн.: Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 55—61.

Рождалась новая Русь. Те огромные сдвиги, которые происходили в широчайших слоях крестьянства, подтверждали творчески преобразующую силу революции. Это определило поиски, связанные с изображением того, что объединяло народ, делало его способным преодолеть, казалось бы, непреодолимое — власть привычек, порожденных веками социального бесправия и рабства. Встала грандиозная по масштабам и трудностям задача — отразить и художественно осмыслить те изменения, которые произвела революция в жизни народа, особенно крестьянства.

Литература первых октябрьских лет предприняла попытку новаторского изображения революционного народа: был создан собирательный образ массы, сделаны первые шаги к более дифференцированному, социально обусловленному раскрытию сил, действующих в революции. Происходило формирование новаторских принципов отражения жизни, которые определили последующий характер советской литературы. Готовилась почва для развития социалистического реализма.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. Д. СМЕРНОВА

ПОМЕТЫ М. ГОРЬКОГО НА КНИГАХ И. С. ТУРГЕНЕВА

«Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него все понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди, и как хорошо все, о чем он кротко благовестит», — писал Горький в повести «В людях».¹ Так читал Тургенева подросток Алеша Пешков. Внимательно, с карандашом в руках, читал его произведения и Максим Горький. Об этом свидетельствует большое количество помет на книгах Тургенева и о Тургеневе, находящихся в личной библиотеке Горького. Пометы сделаны в разные периоды жизни писателя, ранние можно отнести ко времени подготовки лекций по истории русской литературы (1907—1908 годы), последние — к 30-м годам. По смыслу все пометы делятся на две группы: первая — материал для подготовки к лекциям, вторая — новые факты, интересные воспоминания, пополняющие и расширяющие то представление о Тургеневе, которое сложилось у Горького к 1909 году.

Готовясь к лекциям о литературе в Каприйской школе, он изучает все творчество Тургенева, знакомится с его политическими, эстетическими и философскими взглядами, старается представить себе личность писателя.

Горький заново перечитывает все произведения Тургенева. В 40-томном собрании сочинений писателя² пометы есть во II—VI и VIII томах (VII том утрачен), все они сделаны в одно время, красным карандашом. Характер помет различный, и это дает возможность проследить особенности работы Горького над книгами Тургенева.

Ряд произведений писатель предполагал подробно анализировать в лекциях — это «Дневник лишнего человека», «Рудин», «Отцы и дети», «Записки охотника» (рассказы «Хорь и Калиныч», «Малиновая вода», «Льгов»). В них Горький отмечает последовательно отрывки, содержащие характеристику героя и раскрывающие основной смысл произведения. Эти отрывки, иногда занимающие по несколько страниц, он собирался читать слушателям и выделял их в начале отрывка и в конце его вертикальными черточками, равными высоте строки. Совершенно иные пометы в романах «Накануне», «Дым», «Новь» и других произведениях, которые Горький не считал нужным разбирать в лекциях. В них он отмечает отдельные мысли автора или персонажей, важные с точки зрения общей оценки взглядов Тургенева. Здесь обычно несколько строк подчеркнуто на полях, а часто и подчеркнуто. Эти пометы гораздо разнообразнее, чем предыдущие.

Материал о Тургеневе для «Истории русской литературы» Горький черпал из многих книг, в частности из сочинений Герцена и исследований, посвященных последнему. В его библиотеке сохранился 10-й том сочинений А. И. Герцена (А. И. Герцен, Сочинения, т. X, Jeneve—Bale—Lyon, 1879), книги В. П. Батурицкого «А. И. Герцен, его друзья и знакомые» (т. I, СПб., 1904), В. Богучарского «Из прошлого русского общества» (СПб., 1904),³ Ч. Ветринского (В. Е. Чешихина) «Герцен» (СПб., 1908). Все эти книги содержат большое количество помет. Здесь также отмечены отрывки и страницы, которые предполагалось включить в текст лекций. Но далеко не весь собранный материал, относящийся к творчеству Тургенева, Горький смог использовать. Однако в «Истории русской литературы» Тургенев занимает самое большое место в ряду писателей XIX века. К его произведениям Горький обращается, характеризуя «лишнего человека», показывая, как изображала крестьянина дворянская литература и, наконец, при анализе нигилизма. Кроме того, Тургенев и его герои упоминаются в большинстве лекций, начиная со вступительной. Читанием лекций по истории литературы завершается для Горького период целенаправленного, углубленного изучения Тургенева. Однако наличие зна-

¹ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 13, Гослитиздат, М., 1951, стр. 448.

² И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений, посмертное издание, СПб., 1883 (далее, приводя пометы Горького, мы ссылаемся на это издание, указывая том, страницу, первые и последние слова отрывка).

³ Эта книга имеет дарственную надпись: «Дорогому Алексею Максимовичу. От автора. 1904.7.XI».

чительного количества помет второй группы, сделанных после 1909 года, подтверждает его неослабевающий интерес к Тургеневу.

Прямую связь с «Историей русской литературы» имеют пометы Горького на книге Овсяннико-Куликовского «История русской интеллигенции».⁴ Автор решал ту же задачу, которая недавно стояла перед Горьким, — показать развитие общественной мысли и ее взаимосвязь с историей литературы. Неудивительно поэтому, что помет на страницах книги Овсяннико-Куликовского огромное количество. Мы остановимся далее только на тех, которые имеют отношение к Тургеневу.

Интересны пометы Горького на воспоминаниях Фета⁵ и Штакеншнейдер.⁶ Дневник Штакеншнейдер, вышедший в 1934 году, — очевидно, последняя книга, где есть пометы, связанные с именем Тургенева. Отмечены Горьким высказывания о Тургеневе в письмах Л. Толстого⁷ и дневнике Блока.⁸ В конце 20-х годов Горький с карандашом в руках читает книгу Гревса о Тургеневе,⁹ где он чаще всего делает пометы в тексте писем Тургенева, приводимых автором. Здесь чувствуется желание Горького глубже понять Тургенева-человека во всей его сложности и противоречивости.

Произведения Тургенева снова и снова привлекают внимание Горького не только их художественным совершенством и удивительной способностью автора почувствовать и отразить новые веяния в общественной жизни своего времени, но и тем, что проблемы, затронутые в них, подчас приобретали актуальность и в новых исторических условиях.

Как уже указывалось нами, Горький собирался дать в лекциях подробный анализ «Дневника лишнего человека». Он тщательно отметил все, что в характеристике Чулкатурина показывает абсолютную никчемность его существования.¹⁰ На вопрос: «Что я за человек?» — герой сам отвечает, что основное его качество — бесполезность: «...про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний — да и только». Образ Чулкатурина настолько заинтересовал Горького, что и в романе «Рудин», как указывают пометы, он обратил внимание на персонаж, родственник герою «Дневника». Это Пигасов. Но если в первом случае сама судьба героя («Дневник лишнего человека» — исповедь умирающего) невольно смягчает отношение к нему автора, то к Пигасову он беспощаден. Горький отмечает полный иронии рассказ Тургенева о карьере Пигасова. Этот человек, претендующий на роль одинокой, непонятой и нецененной личности, — просто бывший чиновник, которому «захотелось поскорее выскочить в люди — он запутался, споткнулся и принужден был выйти в отставку».¹¹

Далее Горький выделяет отрывки, показывающие, что скептицизм Пигасова — оборотная сторона невежества и отсутствия интересов. В частности, он подчеркивает слова Рудина, направленные против Пигасова: «...если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущем своего народа? как может он знать, что он должен сам делать...»¹² Ведь Пигасову совершенно чужды мысли о «будущности народа», об ответственности личности перед обществом. Самолюбие непомерно развито у Пигасова, но он и не помышляет «овладеть своим самолюбием, как всадник конем», чтобы принести себя в жертву обществу.¹³ Наоборот, он без конца готов винить всех людей и это самое общество в своих неудачах, о чем очень убедительно свидетельствует отмеченное Горьким его суждение о людях «куцых и длиннохвостых».¹⁴ Себя Пигасов считает «кудным», т. е. «лишним» по терминологии Чулкатурина. Все сказанное Тургеневым о Пигасове не только подтверждает его родство с Чулкатуриным, но и является своеобразной пародией на последнего, безоговорочным осуждением подобного типа людей.

Пигасов и Чулкатурин занимают в творчестве Тургенева весьма скромное место. Но Горький хотел, видимо, обратить на них внимание своих слушателей, чтобы показать живучесть этого типа, его роль в условиях 900-х годов. Актуальность разоблачения индивидуализма интеллигента-мещанина, который становится значительной социальной силой, Горький видел прекрасно. В 1901 году в пьесе

⁴ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Собрание сочинений, т. VII (История русской интеллигенции), СПб., 1910 (с автографом: «Глубокоуважаемому Алексею Максимовичу Пешкову от автора»).

⁵ А. Фет. Мои воспоминания, ч. I. М., 1890.

⁶ Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. «Academia», М.—Л., 1934.

⁷ Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862—1910. М., 1913.

⁸ А. Блок. Дневник. 1917—1921. Л., 1928.

⁹ И. М. Гревс. История одной любви. М., 1928.

¹⁰ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 219 («Что я за человек...» — «...лишней птицей»), стр. 220 («Лишний...» — «...мною обремизилась»), стр. 222—276 («Лишний...» — до конца рассказа).

¹¹ Там же, т. III, стр. 15—17 («...господин Пигасов» — «...выйти в отставку»).

¹² Там же, стр. 33—34 («Я хотел сказать...» — «...должен сам делать»).

¹³ Там же, стр. 37—38 («Он доказывал...» — «...общему благу»).

¹⁴ Там же, стр. 89—90 («...больше всех говорил...» — «...подумал Пигасов»).

«Мещане» он нарисовал «мещанина, бывшего гражданином полчаса», и Петр при всей разнице во времени и обстановке действия своими рассуждениями о жизни удивительно близок Пигасову. А затем у Горького в годы реакции возникает замысел написать дневник «никудашника», над которым он и работает в 1911—1913 годах («Записки доктора Ряхина»).

Однако ограниченность объема курса истории литературы, очевидно, не позволила Горькому так подробно останавливаться на творчестве Тургенева; вот почему не только «Дневник лишнего человека», но и характеристика Пигасова не были включены в лекции.

Первое произведение Тургенева, подробный анализ которого дается в «Истории русской литературы», — роман «Рудин». Выделенные им в тексте романа большие отрывки, раскрывающие характер главного героя, Горький привел в лекциях. Мы не будем останавливаться на этих пометах, как и вообще на вопросе об отношении Горького к «лишнему человеку» и, в частности, к Рудину. Об этом много говорилось в литературе. Следует лишь добавить, что в оценке тургеневского героя Горький опирается на произведения Герцена, исследования Батуринаского и Богучарского.¹⁵

Впоследствии, читая, вероятно в 1912 году,¹⁶ «Историю русской интеллигенции», Горький отметил ряд высказываний Овсяннико-Куликовского о героях романа «Рудин» и о «лишнем человеке».¹⁷ Многочисленные отчеркивания на полях и неоднократно повторяющийся знак NB показывают, что Горький с удовлетворением констатирует совпадение точки зрения автора с мыслями, выраженными им самим в «Истории русской литературы».

В архиве Горького сохранилась одна из его черновых записок, относящаяся, по-видимому, уже к 30-м годам: «Рудин; Лаевский — Чехова; „Деревня“ Бунинна». Текст ее дает возможность предполагать, что хотя Горький уже неоднократно писал о Рудине и дальнейшей исторической судьбе «лишнего человека», эта тема продолжала его интересовать. Возможно, у него возникла мысль показать еще раз, как разнообразны наследники «лишнего человека» по своему социальному происхождению и как похожи они в смысле абсолютной бесполезности.

Следующая тема, которую развивает в лекциях Горький: отношение писателя-дворянина к мужику, изображение крестьянина в русской литературе середины XIX века.

Одним из первых в литературе показал мужика Тургенев; именно «Записки охотника» принесли ему широкую известность. С их анализа и начинается Горький. Он выбрал три рассказа: «Хорь и Калиныч», «Малиновая вода», «Льгов». Горький выделил в тексте этих рассказов обширные отрывки,¹⁸ часть из которых была включена в лекции. Выбор рассказов очень удачен, так как Хорь, Калиныч, Туман, Влас и Сучок совершенно не похожи друг на друга ни характером, ни судьбой. Но Горький, однако, подчеркивает в них общее — покорность, кротость, христианское терпение. «Человек массы, бунтующий мужик, — пишет он, — остался у Тургенева в стороне. „Зап[иски] ох[отника]“ — мирные идиллические картинки, ни слова горечи в них не сказано, ни одной гневной ноты не слышно».¹⁹

Тут Горький и прав и неправ. Мужик, который мыслит, чувствует красоту природы, удивительно метко характеризует людей и события, был совершенно новым лицом в литературе. Чем спокойнее тон «Записок», тем большее чувство протеста вызывала мысль, что все эти люди — чья-то собственность. Не могли не потрясать читателей повествование о судьбе Сучка или Власа, а иногда и отдельная, как бы вскользь брошенная фраза, вроде рассуждения Тумана о доброте барина. Большинство мужиков Тургенева — дворовые, но именно их жизнь особенно наглядно показывала страшное положение живой собственности.

Как историк литературы Горький не сумел оценить силу воздействия «Записок охотника» на русское дореформенное общество. Он писал, что на русского че-

¹⁵ См. пометы в статье Герцена «Лишние люди и желчевики» (А. И. Герцен, Сочинения, т. X, стр. 300—301) и в книге В. Батуринаского «А. И. Герцен» (стр. 104, 134, 136, 138).

¹⁶ См.: М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, стр. 211, 214.

¹⁷ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Собрание сочинений, т. VII (История русской интеллигенции), стр. 66, 140—141, 144—145.

¹⁸ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 5—8 («...он у меня...» — «...денег дескать нету...», «...за деревней догнал...» — «...вырезать нам сот», «Калиныч — добрый...» — «...легли спать», «Я с любопытством...» — «...курносый нос», «Хорь присел...» — «...подумал я»), стр. 10—11 («Меня занимали...» — «...точки зрения на жизнь»), стр. 13—15 («Калиныч от него...» — «...рук марать не стоит», «Но особенно любопытно...» — «...исчезали совершенно»), стр. 39—40 («Вельможественный был человек...» — «...качнув головой»), стр. 41—43 («Э, Влас...» — «...утирая лицо рукавом»), стр. 94—98 («Скажи, пожалуйста...» — «...нашей госпоже!»).

¹⁹ М. Горький, История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, стр. 182.

ловека не надо смотреть «до слепоты влюбленно, как смотрели на него Тургенев, Григорович и прочие, до „народников“ включительно».²⁰ Чрезмерное восхищение кротостью мужика, по мнению Горького, невольно придавало изображению его характер барствено покровительственный. Эту же мысль Горький впоследствии отмечает и в книге Овсянко-Куликовского.²¹

Свое отношение к героям «Записок охотника» и оценку позиции Тургенева в этом вопросе, впервые сформулированные им еще в «Заметках о мещанстве», Горький не изменил до конца жизни. Тем не менее в 30-е годы он неоднократно рекомендует издавать «удивительные „Записки охотника“».²²

Сохранился сделанный рукой Горького список рассказов, которые он предполагал включить в очередное издание «Записок охотника»: «Льгов. Смерть. Певцы. Живые мощи. Касьян с Красивой мечи. Странная история. Стук... Стук... Стук... Отчаянный».²³

* * *

Характеризуя в лекциях по истории литературы 60-е годы XIX века, Горький писал: «Место барина в рус[ской] жизни и литер[атуре] заступил разночинец».²⁴

И опять первым создателем нового героя оказался Тургенев, в 1862 году опубликовавший роман «Отцы и дети», который вызвал ожесточенную полемику. Самыми значительными были выступления Писарева и Герцена. Статьи Писарева «Базаров» и «Реалисты» имели такой резонанс, что Герцен критикует уже не тургеневского, а писаревского Базарова. И в лекциях Горького нет анализа самого романа, а разбирается лишь взгляд Писарева на Базарова. Правда, в «Истории русской литературы» отсутствует начало этой главы, и поэтому полного представления об отношении Горького к Писареву и Базарову она не дает.

«Отцы и дети» очень интересовали Горького, на страницах романа отмечено 37 больших и малых отрывков (пометы делались при подготовке к лекциям). Можно предположить, что Горький в процессе работы над текстом лекций решил отказаться от подробного анализа романа, но подготовительная работа была проделана. Возможно и другое — детальное изучение романа было предпринято писателем в связи с анализом в лекциях статей Писарева об «Отцах и детях».

Наибольшее количество помет связано с характеристикой Базарова. Очень подробно Горький отмечает все, что касается его взглядов, его нигилизма. «Нигилист... Это от латинского *nihi*, *ничего*... Нигилист, это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип».²⁵ И Базаров в самом деле отрицает все. Он отрицает поэзию ради химии и науку вообще ради конкретной отрасли знания;²⁶ отрицает любовь, ссылаясь на физиологию отношений между мужчиной и женщиной; отрицает влияние среды и воспитания на человека, утверждая, что каждый должен сам воспитывать себя;²⁷ отрицает медицину, изучению которой отдает свои силы.²⁸ В нем совершенно нет того восхищения мужиком и его христианской кротостью, за которое Горький порицал Тургенева. Наоборот, Базаров говорит, что «русский мужик бога слопаёт», и уверяет Аркадия, что добрые мужички всенепременно надуют его отца.²⁹ (Они, между прочим, и самого Базарова считают «чем-то вроде шути горохового».)³⁰ В своем абсолютном отрицании Базаров доходит до мысли, что отдельный человек не представляет никакого интереса, ибо является только представителем вида: «при правильном устройстве общества, совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр».³¹ Так проявляется стремление Базарова быть последовательным в своих рассуждениях, иногда доходящих до абсурда.

²⁰ Архив А. М. Горького, т. X, кн. 2. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 352.

²¹ «Некрасов — народный печальник. У него нет и тени того скептического и полупрезрительного отношения к мужику, какое было свойственно Тургеневу» (Д. Н. Овсянко-Куликовский, Собрание сочинений, т. VII, стр. 291).

²² См.: Архив А. М. Горького, т. X, кн. 1, стр. 388, кн. 2, стр. 431.

²³ Архив Горького.

²⁴ М. Горький. История русской литературы, стр. 240.

²⁵ И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 217. Отмечены такие отрывки на стр. 346—347 («...например, ты...» — «Еще бы!», стр. 249—250 («Аристократизм, либерализм...» — «...место расчистить»), стр. 252—253 («Во-первых, мы...» — «...с особенною дерзостью»).

²⁶ Там же, стр. 221 («Порядочный химик...» — «...не существует вовсе»).

²⁷ Там же, стр. 229—230 («...все-таки скажу...» — «...лучше смотреть жука»).

²⁸ Там же, стр. 332 («...мы теперь вообще...» — «...одно другому не мешает»).

²⁹ Там же, стр. 242 («И добрые мужички...» — «...на виолончели!»).

³⁰ Там же, стр. 419 («Увы! презрительно...» — «...шута горохового»).

³¹ Там же, стр. 291. На стр. 290—291 отмечен также отрывок: «Все люди...» — «...отдельною березой».

Тем не менее, отмечая все приведенные выше отрывки, Горький подчеркивает положительную роль базаровского отрицания. Много лет спустя он подтвердил эту оценку, дав свое определение нигилизма. В очерке о Н. С. Лескове он писал: «...возбудителем нигилизма было юношески дерзкое желание сразу, одним махом порвать все связи с прошлым страны... В героическом порыве молодежи выпрыгнуть из гнилого, ржавого болота дореформенной жизни коренилось здоровое начало...»³² Это здоровое начало видел в своем герое Тургенев. Он показал, каким незаурядным, ярким и цельным характером обладал всеотрицающий Базаров. Прослеживая одну за другой пометы Горького на страницах романа, мы видим, что он отмечает те моменты, которые наиболее полно раскрывают сильную и трагическую личность Базарова.³³

Несмотря на убеждение, что все люди одинаковы, Базаров не может не видеть разницы между собой и своими единомышленниками типа Ситникова.³⁴ И дело тут не в «бездонной пропасти базаровского самолюбия» (слова Аркадия), а в ясном сознании умного человека, не находящего себе равных.³⁵ Одиночество порождает у него презрение к людям,³⁶ чувство, что люди не стоят жертв, что они ничтожны³⁷ и ничтожен он сам перед огромностью мира.³⁸ В минуту раздумий о будущем вырывается у Базарова признание, что, стремясь все разрушать, он оказывается перед пустотой, ибо утверждать-то ему нечего.³⁹ Горький отмечает в тексте романа отрывки, раскрывающие положительные качества Базарова. Это прежде всего простота и демократизм человека, кажущегося таким заносчивым.⁴⁰ Далее: Базаров, не раз пренебрежительно говоривший о женщинах,⁴¹ с уважением относится к Фенечке.⁴² И еще одно его достоинство остановило внимание Горького: «в пошлости никто бы не упрекнул Базарова».⁴³

Тургенев не смог или не захотел противопоставить своему герою достойного противника. Но каждый из Кирсановых самым своим существованием оттеняет личность Базарова. И это тоже отмечено Горьким. Сначала Аркадий — друг и ученик Базарова. Все его разговоры, если это не перепевы мыслей Базарова, представляют собой либо «общее место», либо «противоположное общее место»,⁴⁴ как метко определяет последний.

Отец Аркадия — добрый мягкосердечный барин, стремящийся не отставать от современности. К нему очень подходят отчеркнутые Горьким слова однодворца Овсяникова о современных землевладельцах, которые «всем наукам научились», «а дела-то настоящего не смыслят».⁴⁵ Горький отметил только один отрывок в романе, где Тургенев дает исчерпывающую характеристику Николая Петровича и его хозяйства.⁴⁶

Павел Петрович Кирсанов — единственный открытый противник Базарова. Горьким тщательно выделены все его споры с Базаровым, в которых аристократ и англоман с пафосом защищает от «лекаришки» русский народ и цивилизацию (см. уже указанные отрывки на стр. 248—254).

Таков фон, таковы люди, среди которых оказывается Базаров, — Гулливер в стране лилипутов.

Познакомившись с пометами Горького в романе «Отцы и дети», мы видим, что герой Тургенева вызывает у него не только серьезный интерес, но и глубокое сочувствие. Уже в 900-е годы Горький высоко оценивает революционную роль нигилизма в жизни русского общества начала 60-х годов прошлого столетия. И поэтому он не мог согласиться с Д. Н. Овсяннико-Куликовским, который противопоставлял Базарова революционерам.⁴⁷ Он отметил этот отрывок в книге Овсяннико-Куликовского и поставил на полях знак вопроса.

³² М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, стр. 229—230.

³³ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 251—252 («Нет, русский народ...» — «...оказывался несостоятельным»), стр. 254—255 («Сила!...» — «...ответил Базаров»).

³⁴ Там же, стр. 321 («Ты, брат, глуп...» — «...ты еще глуп»).

³⁵ Там же, стр. 346 («Когда я...» — «...о самом себе»).

³⁶ Там же.

³⁷ Там же, стр. 346—348 («Ненавидеть!...» — «Еще бы!; «Однако мы довольно...» — «...в двадцать раз хуже того»).

³⁸ Там же, стр. 344 («А я думаю...» — «Что за пустяки!»).

³⁹ Там же, стр. 345 («...сказать, например...» — «...как эхо: где?»).

⁴⁰ Там же, стр. 212 («владел особенным...» — «...с ними небрежно»).

⁴¹ Там же, стр. 280 («Отчего ты...» — «...только уроды»), стр. 354 («Коли может...» — «...знак хороший»).

⁴² Там же, стр. 241 («Она мать...» — «...не по нутру»).

⁴³ Там же, стр. 284.

⁴⁴ Там же, стр. 345.

⁴⁵ Там же, т. II, стр. 75 («Только вот...» — «...словно дугу»).

⁴⁶ Там же, т. IV, стр. 360—361 («А между тем...» — «...уплаты процентов»).

⁴⁷ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Собрание сочинений, т. VIII, стр. 52.

Однако, возвращаясь к тексту лекций по истории литературы, мы находим совершенно иное отношение Горького к Базарову, отношение резко отрицательное. Сразу бросается в глаза, что в лекциях он обращает внимание на страницы романа, которые не были отмечены в тексте, говорит о поступках Базарова, которые при чтении произведений как будто бы остались вне поля его зрения. Объясняется это, как уже указывалось выше, тем, что в лекциях Горький дает характеристику не героя романа Тургенева, а Базарова, нарисованного в статьях Писарева, «сочиненного Писаревым». В «Истории литературы» находим даже такое определение: герой «писаревско-базаровского типа». Именно этот «новый» Базаров и вызывает у Горького резко отрицательное отношение. И хотя во вступлении к «Истории русской литературы» прямо сказано, что Писарев искажает тургеневского Базарова,⁴⁸ Горький невольно от критики по адресу Писарева переходит к критике по адресу Тургенева — ведь на материале его романа создавал Писарев своего героя. Даже ссылки при цитировании Тургенева Горький делает на статью Писарева «Реалисты».

И получается, что в лекциях Горький возмущается отношением Базарова к Фенечке. Он обвиняет Базарова в неуважении к науке, ставя знак равенства между ним и Писаревым. Критикуя отношение Базарова к Одинцовой и к женщине вообще, Горький опять-таки ссылается на статью Писарева. Наконец, Горький возмущается высказываниями Базарова о медицине, но он забывает, сколько сил отдаст ей герой романа.

И последнее: обвинение в мещанстве, в пошлости. «По существу психики, и активный, нападающий Базаров, и пассивно защищающий свою узко личную позицию [Молотов] — оба мещане...»⁴⁹ Здесь речь идет о ком угодно, только не о Базарове, созданном Тургеневым, ведь в романе Горький сам отметил слова: «в пошлости никто бы не упрекнул Базарова». И уж, конечно, никакого знака равенства между Базаровым и Молотовым поставить нельзя. Горький выступает против того «нигилизма», или «реализма», проповедником которого был Писарев. Особенно резко осуждает он пренебрежение критика к «отцам», к представителям революционного движения 40-х годов.

В этом отношении Горький, видимо, целиком разделяет точку зрения Герцена, выраженную им в статье «Еще раз о Базарове».⁵⁰ Горький обращает внимание на те страницы, где Герцен отмечает преемственность между поколениями революционеров — от декабристов к людям 40-х, а затем 60-х годов. Герцен убежден, что представители двух поколений могли бы объединиться в борьбе против самодержавия. Нигилизм, по его мнению, — наследие, переданное новому поколению борцами 40-х годов, и дело не в уничтожении его, а в правильном осмыслении главной задачи, стоящей перед молодым поколением. Когда петрашевцы пошли на каторгу за то, что «хотели ниспровергнуть все божеские и человеческие законы и разрушить основы общества... — они были *нигилистами*», — писал Герцен. Именно этот нигилизм он противопоставляет проповеди Писарева, которая легко могла привести к отказу от революционной борьбы.

В своей «Истории русской интеллигенции» Овсяннико-Куликовский пишет об естественной разнице психологических типов двух поколений, которая является, даже при одинаковых воззрениях, непреодолимой преградой между ними.⁵¹ Исходя из этого он доказывает неизбежность в жизни розни отцов и детей, розни, отраженной в романе Тургенева. Горький подчеркивает в книге Овсяннико-Куликовского соответствующие части текста и ставит рядом № и знак вопроса.

К проблеме вражды отцов и детей он возвращается много лет спустя на совершенно иной социальной основе. В статье «Беседы о ремесле» нет места рассуждениям о фатальном различии психологических типов. Здесь Горький говорит не об идеологической борьбе, показанной Тургеневым, а об истоках «бытовой, зоологической вражды собственника-отца к собственному сыну».⁵²

В упоминавшейся уже статье Герцена «Еще раз о Базарове» в отрывке, отмеченном Горьким, есть фраза об отцах — Сатурнах, закусывающих своими детьми.⁵³

Отцы — Сатурны фигурируют и в набросках Горького к пьесе, посвященной классовой борьбе в деревне.⁵⁴ Ссылками на историческую необходимость, на уроки

⁴⁸ М. Горький. История русской литературы, стр. 26.

⁴⁹ Там же, стр. 242.

⁵⁰ А. И. Герцен, Сочинения, т. X, стр. 417—424 («Верно ли понял...» — «...все гнусное императорской Руси...»), стр. 425—428 («Сердиться на то...» — «...помещичий халат»; «Чацкий не мог...» — «...отрицают на словах»), стр. 429 («В сущности...» — «...голода и холода»), стр. 430—432 («Если, говорит Писарев...» — «Нигилизм...»), стр. 435—437 («Тихая работа...» — «...принципов, он не внес»).

⁵¹ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Собрание сочинений, т. VII, стр. 38—39 («Чем вызывалось...» — «...достаточно сведений»).

⁵² М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, стр. 354.

⁵³ А. И. Герцен, Сочинения, т. X, стр. 424.

⁵⁴ Архив А. М. Горького, т. IV. Гослитиздат, М., 1957, стр. 151—166, 244—246.

прошлого Антип и Гусев доказывают свое право убивать сегодня, убивать детей, молодое, растущее, чтобы повернуть историю вспять. В связи с убийством Павлика Морозова Горький писал, что покажет в своей пьесе «психологию двуногого зверя—собственника, который видит в ребенке врага».⁵⁵ Проблема отцов и детей разрабатывалась им в это время и во втором варианте «Вассы Железновой».

И вообще тема эта в разных ее аспектах волновала писателя на протяжении всей его жизни, начиная с рассказов 90-х годов.

В 1928 году в связи с разработкой пятилетнего плана ГИЗа Горький писал: «Тургенев — почему „Новь“, а не „Отцы и дети“? Думаю, что для нашего времени „О. и д.“ — интереснее. Она (повесть, — А. С.) будет особенно интересна, если к ней дать выдержки из полемики, вызванной ею в свое время».⁵⁶

* * *

Теперь посмотрим, какое отношение к лекциям Горького о Тургеневе имеют его пометы в романах «Накануне», «Дым», «Новь». Их немного: в «Дыме» всего десять помет, в «Нови» — четыре, а в «Накануне» — лишь одна. В «Накануне» Горький подчеркнул слова Елены: «А вернуться в Россию — зачем? Что делать в России?»⁵⁷ Соответственно в лекциях, объясняя неизбежность появления рассуждающих, а не действующих Рудинных, он высказывает ту же мысль, целиком соглашаясь с Тургеневым. Но в последних романах писателя Горький уже отмечает попытки указать путь к преобразованию жизни в самой России. Так, он подчеркивает слова Потугина, обращенные к Литвинову, о необходимости по возвращении на родину дело делать: «Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации — в точном и строгом смысле слова, — проводите ли одну из ее идей, имеет ли ваш труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас?»⁵⁸ В этом отрывке слово «цивилизация» совершенно не имеет того иронического смысла, который вкладывал в него Тургенев, передавая рассуждения Павла Кирсанова. В данном случае оно выражает убеждение автора в необходимости постепенного движения по пути прогресса. А в лекциях Горький подчеркивает, что Тургенев не любит «политики» и постепеннеев Соломин ему ближе мечтателя и бунтаря Нежданова. В романе «Новь» им был отмечен только один момент в раздумьях Нежданова, когда герой осознает, что оказался в тупике: «Право, мне кажется, что если бы где-нибудь теперь происходила народная война — я бы отправился туда не для того, чтобы освободить кого бы то ни было (освободить других, когда свои не свободны!) — но чтобы покончить с собою...»⁵⁹ Горький не только подчеркнул эти слова, но на полях еще написал: «Пророчество». В картине движения к будущему, которую представляет себе Тургенев, Неждановым нет места.

В романе «Дым» Горький обращает внимание на критику славянофилов. Им отмечены иронические характеристики, которые дает Тургенев членам кружка Губарева. Так, Ворошилов «даже молчит фразисто» (стр. 28 — подчеркнуто), Бамбаев, слушая его рассуждения об архитектуре, только одобрительно «подмывивал» (стр. 64 — подчеркнуто). И наконец: «...все это люди отличные, а в результате ничего не выходит; припасы первый сорт, а блюдо хоть в рот не бери».⁶⁰ Отмечены Горьким рассуждения Потугина и отчасти Литвинова о привычке русского человека к рабству,⁶¹ об отсутствии русского национального искусства,⁶² о том, что «так называемое народное творчество есть нелепость и чепуха»⁶³ и что в таком-то уезде, «по уверению одного путешественника, людей со скуки даже рвет под час».⁶⁴ В заключение подчеркнуты на полях и подчеркнуты следующие слова: «„Дым, дым“, повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское».⁶⁵

Горький в своих лекциях высоко оценивает роль западников в русском общественном движении XIX века и, делая пометы в романе «Дым», он в ряде случаев соглашался с Потугиным. В ряде случаев, но далеко не во всем. Ведь весь горьковский курс истории русской литературы говорил о богатстве и самобытности нашей литературы, о ее роли в борьбе против деспотизма. Знаком народного творчества, Горький не мог, конечно, согласиться с отрицанием его красоты и глубины.

⁵⁵ Там же, стр. 246.

⁵⁶ Архив А. М. Горького, т. X, кн. 1, стр. 290.

⁵⁷ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 190.

⁵⁸ Там же, т. V, стр. 199 («Всякий раз...» — «...у нас»).

⁵⁹ Там же, стр. 484.

⁶⁰ Там же, стр. 28.

⁶¹ Там же, стр. 30 («Новый барин...» — «...у нас проделки!»).

⁶² Там же, стр. 105 («Старые наши...» — «...самостоятельном искусстве!»).

⁶³ Там же, стр. 109 («Разверните наши...» — «...говорить не стану»).

⁶⁴ Там же, стр. 191.

⁶⁵ Там же, стр. 202.

Таким образом, при характеристике политических взглядов Тургенева Горький опирается и на его последние романы. Одновременно для лекций он делает ряд близких по смыслу помет в книгах о Тургеневе. Так, он отмечает в статье Батуринаского «Герцен и Тургенев» несколько отрывков, где говорится о связи Тургенева с «Колоколом».⁶⁶ Его внимание привлекает замечание Ветринского о том, что рабочий народ Парижа Тургенев, находившийся там одновременно с Герценом в 1848 году, знал несравненно лучше Герцена.⁶⁷

Но, указывая в лекциях на положительные стороны мировоззрения Тургенева, Горький одновременно подвергал критике его «политический индифферентизм». Много лет спустя Горький, читая книгу Гревса о Тургеневе, отметил отрывок из письма Тургенева к Герцену от октября 1862 года: «Роль образованного класса в России — быть передателем цивилизации народу с тем, чтобы он сам уже решил, что ему отвергать или принимать; это, в сущности, скромная роль, хотя в ней подвизались Петр Великий и Ломоносов: эта роль, по-моему, еще не кончена».⁶⁸ И там же подчеркнул замечание автора книги: «Скорбел Ив. С-ч больше всего о том, что люди не понимают необходимости... „постепенного“ шествия к высшему идеалу».⁶⁹

Ту же мысль о неопределенности политической позиции Тургенева отмечает Горький и в воспоминаниях противоположных по своим позициям его современников. Об этом дважды пишет в своем дневнике Штакеншнейдер.⁷⁰ Об этом же, по существу, говорит в своих воспоминаниях А. Фет.⁷¹

Однако, как мы видим на примере произведений, рассмотренных ранее, Горький, независимо от оценки политической позиции Тургенева, очень большое значение придавал популяризации его творчества. Он отметил следующую мысль А. Блока: «...секрет некоторой антимузыкальности, неполнозвучности Тургенева, например, лежит в его политической вялости. Если не разоблачим этого мы, умеющие любить Тургенева, то разоблачат это идущие за нами люди, не успевшие полюбить Тургенева; они сделают это гораздо более жестоко и грубо, чем мы, они просто разрушат целиком здание».⁷² Здание, по словам Блока, необходимо сохранить, вынуд лишь несколько кирпичей.

* * *

Есть еще одно небольшое произведение Тургенева, где много помет Горького, — это рассказ «Довольно». Пометы в нем сделаны при подготовке к лекциям, но ни по характеру своему, ни по смыслу они как будто бы не имеют никакого отношения к горьковской истории литературы. И, однако, это не совсем так.

Мироощущение художника, его эстетические взгляды не могли не интересовать Горького при анализе творчества Тургенева, даже если он и не собирался специально говорить об этом в лекциях.

Автобиографичность рассказа, его близость к настроениям самого автора заставили Горького особенно внимательно вчитываться в текст.

Все пометы относятся ко второй части произведения, где автор развивает мысль о бренности жизни, о ничтожности и бессмысленности существования человека, который подобен мошке, погибающей вместе с исчезновением последнего луча солнца. «Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить, и не стыдно надеяться»,⁷³ но коль скоро глаза открылись, жизнь становится ужасной: «Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко — неинтересна — и нищенски плоска».⁷⁴ Далее возникает вопрос: как же и ради чего жить? Искусство, творчество — вот что могло бы быть основой жизни. И снова пометы Горького: «...не условность искусства меня смущает; его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах — вот, что лишает меня бодрости и веры. Искусство в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому, что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля...»⁷⁵ Но «природа... не знает искусства»,⁷⁶

⁶⁶ В. П. Батури́нский. А. И. Герцен, стр. 77, 80, 85.

⁶⁷ Ч. Ветри́нский. Герцен, стр. 183—184 («... господство, самое...» — «... из Парижа»).

⁶⁸ И. М. Гревс. История одной любви, стр. 75.

⁶⁹ Там же, стр. 74.

⁷⁰ Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки, стр. 199 («Мне как-то...» — «... никакого»), стр. 266 («Сам же Тургенев...» — «... и боязливая»).

⁷¹ А. Фет. Мои воспоминания, стр. 107 («По всему...» — «... свои желания»).

⁷² А. Блок. Дневник, стр. 154—155.

⁷³ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 49 (отчеркнуто Горьким).

⁷⁴ Там же, стр. 50 (отчеркнуто Горьким).

⁷⁵ Там же, стр. 52.

⁷⁶ Там же.

она одна непреходяща и сама в своих вечно исчезающих и возрождающихся формах «не чуждается красоты»⁷⁷ (подчеркнуто Горьким).

Трагедия же художника заключается в том, что он один творит сознательно и одновременно понимает неизбежность разрушения всего сущего.⁷⁸

Горький имел возможность убедиться, что эти рассуждения не случайны у Тургенева. В романе «Дым» он отмечает ту же мысль о бессилии человека, человеческого разума перед лицом природы.⁷⁹

Надо сразу отметить, что и много лет спустя Горький обратит внимание на подобные же замечания Тургенева в письмах 1848 года, т. е. написанных до создания этих произведений. Горький подчеркнул следующие слова: «... Жизнь — это маленькая красноватая искорка в мрачном и немом океане Вечности!»⁸⁰ и далее: «Ах, я не выношу неба!»⁸¹ Здесь небо ассоциируется все с тем же океаном вечности, которому Тургенев противопоставляет свою любовь к земле, ко всем случайностям и деталям жизни. Знакомство с этими пометами показывает, как глубоко заинтересовали Горького мысли Тургенева, но, очевидно, сочувствия у него они вызвать не могли. Ведь уже в поэме «Человек» Горький, говоря об одиночестве человека во вселенной, перед лицом природы, все-таки видит красоту его и силу, способную победить мир. Слово «бренность», так трагически звучащее у Тургенева, тоже не пугало его, наоборот, он восклицает: «Благословен закон бренности обновляющий дни жизни».⁸² Можно назвать много произведений Горького, например, «Симплонский туннель», «Ледоход», которые показывают, как умел и любил он изображать человека, вступающего в единоборство с природой и побеждающего ее. Ему чужда и мысль о том, что сам художник и его творчество подобны мошке, живущей мгновение. Вспомним, что в 1912 году Горький писал: «Умирает человек — Народ бессмертен, и бессмертен Поэт, чьи песни — трепет сердца его Народа».⁸³

* * *

Пометы Горького на произведениях Тургенева свидетельствуют о пристальном внимании его к творчеству писателя. Немало издательских начинаний и собственных литературных работ Горького имеет то или иное отношение к произведениям, героям или к отдельным мыслям Тургенева. Не случайно Горький с сочувствием отметил слова Л. Толстого: «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу. Непременно, или буду читать или напишу, и дам прочесть о нем»,⁸⁴ и дальше: «Вчера очень долго не мог заснуть — читал Тургенева».⁸⁵

СТАТЬЯ С. Г. СКИТАЛЬЦА О ТУРГЕНЕВЕ

(ПУБЛИКАЦИЯ В. А. ГРОМОВА)

3 сентября 1933 года исполнилось пятьдесят лет со дня смерти Тургенева. Эта дата широко отмечалась советской и зарубежной общественностью.

Находившийся в ту пору еще в Харбине, но внутренне уже навсегда порвавший с эмиграцией и готовившийся к возвращению на родину, Скиталец посвятил тургеневскому юбилею специальную статью. Ее черновой вариант был набросан в общей тетради писателя рядом с другими статьями и воспоминаниями: «События в Харбине 1932 г.», «Часы истории (к 15-летней годовщине Октябрьской революции)», «У дверей грядущего», «О писателях (портреты). Златовратский, Сергеев-Ценский», «Певец лишних людей. (К 50-летию со дня смерти И. С. Тургенева)»¹ и т. д.

В том же архиве Скитальца сохранилась и беловая рукопись интересующей нас статьи. На ней сделана помета неизвестной рукой: «Лекция. Не издана».²

⁷⁷ Там же, стр. 53.

⁷⁸ Там же, стр. 54 («В этом наше...» — «...и для мгновенья»).

⁷⁹ Там же, т. V, стр. 170 («Но природа...» — «...не переедет»).

⁸⁰ И. М. Г р е в с. История одной любви, стр. 66.

⁸¹ Там же, стр. 69.

⁸² М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, стр. 221.

⁸³ Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. 2. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 280.

⁸⁴ Письма графа Л. Н. Толстого к жене, стр. 201.

⁸⁵ Там же, стр. 202.

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (далее — ЦГАЛИ), ф. 484, оп. 2, ед. хр. 47.

² Там же, ед. хр. 48.

Вполне возможно, что эта работа о Тургеневе и не предназначалась ее автором для публикации. Во всяком случае в советской печати она нигде нами не обнаружена.

В приобщении Скитальца к передовому общественному сознанию, а затем и к непосредственному участию в революционно-освободительном движении большую роль сыграли произведения Тургенева, особенно «Записки охотника», поскольку в них писатель находил много лично ему близкого и понятного. Дело в том, что в судьбе отца Скитальца было немало общего с судьбой многих тургеневских героев-крепостных из «Записок охотника» — этой, как говорил А. И. Герцен, «поэтической обвинительной речи против крепостничества», которая принесла «огромную пользу» русскому обществу.³

В «Автобиографической справке для словаря советских писателей» Скиталец сообщил: «Отец — Гавриил Петрович Петров — во времена крепостного права дворовый человек, обученный столярному, токарному и резному делу, работавший на „кабальных“ условиях в пользу помещика на фабриках и заводах и, наконец, отданный в солдаты в эпоху Николая I. В конце жизни — деревенский кустарь — столяр. Описан в рассказе „Сквозь строй“».⁴

В главе «Как я писал» очерка Скитальца «Русская народная литература» приведены очень ценные дополнительные сведения об этом человеке, сыгравшем в литературной и общественной биографии своего сына исключительно важную роль: «Отец мой был столяр, но в мои ранние годы несколько раз менял профессии, живя то в деревне, то в городе <...> Пяти лет от роду я чрезвычайно легко и быстро выучился читать у отца и пристрастился к чтению <...>

В сельской школе продолжалось мое увлечение чтением книг — в то же время я заинтересовался моим отцом: это был талантливый рассказчик и интересный собеседник, обладавший знаниями, совсем не свойственными обыкновенным столярам.

Часто мне и другим при мне он рассказывал свою замечательную жизнь, полную несчастий и страданий: рассказывая, он часто с проклятиями плакал и заставлял плакать слушателей. Он был жертва крепостного строя. Вся жизнь отца была цепью насилий над человеком: в юности он был помещицей отдан на несколько лет в кабалу, как называлась тогда продажа человека на время, как бы в аренду, а потом — по болезни ног — в солдаты. За негодность к труду там его скоро положили в больницу, где он и пролежал два года, пока не отрезали ногу.

В течение этих лет перечитал, лежа на больничной койке, всю больничную библиотеку — вот откуда была развитость и начитанность этого странного столяра. Когда я слушал его потрясающие рассказы о крепостных временах, мое детское сердце пылало ненавистью и желанием мести за отца».⁵

Впечатления от этих рассказов и прочитанных книг о той же крепостнической поре явились первым толчком к сочинительству. «Помогая отцу в столярной работе, — пишет далее Скиталец, — я в то же время прочитал всю школьную библиотеку и вместе с отцом увлекался стихами Некрасова и Никитина. Потянуло подражать им, и, таким образом, я начал писать стихи и писал их ежедневно. „Кулак“ Никитина вызвал у меня желание потягаться с ним и тоже написать поэму. Темой взял жизнь моего отца и отдался писательству с таким воодушевлением, что в три недели поэма в тысячу стихов под названием „Кабала“ была готова. Было мне в то время 14 лет».

«Антикрепостническая поэма», однако, не увидела света. Цензура ее не пропустила. «К этой теме, — замечает Скиталец, — я вернулся через много лет, когда уже 30-летним написал повесть „Сквозь строй“, прообразом которой была поэма „Кабала“».⁶

Рассказав далее о том, что он увлекся революционными идеями и был исключен из последнего класса учительской семинарии за «политическую неблагонадежность», Скиталец в заключение писал: «Только тут отец понял, что своими рассказами о крепостных временах, о вынесенных им обидах, рассказами, проникнутыми ненавистью к классу помещиков, проклятиями этим людям и порядкам, исковеркавшим его жизнь, он первый направил меня на опасный путь».⁷

От «Записок охотника» закономерен переход к романам о «лишних людях». В традиционное освещение центральной темы публикуемой ниже статьи автор вносил свои раздумья над судьбой той части современной ему русской интеллигенции, которая оказалась в эмиграции и тем самым записала себя «в число нынешних „лишних“».

Перед возвращением на Родину Скиталец обратился 19 апреля 1934 года в оргкомитет Союза писателей СССР с телеграммой, где говорил о самом себе так:

³ См.: А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XVIII, Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 215.

⁴ ЦГАЛИ, ф. 484, оп. 2, ед. хр. 52, л. 1.

⁵ Там же, оп. 3, ед. хр. 25, л. 23.

⁶ Там же, л. 24.

⁷ Там же.

«Ураганом событий надолго оторванный от моей страны, я сердцем, мыслью не отрывался от нее, взоры мои всегда были прикованы к ней, горд возможностью вернуться и продолжать в рядах работников советской литературы борьбу за строительство новой жизни».⁸

«Эмигрантская художественная литература, — писал Скиталец тогда же в особой статье на эту тему, неотделимая в его представлении от старой проблемы «лишних людей», — за 17 лет своего существования дала сравнительно с советской «литературой» чрезвычайно мало, и это неудивительно: из эмигрировавших немногочисленных старых писателей многие умерли, оставив весьма скромное литературное наследство, остальные, используя поверхностные и сумбурные впечатления первых лет или даже месяцев революции, постепенно отрывались от жизни родной страны».⁹

Особый интерес в этом плане представляют суждения Скитальца об эмигрантском периоде творчества И. А. Бунина — «прирожденного академика, последнего классика тургеневской школы дворянских писателей».¹⁰ Отметив, что первые годы своего эмигрантства он довольно долго молчал, «ограничиваясь выпуском лирических стихотворений, образцово отшлифованных, как и все, что выходит из-под пера» писателя, Скиталец далее говорит о двух его прозаических произведениях той поры.

«„Митина любовь“ и „Жизнь Арсеньева“ написаны с присущим Бунину академическим мастерством, иначе написать и не может этот мастер высокой техники, но нельзя сказать, чтобы названные произведения прибавляли что-нибудь к его прежним лаврам: впечатление такое, как будто „Митина любовь“ написана лет 30 назад, а напечатана только в недавнее время. Почти такое же повторение самого себя чувствуется и в „Жизни Арсеньева“: те же прекрасные описания „орловской“ природы, как и в давних рассказах Бунина, и ни одного штриха нового: облик Родины остался в сердце поэта все таким же, каким он запечатлелся в годы юности, как будто вся жизнь родной страны осталась в прошлом и окаменела для Бунина на чужбине. В этом виноваты, конечно, не упадок таланта и не отсутствие желания отражать в литературе современность: виновата многолетняя оторванность писателя от родной страны — роковое проклятие, тяготеющее над всей эмигрантской литературой».

Несомненно, если бы на месте грустно-поэтических, а в сущности чахлах орловских „ржей“ и „овсов“ Бунин мог увидеть теперь необозримые колхозные нивы с их тучными, небывалыми урожаями, с искусственным удобрением и орошением, с движущимися по ним тракторами и комбайнами, если бы певец „печальных полей“ и автор мрачных „Мужиков“ (то есть повести «Деревня», — В. Г.) мог увидеть современные колхозы с их техническими мастерскими, библиотеками, газетами, кинотеатрами на месте полуразрушенных захудалых усадеб, начавших разрушаться еще в годы юности Бунина — Арсеньева, ныне исчезнувших совсем и навсегда; если бы он увидел и все остальные неисчислимые и невероятные чудеса великого и многообещающего строительства совершенно новой сильной и радостной жизни в стране бывшего уныния, рабства и тоски, в которой так еще недавно жило столь знакомое ему с детства „племя дикое, племя свирепое, племя дурацкое“ (Островский), — тогда на его палитре, наверное, появились бы новые краски, более сильные и яркие, чем прежде... Но — приходится от души пожалеть о никчемной и печальной судьбе талантливых русских людей в эмиграции, не выделяя из их числа даже Бунина, добившегося путем многолетних усилий вполне заслуженной им Нобелевской премии».¹¹

Конечно, именно эти, говоря словами Скитальца, «пласты» общества переживали в условиях «великого, почти геологического сдвига», совершившегося в России, «психологическую трагедию „лишних людей“». Отсюда и исходная мысль автора о том, что «проблемы тургеневских времен еще не окончательно разрешены: они как бы повторяются в жизни новых поколений в радикально изменившейся обстановке».

Большое внимание Скиталец уделял вопросу о роли и месте литературы прошлого в социалистическом переустройстве страны. Иногда ему еще казалось, что «теперь, пожалуй, не до классиков» (так первоначально было им написано в статье о Тургеневе). В окончательном варианте автор, однако, отказался от этого своего предположения, изменил целый ряд других подобных формулировок.

В набросках статьи 1938 года о дооктябрьских и советских писателях Скиталец убежденно заявлял, что «в богатой советской художественной литературе сохранен и распространен драгоценный материал дореволюционного прошлого: теперь один только Пушкин, впервые дошедший до народа, издается в миллион-

⁸ «Литературная газета», 1934, № 50, 22 апреля.

⁹ ЦГАЛИ, ф. 484, оп. 2, ед. хр. 49, л. 1.

¹⁰ Там же, л. 2.

¹¹ Там же, лл. 3—4.

ных тиражах». ¹² Это же можно было сказать и о Тургеневе, и о любом другом классике.

«Современные писатели, — замечал далее Скиталец, — могут с чисто академическим интересом оглянуться на жертвенный путь дореволюционных писателей, пробивавших своими головами роковую брешь в закланной „стене“». ¹³ «Коллективный образ писателя того времени» представлялся Скитальцу «трагически-печальным, но неизменно гордым, не склонявшим головы перед царизмом». ¹⁴

Отдельные черты для создания такого собирательного образа давал и Тургенев. Его бессмертные слова о «могучем языке» родного народа служили для Скитальца одним из нерушимых связующих звеньев между писателями прошлого и настоящего. ¹⁵

ПЕВЕЦ ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ

(К 50-летию со дня смерти Н. С. Тургенева)

Исполнилось полстолетия с тех пор, как умолкла муза одного из крупнейших классиков русской литературы, по справедливости признанного «великим художником», «на произведениях которого воспитывались поколения грамотных людей нашей страны». ¹⁶ Эти произведения давно считаются первоклассными, «десятки лет изучаются в школах», имя Тургенева навсегда осталось в истории русской литературы, все написанное о нем и его творениях, в свою очередь, представляет обширную литературу, «сияющую крупными именами авторов начиная с эпохи Писарева и до наших дней».

«Незабываемые образы его творений освещены критикой до мельчайших штрихов, дневники и письма обнародованы, а многочисленными воспоминаниями современников подробно обрисованы его грустная жизнь, исключительная любовь и одинокая смерть».

Казалось бы, трудно в наше время сказать о прославленном классике и его произведениях что-либо новое, а между тем в новейшей литературе не перестают вызывать из прошлого бессмертную тень, давно приобщенную к почти легендарным теням Леонарда и Данте, великую тень, в которой так противоречиво соединены Гамлет и рыцарь печального образа, пессимизм с вечно юным идеализмом».

За эти пятьдесят лет русская жизнь сделала гигантский сдвиг от патриархальности крепостного права к социальной революции и коренному переустройству всей жизни страны.

«Ей теперь, пожалуй, не до классиков, пожалуй, она теперь их редко перечитывает, а то, что писал автор «дворянских гнезд» и «Записок охотника», конечно, давно уже отошло в область далекого прошлого».

И все-таки попробуйте раскрыть наудачу любую страницу Тургенева, и на вас пахнет не только неувядающей свежестью могучего таланта, но и волнующей жгучестью содержания, настолько жизненного, что в глубине этой старины вы ощутите биение нашей новизны: проблемы тургеневских времен еще не окончательно разрешены: они как бы повторяются в жизни новых поколений в радикально изменившейся обстановке.

«Великий художник так глубоко черпал жизнь и так далеко вперед закидывал свой невод, что его интуитивные видения и мучительные искания того, чего тогда еще не было у жизни, но было необходимо ей, стоят теперь перед нами ближе и реальнее».

Тогда была жалкая горсть «лишних людей», привилегированных людей сороковых годов, лучших людей передового образованного класса, не поспевших за сдвигом жизни после уничтожения крепостного права: «это была мыслящая часть тогдашнего дворянства» дворянская интеллигенция, гегельянцы-идеалисты, отвлеченно-восторженные мечтатели, барчуки, жаждавшие великих дел обновления человечества, но неспособные даже к малым делам в обстановке тогдашней мрачной и пошлой действительности. Их родоначальниками были еще дермонтовские Печорины, а последышами — Рудины и Лаврецькие. В число «лишних», но лучших людей того времени Тургенев сурово включал самого себя, Огарева, Герцена и прочих своих друзей.

Но разве нынешний великий, почти геологический сдвиг не выбросил в число нынешних «лишних» между прочим и современную интеллигенцию по той же самой причине, по которой была выброшена горсть дворян-гегельянцев сороковых годов, оказавшихся «отсталыми» в деловой эпохе шестидесятников?

¹² Там же, ед. хр. 55, л. 3.

¹³ Там же, л. 10.

¹⁴ Там же, л. 13.

¹⁵ Там же, л. 8.

¹⁶ Статья публикуется в ее беловом варианте. В угловых скобках обозначены те строки и целые части текста, которые зачеркнуты в оригинале.

И разве не переживают в наше время целые пласты и классы общества психологическую трагедию «лишних людей»?

Тургенев не был простым бытописателем виденного им, иначе никто не считал бы его великим художником; кроме первоклассного, чуткого таланта, у него был огромный ум, европейское образование. Он понимал, что тогдашняя Россия изжила безобразие крепостного права и удушающий гнет ненужного, лишнего, умирающего дворянства, что даже лучшие элементы этого класса неспособны вывести ее из состояния страшного омертвения. «Он дал свою знаменитую «аннибаловскую клятву» не положить своего оружия в борьбе с главным врагом тогдашней России, имя которому было крепостное право. Тургенев выступил с потрясающей книгой «Записки охотника», которая произвела действие громового удара над головой этого врага. Ее появление всколыхнуло читающую массу, оказало известное воздействие в правительственных сферах и значительно ускорило освобождение крестьян, и без того неизбежное».

Никаких особенных политических «громов», как известно, однако, в этой книге не заключалось; но она была первым правдивым и своевременным описанием бесправного и невыносимого положения закрепощенного крестьянства, сделанным в высокохудожественной литературной форме.

«Противники освобождения крестьян постоянно выражали опасение, что освобожденные рабы, как звери, бросятся на своих господ, растерзают их, истребят культуру, разрушат государство».

Но Тургенев без особого тенденциозного умысла искренне описал крестьян такими, какими они, в общем, и были, невольно обратив внимание на удивительную силу их выдержки и необыкновенного незлобия. Их мирозерцание случайно совпадало с гегельянством, которому был подвержен и сам автор книги, с той разницей, что подчинение, по Гегелю, отдельной личности космосу в понятиях крестьян заменялось подчинением божественной воле.

В правительственных сферах такое художественно убедительное описание кротости и незлобия крестьян значительно уменьшило страх перед ними.¹⁷

Конечно, не всегда крестьяне были кроткими: иногда терпение их лопалось, но взрывы гнева этих забытых и загнанных людей, находившихся на уровне патриархального мировоззрения, происходили очень редко, так же как и выходящие из ряда вон ужасы помещичьего зверства, имевшие, однако, место в истории крепостного права. Он описал ужасы обыденной жизни русских рабов, большую частью покорных своей горькой доле, но все же это были ужасы, потрясавшие главным образом своей бытовой обыденностью, постоянством.

В этой замечательной книге, сыгравшей такую неповторимую роль в эпоху ее появления, почти историческую роль в русской литературе, Тургенев, как типичный представитель высокопросвещенного барства того времени, как совестливый «западник» и русский европеец, раскрыл незримые дотоле для верхов общества трагедии народной жизни, мрачные, скрытые жестокости ужасающего рабовладельческого быта, где лилась кровь, звучали цепи и стоны рабов, текли вечные слезы невольников, истязуемых часто совсем не злыми людьми в силу привычки и векового «права».

Но вместе с тем, описывая делового, практичного мужика Хоря, он предвидел судьбы русского капитализма в грубой стадии накопления и, с отвращением взирал в это будущее, с невольным сожалением и грустью, сочувствием оглядывался на родные для него дворянские усадьбы с их своеобразной культурой, где в обстановке умирания помещичьего класса¹⁸ безнадежно погибали Рудины и Лаврекине, «лишние люди» идеалистического прошлого, исполненные благороднейших намерений, но в силу именно этого усадебного воспитания неспособные к той деловой практической деятельности, которой властно требовали молодые побегии новой жизни, пробивавшиеся на смену отмирающих форм.

Но что было делать с хиреющим высшим классом, где даже лучшие никуда не годились в критическую эпоху перелома и кризиса всей хозяйственной жизни страны?

Нужны были «новые» люди, и Тургенев страстно искал их, почти навсегда отвернувшись от крестьянства, где все еще преобладали при наличии великих, но дремлющих сил патриархальное смирение и фатальная покорность судьбе.

«Прозвучавший в «Записках охотника» горячий протест против насилия и гнета не мог вполне заглушить глубокую тревогу художника за дальнейшие судьбы великой страны».¹⁹

¹⁷ Далее в черновом автографе следует: Произошло падение крепостного права (л. 58).

¹⁸ В черновом автографе: дворянства (л. 59).

¹⁹ В черновом автографе далее следует: Где было искать новых людей, совсем непохожих на прежних, известных и родственных ему? Чтобы направить начавшую пробуждаться Россию на новый путь, нужны были волевые гиганты, но их не было в той среде, которую только и знал дворянин Тургенев, светский человек огромного ума и таланта, но слабовольный и созерцательный, как и вся родная

В лице Рудина Тургенев вывел ярко талантливого человека, пламенного оратора, умевшего зажигать сердца. Но слово оказалось единственным делом, которым он мог быть полезен людям. Когда Рудины принимались за практическое выполнение своих замыслов, то всегда постыдно проваливались, обнаруживая фатальную неспособность к живому реальному делу.

В среде, создавшей в эту эпоху только Рудиных, в лучшем случае, Тургенев продолжал искать тип «настоящего» деятеля, появление которого казалось ему неизбежным для спасения страны от азиатского застоя.

В этих поисках и наблюдениях он невольно обратил внимание на девушек и женщин все той же близкой ему дворянской среды. И он с любовью, сочувствием и грустью живописал трогательные и нежные, но несчастные образы «тургеневских» девушек необыкновенной душевной чуткости и неожиданной нравственной силы, вечно мятущихся в замкнутом мире «дворянских гнезд».

Чуткое женское сердце оказалось несоизмеримо совершеннее и сильнее мужских испепеленных душ погибавшего класса.

Не только у Тургенева, но и у других современных ему писателей — у Гончарова и Островского — создавался все тот же тип девушки с пламенной душой, полной искания²⁰ «нового человека» и жажды «большого общественного дела» вместе с ним. Еще Добролюбов считал появление Катерины в «Грозе» Островского признаком близости светлого будущего России.

Тургеневская женщина предъявляла высшие требования к своему «герою», за которого часто принимала Рудиных, Лаврецких, Инсаровых, страдала от этого, но не теряла веры в созданные ее воображением идеалы.

Для своего времени все эти Елены, Наташи и Марианны с их требованием воплощения высоких идеалов были большой культурной, будирующей силой. В роковые моменты озарения они обнаруживали бессилие и покорную трусость Рудиных и безаветно шли хотя бы за Инсаровыми, если им казалось, что идут они за человеком «большого дела».

Но истинно большого, «настоящего» человека в своей среде они не находили, а заглянуть в другие слои русской жизни не могли по своему рождению и «усадебному» воспитанию. А в этих «других», недворянских, слоях люди уже начинали находить то большое, общественно-идейное дело, которое так не давалось поэтическим и тоскующим тургеневским девицам: они все ждали «суженого», чтобы за ним и с ним идти в жизнь; идти же самостоятельно, не дождавшись «героя», как это сделали позднейшие, «неусадебные», русские женщины, они еще не были способны.

Их только еще пробуждавшиеся силы не могли овладеть живой реальной действительностью, часто жизнь их трагически развивалась или сами они уходили от «непримлемой» жизни под монастырские своды, но пробуждение этих сил было признаком недалекого падения отживающего строя.

Между тем 60-е и 70-е годы выдвинули на авансцену общественности действительно новых людей: в литературу и жизнь пришли разночинцы; кроме Белинского — Чернышевский, Писарев, Добролюбов, зашумела новая «разночинная» молодежь, появились «нигилисты» с «разрушением эстетики», с увлечениями и крайностями «мыслящего реализма».

Тургенев, застигнутый сутолокой новой жизни, оставался по-прежнему идеалистом сороковых годов, человеком предшествующей эпохи.

Подобно Рудину, старый западник не мог свою отвлеченную веру в цивилизацию применить к практическим задачам, выдвинутым шумной эпохой «великих реформ».

Общественный подъем, вызванный падением крепостного права, открыто шел на смену тихим усадьбам дворянских гнезд. Героем дня сделался разночинец.

Тургенев не был бы Тургеневым, если бы не попытался изобразить нового человека, которого долго ждал и искал и который оказался разночинцем.

В 1860 г. он задумывает свое центральное произведение — роман «Отцы и дети», имевший наибольший успех и вызвавший наибольший шум похвал и порицаний, чем все его предшествовавшие романы.

ему среда. Все же лучше этих прекраснодушных и образованных людей он не знал. И вернулся к «своим» найти в обломках прошлого надежды будущего (л. 59 об.). *Вслед за этими словами в черновике несколько листов занято совсем другим текстом, за которым идет продолжение статьи о Тургеневе: «Записки охотника» вышли отдельной книгой в 1852 году, в 1855 г. написан «Рудин», в 1858 г. — «Дворянское гнездо». Еще до падения крепостного права Тургенев искал в среде передовых людей своего времени деятелей, пытавшихся как-то обновить старое здание, грозившее шумным падением (л. 70).*

²⁰ В черновом автографе: предчувствия (л. 71).

«Причиной была не только яркая талантливость удачного романа, но и злободневная жгучесть огромной проблемы драматического столкновения «отцов» и «детей» эпохи».

Монолитной фигурой нового произведения был могучий образ Базарова. В основание этого выдающегося создания творческой фантазии большого художника легла, по словам самого автора, случайная встреча с каким-то молодым провинциальным врачом, поразившим его цельным воплощением всех элементов нового общественного движения.

Вероятно, Тургенев первоначально имел намерение списать с этого скромного натурщика образ «нигилиста 60-х годов», но талант превысил самое задание художника: произошло редкостное наитие, и вдохновенный творец как бы воочию узрел глазами души необыкновенное видение будущего.

Тяжелая фигура тургепевского «нового человека», как монумент, возвысилась над головами действительных, живых, маленьких Базаровых, юных представителей сравнительно небольшого общественного движения, захватившего главным образом молодежь.

Но интуитивное видение, представшее духовным очам гениального²¹ художника, было исполнено такой мощи, характера, ума и воли, что не оставалось сомнения в великом назначении этой собирательной фигуры.

Это было воистину видение, почти галлюцинация, провидчество, редко посещающее даже великих творцов: говорят, так Лермонтов, а потом Врубель на самом деле «видели» своего «Демона» прежде, чем написать его.

Образ Базарова был «демоном» Тургенева, подавливавшим и порою мучившим своего создателя, напугавшим его своим внезапным появлением, как Мефистофель Фауста, и потом до конца жизни неотступно занимавшим его мысли.

Правда, такую силу Тургенев не имел возможности показать в действии, когда и в жизни еще не было «действующих» Базаровых. Автор вынужден был только показать силу, послать ему скоростную смерть, но устами умирающего сказал, что и этот «гигант» пришел слишком рано, «ненужен» России в данный момент и, как гоголевский Вий, должен провалиться.

«Писарев, идейный сторонник Базарова, в своем трактате об «Отцах и детях» был недоволен, что автор не украсил этот симпатичный критику образ какими-либо талантами, как украсил Рудина, и ревновал, что автор не любит этот свой персонаж, но Тургенев в письмах к друзьям рассказывал, под каким самому ему непонятным наитием создавал он этого черта, с какой творческой любовью художника писал его, быть может, внутренне испытывая тайный страх перед ним.

И сколько потом в «Дыме» и «Нови» он ни отрекся от реальной, мелкой базаровщины,²² сколько ни утверждал, что эти явления не могут быть гигантским делом, потому что в них «полностью отсутствует народ», — в душе его, опаленной дивным и грозным видением, осталось реальное ощущение, что Базаров — гигант и когда он воплотится в действительность, воплотится и явится в жизнь, то дела его будут гигантские, потому что в них «полностью будет присутствовать народ».

Но кто же, по Тургеневу, был нужен России в эпоху 60—70-х годов? Нужным для момента и настоящим человеком дела художник считал выведенного им Соломина, практичного хозяйственника, серого, неяркого, но практичного человека «малых дел». В таких постепенных нуждах зарождавшийся в России неизбежный капитализм. Но эти ближайшие перспективы будущего не радовали душу русского Гамлета, пессимизм и вечная печаль сопровождают его одинокую жизнь до могилы.

«Странным кажется теперь, как человек огромного ума и таланта не мог справиться с чуждыми его натуре задачами общежития, в момент общественного кризиса выдвинутыми жизнью, но это так, это было».

Знаменитые «Стихотворения в прозе» Тургенева открывают завесу над сокровенным, интимным строем его опечаленной души. В этих шедеврах первоклассной поэзии, писанных как бы «только для себя», поэт погружается в глубокий, безысходный, почти «мировой» классический пессимизм, «невольно приближаясь к мировой скорби Леопарди».

«Выводя в своих романах титанов, подобных Базарову, он как бы подчеркивал, что и они также бессильны и ничтожны в сравнении с космосом, как и все человечество, которое когда-нибудь погибнет в эпохи великих кризисов. Философия пессимизма овладевает прежде всего большими, возвышенными умами».

²¹ В черновом автографе: большого (л. 74).

²² Далее в черновом автографе следует: изображая, что тогдашние революционные кружки и даже широко охватившее интеллигенцию «хождение в народ» — кажутся ему маленькими (л. 75).

В исповеди стихотворений Тургенева²³ чувствуется трагическое одиночество и отчаяние великого ума, изнемогающего в поисках путей для всего человечества. «Но едва кончилась эта страдальческая жизнь, как солнце бессмертия озарило ее вечными лучами оптимизма».²⁴

Г. Г. ФИРСОВ

ТУРГЕНЕВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА В ПАРИЖЕ

С именем И. С. Тургенева связана история одной из крупнейших русских библиотек в Западной Европе, носящей имя великого писателя.

В настоящей статье сделана попытка на основании малоизвестных и забытых отечественных и зарубежных литературных источников проследить историю Тургеневской библиотеки, рассказать о ее современном состоянии и тем самым охарактеризовать одну из сторон огромной и многообразной общественной деятельности И. С. Тургенева.¹

Из истории библиотеки

В 70-е годы прошлого столетия в Париже образовалась большая и весьма неоднородная по своему составу «русская колония». «В нее, — пишет журналист И. А. Лопатинский, — входили и политические эмигранты, и молодые студенты, и заброшенные сюда всякими судьбами интеллигенты, и большая группа русской учащейся молодежи из Швейцарии... Все эти оторванные от родины люди страдали от отсутствия культурно-просветительских центров. Им нужны были русские книги, русские газеты, журналы».²

Книга духовно связывает живущего на чужбине русского с родной; она нужна ему часто в труде. Но получить русскому за границей книгу на родном языке в то время было сложной проблемой. Русские отделы в европейских библиотеках бедны, отмечали современники, доступ в них не так прост. Приезжему из-за границы несравненно легче получить в России иностранную книгу, чем русскому раздобыть за границей книгу на родном языке.

Поэтому естественно, что всюду, где за рубежом возникали более или менее крупные русские колонии, вставал вопрос об организации русских общественных библиотек. В Цюрихе, Гейдельберге, Праге, Париже, в Буэнос-Айресе и городах Северной Америки существовали русские читальни и библиотеки. Одной из крупнейших русских библиотек за границей и стала Тургеневская библиотека в Париже, основанная в 1875 году.³

²³ «Стихотворений в прозе», — В. Г.

²⁴ Далее в черновом автографе следует: грандиозный дар, внесенный им в литературу великой страны, за судьбу которой так горячо билось его сильное, любящее сердце (лл. 76—76 об.).

¹ В нашем обзоре использованы, в частности, следующие материалы: А. Фаресов. Русская читальня имени Тургенева в Париже. «Новое время», 1902, 10 ноября; М. Осенев. Очерки из жизни русских в Париже, III. «Вестник знания», 1904, № 8, стр. 115; Белоруссов. Русская Тургеневская библиотека в Париже. «Русские ведомости», 1910, 31 августа; Е. Белов. Тургеневская библиотека в Париже. «Русское слово», 1913, 26 июля; Тургеневская библиотека в Париже. «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии», 1913, № 9, стр. 150—151; [Тургенівська бібліотека в Паризі]. «Бібліотічні вісті», 1925, № 1—2, стр. 172; И. Г. Эренбург. Люди, годы, жизнь. «Новый мир», 1960, № 9, стр. 90; Н. Н. Кнорринг. Гибель Тургеневской библиотеки в Париже. «Простор», 1961, № 8, стр. 123—126; В. В. Сухомлин. Гитлеровцы в Париже. «Новый мир», 1965, № 11, стр. 144; Л. Афонин. Русской сути не вывести. «Литературная Россия», 1966, 25 ноября, стр. 20 (Перепечатана под тем же заглавием в журнале «Отчизна», 1967, № 1, стр. 12—13); А. Н. Рубакин. Над рекою времени. М., 1966, стр. 314; А. Яновский. Реликвия, присланная из Парижа. «Вечерний Ленинград», 1966, 16 декабря; А. Алов. «Чемодан Фрея». «Вечерний Ленинград», 1967, 7 января. Ссылки на материалы, отсутствующие в этом перечне, см. дальше.

² И. А. Лопатинский. Прошлое и настоящее Тургеневской библиотеки в Париже. «Русские новости», 1965, 8 октября.

³ Богатые фонды русской книги имеются в библиотеке Хельсинского университета, получавшей до 1917 года обязательный экземпляр.

Мысль о создании русской библиотеки возникла у известного революционера, друга Маркса и Энгельса Германа Александровича Лопатина.

Свою идею Г. А. Лопатин изложил на собрании представителей колонии, которое состоялось, как полагают, 1 января 1875 года.⁴ Очень энергично его поддержал, а затем вложил немало труда в создание библиотеки эмигрант, полковник генерального штаба, автор известного романа «Отщепенцы» Николай Васильевич Соколов.⁵

Окрыленный единодушной поддержкой всей колонии, Г. А. Лопатин 6 (18) января направился к жившему в Париже И. С. Тургеневу с просьбой о помощи. Писатель горячо одобрил идею организации библиотеки-читальни и обещал всяческое содействие. Он тотчас же пожертвовал большое количество книг, главным образом своих произведений. Затем И. С. Тургенев предложил устроить в пользу будущей библиотеки в квартире П. Влардо литературно-музыкальный утреник.

Как только ушел Г. А. Лопатин, И. С. Тургенев написал два письма: одно — издателю «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу, а другое — своему близкому приятелю А. В. Топорову.⁶

Вот отрывок из письма М. М. Стасюлевичу: «Любезнейший Михаил Матвеевич... Имею к Вам следующую просьбу: распорядитесь высылкою другого экземпляра „Вестника Европы“ по следующему адресу: Monsieur Chabry, Paris, 100, rue Monge (г-н Шабри, Монж). Тут устраивается небольшая русская читальня — и я хочу им поднести „Вестник Европы“ в дар. Мы с Вами сочтемся — ибо Вы, вероятно, в скором времени получите от меня небольшую вещь (для мартовской книжки)».

Менее чем через месяц «Вестник Европы» прибыл в Париж.⁷ Вообще снабжение библиотеки книгами являлось предметом постоянной заботы И. С. Тургенева. В связи с этим он обращался к ряду издателей и литературных деятелей. Так, 9 (21) марта 1875 года Тургенев пишет Я. П. Полонскому: «...здешняя недавно основанная библиотека будет очень рада получить твои „Сочинения“. Вышли их на мое имя».⁸

И. С. Тургенев оказывал библиотеке помощь не только книгами, но и деньгами. Не один раз он вносил за библиотеку плату за наем помещения. По его инициативе и с его участием 15 (27) февраля и 2 (14) мая 1875 года состоялись литературно-музыкальные утреники, сбор от которых И. С. Тургенев передал библиотеке. Организаторы первого утреника напечатали и разослали приглашительные билеты, в которых была указана его цель — собрать средства «на основание русской читальни для неимущих студентов». И. С. Тургенев лично отправил билеты всем выдающимся русским людям в Париже. Вот, например, что он писал Г. Н. Вырубову 5 (17) февраля 1875 года:

«Любезнейший Григорий Николаевич! В будущую субботу 27-го февраля», в доме г-жи Влардо дается литературно-музыкальное утро (в 2 часа ровно) с участием г-жи Влардо, г-жи Есиповой и Давыдова, гг. Успенского, Курочкина и Вашего покорного слуги. Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для неимущих студентов. Хотите Вы взять билет? Цена ему 15 франк. Дайте мне знать — и он будет Вам доставлен. Не захочет ли также кто-нибудь из Ваших знакомых?»

Дружески жму Вам руку».⁹

На первом литературно-музыкальном утре выступили скрипач К. Ю. Давыдов, пианистка А. Н. Есипова, поэт Н. С. Курочкин, Полина Влардо исполнила по-русски романс П. И. Чайковского «Нет, только тот, кто знал».¹⁰ И. С. Тургенев читал свой рассказ «Стучит» и рассказ Г. И. Успенского «Ходок».

Вот как описал свои впечатления от этого концерта Г. И. Успенский в письме к Н. К. Михайловскому:

«Тут был литературно-музыкальный вечер в „салонах“ м-м Влардо. Кроткий Николай Степанович (Курочкин) вдруг превратился в льва, когда читал свои стихотворения. Вот человек, который менее всего может изобразить на лице своем

⁴ С. Г. Сватиков. Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева в Париже. «Голос минувшего на чужой стороне», [Париж], 1926, № 2, стр. 261.

⁵ Н. С. Соколов, заподозренный в неблагонадежности, был арестован в связи с покушением Каракозова на царя. После освобождения из тюрьмы в 1868 году Соколов находился в ссылке сначала в Мезени, а затем в Астраханской губернии, откуда бежал за границу. 5 марта 1888 года Н. С. Соколов умер.

⁶ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма в тринадцати томах (далее: Письма), т. XI, изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 7—8.

⁷ См. там же, стр. 17.

⁸ Там же, стр. 43. См. также стр. 81, 188, 192—193, 212.

⁹ Там же, стр. 20.

¹⁰ См.: А. Островский. Тургенев в записях современников. Л., 1929, стр. 275.

гнев. А надо было изобразить. Я взглянул на него из-за двери, когда он читал, — и ужаснулся. Николай Степанович ошетинился на общество и кричал что-то очень сердито. Тургенев прочел мой рассказ „Ходок“ и прочел превосходно. Я не присутствовал на чтении, но присутствовал на приготовлении к чтению: Тургенев прорепетировал этот рассказ раз 7—8, изучил, где каким голосом, как и что сказать до мельчайших подробностей. Я из сил выбился слушать его, но зато вышло отлично. Ох, и фокусники же эти сороковые годы! У м-м Вьярдо голосу нет, но уметь петь, действительно, поражает. Публика была блестящая, и посланник Орлов улыбался Николаю Степановичу благосклонно, когда тот проклинал в своих стихотворениях человечество... Вслед за „Ходоком“ Тургенев прочитал уже свое „Стучит“, „так, что мороз по коже продирает“». ¹¹

Второй утренник также прошел удачно. В нем, кроме А. Г. Рубинштейна и А. Ф. Писемского, приняли участие Полина и Поль Вьярдо и И. С. Тургенев, который читал свои произведения — «Живые мощи» и «Гамлета Шигровского уезда».

13 (25) мая этого же года Иван Сергеевич писал А. В. Топорову: «...она (библиотека, — Г. Ф.) преуспевает, благодаря двум музыкально-литературным утратам (во втором участвовал Рубинштейн), которые принесли чистого дохода — 4200 франков». ¹²

И. А. Рубанович, принявший в 1883 году заведывание библиотекой, в своих воспоминаниях сообщает, что И. С. Тургенев предполагал организовать еще один утренник для поддержания библиотеки, но ввиду обострившейся болезни не смог осуществить своего желания. ¹³

На деньги, собранные на первом музыкальном утреннике, было снято помещение по улице Виктор Кузэн.

Открытие библиотеки, как предполагает один из ее историков С. Г. Сватиков, состоялось 15 (27) января 1875 года. Точных данных об этом событии нет. ¹⁴

В 1881 году собрание читателей библиотеки создало первое «Общество Русской библиотеки». К этому времени библиотека расширилась и переехала в новое помещение на улице Бертолле.

Руководили ею в те годы эмигранты Н. П. Цакин, Аркаданский, Черепашин, Чепурин, И. А. Рубанович.

После смерти И. С. Тургенева в 1883 году общее собрание членов библиотеки постановило присвоить ей имя великого русского писателя, заботам которого она обязана своим существованием.

Согласно Уставу, принятому 23 апреля 1911 года, библиотека ставила своей целью «дать возможность проживающим в Париже русским поддерживать духовное общение с родиной и следить за развитием ее общественной жизни».

В соответствии с § 2 библиотека ни в коем случае не могла «перейти в собственность частного лица или в исключительное пользование отдельного кружка». Как ни старались руководители библиотеки объявлять ее только учреждением культурным, стоящим вне всяких партий, она тем не менее все годы своего существования, как пишет С. Сватиков, служила преимущественно демократически настроенным русским обитателям Латинского квартала и левого берега Сены. Библиотеку бойкотировал правый берег Сены, и консервативные круги русской колонии боялись компрометировать себя посещением ее. Они рассматривали Тургеневскую библиотеку как учреждение революционное, совершенно неслегальное. Посольским сферам и реакционерам Тургеневская библиотека была особенно ненавистна потому, что она хранила и выдавала русскую зарубежную литературу. Показателен в этом отношении следующий факт: на вопрос, существует ли в Париже русская библиотека, в русском консульстве отвечали отрицательно.

Библиотека всегда находилась в стесненных материальных условиях. Неоднократно она подвергалась риску быть проданной с публичного торга за долги домохозяину. Бывали периоды, когда не представлялось возможным иметь платного библиотекаря. Для изыскания средств библиотека организовывала платные лекции, концерты, балы, лотереи, детские елки. Отсутствие постоянных штатных библиотекарей, недостаточно эффективные по этой причине меры по охране и сохранности фондов довольно часто приводили к пропаже книг и журналов.

Особенно трудными оказались годы 1905—1906 и 1917—1918. В Россию вернулось после амнистии 1906 года и революции 1917 года большое число эмигрантов. В связи с этим из библиотеки выбыло много читателей и резко сократились

¹¹ Цит. по: В. Чешихин-Ветринский. Глеб Иванович Успенский. М., 1929, стр. 114—115.

¹² И. С. Тургенев, Письма, т. XI, стр. 81.

¹³ «Голос минувшего на чужой стороне», [Париж], 1926, № 2, стр. 30—31.

¹⁴ Библиотека работала с 10 до 20 часов. Библиотекарь присутствовал ежедневно четыре часа. Председателем правления был избран Г. А. Лопатин, секретарем — М. Г. Ге, казначеем — Н. К. Скворцова, библиотекарем — А. П. Емельянова. Состав членов правления был весьма разнообразным: художники (И. Е. Репин, В. Д. Поленов, В. К. Маковский, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский), политические эмигранты, учащаяся молодежь.

денежные поступления. Но, несмотря на всякие трудности, она продолжала существовать и обслуживать читателей.

В 1925 году библиотека отпраздновала свой 50-летний юбилей. 21 ноября в амфитеатре Рипшель в Сорбонне состоялось торжественное заседание под председательством известного французского историка профессора Э. Омана. Он произнес речь, посвященную памяти И. С. Тургенева — основателя библиотеки. В адрес юбиляра поступило много приветственных телеграмм. Любопытно отметить, что в концерте по случаю юбилея библиотеки выступила внучка Полины Виардо — Алиса Виардо-Гарсия.

Замечательным событием в жизни библиотеки явилось предоставление ей Парижским муниципалитетом бесплатного помещения на рю де ла Бюшери — здания бывшей Медицинской школы. Помимо нескольких обширных комнат, библиотека получила вместительный зал на 200 человек.

Фонды библиотеки

Основу книжного фонда библиотеки при ее организации составили пожертвования. Много книг подарил И. С. Тургенев, все свои книги отдал Г. А. Лопатин. Дарили книги и другие эмигранты. М. М. Стасюлевич регулярно высылал журнал «Вестник Европы». Бесплатно поступали в библиотеку «Вестник воспитания», «Журнал Министерства юстиции», некоторые университетские издания, «Русские ведомости». Журналы «Русское богатство» и «Вестник иностранной литературы» высылались библиотеке со скидкой в 50%.

С течением времени в Тургеневскую библиотеку были переданы книги из «Русской высшей школы социальных наук», возглавлявшейся М. М. Ковалевским, «Русского юридического кружка», «Библиотеки им. А. И. Герцена в Ницце», «Союза русских художников», часть книг из личной библиотеки П. Л. Лаврова. В 1914 году библиотека стала получать публикации Российской Академии наук. Все свои издания передал библиотеке известный книгоиздатель З. И. Гржебин.

К началу первой мировой войны библиотека располагала уже сравнительно большим собранием произведений печати: книг около 12 тысяч, журналов более 4 тысяч единиц. Кроме того, в библиотеке к этому времени накопилось свыше 1000 томов дублетов. Более чем удвоились книжные богатства библиотеки к ее 50-летию, а к моменту разграбления фашистами в 1940 году Тургеневская библиотека представляла собою одно из крупнейших собраний русской книги в Западной Европе, насчитывавшее более 100 тысяч томов по всем отраслям знания. К сожалению, невозможно дать оценку собраний библиотеки по содержанию, так как, кроме каталога художественной литературы,¹⁵ никаких других печатных путеводителей по фондам не существовало. Даже поверхностное ознакомление с этим каталогом позволяет утверждать, что вся лучшая русская и иностранная классическая и современная художественная литература была представлена в библиотеке. Достаточно полно был укомплектован отдел советской художественной литературы. Очевидно, не без оснований многолетний член правления библиотеки Н. Н. Кнорринг в своей статье «Гибель Тургеневской библиотеки в Париже» писал: «Можно сказать без преувеличения, что не было сколько-нибудь значительного явления в области литературы и науки в Советском Союзе, которое не получило бы своего отражения на книжных полках Тургеневской библиотеки».¹⁶ Весьма высоко оценивали качественную сторону фондов библиотеки и другие ее активисты — писатель М. А. Осоргин, Ю. Делевский. Первый опубликовал интересный и обстоятельный статью,¹⁷ в которой называет большое количество изданий, давно являющихся библиографической редкостью. Перечисление описанных М. Осоргиным книжных сокровищ было бы ненужным повторением его статьи. Назовем лишь некоторые особо ценные издания, например: 4 тома «Собрания государственных грамот» (1813—1826), «Софийский Временник», изданный П. Строевым (1820), изданные Новиковым первое «Полное собрание всех сочинений А. П. Сумарокова в стихах и прозе» (1781—1782) и «Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича» (1786); «Словарь достопамятных людей земли русской» Бантыш-Каменского в 5-ти томах (1836); первое полное издание «Сочинений Карамзина» в 8-ми томах (1803), отличное издание в 9-ти книгах «Басен Крылова», предпринятое самим автором (1843). Большую ценность представляет журнал «Цветник», выпускавшийся А. Е. Измайловым и А. П. Бенитцким (1809), в котором печатались Н. Гнедич, К. Батюшков, И. Дмитриев, И. А. Крылов и др.: «Листок», издававшийся П. Долгоруковым в Брюсселе (№№ 1—22 за 1862 год); еженедельная газета И. Аксакова «День» (1864).

¹⁵ Каталог по беллетристике, тт. 1—2. Париж, 1924—1929.

¹⁶ «Простор», 1961, № 8, стр. 124.

¹⁷ М. А. Осоргин. Редкости Тургеневской библиотеки. «Последние новости», [Париж], 1937, 19 ноября.

Из редких иностранных книг упомянем: 72-томное старинное французское издание сочинений Вольтера, первое французское издание 1778 года книги А. Смита «О природе и причинах богатства», «Максимы» Ларошфуко (1722), несколько номеров журнала «Новый мир», который издавал Луи Блан (1849).

Наконец, в библиотеке хранилось много изданий, ставших ценными благодаря наличию на них автографов: книги, подаренные И. С. Тургеневым с личными пометками писателя, собрание сочинений М. Горького, преподнесенное библиотеке автором с его надписью, французское издание романа Барбюса с автографом — «товарищам, друзьям и изумительному русскому народу».

Жемчужиной библиотеки, как утверждают ее историки, были богатые отделы нелегальной и социально-экономической литературы. Этими фондами часто пользовались не только русские, но и иностранные писатели и общественные деятели. Хорошо были подобраны отделы истории и искусства. В иностранном отделе, как отмечал Ю. Делевский,¹⁸ имелись многие ценные издания, которыми не всегда располагала хорошая французская библиотека.

Но были, конечно, и книги, которые относятся к «занимательному чтиву». Страницы печатного каталога прелят именами таких авторов, как М. П. Арцыбашев, О. Г. Бебутова, А. А. Вербицкая, В. П. Желиховская, В. В. Крестовский, В. И. Крыжановская, Н. А. Лаппо-Данилевская, У. Локк, Д. Кервуд, Е. А. Саллас, Г. Эмар, Е. Марлитт, Г. Г. Стэкпуль, Э. Уоллес и др.

Известно, что гитлеровцы беспощадно уничтожали на оккупированных ими территориях все библиотеки, особенно русские. Однако Тургеневской библиотеке предназначалась особая роль. Как писал Н. Н. Кнорринг, «было мнение, что русские книги, взятые в Париже, должны были подкрепить фонды русских собраний в германском „Институте Восточной Европы“, отделения которого имелись, кажется, в Берлине, Мюнхене, Кенигсберге...»¹⁹

Читатели библиотеки и их интересы

К сожалению, мы располагаем весьма скромными данными о читателях. Библиотека, как правило, за недостатком сил и времени не вела специального учета читателей, не составляла подробных статистических отчетов, не проводила анализов книговыдач. Если и имелись какие-либо сведения в этом отношении, то они погибли во время разгрома библиотеки.

Из воспоминаний, писем, газетных заметок известно, что читателей в библиотеке было мало: в начале 1880-х годов — немногие десятки, в 1910-х годах — сотни. Это объяснялось отчасти тем, что библиотека первоначально находилась на правом берегу Сены, где жила зажиточная русская публика, мало нуждавшаяся в библиотеке. Ею пользовалась в те времена левобережная русская колония, состоявшая из политических эмигрантов и учащейся молодежи.

Что собой представляли эти читатели?

В книге русского эмигранта М. О. Ашкинази,²⁰ писавшего под псевдонимом Мишель Делин, имеется гравюра, изображающая Тургеневскую библиотеку в то время, когда она помещалась на улице Гласьер (1883—1900).²¹

Вспользуемся образным описанием этой иллюстрации, принадлежащим М. А. Осоргину:

«В обширной комнате сидят у стола русские „типы“, два бородача в русских блузах, читают газеты, усад в косоворотке листает книгу, барышня в шляпе с пером пишет письмо. Стоя читает хорошо одетый гигант с бородой и в очках, пожалуй, похожий на Лаврова, и стоя же беседуют две нигилистки, одна в пальто и с палочкой, другая в жакете, юбки пышные, на ногах полусапожки, обе, конечно, в очках, одна с папиросой. Так изображали нигилистов в старых русских журналах: бравая фигура, казак-баба, стриженная, но одетая со своеобразным пижамом». ²² К этому следует добавить, что еще один бородач в косоворотке, очевидно студент, разыскивает в шкафу нужную ему книгу.

Известно, что, кроме П. Л. Лаврова, библиотеку посещал Г. А. Лопатин. Вероятно, бывал в ней И. С. Тургенев, хотя некоторые историки библиотеки это отрицают,²³ были записаны в библиотеку Г. И. Успенский с женой. Как

¹⁸ Ю. Делевский. Тургеневская библиотека в Париже. В кн.: Временник Общества друзей русской книги, т. I. Париж, 1925, стр. 80.

¹⁹ «Простор», 1961, № 8, стр. 126.

²⁰ М. О. Ашкинази (1851—1914) — писатель, переводчик на французский язык произведений русских авторов. В 1879 году эмигрировал во Францию; в том же году познакомился с И. С. Тургеневым.

²¹ M. Delines. Nos amis russes. Paris, [1888], pp. 265—266.

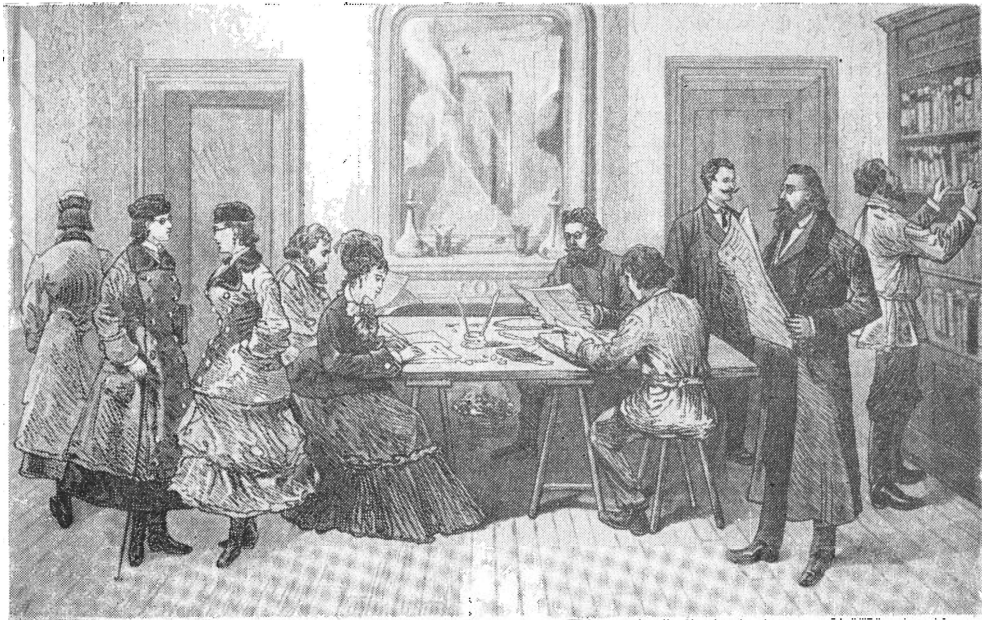
²² «Последние новости», 1935, 25 ноября.

²³ J. Pavlovsky. Souvenirs sur Tourguenieff. Paris, 1883, pp. 163—164.

утверждает М. Осоргин, библиотеку посещали Л. Толстой, Ф. Достоевский и многие другие писатели прошлого и современности.²⁴

И. Г. Эренбург в своих воспоминаниях писал: «Книги я брал в Тургеневской библиотеке... Два поколения революционной эмиграции пользовалось книгами „тургеневки“ и обогащали ее библиографическими редкостями».²⁵ Фондами библиотеки пользовались также Г. В. Плеханов, А. В. Луначарский. Последний в 1912 году принял участие в вечере памяти А. И. Герцена, организованном библиотекой.²⁶

Бывал ли в Тургеневской библиотеке, находясь в эмиграции, В. И. Ленин? М. Осоргин и Н. Кнорринг отвечают утвердительно, но никаких доказательств не приводят. Единственным убедительным документом, позволяющим предполагать, что В. И. Ленин посещал Тургеневскую библиотеку, является его статья «Ученикам Каприйской школы» (30 августа 1909 года). В этой статье он писал, что



в Париже «имеется 2—3 недурных русских библиотеки»,²⁷ в число которых, очевидно, входила и Тургеневская библиотека.²⁸ Трудно допустить мысль о том, что В. И. Ленин мог так охарактеризовать библиотеки, не изучив их лично. Более того, достоверно известно, что В. И. Ленин использовал Тургеневскую библиотеку в качестве места хранения своего знаменитого «чемодана Фрея».²⁹ Как пишет А. Алов,³⁰ в ноябре 1905 года перед отъездом из Женевы в Россию Ленин разобрал личный архив и упаковал его. Через несколько дней после отъезда В. И. Ленина Н. К. Крупская сдала «чемодан Фрея» на хранение в Женевскую библиотеку. В 1910 году, когда В. И. Ленин жил во Франции, он счел необходимым, чтобы женевский партийный архив был перевезен в Париж. Вместе с архивом доставили и «чемодан Фрея» и все это разместили в Тургеневской библиотеке.

Не так давно сотруднику Архива Октябрьской революции К. А. Белоусовой поручилось обнаружить среди донесений жандармских чиновников письмо В. И. Ленина от 29 марта 1912 года, в котором он просит правление Тургеневской библиотеки обсудить условия и порядок возвращения книг, принадлежащих пар-

²⁴ «Последние новости», 1938, 27 марта.

²⁵ «Новый мир», 1960, № 9, стр. 90.

²⁶ «Простор», 1961, № 8, стр. 124.

²⁷ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 200.

²⁸ В статье М. Осенева «Очерки из жизни русских в Париже, III», опубликованной в 8-м номере журнала «Вестник знания» за 1904 год, называются следующие библиотеки: Тургеневская, Лавровская и Русской школы.

²⁹ «Фрей» (свободный) — один из псевдонимов В. И. Ленина.

³⁰ «Вечерний Ленинград», 1967, 7 января.

тии.³¹ Этот документ также свидетельствует о возможном посещении В. И. Лениным Тургеневской библиотеки. И только в 1923 году по указанию В. И. Ленина «Чесмодан Фрея» был доставлен в Москву.

Со временем количество читателей возросло, изменился и их состав. По данным, которые приводит С. Сватиков, в 1925 году в библиотеке числилось около двух тысяч абонентов, из них около тысячи постоянных читателей.³² Ежедневно посещали абонемент 90—100 человек. Значительно больше посетителей было в читальном зале, так как здесь литературой пользовались бесплатно.

Читателями Тургеневской библиотеки были не только жители Парижа и других городов Франции. Абоненты библиотеки имелись в Бельгии, Голландии, Италии, Испании. Особо следует отметить, что Тургеневская библиотека обеспечивала книгами русских солдат, находившихся одно время в составе западноевропейских армий, а после Великой Октябрьской социалистической революции томившихся в концентрационных лагерях во Франции, Бельгии и Африке. В течение 1918—1920 годов было 154 абонента, которые взяли 386 книг.³³

Любопытные данные о книгах, выданных в течение первого полугодия 1932 года, приводит член правления библиотеки Н. Кнорринг в своей заметке «Что читают в эмиграции».³⁴ Всего за шесть месяцев было выдано 9745 книг, из них по отделу художественной литературы — 6706 (почти 70%), в том числе произведений русских авторов — 4073.

Н. Н. Кнорринг в своем анализе книговыдачи отмечает очень незначительный интерес к молодым авторам и исключительно слабый спрос на поэзию.

Книг иностранных писателей за этот период было выдано 2633. Спрос на русских авторов намного превышал спрос на иностранных. Однако самое любимое и ходкое чтение в эмиграции, замечает Н. Н. Кнорринг, — всевозможные воспоминания, записки, дневники, письма.

По другим отделам было выдано 3040 томов. Большое количество выданных книг составляли исторические (444) и философские (302) произведения. Однако наибольшее число выдач приходилось на журналы и альманахи: «Современный Запад» (83), «Исторический вестник» (81), «Нива» (32), «Звезда» (22), «Недра» (25), «Красная новь» (24), «Земля и фабрика» (25) и др.

К сожалению, нам не удалось обнаружить каких-либо других материалов о читателях и их интересах. Приведенные данные из любопытной заметки Н. Кнорринга свидетельствуют о том, что эмиграция в те годы жила прошлым. Этим, очевидно, объясняется, что в анализе читательских интересов отсутствуют упоминания советских авторов, хотя известно, что их произведения в библиотеке всегда были солидно представлены.

Более чем скромны наши сведения о читателях послевоенного времени. В начале 1967 года имелось немногим более ста абонентов — это русские, преимущественно довольно преклонного возраста, и французские студенты, изучающие русский язык. В 1966 году библиотека выдала около 4000 книг.

Разгром библиотеки

Вот как описывают очевидцы гибель этого замечательного очага русской культуры.

После того как гитлеровцы заняли Париж, тревога и беспокойство за судьбу библиотеки охватили ее руководителей. Профессор Д. М. Одинец, возглавлявший в то время правление библиотеки, и ее сотрудники отдавали себе отчет в том, что их антифашистские убеждения известны оккупантам. Они не сомневались также и в том, что гитлеровцы изымут из фонда враждебные и неугодные им книги, наконец, могли предполагать самое худшее, что библиотеку закроют. Но никто из них не допускал мысли о полном разграблении библиотеки. Между тем подручный Гитлера, «знаток русской книги» Альфред Розенберг уже давно распорядился о ее доставке в рейх.

Вскоре в библиотеке появился молодой немец, назвавшийся доктором Гельмут Вейссом. Он заявил, что Германия желает приобрести библиотеку. Но ему было в этом отказано и заявлено, что продажа противоречит уставу библиотеки.

23 сентября 1940 года, на этот раз на квартире Д. М. Одиноца, Вейсс вновь повторил свое предложение купить библиотеку, но опять получил отрицательный ответ, мотивированный тем, что библиотека принадлежит «Обществу» и продавать ее правление не имеет права. В разговоре Вейсс как бы между прочим заметил, что ему известны антигерманские настроения Д. М. Одиноца еще со времен гетманской Украины.

³¹ См.: А. Лазебников. Встречи с Лениным на Пироговской, 17. «Советская Россия», 1965, 7 августа.

³² «Голос минувшего на чужой стороне», [Париж], 1926, № 2, стр. 271.

³³ Ю. Делевский. Тургеневская библиотека в Париже, стр. 80.

³⁴ «Последние новости», 1932, 20 октября.

На другой день Вейсс снова появился на квартире профессора Одинца и снова заявил, что «рейх хочет» купить Тургеневскую библиотеку, причем Вейсс особенно многозначительно подчеркнул слово «хочет».

В результате непрекращающегося шантажирования и угроз Д. М. Одинец был вынужден обратиться к префекту департамента Сены в Отель де Вильль с просьбой оградить библиотеку от притязаний со стороны Вейсса.

«Во время его разговора с префектом, — рассказывает Н. Кнорринг, — в кабинет вошел секретарь Риве, в свое время много сделавший для Тургеневской библиотеки, и взволнованным голосом что-то зашептал на ухо префекту. Тот побледнел и потом сказал Одинцу, что у кабинета стоят четыре немецких военных, которые ожидают выхода Одинца. И действительно, когда Одинец вышел, он был остановлен Вейссом. От имени германского военного командования Вейсс заявил, что деятельность Тургеневской библиотеки прекращается, и потребовал ключи от помещения. После этого Одинцу было предложено подписать бумагу, в которой значилось, что: 1) объявлен приказ о прекращении деятельности Тургеневской библиотеки, являющейся частным достоянием и не состоящей ни в какой юридической связи ни с французским, ни с советским правительством, и что 2) ключи переданы д-ру Вейссу».³⁵

О конфискации библиотеки не было ничего сказано. Однако, как пишет в своих воспоминаниях В. В. Сухомлин, 13 октября 1940 года в «ресторан „У маленького св. Бенедикта“ пришла взволнованная сотрудница милковских „Последних известий“... и сообщила, что немцы захватили Тургеневскую библиотеку и заколачивают книги в ящики для отправки в Германию, не взирая на протесты библиотечного правления...»³⁶

На дворе библиотеки появилось более девятисот простых деревянных ящиков, в которые сваливали не только книги, но и картины, бюсты, портреты. Ящики, согласно одним источникам, свозились на Монетный двор, по другим — на Аустерлицкий вокзал, и там их след терялся.

Правда, гитлеровцы увезли не все. Они оставили отдел иностранной литературы, из которого были выброшены произведения Гейне, Сартра и др. Уцелели некоторые книги, находившиеся в подвале, архивы писателей, хранившиеся в библиотеке, а также какое-то количество книг, взятых в свое время читателями на абонементе.

С момента разгрома библиотеки прошло почти тридцать лет, но конфискованные книги до сих пор не удалось разыскать. Об их дальнейшей судьбе в печати приводятся различные догадки. Так, И. А. Лопатинский в статье «Прошлое и настоящее Тургеневской библиотеки в Париже» писал о том, что во время наступления советских войск на Берлин бойцы обнаружили в окрестностях столицы при вокзальном депо склад, переполненный целыми и разбитыми ящиками. Как оказалось, это были книги из Тургеневской библиотеки. Тогда было решено вывезти их в тыл, но, к сожалению, в тот же день склад взорвался от заложенной немцами мины замедленного действия.³⁷

И. Г. Эренбург в своих воспоминаниях рассказывает: «В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году М. О. Цетлину (поэту Амару). Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распыренные ящики: русские книги, рукописи, письма валялись на земле; он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие».³⁸

Директор музея И. С. Тургенева в Орле Л. Афонин в статье «Русской сути не вывести»³⁹ рассказывает о судьбе пяти сохранившихся книг из коллекции Тургеневской библиотеки. «Вероятно, — замечает он, — немало книг пропало в пути. Растаскивали их „на память“ и гитлеровские солдаты, конвоировавшие необычный груз. Вот почему книги со штампом „Bibliothèque Russe Tourgueneff — Русская Тургеневская библиотека“ после войны изредка можно было найти у букинистов в немецких городах и в Прибалтике». Более 600 книг со штампом Тургеневской библиотеки обнаружила выпускница Ленинградского института культуры имени Н. К. Крупской З. И. Кочан в г. Легнице (ПНР).

Приведенные факты дают основания предполагать, что фонды Тургеневской библиотеки, вывезенные в Германию, не разместились где-то в одном месте, а были, по всей вероятности, рассредоточены и подверглись расхищению.

Таков печальный конец замечательной русской библиотеки на французской земле.

В Орле в музее И. С. Тургенева хранится присланная из Парижа небольшая поврежденная эмалированная вывеска с текстом на русском и французском язы-

³⁵ «Простор», 1961, № 8, стр. 125.

³⁶ «Новый мир», 1965, № 11, стр. 144.

³⁷ См.: «Русские новости», 1965, 8 октября.

³⁸ «Новый мир», 1960, № 9, стр. 90.

³⁹ «Литературная Россия», 1966, 25 ноября, стр. 20.

ках: «Тургеневская общественная библиотека. Открыта по будням с 5 до 7 часов». Эта реликвия напоминает всем о благородной общественной деятельности писателя и о большой культурной работе библиотеки, носящей его имя.

* * *

По окончании войны встал вопрос о восстановлении Тургеневской библиотеки. Начались долги и трудные хлопоты. И только в 1959 году состоялось второе рождение этого замечательного очага русской культуры в Париже.

В порядке возмещения военных убытков библиотека получила от французского правительства специальные суммы денег. В результате этого оказалось возможным приобрести необходимые книги и другие издания, чтобы можно было открыть библиотеку. Но не удалось вернуться в прежнее здание на рю де ла Бюшери. Пришлось снять небольшое помещение в многоэтажном доме на рю Баланс.

Открытие библиотеки было доброжелательно встречено не только русскими, но и передовой французской общественностью. Заслуженный профессор литературы Парижского университета П. Паскаль поместил в газете «Литературное Фигаро» 18 сентября 1961 года статью, в которой обращался ко всем с призывом оказывать Тургеневской библиотеке посильную помощь своими пожертвованиями.

За истекшие почти десять лет библиотека собрала фонд в 30 тысяч томов. Среди них главное место занимает русская и переводная художественная литература. Имеются книги по естественным наукам, географическая литература. Сравнительно большими являются отделы философии, социологии, права, истории, искусства и публицистики. Особо выделены детская литература и периодические издания. Широко представлены в фондах библиотеки советские издания.

Определенных ассигнований на комплектование библиотека не имеет. В первые годы расходовалось ежегодно до 30 000 франков, теперь — значительно меньше.

Руководит библиотекой группа лиц, связанных с нею с очень давних времен. Штат библиотеки состоит из одного постоянного сотрудника и двух библиотекарей, работающих по три дня в неделю.

Пользование библиотекой платное. При записи вносится залог в 10 франков за том и ежемесячно взимается плата 4 франка за первую и 3 франка за вторую книгу.

В настоящее время в библиотеке имеется немного более ста читателей (см. выше). Ежегодно выдается в среднем от четырех до пяти тысяч книг. Преобладает спрос на художественную литературу, на книги по искусству, литературе и истории. Весьма незначительна выдача естественнонаучной и политической литературы.

История Тургеневской библиотеки в Париже — одно из ярких свидетельств искренней русско-французской дружбы.

И. С. Тургенев долгие годы прожил во Франции, в Париже. Известны его тесные связи со многими французскими политическими деятелями и писателями: Г. Флобером, Э. Золя, А. Додэ, Г. Мопассаном, Э. Ренаном. И. С. Тургенев способствовал ознакомлению русского читателя с французской литературой и оказал на нее известное влияние. Жорж Санд писала ему: «*Maitre! Nous devons aller tous à votre école*». ⁴⁰ Профессор Э. Оман, в 1906 году опубликовавший книгу о жизненном и творческом пути И. С. Тургенева, ⁴¹ в 1908 году писал: «Можно надеяться, что со временем будет в Париже rue Tourguenieff, о которой уже давно мечтают почитатели своего бывшего гостя». ⁴²

М. А. Осоргин вполне резонно предлагал присвоить имя И. С. Тургенева улице отеля Кольбер, на углу которой в здании бывшей Медицинской школы много лет помещалась Тургеневская библиотека. «И если бы предсказание проф. Омана осуществилось в этой форме, — пусть судят французы, — заключает М. А. Осоргин, — было ли бы это справедливым, но нет сомнения, что для всех русских, и „советских“ и зарубежных, в равной степени, это явилось бы предметом удовлетворенной гордости». ⁴³

Тургеневская библиотека представляет собой памятник русской культуры в Париже и им должна остаться в будущем.

⁴⁰ Мэтр! Мы все должны учиться у вас.

⁴¹ E. N a u m a n t. Ivan Tourguenieff. Paris, 1906.

⁴² Э. Оман. Тургенев на Западе. «Минувшие годы», 1908, № 11, стр. 314.

⁴³ «Последние новости», 1938, 27 марта.

В. И. МАЛЫШЕВ

ОБ ИЗУЧЕНИИ НАСЛЕДИЯ ПРОТОПОПА АВАКУМА

Имя протопопа Аввакума, классика древнерусской литературы, прочно вошло в историю мировой литературы. Его сочинения, особенно Житие, переведены на многие языки мира, а исследования о нем постоянно появляются за рубежом. Но наибольший интерес к творчеству и жизни Аввакума проявляется, естественно, на его родине. Не только ученые, но и писатели, художники, драматурги вдохновляются его писательским и человеческим подвигом. Приводить примеры излишне, они широко известны. Достаточно сказать, что только за прошедшие два года в нашей стране об Аввакуме было напечатано более десятка научных статей, появилось несколько посвященных ему стихотворений (М. Борисовой, Я. Смелякова, Л. Хаустова, В. Шаламова и др.), написан киносценарий (Р. Тюриним) и готовится другой киносценарий в Ленинграде. Все это показывает, что имя Аввакума привлекает далеко не одних только специалистов по древнерусской литературе.

Однако правильная оценка жизни и творчества каждого писателя, в том числе и Аввакума, зависит прежде всего от того, насколько полно собрано, разработано и доступно читателям его литературное наследие и все материалы, связанные с ним, — исторические, биографические, историко-культурные и т. д.

Остановлюсь лишь на нескольких вопросах, разрешение которых значительно облегчило бы в дальнейшем изучение творческой биографии протопопа Аввакума.

Им написано большое количество произведений самых различных жанров. При этом многие из них он переделывал по несколько раз, создавая особые редакции. Все ли они обнаружены, учтены и известны ученым? С уверенностью можно сказать, что еще не все. Подтверждением этого служит тот факт, что за последние 17 лет было найдено пятнадцать новых произведений Аввакума и отрывков из ряда неизвестных его сочинений. За это время было разыскано также большое число списков уже известных его писаний, и притом списков иногда весьма ценных. В найденных текстах оказалось немало новых сведений о жизни и писательском пути Аввакума.

Два месяца назад мы были свидетелями выдающейся находки: И. Н. Заволоко открыл второй пустозерский сборник, содержащий автографы Жития Аввакума, Жития Епифания и сатирический рисунок Аввакума (направленный против верховщины русского и восточного духовенства). За последние семнадцать лет это третья находка автографов Аввакума, но, правда, самая яркая и замечательная. Недавно и мне удалось обнаружить в частной коллекции сочинение Аввакума об антихристе, неизвестное исследователям. Таким образом, в наших государственных хранилищах, центральных и периферийных, в частных собраниях, особенно принадлежащих старообрядцам, можно еще найти не одно новое произведение Аввакума и, может быть, как показал найденный А. И. Мазуниным плач по Морозовой, самого неожиданного жанра.

Итак, одной из самых неотложных и первоочередных задач, если не самой главной, являются поиски новых произведений Аввакума.

На основе всего известного и вновь обнаруженного материала необходимо издать полное собрание сочинений Аввакума. Для такого издания давно пришла пора. Осуществим, наконец, дело, начатое еще в 1915 году В. Г. Дружининым: имеем в виду незаконченное печатавшем собрание сочинений Аввакума в 39-м томе «Русской исторической библиотеки».¹ Однако предлагаемое издание мыслится не как продолжение или повторение только что названного, а как совершенно новый тип публикации сочинений Аввакума, основанный на всех новейших достижениях археографии и филологической науки. Оно должно быть подготовлено на самом высоком текстологическом уровне, с учетом всего объема литературного наследия Аввакума, по старшим и лучшим спискам, если нет автографов. Для того чтобы предстоящее издание было максимально полным, необходимо тщательно обследовать рукописные собрания, причем к поиску новых материалов надо приступить уже теперь. Залогом успеха будет строгое планирование работы, начиная с подготовительного этапа. Следует заранее оповестить о подготовке и характере труда, привлечь к нему внимание научной общественности. Это значительно облегчит потом работу публикаторов. Для обследования небольших и несложных собраний и другой работы можно использовать студентов, занимающихся в семинарах по древнерусской литературе. Продуманная и хорошо спланированная работа в рукописных хранилищах послужит на пользу не только изданию сочинений Аввакума. В ходе ее несомненно обнаружатся новые интересные памятники древнерусской письменности и литературы.

¹ Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. I, вып. 1 (русская историческая библиотека, т. XXXIX). Л., 1927. Издание подготовлено «под смотрением» В. Г. Дружинина, при участии Я. Л. Барскова и П. С. Смирнова.

Издание полного собрания сочинений протопопа Аввакума, если подходить к нему со всей ответственностью, окажется нелегким делом и потребует немалого времени и энергии от лиц, связанных с ним. Вот почему в интересах скорейшего его завершения оно должно быть выполнено коллективными усилиями специалистов Москвы, Ленинграда и других городов, под наблюдением авторитетной редакции. Только при таких условиях можно обеспечить высокое качество и быстроту издания. Растягивать же его подготовку на долгое время не имеет смысла.

Хочу напомнить о существовании ненапечатанной, но вполне подготовленной к печати части 39-го тома «Русской исторической библиотеки», в которую входит ряд произведений Аввакума и отрывки и переделки его сочинений. Может быть, в порядке подготовки к новому изданию, как разработку справочных материалов для него, следовало бы напечатать сейчас эту работу. Она, как известно, была выполнена авторитетными учеными, на высоком по тому времени научном уровне, с учетом всего выявленного тогда литературного наследия Аввакума, по заданию и под наблюдением Археографической комиссии Академии наук СССР. Это был этап в издании сочинений Аввакума. Сохранившаяся рукопись — небольшая по объему (20—25 лл.), имеет географический и именной указатели ко всему тому, указатель использованного рукописного материала с шифрами всех рукописей. Опубликование этого ценного труда важно не только для изучения Аввакума; это было бы данью уважения к памяти Я. Л. Барскова, В. Г. Дружинина и П. С. Смирнова, ныне незаслуженно забытых.

Параллельно с изданием текстов желательно было бы выпустить в свет летопись жизни и творчества Аввакума, которая ведется мной, и аннотированную библиографию, по типу, скажем, библиографии русского летописания Р. П. Дмитриевой. С библиографией Аввакуму вообще не повезло (нет даже удовлетворительных сводок литературы о нем), а без нее, как известно, немислимо никакое серьезное изучение предмета. Списки использованной литературы, прилагаемые обычно к исследованиям об Аввакуме и изданиям текстов его сочинений, далеко не полны. Изданная мной библиография советских работ об Аввакуме — не аннотированная, имеет пропуски и заканчивается 1953 годом, после которого появилось немало статей, несколько изданий сочинений и других материалов, посвященных Аввакуму.² Кроме того, эта библиографическая сводка, как говорилось о ней в предисловии, не претендовала на полноту, особенно в разделе «Аввакум в художественной литературе», и рассматривалась лишь как материал для будущей полной библиографии.

Полная библиография русских работ об Аввакуме XVII—XX веков по моему приблизительному подсчету будет насчитывать более тысячи номеров. В нее должны войти все русские работы об Аввакуме, независимо от их объема и содержания (кроме, конечно, мелких газетных информаций, но и тут надо еще подумать, стоит ли их игнорировать). При хорошо продуманном плане библиографического труда, при строго определенных его разделах и самих принципах библиографирования все это можно будет легко совместить. Библиография должна быть по-настоящему полной и осветить интерес к Аввакуму во всем объеме, без малейших пропусков. Надо помнить, что она составляется на долгое время и для всестороннего использования. При этом обязательно должны быть обследованы все старообрядческие издания и особенно периодическая печать, обычно пропускаемая исследователями. Список старообрядческих изданий составляется в настоящее время Е. А. Бобковым.

Нужна библиография, также аннотированная, и зарубежных работ об Аввакуме, которых вместе с газетными статьями и рецензиями наберется далеко за сотню. Многие из этих работ, как например труды П. Паскаля, Р. Ягодича, С. Зеньковского, П. Гауптмана, Б. Илека, В. Якубовского и др., представляют серьезные исследования. Кроме того, в послереволюционное время за границей вышло более полутора десятка изданий сочинений Аввакума, главным образом образом Жития. Правда, новых текстов опубликовано там не было, хотя известия о каких-то таинственных находках сочинений Аввакума и появлялись в русской эмигрантской печати. Иностранную библиографию можно поместить в качестве приложения к русской библиографии.

Появление полной научной библиографии по Аввакуму окажет, в первую очередь, большую помощь при издании и комментировании его произведений и значительно облегчит поиски нужных материалов изучающим его жизнь и творчество.

Немалое значение для раскрытия образа Аввакума как человека и борца, для оценки роли его в общественной жизни имеют предания и легенды о нем. В свое время часть их была записана и опубликована, в том числе и мной. Но до сих пор многие места, связанные с Аввакумом, остаются не обследованными, а другие изучены недостаточно. Слабо, например, проверены Мезень, Пин-

² В. И. Малышев. Библиография сочинений протопопа Аввакума и литературы о нем 1917—1953 годов. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. X, 1954, стр. 435—446.

нега, Двина, отдельные районы Сибири и Забайкалья, в частности Енисейский и Братский. То же можно сказать о Карело-Беломорском крае, Москве и Подмосковье (за исключением Боровска), о родине Аввакума — ныне Больше-Мурашкинском районе Горьковской области, Заволжье и других местах.

Эту работу надо провести в самое ближайшее время, пока еще живы люди старшего поколения, интересовавшиеся Аввакумом. Пройдет еще 10—15 лет, и будет поздно. Сейчас же предания об Аввакуме, как показывает мой личный опыт (отсылаю к своим статьям на эту тему) и записи других лиц, продолжают бытовать в народе, особенно в районах с крепкой старообрядческой традицией.

Как всякий устный источник, предания и легенды об Аввакуме требуют, конечно, строжайшей историко-литературной критики, тщательной проверки фактов. Но, как показало изучение их, освобожденные от поздних наслоений, они содержат немало ценных, правдоподобных сведений, идущих непосредственно от событий и неизвестных по другим источникам.

Так, в преданиях и легендах указываются приблизительные места сожжения и захоронения Аввакума в Пустозерске и место земляной тюрьмы его семьи в Мезени. Другие дошедшие до нас источники ничего об этом не сообщают, и дело археологов проверить и уточнить содержащиеся в преданиях сведения. Предания позволили выявить те помещения, в которых был заточен Аввакум в боровском Пафнутьевом монастыре. Только из устного рассказа, проверенного документальными данными XVII века, стало известно о выступлении Аввакума перед устыдителями в защиту старой веры в начале декабря 1667 года во время следования его в Пустозерск. Печорские предания сохранили ряд интересных фактов из жизни Аввакума в Пустозерске: о стойком поведении его в момент казни, о его взаимоотношениях с властями острога и т. д. Сибирские и забайкальские устные предания также помогают разобраться в отдельных событиях жизни Аввакума.

Предания не только содержат новые данные, они важны и как выражение народной оценки деятельности Аввакума. В сознании местного населения он остался борцом против неправды и угнетения, смелым крестьянским вождем, и народ хранит память о нем так же, как о Разине, Булавине и Пугачеве, несмотря на огромное различие в их воззрениях. Сами по себе эти предания и легенды представляют эстетическую ценность как образцы народно-поэтического творчества. Выявление и включение их в научный оборот расширяет наши представления об Аввакуме, о социально-утопических видах русского фольклора, к которым сейчас привлечено внимание в советской фольклористике.

Назрела необходимость в издании научно-популярной биографии, которая познакомила бы широкие круги читателей с жизнью и творчеством Аввакума. До настоящего времени, как ни странно, лучшим биографическим очерком является труд В. А. Мякотина, вышедший в 1893 году в биографической библиотеке Ф. Павленкова «Жизнь замечательных людей». В свое время эта талантливо написанная биография сыграла известную роль и имела несколько стереотипных изданий.³ Однако сейчас эта книга, ставшая библиографической редкостью, сильно устарела и не может быть использована даже в качестве первоначального справочника.

Потребность в новом биографическом труде об Аввакуме ощущается уже давно, и известно несколько попыток, правда безуспешных, восполнить этот пробел. Еще в 1918 году петроградское книгоиздательство «Огни», издавая серию «Образы прошлого», включило в нее популярную брошюру-биографию об Аввакуме объемом в 10 авторских листов. Написание ее было поручено Я. Л. Барскову, знатоку Аввакума. Однако в те нелегкие для страны годы издание по каким-то причинам не состоялось, и сохранилась лишь переписка между автором и издательством.⁴ В 1921 году М. Горький, составляя проспект изданий для книгоиздательства Д. И. Гржебина, вставил в раздел биографий книгу об Аввакуме. Это издание, насколько нам известно, также не было осуществлено.⁵

Годом раньше, в 1920 году, М. Горький, желая, чтобы Аввакума знали шире, предложил К. А. Федину написать о нем одноактное драматическое произведение.⁶ Благодаря инициативе и содействию М. Горького в 1934 году вышли избранные сочинения Аввакума в издательстве «Academia» с подробным вступительным очерком Н. К. Гудзия.⁷ М. Горький, по словам М. П. Сокольников, художественного редактора книги, остался доволен изданием и вводной статьей.

³ В. А. Мякотин. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. СПб., 1893 (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова). Четвертое стереотипное издание: Пгр., 1917.

⁴ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, РО, ф. 212 (архив изд. «Огни»), № 81 (переписка Я. Л. Барскова с издательством «Огни» по поводу написания биографии Аввакума, 1918).

⁵ Каталог издательства Д. И. Гржебина. Пгр.—Берлин, 1921, стр. 40.

⁶ Конст. Федин. Горький среди нас. Изд. «Молодая гвардия», М., 1967, стр. 16.

⁷ Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения.

В настоящее время в нашей стране издается обширная серия «Жизнь замечательных людей», основанная Горьким. К сожалению, для Аввакума в ней пока еще не нашлось места. Было бы восстановлением справедливости и в то же время знаком уважения к памяти Горького, высоко ценившего литературный талант и человеческие качества своего знаменитого земляка, если бы Аввакум занял в этой серии свое, подобающее ему по значению, место.

Нет нужды останавливаться на типе биографического очерка. Он будет зависеть от многих условий и в том числе от склада научного мышления автора. Однако хотелось бы пожелать, чтобы очерк был написан специалистом, обладающим литературным талантом, хорошо знающим эпоху и литературу, ведь Аввакум должен быть показан на широком фоне общественной жизни и культуры XVII века. Может быть, следовало бы также провести предварительно тщательный просмотр фондов ЦГАДА, привлекая к этой работе подготовленных студентов ЛГУ и МГУ. В этом крупнейшем нашем древлехранилище постоянно открываются новые материалы по Аввакуму, значительно расширяющие наши представления о нем. Между тем серьезного, сплошного исследования ЦГАДА на этот предмет еще никто не производил. Думаю, что и в других наших хранилищах, таких, например, как Исторический музей, архив Ленинградского отделения Института истории, Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, архивы Сибири (Томска, Тобольска, Читы и др.), еще найдется новое для биографии Аввакума. Словом, книга должна быть написана с учетом всех доступных материалов, печатных и рукописных, с большим знанием предмета, живо, увлекательно и доходчиво.

Это, по-моему, главные из задач, выполнение которых в ближайшее время способствовало бы более плодотворному научному изучению Аввакума и пониманию его творчества широким кругом советских читателей.⁸

Остановлюсь еще на двух вопросах, немаловажных для Аввакума. Разработка их содействовала бы правильной оценке его значения в истории русской культуры.

Первая тема — «Протопоп Аввакум в русской литературе XVII—XX вв.». Материала для нее имеется достаточно. Известны многочисленные примеры обращения к сочинениям Аввакума революционных демократов, народников, писателей, художников и ученых прошлого. Образ Аввакума и его произведения, как показано выше, не перестают привлекать к себе внимание и советских деятелей культуры и литературы. Эта работа показала бы огромное влияние творчества и личности Аввакума на русскую культуру последующих веков, что, к сожалению, известно пока немногим.

Вторая тема касается роли Аввакума в общественном движении XVII века. Как показали исследования и находки новых материалов последних лет, Аввакуму принадлежит выдающаяся роль в политической борьбе его времени. Он и закончил свою жизнь на костре 14 апреля 1682 года, по существу, за создание карикатур на царских особ и высшее духовенство с резкими обличительными («хульными») надписями в их адрес. Но вопрос этот еще недостаточно освещен.

И в заключение, пользуясь случаем, хочу напомнить о необходимости увековечения мест, связанных с Аввакумом, памятными знаками и мемориальными досками. На Байкале это кое-где уже выполнено. Висит памятная доска на башне Братского острога, связываемой преданием с Аввакумом.

Очередь теперь за Пустозерском, Боровском, Григоровым и Москвой.

Это нужно сделать именно сейчас, пока не стерлись в памяти Аввакумовы места, и коллективными усилиями всех любящих древнерусскую литературу, славнейшим представителем которой является протопоп Аввакум.

Д. С. БАБКИН

РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ XVIII ВЕКА

В процессе выработки социалистических идеалов активная роль принадлежала социальным утопиям, которые создавались народом и которые получили отражение частично в художественном фольклоре, частично в народной публицистике, не попавшей в печать. История потаенной рукописной народной литературы и публицистики XVIII века еще далеко не разработана. Для создания ее полной картины не хватает многих звеньев.

Редакция, вступительная статья и комментарий Н. К. Гудзия. «Academia», [М., 1934]. См. также: М. Сокольников. У Горького. «Литература и жизнь», 1961. № 72, 18 июня, стр. 4.

⁸ Учитывая огромное значение творчества Аввакума, важно издать, наподобие пушкинского словаря, словарь языка его произведений.

В настоящей статье речь пойдет об одной не изданной русской социальной утопии конца XVIII века, распространявшейся тайно в списках, которая вносит весьма существенные дополнения в разработку названной темы. Общая характеристика содержания этого произведения была дана в ценной статье А. Белика и Ю. Кононова,¹ а также в одной из моих работ.² К сожалению, это произведение еще не подверглось должному изучению ни со стороны формы, ни со стороны содержания. Остается не раскрытой идейная и жанровая связь его с литературой того времени. Первым шагом к всестороннему изучению этого произведения должно явиться издание его текста.

На основании сохранившейся секретной переписки следует считать, что публикуемая утопия была обнаружена при следующих обстоятельствах.

Рукопись исходит из тюрьмы Соловецкого монастыря.

20 июля 1797 года соловецкий архимандрит Иона написал архангельскому военному губернатору И. Р. Ливену письмо, в котором сообщил, что содержащийся в соловецком монастыре арестант Алексей Еленский подал ему 26 июня 1797 года «письменную тетрадь». «Я, — писал Иона, — прочитавши ее, нашел в ней содержание, в противность божиему и государственным узаконениям, прямо клонящееся к возмущению и вольности народной».³

Далее Иона добавляет: «На вопрос мой объявил он, Еленский, мне наедине словесно, что сия тетрадь прислана к нему от камердинера Захара Константиновича... А за сим отозвался он мне наедине ж, что знает он и хочет открыть мне какой-то важный секрет, которого, однако, я не принял от него и не испытывал в том его нисколько» (л. 30).

По поводу указанной тетради завязалась переписка. Губернатор Ливен препроводил письмо Ионы вместе с тетрадью непосредственно Павлу I. В рапорте от 24 июля 1797 года Ливен писал: «Приемля смелость поднести у сего к высочайшему вашему императорского величества усмотрению отношение ко мне соловецкого архимандрита с приложением доставленной ему от содержащегося в Соловецком монастыре арестанта Алексея Еленского бумаги, являющей безрассудную до крайности дерзость, неистовство и коварность сочинителя» (л. 28).

Павел I не придавал большого значения присланному сочинению, может быть, отчасти потому, что в нем о самом Павле говорится в сочувственных тонах. О решении царя сообщает его статс-секретарь Д. П. Трошинский в письме к генерал-прокурору Сената А. Б. Куракину от 4 августа 1797 года следующее: «Его императорское величество, получив рапорт от г. генерала инфантерии и архангельского военного губернатора Ливена с приложением бумаг из Соловецкого монастыря, высочайше повелеть мне соизволил препроводить оные к вашему сиятельству, с тем однако ж, чтоб никакого из того не делать дальнейшего употребления» (л. 27).

Кто такой Еленский?

Обстоятельства, при которых Еленский был отправлен в Соловецкий монастырь, кратко изложены в письме управляющего кабинетом Екатерины II В. С. Попова к кн. А. Б. Куракину от 28 февраля 1797 года, где он пишет: «В мае месяце 1794 года живший здесь поляк Еленский по вступившему от капитана Цибульского допросу взят был по повелению блаженной памяти государыни императрицы под стражу, найдены у него возмутительные манифесты и он, по сделанни допросов, хотя и подлежал дальнейшему исследованию, но в рассуждении просьбы и желания его принять греческий закон и заключиться в монастырь для содержания под присмотром, что и исполнено» (л. 21).

На допросе в 1794 году Еленский показал, что он происходил из Литвы; в июле 1790 года приехал в Петербург. «Я есть Иосиф Еленский, — заявил он. — Отец мой был Михайло Еленский, судья городской велькомерской в Литве; там я родился в деревне Свенторечий» (л. 77).

При переходе в православие Еленский принял имя Алексея. Он не был автором публикуемой здесь рукописи и, передавая ее архимандриту Ионе, выступал как доносчик, стремившийся к облегчению собственной судьбы. В 1801 году Еленский был амнистирован, вернулся в Петербург, обращался к Александру I с разными «подданныческими» проjekтами, связался с какими-то сомнительными лицами из секты скопцов и, наконец, был выслан из Петербурга по указанию Александра I в Спасо-Евфимиевский суздальский монастырь «под неослабный надзор» (ч. II, л. 179).

Автором публикуемой утопии является русский человек, скрывший свою фамилию. Он происходил, по-видимому, из северных районов. В тексте произведения

¹ А. Белик и Ю. Кононов. Новый документ по истории русской общественной мысли конца XVIII века. «Вопросы истории», 1948, № 4, стр. 100—105.

² Д. Бабкин. В. В. Капнист. Критико-биографический очерк. В кн.: В. В. Капнист, Собрание сочинений в двух томах, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 56.

³ Центральный государственный архив древних актов (далее — ЦГАДА), ф. Госархива, р. VII, оп. 7, д. 1849, ч. I, л. 30 (далее ссылки приводятся в тексте).

превалирует крестьянский говор Архангельско-Олонецкого края.⁴ Архангельский морской порт, частые поездки с рыбой в Москву и другие города, постоянное общение с русскими и иностранными купцами и мореходами значительно расширяли кругозор населения этого района, способствовали повышению грамотности в общей культуре. С отдаленных времен Архангельско-Олонецкий край имел торгово-экономические связи с демократическим Новгородом. Живая торговая связь с Москвой внесла в простонародный говор жителей этого края московский элемент, но вторжение его не уничтожило элементов говора новгородского. На основании сохранившихся письменных памятников XVIII века в церковно-монастырских библиотеках Холмогор, Архангельска и в библиотеке Выговской старообрядческой пустыни братьев Денисовых можно наблюдать в нем характерное сочетание новгородского и московского наречий с умеренным преобладанием первого.

Такое сочетание новгородского и московского наречий присутствует в языке автора рассматриваемой нами утопии.

Для иллюстрации приведем несколько примеров: благовесть (благо, все хорошее, полезное; блазнить — соблазнять, привлекать), Балтыцкое море, веце (веке), вси (все), вонькой (зловонный), знак (след), значит (разуметь), колико (сколько), напоследок (после того, в конце), неделный (напрасный, ненужный — «недельные войны»), невнник (целомудренный), навсе (навсегда), ослушливый (непослушный), обще (общее), послушливый (послушный), прокормежник (кормилец), разбогатеться (разбогатеть), спортить (испортить), стеги (дороги), суродованный (искалеченный).

Автор утопии хорошо знаком с книгами религиозного содержания, особенно библией. Это отразилось и на его речи, в которой соединены библейские выражения с особенностями местного, северного говора. Он причисляет себя к раскольникам, «приверженным к богу староверам благочестивым». О своей приверженности к расколу автор публикуемой утопии неоднократно упоминает в своем произведении: упрекает никоновцев, например, за то, что они в союзе с дворянством «переменили веру, спортили древние книги», произвели на «истинных православных христиан гонение».

В некоторых случаях он советует придерживаться старообрядческих нравов и обычаев, например требует, чтобы во время присяги помещиков новому народному правлению присягающие держали два пальца правой руки так, как складывали их на молитве старообрядцы.

Из текста произведения видно, что автор его был человек из народа, но несомненно достаточно начитанный. В рукописи есть ссылки на труды польских историков — свидетельство того, что он знал польский язык. За свои политические убеждения подвергался репрессиям, находился в тюрьме Соловецкого монастыря.

Публикуемое произведение состоит из пяти глав. Открывается оно революционным воззванием к народу. За этим воззванием следуют проект присяги нового царя народу, написанный от имени царевича Павла, образец присяги помещиков, письмо к Екатерине II, призывающее ее немедленно отречься от престола; наконец, инструкция-наказ о проведении всенародного обсуждения проекта нового закона. Композиция произведения, при некоторой кажущейся фрагментарности, логически продумана и отличается внутренней целостностью.

Автор утопии не преодолел сентиментальной проповеди «всеобщей христианской любви». В его произведении, особенно в первой главе, присутствует христианская идея «возмездия». Правда, эта идея представлена им в необычной форме. Он полагает, что всевышний покарал народы не вообще за грехи, а «за грехи архiereев, книжников» и фарисеев, что не приняли Мессии истинного». В дальнейшем изложении и анализе конкретного исторического материала в его утопии на первый план выступают проблемы социального характера. Это критика крепостного права и всех общественных институтов России того времени.

В письме к Екатерине II автор утопии так суммирует свои выводы о периоде ее царствования: «... в сии годы управления и царствования ва^шего величества» злой дух всеял семена свои в России — богумерзкие и нетерпимые, а именно: блудодеяния, публичные и бесстыдные, гордость, бедных и нищих презрение, неповинных по тюрьмам мучения, судебных мест умножение, а в них справедливости ни за полушку, ибо везде гордых антихристов звание, помещиков и дворян, господ заняли должности, характером и душою бессовестные, глупые, несправедливые, жадные чужого, возмутители спокойствия, воры, татья, убийцы, лихоимцы, блудники и прочные подобные сему, начав от кабинетских персон, министров, окружающих ваше величество, сенаторов, наместников, губернаторов, прокуроров, разных членов и до подьячих, но на [всех] нет ни единого честного и неповинного, и естли где определенлся честной человек и сделал отзыв по законам и справедливости, то в сей час отрешили и в заточение услали».

⁴ Общую характеристику говора Архангельско-Олонецкого края см.: А. Грандильевский. Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор. СПб., 1907, стр. 1—85 (Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, т. LXXXIII, № 5).

Страницы, содержащие беспощадные обличения пороков чиновников, помещиков и министров, написаны в духе радищевского «Путешествия», особенно главы «Спасская Полесь», в которой Истина, странница Прямовзора, говорит царю о его слепоте и заблуждениях.

Автор утопии считает, что несправедливая власть помещиков должна быть уничтожена. Для решения этого вопроса он предлагает два пути. Первый — бескровный, рассчитанный на добровольное отречение Екатерины II от престола в пользу своего наследника Павла Петровича.

Помещики также добровольно должны отказаться от всех своих сословных привилегий и дать в этом подписку.

Обоснование этого бескровного пути автором написано в духе проекта об освобождении крестьян, содержащегося в главе «Хотиллов» книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

Но автор утопии, так же как и Радищев, по-видимому, мало надеялся на добрую волю помещиков. Он предусматривал и второй путь, путь народного восстания, с неизбежными при этом насилием и жестокостью. И здесь он повторяет аргументацию Радищева, которая содержится в главе «Хотиллов».

«А естли паче чаяния, — пишет он в письме к Екатерине II, — яко господа намеряются его величество не допустить до владения царством и ваше величество еже согласитесь к сему беззаконию, то господь бог, творец неба и земли, яко правильной судья, попустит и свидетелем естъ, что звания дворянского обоего полу во всей империи знаку не останется, вся земля кровию обагрена будет...»

Автор утопии также воскрешает в памяти пугачевщину, но это было не просто стремление лишний раз напугать царицу. Хорошо помнившую народную расправу с помещиками в годы пугачевского движения. Он предлагал ряд конкретных мер по подготовке народного восстания. Эти меры им были указаны в инструкции о проведении всенародного обсуждения проекта нового закона.

Был составлен также план созыва всероссийского съезда народных представителей для выработки и утверждения нового закона. Такой съезд намечался на 1 сентября 1796 года. До созыва этого съезда план предусматривал подготовить народ к решительным действиям, провести читку манифеста свободы во всей империи.

Чтобы ободрить агитаторов, в инструкции было сказано: «И хотя многих переловят, и хотя будут держать в заключении, после освободятся и награждены будут от народа».

Главное в рассматриваемой утопии — заключенная в ней политическая и социальная программа. Она сформулирована в 30 пунктах и включена в текст проекта царской присяги. Новый император обязан был полностью принять ее и вместе с народными представителями провести в жизнь. Вот главные пункты этой программы:

1. Новое общество будет обществом равноправных граждан. В нем все трудятся, никто не присваивает себе плодов чужого труда. Тунеядцы строго наказываются.
2. Прежние законы гражданские уничтожаются, а новые будут выработаны самим народом.
3. Административное деление для удобства управления государством останется прежним.
4. Церковь отделяется от государства, и этим обеспечивается свобода совести и вероисповедания.
5. Земля, какому бы ведомству она ни принадлежала, без всякого выкупа передается народу.
6. Должно быть введено всеобщее бесплатное обучение.

Такова в общих чертах политическая и социальная программа рассматриваемой утопии.

Ряд пунктов этой программы (уничтожение сословий, установление равноправия всех граждан, отделение церкви от государства, бесплатное обучение детей, передача земли без выкупа народу) сохраняли свою актуальность в течение многих десятилетий. Они предвосхищали политические и социальные требования Чернышевского и социал-демократов. В. И. Ленин в статье «К деревенской бедноте». Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы, написанной в 1903 году, говорил: «Социал-демократы требуют, чтобы были уничтожены сословия, чтобы все граждане государства были совершенно равноправны... Очень важное улучшение для всего народа, а для деревенской бедноты особенно, состоит в даровом обучении детей, которого требуют социал-демократы... Только даровое и обязательное обучение всех детей может избавить народ хотя бы отчасти от теперешней темноты. А деревенская беднота особенно страдает от темноты и особенно нуждается в образовании».

Относительно свободы вероисповедания В. И. Ленин писал в этой же статье: «Социал-демократы требуют далее, чтобы каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно свободно. Только в России да в Турции из европейских государств остались еще позорные законы против людей иной, не право-

славной веры, против раскольников, сектантов, евреев... Все веры, все церкви должны быть равны перед законом».⁵

Не менее актуальными были для своего времени и другие пункты программы рассматриваемой утопии. В частности, большое тактическое значение имела постановка вопроса об отношении восставших к дворянству.

Во время пугачевщины крестьяне, руководствуясь чувством мести, вешали и расстреливали большую часть своих господ. «Прельщенные грубым самозванцем, — писал Радищев, — текут ему во след, и ничего толико нежелают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому неумислили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола ни возраста. Они искали паче веселые мщенья, нежели пользу сотрясения уз».⁶

В рассматриваемой утопии найдено иное решение вопроса. В ней разъясняется, что чувство мести должно уступить место благоразумию во избежание излишнего кровопролития. Лишь в тех случаях, когда помещики окажут упрямство и сопротивление восставшему народу, их следует заключить в тюрьмы. Дворянству таким образом открывался путь жить по законам, которые собрание народных представителей выработает для всех граждан России.

Данное произведение, интересное прежде всего как памятник народной демократической публицистики, не было единичным явлением в русской потаенной и рукописной литературе. Его предшественниками явились в XVII веке «прелестные» письма Ивана Болотникова и Степана Разина, в XVIII — «Плач холопов», а также целый ряд других произведений подобного рода, распространявшихся в подпольной рукописной литературе. В частности, опубликованные мною стихотворения «Коль царям бывает война полезна» и «Вирши о горькой судьбе»,⁷ или опубликованная Т. А. Мартемьяновым песня, созданная в 1789 году крепостным живописцем кн. Н. С. Долгорукова.⁸ В одном из рукописных сборников, например, имеется характерная для того времени сатира на наместничество, которая начинается такими стихами:

Ежели государев наместник
Будет на взятки прелестник,
То и Губернское правление
Возьмет на то стремление.

Сыщет и Казенная палата,
Чем быть богата.
Также и Уголовная
Не будет в том прекословная.

Гражданской и Магистрат губернской
Не погнушаются страсти мерзкой.

В заключение автор приходит к следующему выводу:

Генерально всех тех мест,
Коих и числа здесь несть,
Председатели и заседатели
Только человеческой плоти объедатели.

Такие ж точно воры
Стряпчи и прокуроры,
Уездные начальники
И капитаны и исправники.⁹

В жанровом отношении данная утопия продолжает традицию зажигательных манифестов, указов и прокламаций, вышедших в свое время из стана Пугачева. И по языку она стоит очень близко к пугачевским манифестам, которые оказывали огромное эмоциональное воздействие на массы, будучи «удивительными образцами народного красноречия, хотя и безграмотного» (А. С. Пушкин).

⁵ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 169, 172—173.

⁶ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 320.

⁷ См.: Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 12; Д. С. Бабкин. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 109—110.

⁸ Т. А. Мартемьянов. Крепостное право в народной словесности. «Исторический вестник», 1906 сентябрь, стр. 867.

⁹ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее — ИРЛИ), архив «Русской старины», книга, называемая «Когда что попало».

Историки пугачевского движения отмечали выдающееся влияние пугачевских манифестов, написанных от имени руководителя движения его «литературными сотрудниками», на различные слои населения и называли их «страшною приманкою для народа».

Так, этот жанр народной публицистики, рассчитанный на широкую читательскую аудиторию, явился самым популярным и действенным видом потаенной литературы. Пугачевское движение было разгромлено, но жанр указов и манифестов продолжал развиваться. Он оказал значительное влияние и на сатирическую народную рукописную литературу. Например, в рукописном сборнике 1789 года, составленном пугачевцем Василием Бунным, содержится сатирическая стихотворная повесть о петухе, написанная в жанре правительственных документов.¹⁰

Публикуемая утопия не только дополняет круг названных произведений, но она значительно расширяет существовавшее представление о русской потаенной литературе второй половины XVIII века. Она позволяет исследователям пересмотреть некоторые прежние концепции развития русской утопической литературы того времени и дает ценный материал для постановки новых вопросов. В небольшой вступительной статье я не имею возможности остановиться на всех возможных аспектах изучения этого произведения. Отмечу кратко только некоторые из них.

1. До сих пор распространение утопической литературы в России второй половины XVIII века некоторые исследователи связывали главным образом с развитием масонского движения и масонской литературы. Данная утопия вносит существенные коррективы в сложившийся взгляд. Она была создана человеком, который не имел никакого отношения к масонству.

2. Автор утопии, как я уже отметил, причислял себя к раскольникам.

В нашей науке существует мнение, что якобы утопические произведения русского раскола XVIII века не сомкнулись с социально-политическими исканиями русских просветителей XVIII—начала XIX века. И этот вопрос нуждается теперь в пересмотре.

В публикуемой утопии отразилась идеология крестьянской демократии, ярким выразителем которой в России объективно являлся Радищев. Выше я отмечал несомненную связь утопии с «Путешествием из Петербурга в Москву». Пушкин называл книгу Радищева «сатирическим воззванием к возмущению». С таким же правом мы можем отнести эту характеристику и к данной утопии.

При сравнении «Путешествия» и рассматриваемой утопии, которые внешне как будто ничем между собой не соединены, но по сути дела стоят близко друг к другу в силу антикрепостнического содержания, обнаруживается своеобразное явление: «стыковка» на границе, разделявшей народную рукописную публицистику с печатной художественной демократической литературой.

Автор утопии не называет источников, которыми он пользовался в своей работе, но их не слишком трудно обнаружить, просмотрев тогдашнюю антикрепостническую литературу. Для освещения истории зарождения и развития крепостного права в России, например, он опирался на коллективный труд «Новейшее повествовательное землеописание...», изданный Обществом друзей словесных наук, членом которого являлся Радищев. Труд этот был начат еще в конце 1780-х годов, первое уведомление о его подготовке было напечатано в декабрьской книжке журнала «Беседующий гражданин», которую проводил через цензуру Радищев.¹¹ Отпечатан он был в двух томах в 1795 году, когда Радищев находился уже в ссылке.

Для нас особенно интересен раздел книги, посвященный описанию России, поскольку в нем наиболее ощущается влияние Радищева. В этом разделе неоднократно отмечается, что крестьяне в России в древние времена были вольными, что они не были прикреплены к помещичьей земле и могли по своей воле переходить от одного помещика к другому. «Невольные же были тогда одни только пленники и потомки их, коих помещик имел право духовному в наследие детям своим, рядною в приданое за дочерью укрепить, и постороннему продать».¹²

То же внимание к этому известному историческому факту мы встречаем и в рассматриваемой здесь утопии.

«Новейшее повествовательное землеописание...» вскоре после выхода в свет было запрещено по распоряжению Екатерины II, но какая-то часть экземпляров все же проникла в народ.

Утопия была создана в период острейших революционных событий во Франции и в Польше. Эти события не прошли мимо сознания ее автора. Он был знаком с польской революционной прокламацией 1794 года, распространявшейся среди

¹⁰ ИРЛИ, 1.114.404/0—2—II.

¹¹ См. об этом: Д. С. Бабкин. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность, стр. 163.

¹² Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света, с присовокуплением самого древнего учения о сфере, также и начального для малолетних детей учения о землеописании. Российской империя описана статистически, как никогда еще не было. Сочинено и почеркнуто из вернейших источников, новейших лучших писателей, учеными россиянами. СПб., 1795, стр. 253.

польских повстанческих отрядов. Прокламация содержит в себе развернутую боевую программу действий польских революционеров. Автор русской утопии переписал из нее ряд пунктов в свое произведение, творчески переработав их применительно к условиям российской действительности. Самый же текст польской прокламации был изъят у него в тюрьме вместе с рукописью его утопии.

Вопрос о влиянии и филиации освободительных идей периода буржуазных революций конца XVIII века является довольно сложным. Эти идеи и формы антифеодальной агитации переходили из одной страны в другую, взаимообогащались и трансформировались соответственно национальным особенностям каждой страны. Польский текст, использованный русским автором, был создан под влиянием событий французской революции, которые горячо обсуждались польскими революционерами в 1794 году в варшавском Якобинском клубе. Не случайно Екатерина II, прочитав польскую прокламацию, отметила, что в ней «по примеру французов сравниваются все состояния в Польше, достоинства же и чины уничтожаются» (л. 107).

До сих пор исследователи, изучавшие русскую потаенную демократическую литературу конца XVIII века, не ставили ее в связь с революционными декларациями, созданными французскими и польскими революционерами. Приведенные мною факты указывают на то, что такая связь существовала. Здесь намечается чрезвычайно интересный аспект изучения взаимодействия русской потаенной литературы с революционной литературой Запада.

Несмотря на то, что в данной утопии имеется немало наивного, противоречивого, слабого, идущего от религиозного сектантства, она несомненно имеет определенную историческую ценность.

Утопия публикуется по рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве древних актов (ф. Госархива, р. VII, оп. 7, д. № 2849, ч. лл. 31—40), с сохранением орфографии подлинника. Рукопись писана на 10 листах большого формата (всего 20 страниц) коричневыми чернилами на бумаге кремового цвета четким почерком, местами переходящим в полуустав. Бумага имеет водяные знаки 1794 года.

Рукопись именуется «подлинником». На обороте одного из листов сделано следующее примечание: «Доношу, что из сего подлинника пущено в мир 243 копии в местах, известных вам, а оные ж копии с прошлого 1789-го года также немало уже родили». Из этого примечания следует, что данное произведение было сочинено еще в 1789 году. По-видимому, в датировке допущена описка, или сделано это сознательно по каким-то неизвестным нам соображениям. Судя по водяным знакам на бумаге, рукопись не могла быть написана ранее 1794 года.

[ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ]

Благовесть иسرائлю российскому, то есть приверженным к богу староверам благочестивым.

Молитва начальная

О господи боже наш, всемогущий и непостижимый творче и строителю всех благ, сколь ты справедлив, столь и милосерд, возри на малое число иسرائля твоего и помилуй желающих быть твоими, помоги сполнить повеление твое. И, соединя вси миряне сердца, мысли и слова, с усердием будут возкицать: милосерд господь бог наш во всех силах своих.

Из священной гистории

Яко в ветхом завете Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Давида и протчих спасал господь бог народ иسرائльской ради воплощения сына своего господа и бога и спаса нашего Иисуса Христа, то есть милосердия своего.

Тако российской народ ради воскресения и отыскания истины господней спасал ж от разных бедствий. Начав из древних от введения в Россию христианской веры, князя Владимира, царей Ивана и Алексея, императора Петра и протчих, а ныне видим уже сей российской народ страшнее, храбрее и пространнее расселен не в пример всем еуропейским государствам (а прежде они все стыдились с Россиею союз иметь); так ныне Россия прославилась, как иسرائльской народ при царе Соломоне (после которого смерти надвое разделилось государство). Напоследок воплощений спасителя нашего Иисуса Христа не осталось и знаку даже царства еврейского за грехи архиереев, книжников и фарисеев, что не приняли Мессии истинного, за то ныне едва скитаются евреи в разных государствах мерзкою вонюе заражены, единственно ради уличения народ беззаконной.

Рим, некогда страшный и всем почти миром завладевший, за перемену православней веры потерял славу, а ныне едва слышно об нем, и токмо населен народом, отверженным Иисусом Христом, то есть архиереями, книжниками и фарисеями.

Греция великая и славная за перемену закона и несоблюдение заповедей божиих, за несправедливость, за небратолюбие потеряла владение государства, и ис-

чезла Греции слава, и даже спасителя нашего господа Иисуса Христа возлюбленные места и стег и дражайшего хождения остались под владением не христиан, столь гнусны и мерзки сделались очам господа и бога нашего Иисуса Христа христиане, что недостойны владеть благодатными местами.

Оставив все нещастия и приключения древние российские, довольно вспомнить помощь непостижимого творца в соединении всех княжеств российских в единое царство, в отвержении податей татарый крымской платимых, от которой дозволения даже корона российская зависела, в распространении России взятием Казани, Астрахани, Сибирый, в присоединении Малороссийских княжеств, Киева, Смоленска, Стародуба, Чернигова и протчих городов малороссийских от Польши, в взятии Рыги, Ревеля, Нарвы, Вибурха и протчих земель от шведа и обладанием Балтыцкаго моря, нынешнего ж века в взятии великой Тартары Крымской и в обладании Черным морем, в присоединении Белороссии, Украйны и польской великой части Королевства Польского и немалой части Бисарабии Цариграской от турка, все сие помощь божия устроила, подвиги российские вспомоществовало его непостижимое милосердие единственно ради иسرائля российского, хотя он поныне в пренебрежении и поприани был, но всегда угождал и угождает господу богу своему, за что непостижимый, умиляясь над оным, возобновляет первое бытие и умножает свой иسرائль.

Конечно, никто иначе не должен разуметь и не может, яко помощию божиею сие устроено и благодатию его свыше посланною царям российским исполнено; однако сколько надобно ценить и за то господа бога вышнего, благодарить, столько следует и помнить о том, kolikoе число крови, любезные россияне, ваших праотцев, дедов, прадедов, отцов, братии и сыновей пролито до нынешнего времени, не тысяч, не миллион, но несписленные миллионы людей (кроме денежных расходов) стоят вам сие распространение и, если бы оценить на деңѣги от начала потерю, смело можно ценить во всей России всякой ступень земли рубль, то сие рассматривая, надобно крепко оборонять от неприятеля, дабы одной ядиди не потерять земли и ни единого шагу владения российского. Но, можетъ быть, думаете или и скаживаете, почто имеем сильно оборонять отечество, если не получаем награждения все, а только некоторые недостойные люди получают. На сие я вам истинну божью открою и докажу, что вы были недостойны за многие погрешности пред господом богом получать награждение до нынешнего времени; отныне, если повинитесь воли и повелению его вышнему, удостоитесь получать, а ежели не соедините сил ваших, то еще наступающей век будете под игом работы в неволи.

Яко господь бог — творец всех благ от начала устройства народа российского, а паче от принятия веры христианской во всяком веку (то есть в столетие) шесть лет от менного благословения России определил, а враг человеческой, злой дух, успевал (попущением божим) затмить благодать божью, а сильней вкоренял зло, дабы народ российской истинной благодарности вышнему творцу не воздал, то в следующем открывать глаза (повелением непостижимого милосердия), где ваше награждение общее, как ваш разум в затмении; и всего зла, вкоренившегося в России, истинную картину представляю вашим глазам.

Прежде от воплощения господа и спаса нашего Иисуса Христа принявшие закон христианской по оному поступали; не было звания в народе дворянского, ни крестьянского (как в евангелии и поныне значит). После как стали христиане удаляться от заповедей Нового завета, то господь бог, наказывая народ, стал попускать, что люди людьми себе подобными стали владеть, яко скотами в многих государствах, что и в России от четырех веков сие появилось таким образом. Как Россия была непросвещена, тогда смежные государства, желая взятием России попользоваться, делали неприятельские нападения. Россия наставлением божим всегда оборонялась войною; в то военное время за отличную храбрость некоторым воинам, за небытием денег, жаловали цари землю, с тем дозволением населять оную пленными людьми и оброки себе получать.

Между тем последовал неурожай хлеба, за ним голод. Тогда богатые люди иждоулаивали у царя указ, позволяющей землю продавать и покупать жалованную царями, а людей, если кто в голоде прокормит, должны отработывать прокормежникам, и буде бы пожелали некоторые добровольно остаться, навсегда приписаться за прокормщиком дозволяется (с платежем государственных податей). А как тогда было человеколюбие в народе, многие бедные люди записывались за богатыми, и так достаточные люди, имея за собою людей и собственную землю, стали называться владельцами, после помещиками, напоследок дворянами, и как прежде было обыкновение честных людей выбирать в судьи и в придворные вельможи, а с храбрых воинов в начальники военные, так после из звания дворянского, хотя и нечестных людей, в вельможи, в судьи и в военные начальники стали набирать, яко же ученых в грамоте их званию довольно было, то и церковные чины они занимали.

И как время по времени они усилились, разбогатились, стали гордиться и должны были по воле духовных чинов и вельмож даже и цари поступать, везде они успевали в пользу свою на войнах чины получать; в отечестве <в> награждение за все благополучие церквам и дворянам цари имение роздавали, крестьян

записывали, и что народ неучоной выдумал в пользу отечества, то дворянин получил награждение, и начали называться благородными, после и господами, что дошло ныне до высокопревосходительства, княжеского и графского сиятельства; и так усилившись, многих царей истребляли, разные беспокойствия в отечестве делали, сами воцарялись; и нечисленные беспокойствия и беспорядки от духовных чинов и дворянских столь происходили, что и до нынешнего времени они ж находятся, и чуть не всю Россию господа в крепость себе взяли и всеми выгодами и народом завладели; и тако подобные люди созданием от господа бога за глупость предков и за грехи по большей части в России находим (чево в прочих государствах вовсе нету) звание крестьян, холопов, мужиков, каналиев, шельмов, скотов и прочих мерзких именований. Вот где вам награждение за пролитую кровь предков ваших и вашу собственную, за распространение России и за все устроение в отечестве, за прогнание неприятелей и прочих услуги ныне. В «столь пространным государстве Российском от своих неприятелей, в отечестве происшедших, от разных нападков и излишнего угнетения не можете сохраниться, должны искать защиты и сохранения здравия и жизни в чужих государствах, с которыми принуждены вы воевать; там спокойствие находите, там и по желанию и наставлению духа святого спокойно господа бога — творца неба и земли хвалите. Так дворянской чин успел завладеть народом российским, переменить веру, спорить древние книги, произвест на истинных православных христиан гонение, мучение, ужас; и вспомнить, сколько за сие народа погублено, селений истреблено и сколько еще и ныне в гонении, в пренебрежении и заточении истинных христиан православных, староверов находится; и все сие в духовном и гражданском чине дворяне находящиеся творили и творят; всякий, сие читая, подумайте, чево еще дворяне не довершили и зла в отечестве не сделали, разве чево в аде не было, то нет в России. Например, ваша сила Россию распространила, вашу кровью Российская земля куплена и что только ни устроено и сделано — города, флоты, армию и все, что ни есть, вашими руками устроено. Вашим потом цела вся Россия питается и кормится, от неприятелей сохраняется отечество, а вы за посеение себе хлеба на пропитание дорого должны за кусок земли заплатить и даже по смерти за погребение тела, за место должны заплатить. Сколько ж помещики или господа ваши съедают напрасно ваших трудов, сколько, рассердясь за лошадь или на ково-нибудь, человека убил, за собаку человеку жизнь отнял, за недозволение на блуд помещику дочери или жены не один убит, что так погублено ваших братьев невинно миллионы наберутся. А сколько в каторге, в неволе, в заточении находится невинных людей, счислить нельзя. Сколько ж выгнали господа за границу — все края, все царства наполнены российского народа, а в Россию кто пришел, разве которой из висельницы сорвавшись или вовсе худых свойств, которой ушел из своего отечества, избегая наказания, пришел к нам. Без слез и рыдания нельзя думать о ваших горестях, а что ж спытать вам сие упомянутое и вящше сего.

Устроили господа множество судебных мест, разделили на наместничества, на уезды, а что в них судебных членов и всякой, кроме жалованья, имеет доходу втрое против жалованья, а спросить, с ково грабют — ежели не с крестьян, ремесленных людей, мещан и купцов. По всем судебным местам устроены воинские команды, ково кораулют — крестьян, дабы не разжились, состояния своего не поправили, дабы съедать и грабить их. На сие устроено, вить нету внутри неприятеля иного, кроме господ, судей и всего звания благородного; из них один убьет человека, а другой, заседающей в суде, убийцу покрывает, а крестьян в каторгу за их злодеяния посылают, умноживши себе чинов. На крестьян, мещан и купцов подати несносные налагают, дабы казны доставало на жалованье. Очистили крестьян из имения, обирают их плачевные труды; очистили и казну, ввели государство в долги во всех иностранных государствах, столь великие суммы заняты, что нельзя уплатить, и делают совет продать все имение казенного ведомства, дабы не было казенных крестьян, а было бы господское или помещичье, тем паче дворянство укрепить, и господам, и не царям Россиею владеть и пользоваться ею.

И дабы когда-нибудь народ не пришел в чувствие, сами затевают нарочно войны недельные; и хотя помощю божю войны российские побеждают неприятелей, однако всегда завоеванные города и земли возвращают им, потому что их благородия на войне получают в награждение казенное имение и при замирании от неприятеля получают довольные подарки, а отечество до основания разоряют войнами.

Сделали между собою господа совет и присягою скрепили, дабы род царской мужескаго полу истреблять, а женской пол царствовал бы всегда, что в пользу свою могут делать, а не в пользу отечества и всего народа. Армию в бедности и изнурении содержат ради того, чтобы в слепом повиновении своем солдатом бедных содержать и власты были бы их невинно (в противность артикулов) мучить. Словом сказать, все судебные места без справедливости, все должности без порядку, все казны разворованы и злым употреблением наполнены.

Так то кровью вашей государство устроеное во ничто обратилось. Точно все сие в России ныне поселилось, что некогда было в великой Греции, за что потеряно царство. Не миновала бы и Россия сего жребия, естли бы не израиля рос-

сыйского молитвы, то есть совершенных мужей, по науке евангелия поступающих староверов; выслушав их молитвы, милосерд господь бог в непостижимости своей сделал определение в окончании нынешнего столетия все зло в отечестве истребить, народ российской к правоверию весь возвратить, даже и иноплемеников много присоединить, прославить и умножить иשראל свой. Никона патриарха, яко недельные, порядки церковные и обряды веры уничтожить. Императора российского однова властителя и повелителя иметь, так господь бог назначил и, конечно, сбудется. Россия до 1800-го года в шестдесят миллионов мужеского полу умножится, изо всех земель россияне возвратятся и разного народу наполнится. Яко обетованная земля, все словянские народы по гистории Нарушевича к России присоединятся, подати облегался, пошпины торговые и все уничтожатся, и в будущем веде вся Россия будет строением каменная, столь обогатится, и вся старая Греция и святые места, стег господний будут состоять под владением Российского государя. Воистину сбудется. Аминь.

Всякой грамотной христианин видит и знает из священного писания, что господь бог не царей, не князей назначил в апостолы, но из бедных людей, рыбаей и ремесленных, яко и сам господь спаситель наш Иисус Христос в древоделии упражнялся и всему народу труды благословил, тако ж де и сию благовесть божию в приведение в действо простому народу господь бог повелевает, а не архиереям, книжникам и фарисеям, яко не под светлою ризою и щегольством хранится благодать божиа — иשראל его возлюбленной под рубищем простой одежды и чистосердечием человека.

Надобно быть твердой веры и крепкой надежды с искренною любовию к богу, полагаясь на милосердие непостижимого творца в том, яко к распространению веры христианской между многими апостолами назнаменовал господь бог наш Иисус Христос Петра верховным, Павла избранным сосудом своим, которые, первой немалое число людей христианской веры научил, а второй с вторицею семь крат приумножил проповедью, данную от бога христиан.

Так господь бог российскому иשראלю дал прежде императора Петра, который все порядки благоразумные и полезные отечеству устроил. Художества и науки ввел. Армию регулярную и флот военной основал и соседственным дворам храбрость свою показал, а немалую пользу отечеству принес, словом сказать, из законности весь народ российской извлек. Касательно до совершения благодати непостижимого, народу российскому назначенной, сие наследнику его к сполнению оставлено, то есть императору российскому Павлу, который, яко избранной сосуд, по глаголу божиему должен весь народ российской из крепостей освободить, во всех народах славянских водариться и в любви божией и ближнего закон веры устроить и справедливость учредить; и завоеует Польшу, Курляндию, Пруссию, Саксонию, Венгрию, Чехию и прочие, но не пролитием крови, а произведением благополучия и проповедью благодати божией, яко ниже окажется.

ПРИСЯГА ЦАРСКАЯ

Аз, Павел первый, император и самодержец всея Великия и Малыя и Белья России и царь всех народов славянских, клянуся господу богу, творцу неба и земли и всех видимых и невидимых вещей и всеми священнейшими тайнами непостижимого милосердия его в том, что повеленное и назначенное мне от господа бога, непостижимого творца, народ весь российской и славянской из крепостей освободить, дворянство уничтожить, весь народ поровнять по заповедям Божиим на любви господа бога и ближнего своего, яко сам себя; справедливость, правосудие и закон веры утвердить; старую веру, яко от апостолов святых подано христианам, по новому завету устроить, распри церковные, между христианами заведенные, уничтожить; армию на основании добродетели расположить, жалованье умножить в сухопутной и флотской армии на всех морях; судебные места нынешние все уничтожить, всякое зло изкоренить, добродетель ввести и насадить виноград; все чины военные и штатские, кроме армейских налицо служащих, естли не поспорят, уничтожить; равномерно достоинства и кавалеры вычернить, по пунктам, ниже означенным, поступить не медля ни мало имею. А буде противно сему стану поступать, да накажет господь бог в нынешнем на теле и чести, в будущем житие на душе преданием геене вечной (и прочее, и прочее).

1-е. Закон божий по истинным глаголам Божиим господа и спаса нашего Иисуса Христа в евангелии означенным и по науке и заведению христианской веры святыми апостолами, собрав россиян честных мужей, совершенных христиан, из староверов, и призвав греков и латынников, умеющих евангелие читать и знающих толковать, яко первейшим предметом утвердить, устроить и тем распри народные, вразумительно растолковавши, всем уничтожить и всех помирить.

2-е. Императорская власть над народом по заповедям Божиим устроится, мужеской пол всегда царствовать (а женской никогда) будет, так господь бог повелевает.

3-е. Все звания дворянские, господские, графские, княжеские вовсе уничтожатся (кроме царской фамилии), и отныне впредь никогда (где бы наше царство

ни распространялось) не будет <ни> крестьянина, ни дворянина, ни помещика под смертною казнью, а будут три сорта народов: земледельцы первые, ремесленные вторые, купеческие третьи, и они все между собою равные, и из них умные люди будут везде с царем присутствовать.

4-е. Законы гражданские, без числа умножившиеся от разных царей, и уже множество недельных находится, все уничтожатся, а в силу евангелия новые советом всего народа устроятся.

5-е. Деньги золотые, серебрянные, медные весом, яко при великом Петре были биты, произведутся, ассигнации уничтожатся, вместе и векселя с судебными местами и со всеми присудствиями предадутся вечному уничтожению, начав от сенатов до нижних судов, а останутся разделенные места на губернии, наместничества и уезды ради полезного распоряжения народов, в которых один суд совестной всех будет разбирать (сие устроится согласно с народом).

6-е. Почти во всей империи на крепком основании и починка дорог устроится.

7-е. Церкви не предаются никакому разорению, а токмо, начав от архиереев до последнего священника и монаха, всем отъежется жалованье, а должны жить от собственных трудов и милостины.

8-е. Земля, яко от неистовимого творца создана племени человеческому в пользу общую, так< > да никто не будет платить за землю никому; кто где пожелает селиться, дозволится, токмо не сделал бы обиды ближнему своим поселением; на сие будет смотрение и ограничение.

9-е. Все руды золотые, серебрянные, медные, железные дозволяются обществу народному заводить и делать во всех местах, где кому покажется, без обид ближнего, и имеющие серебро, золото и медь могут деньги делать в государевом монетном заводе, с платежом завода и мастерам, и казенные все заводы упомянутых сортов отдаются обще народу.

10-е. Серебро казенное, находящееся по всем наместничествам, столовое и в прочих сделках, равномерно и деньги наличные из казенных палат и всех судебных мест благоволит народ без утайки все государю доставить.

11-е. Яко армия нужна ради защищения отечества и спокойствия общенародного, то на морях, всех России принадлежащих, флоты укрепятся и сухопутные две армии от востока до юга Константиновская, от юга до запада Александровская, и всем воинам рядовым, флотским и сухопутным, жалованье определяется в месяц деньгами по рублю на старом пайке и крупах и обмундировка нужная прибавится. Солдаты рядовые должны не более в службе быть, яко дватцать четыре года, при отставке всякому награждение 300 руб. и после, яко обыватель, общенародные должен будет подати платить и какой пожелает род жизни избрать — земледельчей, ремесленной или купеческой, властен будет. Ранены на войне солдаты без службы по уездам будут жить на всем готовом, пище и одежде, казенном.

12-е. Несмотря ни на какое лицо из честных, постоянных и умных людей, грамотных или неграмотных, по показанию поведения товарищей из солдат жребьями будут избираться капралы и унтер-офицеры, а из них то же жребьям офицеры, знающие совершенно службу, а буде бы в военное время рядовой солдат чем отличился, то в обер- и штаб-офицеры будут производиться. Офицерам то же из казны мундиры и вся амуниция и экипаж назначится, тоже паек получать будут солдатской. Жалованье обер-офицеру вдвое против солдата, штабу вдвое против обер-офицера; в отставку офицеры токмо штаб отпускаться будут, обер не отставляется; отставным офицерам награждение в подати государственой из души мужеского полу по два рубля в казну в год должны будут платить всякого звания люди, кроме единой персоны государя и военнослужащих, пока в службе. А в сумму общенародную тоже со всякой души мужеского полу по рублю всякой год должны будут платить.

13-е. Государь из государственной казны должен армию и флот содержать и политические дела, а из суммы общенародной награждение отставным солдатам и офицерам, на содержание школ, на пропитание бедных людей, вдов, сирот и прочие надобности общенародные употребятся деньги.

14-е. Школы во всех уездах, в деревнях, селах, монастырях должны быть; учить обоего пола юных людей грамоте, а имянно, дабы всякой знал силу Нового завета, то есть евангелие и апостолы. Мужеской же пол военной дисциплине, дабы всякой мальчик умел ружьем делать и все артикулы, что следует солдату, арифметику и прочее полезное людям.

15-е. Бывшим помещикам и в великом достоинстве поныне находящимся, ежели не будут иметь на пропитание денег собственных, то из народной суммы умеренно жизнь их содержать без отличия, яко человек, равной всем.

16-е. По истечении 12 лет от устройства благодати божией, ежели кто из юных людей обоего пола окажется неумеющим грамоте, те после смерти без погребения на поля на съедение псам пометаны будут, и навсегда сей закон строго будет наблюдаем.

17-е. Женити младенцов 16<-ти>, девиц 13 лет, дабы тем честность наблюсти, и ежели непорочно браком тех лет сочетаются и не осквернят блудом ложа своего,

их дети будут почитаны благородными (то есть честнорожденными), а по времени весь народ сие звание (ежели господь благословит) будет иметь.

18-е. Блудодеи, пьяницы, обманщики и тому подобные преступники, хотя бы и из богатых или заслуженных людей общенародных, будут наказываться бритьем наголо головы обоего пола и ничем не покрывать головы и в собрание честных людей никогда не впускать их, за первой раз на несколько лет, а после и по смерть сие пятно иметь на себя.

19-е. Всякого звания людей по секретным и явным делам и даже всех преступников и убийцев из заключений тюрем, неволи всех навсе освободить и на волю выпустить в общество народное почесть тотчас при открытии благодати господней.

20-е. Во время открытия благовести да никто из народа не будет мстительной, хотя бы и сущих варваров помещиков своих не убивать и не мучить, ибо бог на убийцах строго взыщет; должны беречися пролития крови, а ежели который будет упрям, заключить, а только от них присягу и подписки брать по образцу здесь показанному от обоего пола.

21-е. Яко их имение движимое, деньги и прочее имущество бывших помещиков, собранное из слез невинных людей, и в городах построенные дома или из таких же доходов, то из народа при удалении их от власти да никто не прикоснется такового имения и не делает им грабежа, пусть неправильное собрание им самим будет в погибель, а ежели кто прикоснется, будет жестоко богем наказан.

22-е. В должностях находящихся во всех судебных местах разных чинов людей беспоместных то же присягою и подписками обязывать их, дабы какого вреда не сделали, в разные места разделить между народом по деревням их, а которые женаты, тем де людям, у них находящимся, под стражу отдать, при сем случае благодати божией да всяк потщится сущим своим варварам и злодеям добро творить, ласково обходиться, дабы почувствовали любовь ближнего, человеколюбие, и пусть сами стыдятся прежней своей гордости и преступления заповедей божиих; отняв у них власть, такую сладость доставить им.

23-е. Все пошлины — рыбные, солевые, винные и прочие уничтожатся, а только от торгующих и купечества самая малая пошлина в суму народную назначится, из которой суммы им же самим в приключении каком нибудь и в упадке выдаваться будет в помощь.

24-е. Ежели кто, имея довольные заводы золотые, серебрянные и медные, будет иметь довольно сих материялов, то за границу прежде не продавать, а спросить у государя, буде в казну не надобны будут, тогда дозволится продать.

25-е. В казне останутся заводы лошадиные, ружейные, пушечные, пороховые, суконные и прочие, что армии и двору надобно, а прочие все обще народу отдается, и сии ж упомянутые заводы всем дозволяются содержать, а именно пороховые.

26-е. На судей казнь за несправедливость и лихоимство установится; одно главное судебное место при государе будет Кабинет на 12 экспедиций разделен, в котором Сенат, Военная коллегия, Синод и все главные места заключаются.

27-е. Яко из начала всегда в России был народ жестокосерден, то и ныне может быть между добрыми людьми и таковых свойств, то ради оных вооружить армию против китаев, киргисцов и прочих тамошних народов диких и противу Персии, дать им все нужное военного снаряду, и определятся им ученые люди, которые будут проповедовать евангелие тем народам, и они великое богатство общее народу откроют, и все таковых свойств, дабы в отечестве не делали зла, отзыв сами делают, и без презрения они в ту армию определятся; равномерно из народа и армии и флотов преступники и злонаправные люди туда же будут определением посылаться, но между тем надеемся, что в наступающем веке всяк почтится быть честным россиянином.

28-е. Будет заведение дабы, кроме северной части, во всей империи разные овощные плоды в пользу и выгоду всего общества были бы сажены и заведены, чтоб Россия всем изобильна была.

29-е. Всякого исповедывания христианские дома, яко то римские католические, лютеранские, кальвинские, армянские, кирхи, да не будут поруганы, ни разоряемы, ниже обидимы ничем до времени окончания благовести, даже татарские мечети, еврейские школы и те сохранны останутся, а после государь сам с людьми избранными докажет им благодатью божиею, что они сами своего отвергнутся, а к истине присоединятся, токмо не должны их россияне огорчать, а паче им ни малейшей обиды не делать грабежем.

30-е. Хотя в сих пунктах и не упомянуто все, что нужно быть устроено в империи Российской, однако будте уверены все, что вообще со всем народом государь все надобности и нужды учредит и ограничит всем вся, а весь закон всему народу, гражданскому и воинскому, в доставлении правосудия и спокойствия всем пределам на дванадцати листах заключится, так и кратко, дабы всякой человек, умея евангелие и зная должность христианскую, знал бы наизусть право человека и закон царской, вообще народу изданной, и никак впредь не будет ука-

зами умножаться закон в подобие нынешнего многозакония, то вовсе уничтожится и истребится.

Отдается ныне всем читающим книги, евангелие, заповеди божии, ветхого и нового завета на рассмотрение и уважение прилежное и рассудительное, сполняем ли мы повеления господа нашего Иисуса Христа, а от правил его христовых христианами называемся, како же называться смеем христианами и ругать не христиан, сами сущие несполнители христовых заповедей и тем не будучи истинными христианами, отваживаемся носить на себе столь великое звание христиан, есть они в народе только очень мало и то в гонении, а ныне господь — непостижимой творец всех благ определил быть всем христианами, сию благовесть сполнивши и в действо приведши, да всякой человек с усердием постарается не в скором времени в действо произвести, ибо от начала России сия благовесть первая, а буде не послушается народ, тако погибнет, яко в потоке непослушавшие Ноя или евреи за Мессию истиннаго.

ОБРАЗЕЦ ПРИСЯГИ ПОМЕЩИКОВ

Аз (имя, отчество и фамилию) кленуся госуду богу, творцу неба и земли, видимых и невидимых вещей, в том, что я, повинуюсь повелению божиему, воли царской и общенародной, добровольно крестьян освобождаю из крепости. Землю, которою владел я поныне, в пользу общенародную вручаю, дворянства, чину, достоинства, звания господского отрицаюсь, яко мерзких и богу противных дел, которые ослеплением нашим были у нас в уважении и употреблении, а ныне, яко благодать божия воссияла, так, отрекшись вечно и невозвратно, мне, ни потомкам моим отзывать не делать, а только единое благословенное господом богом название народное иметь желаю, поступая по силе заповедей божиих, любить господа бога со всея души и крепости и ближнего, яко себя самого (и протчая), быть верным царю великому Павлу, во всем воли его повиноватися, что его величество к содержанию жизни ни назначит, быть довольну; всем богоугодным узаконениям подвергаюсь, братом всего народа российского зватися за честь почту, словом, что только ни сделаю и установлено в отечестве будет, всему не лицемерно повиноватися и послушливым быть имею; а естли в чем-нибудь сделаюсь ослушливым, неверным, лицемерным, то не довольно, что царское величество властныи жизнь отнять, но и душа будет вечно проклята и не достигну благодати божией и не благословит бог всей жизни со всем родом и племенем и в будущей проклят буду во веки веков. Аминь.

Кто бы ни был владельцем — муж и жена, дочери, сыновья — все должны присягу подписать и присягати. Присяга на евангелии; два благословенные пальца держать правой руки, а в левой — всяк зажженную восковую свечу и распятие целовать; окончивши присягу и погася свечи, говорить должны сии слова: естли в мыслях и духе нашем какое коварство содержим, да погаснем и исчезнем так, яко сии свечи погасают и дым от них исчезает; и дунуть на свечу должны сами присягнувшие.

ПИСЬМО К ЦАРИЦЕ

Всемилостейшая государыня.

Непостижимой строитель всего блага от щедрот своих вашему величеству царство Российское в временное управление, в котором по благодати божией с природным вашим милосердием, кротостию и жаждою справедливости и лишние лета изволили царствовать.

Но в сии годы управления и царствования ва<шего> вели<чества> злой дух всеял семена свои в России — богумерзкие и нетерпимые, а именно: блудодеяния, публичные и бесстыдные, гордость, бедных и нищих презрение, неповинных по тюрьмам мучения, судебных мест умножение, а в них справедливости ни за полущку, ибо везде гордых антихристов звание, помещиков и дворян, господ заняли должности, характером и душою бессовестные, глухие, несправедливые, жадные чужого, возмутители спокойствия, воры, татьа, убийцы, лихоимцы, блудники и протчие подобные сему, начав от кабинетских персон, министров, окружающих ваше величество, сенаторов, наместников, губернаторов, прокуроров, разных членов и до подьячих, но на [всех] нет ни единого честного и неповинного, и естли где определится честной человек и сделал отзыв по законам и справедливости, то в сей час отрешили и в заточение услали.

Оные злые люди, управляя все должности во всех местах гражданских и воинских, какового зла не соделали, сколько невинно солдат, честных и неповинных людей до смерти замучили, убили, утопили, бедное жалованье удержали, выгоду отняли и в пище и одежде, а в народе крестьян сколько разными мучениями земле, огню, воде предали, сего исчислить невозможно, а сколько суродованных без глаз, без рук, без ног и разных членов мучится, сколько вдов плачевных, сирот угнетенных и обруганных, разоренных в убожество и нищету приведенных, сии то нещаст-

ные на всяк день озеро слез наливают в России. Итак, господа и дворяне, напрасные войны затеяв, христианскую кровь невинно проливают; из казны деньги испразднили, Россию в долг нещисленной ввергнули, народ в нищету привели, торговлю росстроили, подати и пошлыны на народ и на торговлю наложили, деньги из отчества за границу провели, воровством серебро и золото на посуду переделали, бумажные деньги ввели к всяческому разорению отчества. Расходы денег противу доходов втрое умножили, ибо из наместничества, где помещиков состоят имения, едва триста тысяч в год доходу, а на жалование в год расходу от семисот тысяч до миллиона в иных губерниях составляется. А так много чинов, что иные, имея чин и получая довольное жалование, не знают и не сведомы, где их должность состоит, а только знают казенные палаты, откуда деньги взять; в армиях морских и сухопутных столь много офицеров сверхкомплетных, службы не разумеющих и пользы ни малейшей не делающих, а только воровать, блядовать, солдат невинных бить умеющих; и шефов, которые и не знают, где их полки, а только жалование получают; и нещисленные непорядки до высочайшей степени дошли; помещики крестьян мучут, немалое число заграницу во все государства разгоняют, после, естли которой по обманчивым манифестам возвратится в отечество и запишется в мещанство или в казенные крестьяне, казна и за сие должна помещику заплатить; а после и сие ж имение казенное подарено помещику за воровство и непорядки, якобы за услугу; салдаты бедные своею силою неприятелей побеждают, а офицеры, за кустом просидевшие, «в» награждение имения и денег получают; а как уже ныне недостает денег, советуют с публичного торгу все казенное имение продать; помещикам будут деньги на нужды и на уплату долгов государственных и будет спокойствие в отечестве, как не будет казенных крестьян, не будет опасности, а помещичьи в изнурении не осмелятся восстать противу помещиков; при том же платит казна помещикам жалование и доставляет им все выгоды и сверх того изводит казна их оберегает, ибо по уездам и губерниям определены команды и гарнизоны воинские не ради казны бережения, а ради господ помещиков, чтоб во притеснении крестьяне которого варвара не убили. Итак, солдаты наружного неприятеля берегут, дабы отечеству не вредили, солдаты ж караулят внутренних воров и разбойников собственных, дабы им воровать и зло творить кто не помешал и им здоровья не вредил, берегут, яко трутнев в пчелах. Все сии непорядки, все несправедливости, которых и сотной доли не описал вашему величеству, под вашим скипетром родились, произросли и плоды выдали. Сделали господа участницею ваше величество всего зла, находящегося в отечестве, ибо вы соизволили все несправедливости своеручно подписать и царство двадцать лет незаконно в своих руках держать, ибо изволили присягать только на 14 лет, а то без царя 20 лет государство состоит; и все присяги незаконные, деланные вашему величеству, за то ж и не наблюдают присягнувшие, а сколько ж то зла в 20 летах произошло!

Услышал господь бог вопль, рыдания и пролитых слез невинно, умилился над израиелем своим и над нещастными людьми, невинно страждущими, не попуская ниному наказанию, как бы следовало все царство, яко греческое, в чужие руки предать, сделал милосердное определение: во всей империи помещиков, дворян, господ и звание дворянское вовсе уничтожить, судебные места все истребить, корону царства от вашего величества отнять и законному наследнику Павлу Петровичу вручить за его многую терпеливость, народ весь великой империи без отлички поровнять и благословить сладкою жизнью во всем том, что можно лутшего сыскать во всем мире. Под скипетром Павла вся благодать господняя устроится, народу вдвое скоро умножится, и обладает «он» многими славянскими народами.

Потому извольте, ваше величество, в самоскорейшем времени бесспорно корону вручить и на волю его величества свою старость положить, которой на основании божиих правил доставит.

А естли паче чаяния, яко господа намеряются его величество не допустить до владения царством и ваше величество еже согласитесь к сему беззаконию, то господь бог — творец неба и земли, яко правильной судья, попустит и свидетелем есть, что звание дворянского обоего полу во всей империи знаку не останется, вся земля кровию обагрена будет и вашему величеству скорбь будет терзать сердце, а ежели ж согласно с волею божиею будет вручена корона его величеству великому Павлу Петровичу, то сей благодати господней, освобождения народа из ига работы, почтется вашему величеству половина счастья, и будет уметь народ ценить и обожать ваше величество, яко мать отца отчества, и знатное дворянство почувствует милость царскую, верно великой государь со всеми врагами своими поступит по науке господя Иуса Христа.

Сие народ российской, всех сил военных и земледельцов соединив сердца, мысли и силы, приняв повеление от непостижимого творца, имеет честь вашему величеству поднести, ожидая желаемого благоволения, яко бывшие подножия ног вашего величества.

Милосердной матери нижайшие почитатели. Наместничество Орловское.

И так подписывать — или армия, или которой округ, или губернии, а имена не подписывать.

[ИНСТРУКЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕНАРОДНОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА НОВОГО ЗАКОНА]

Повеление от непостижимаго творца

Всякой человек, получа сию благовесть, да прочтет многие разы и уразумеет крепко волю божью и всеми силами и крепостию стараться должен, сколько возможно, поболее переписать и людям всем благовестить и рассылать, а сей оригинал, которому первому достанется, должен тот хранить у себя с уважением, а по устройению всего, тот человек, у ково будет находиться сей оригинал, появится к царю вместе и с сим подателем, или дети хранителя и подателя, которые в народе российском много почтены и награждены будут; списывая, в заглавии надписывать: «Копия из подлинной благовести» да списать евангелие от Матфея — глава пятая, зачало первое на десять — и к сей благовести вначале положить и от Марка глава II-я, зачало 51-е.

Да изберите два или три мужа честных, невиновников, <к> женщинам не прикасающихся, мяса не ядущих, от злого обоняния удаленных, да сии молятся на коленях ставши в сутки по три часа, по временам, расположенным от начала Христова. Да и всяк на молитву приклонит колена, дабы богу угодные дела честно сотворить, обиды не сделать ближнему, крови не пролить. Назначил господь бог время благовести сей всему народу от получения сего до будущего году 796-го по первое число сентября, дабы везде было известно во всей империи, а паче всего [по всем] командам воинским, в армии по всем полкам, во флоте по всем караблям и суднам, всем гарнизонам и козакским командам и всему народу во всех селениях, полякам, латышам в Риге, чухам в Ревеле и Вибурхе; тем только о вольности народной, о уничтожении помещиков благовестить и о законе божием ничево не писать, после они согласятся и примут закон настоящей православней веры; ныне недостойны знать, и они сделают великое крови пролитие над своими помещиками.

Благовестить в столичных и губернских городах везде, на Дону, в Сибири и во всех <местах>, а в тех местах, где только ни есть староверы, то им посылать, а они и иконовцам и всем дадут знать; давать в Курляндию через Ригу; дабы известие было дано так, <как> великой израиль хранится российской, прежде, покамест во все губернии будет разослана благовесть, поосторожнее и потише делать, яко апостолы делали, после публично будут благовестить, и хотя многих переловят, не будут бить, ни казнить ни единого, и хотя будут держать в заключении, после освободятся и награждены будут от народа. Паче всего крепко армию вразумить и внушить им, дабы, яко лишних грехов прикасающиеся, не повернули орудия на свою братью и на свою кровь; однако ж господь бог не попустит им быть в закоснелости, уразумеют волю и милосердие божие над собою и всем народом российским. Ежели бы неприятели, окружающие Россию, навождением дьявольским вооружились в сие время, покамест благодать божия не совершится, то из народа выслать охотников, до двухсот тысяч, в помощь армии и стать крепко противу неприятеля и неприятельским солдатам сообщить сию благовесть на переводе их языка, да всяк неприятельской солдат повинится России, так господь бог завещает. Дождавшись 1-го числа сентября будущего года, должны изо всех мест с сею благовестию по одному человеку послать к его величеству Павлу Петровичу, дабы изволил прочесть и свое благоволение на сие подписать; и его величество не сделает отговора, помня, яко от нескольких лет господь бог его величеству чрез мужей избранных сие все благовестил, а что давно не принялся к произведению в действо, за то довольно сам есть наказан почти неволею, яко состоит под властью господ подданных своих.

И того ж 1-го сентября изо всех сторон от народа и от армии должны написать письма к ея величеству императрице (буде еще жива) по прилагаемому образцу.

Что здесь написано и показано к благовести господнего повеления, то есть освобождения народа из неволи и работы, яко прежде Моисей освободил свой израиль из земли египетския, из дому работы, так равно мерю ныне израиль российской составляет освободить весь народ из неволи.

Буде ж бы получа сие которой да не произвел вслух народу и ожесточил сердце неверствием, будещ отвержен, яко тот раб, талант закопавший в землю.

Ежели бы усмотрели правильные мужи дарить духа святого каков недостаток в сей благовести к внушению народа, благословит бог украсить словами яснее и внятнее, от существа дела настоящего не удалясь только.

И ошибки в словах, здесь написан(н)ые, вольно поправить, ибо сие не книжником пишется, из благовести ангельской.

После благовеста как освободятся все заключенные, из них появятся к царю богоугодники, которые все нужное по сим пунктам, касательно до закону божиему и веры святой, до справедливости, до хваления бога, по повелению божиему в силу евангелия на вере, надежде и любви устроят царю, царству и всему народу российскому и славянскому так, что ни есть на свете лутшего, все сие с благодатью божью вместится в России, яко ныне изо всего мира злоба в России господствует.

Ю. К. РУДЕНКО

К ВОПРОСУ О ЮНОШЕСКИХ ДНЕВНИКАХ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО КАК ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Впервые юношеский дневник Н. Г. Чернышевского появился в печати в 1906 году. Но М. Н. Чернышевский, издавший его, имел в своем распоряжении тогда только часть саратовского дневника 1852—1853 годов.¹ Лишь в советское время дневники Чернышевского были опубликованы полностью.² С тех пор они широко используются как источник для изучения биографии и мировоззрения великого революционера и писателя, но их всестороннего исследования — и вообще какого бы то ни было специального исследования — не появилось до сих пор.

У ранних биографов Чернышевского, таких, как М. Н. Чернышевский, В. Е. Чепихин-Ветринский, Ю. М. Стеклов и др., мы находим несколько глубоких и верных восторженных оценок, относящихся главным образом к саратовской части дневника.³

Оценка Н. А. Алексеева, редактора всех советских изданий дневников Чернышевского в их полном составе, совпала с предшествовавшими и обобщила их: «Являясь незаменимым материалом для биографии Н. Г. Чернышевского, ... дневник имеет и другое, более общее значение: по своей искренности и непосредственности он должен быть признан одним из замечательнейших человеческих документов, когда-либо писанных. Его можно поставить наравне с „Исповедью“ Руссо. Но Руссо писал свои признания по памяти, много лет спустя после рассказываемых в них событий; в Дневнике Чернышевского мы читаем его исповедь в записях, веденных изо дня в день, без всякой литературной отделки; тем правдивее выглядят они, тем ценнее в психологическом отношении».⁴

Тогда же Н. А. Алексеев произнес единственную известную нам оценку⁵ собственному литературным достоинствам дневников: «Дневник писался Н. Г. Чернышевским в те годы, когда он еще только мечтал быть литератором, писался для самого себя, а не для печати, притом в обстановке, не располагавшей к отделыванию слога и порою самой неожиданной... Не мудрено, что язык Дневника далеко не отличается изяществом. Стилистические поправки, может быть, сделали бы Дневник более удобочитаемым для современного читателя. Но они отняли бы у этого драгоценного человеческого документа колорит подлинности...»⁶

Во всех оценках отмечается выдающееся значение дневника Чернышевского как человеческого документа и литературного памятника.

Полное и всестороннее исследование дневников Чернышевского предполагает самые разные аспекты изучения, в частности и как биографического источника, и как источника исторического. Но дневник свидетельствует также об очень серьезных намерениях юноши Чернышевского в области художественного творчества и должен быть изучен как литературное произведение: богатое человеческое содержание может быть запечатлено только в произведении яркой литературной формы.

Задача настоящей статьи очень скромна. Она заключается в том, чтобы проанализировать некоторые особенности дневников Н. Г. Чернышевского как литературного произведения, ограничиваясь главным образом их собственным материалом.

Их сопоставляют, как мы видели, с величайшими литературными «испове-

¹ См.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. X, ч. 2, СПб., 1906.

² См.: Н. Г. Чернышевский. 1) Литературное наследие, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1928 (расшифровка М. Н. Чернышевского); 2) Дневник, ч. I. Под ред. Н. А. Алексеева. М., 1931 (в той же расшифровке); 3) Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. I, Гослитгиздат, М., 1939 (расшифровка Н. А. Алексеева).

³ См.: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. X, ч. 2, СПб. 1906, стр. VII—VIII; В. Е. Чепихин-Ветринский. Н. Г. Чернышевский. 1828—1889. Пг., 1923, стр. 94; Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828—1889, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 113. Студенческий дневник Чернышевского до революции использовал в своих статьях один Е. А. Лядкий. См., например, его работы: Н. Г. Чернышевский в университете. «Современный мир», 1908, № 12, 1909, № 3; Н. Г. Чернышевский и Ш. Фурье. «Современный мир», 1909, № 11; Юношеская любовь Н. Г. Чернышевского. «Познание России», 1909, № 1; Н. Г. Чернышевский в 1848—50 гг. «Современный мир», 1912, № 2, 3, и др.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Дневник, ч. I, стр. XVI.

⁵ Одно любопытное, но частное замечание по этому вопросу мы нашли в статье Е. Лядкого «Н. Г. Чернышевский и учителя его мысли (Гегель, Белинский, Фейербах)» («Современный мир», 1910, № 10, стр. 153).

⁶ Н. Г. Чернышевский. Дневник, ч. I, стр. VI—VII. То же см.: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. I, стр. 781.

дями», отмечая заведомую непредумышленность их литературной формы. И все-таки, несмотря на то, что они создавались как повседневное отражение «быстро-текущей жизни», они производят впечатление цельности и законченности художественного создания. В этом впечатлении и следует прежде всего разобраться.

1

Если не считать двух дошедших до нас отрывочных записей 1846 года, относящихся к моменту отъезда из Саратова в Петербург для учебы в университете, то первая по времени запись — это описание женитьбы В. П. Лободовского, товарища Чернышевского — студента (май 1848 года). Это не совсем обычная дневниковая запись: в центре рассказа стоит не самый рассказчик, а другие люди, чьи характеры схвачены с большой меткостью в драматический момент их отношений.

Собственно дневник начинается с 12 июля 1848 года. В этот день автору минуло 20 лет, и начатый дневник мыслится как дневник «21-го года моей жизни». Содержание и характер ведения дневника указывают на важную для юноши цель его.

В течение июля и трех последующих месяцев записи ведутся ежедневно и неизменно касаются нескольких избранных тем: отношения к Лободовскому и его жене, отношений к родным, отношений к товарищам-студентам и университетской науке, финансовых обстоятельств, круга чтения и в особенности чтения французских политических газет, размышлений и периодических отчетов о состоянии и движении своего мировоззрения, наконец — интимных физиологических и связанных с ними нравственных переживаний. Чернышевский очень последователен в освещении этих тем, так что перед читателем открывается цельная картина развития его нравственного, психологического и политического облика.

С ноября 1848 года записи в дневнике ведутся уже не ежедневно, и все же в ноябре и декабре пропущено только пять дней, а в январе следующего года — три дня. Резкий скачок происходит в феврале 1849 года — в этом месяце запись делалась только восемь раз. Затем это число падает до четырех-пяти раз в месяц и лишь в июле поднимается до четырнадцати — видимо, в связи с подведением итогов «21-го года жизни» и с началом наблюдений над «22-м годом моей жизни».

В течение всего следующего года дневник пишется регулярно, но нечасто, хотя принцип фиксации материала остается прежним, подневным.

Все это свидетельствует о том, что самонаблюдения представляли острый интерес для Чернышевского в течение довольно длительного времени — более полугода, а затем эта острота, хотя и резко падает, остается, однако, в течение целых полутора лет достаточно интенсивной. Дневник был для Чернышевского — студента двух последних курсов университета инструментом самопознания, самоконтроля, самооценки.

Если мы можем изо дня в день, из месяца в месяц проследить процесс перестройки политически наивного, детски неразработанного сознания в изумительно последовательное и до тонкости продуманное мировоззрение революционера-демократа; более того, если мы видим, что этот процесс не есть имманентный процесс интеллекта, но каждый момент этого процесса есть следствие и результат сначала почти интуитивной тяги, а затем все более и более сознательного осмысления всей европейской политической действительности того времени и прежде всего западноевропейских революций 1848—1849 годов; если перед нами раскрывается интимный «механизм» становления революционно-демократической этики; если нам дано присутствовать при рождении почти всех основных принципов и даже идей будущего философа, критика, экономиста, политика и, наконец, художника, — то всем этим мы обязаны самому Чернышевскому, его гениальному аналитическому чутью, его редкой нравственной пытливости и, конечно, его литературному дарованию.

Сам Чернышевский, двадцатилетний юноша, со стенографической подробностью проследил все эти сложнейшие процессы. В этом отношении его дневник похож на журнал научных наблюдений ученого-экспериментатора. Многосторонность и содержательность намеченных в дневнике аспектов жизни, редкая последовательность в освещении этих многих и разных аспектов, соединенные с исключительной содержательностью самой внутренней жизни юноши, — вот что придает дневнику цельность и законченность. Это последовательно проведенное всестороннее исследование жизни конкретного человека на определенном ее этапе, так что «год моей жизни» объективно превращается в конкретную тему дневника, а личность автора, отличающаяся редким единством и цельностью нравственного взгляда на вещи, — в образ, имеющий достоинство художественного типа.

Следует остановиться также и на вопросе о стиле дневников. Мы уже привели единственное высказывание по этому вопросу, принадлежащее Н. А. Алексееву. Он говорит о недостаточном «изяществе языка», сожалеет об обстановке, «не располагавшей к отделыванию слога». Трудно согласиться, может быть, не с этими его замечаниями, а с самой его точкой зрения. Чернышевский действительно не отделывал специально слога, и язык его в дневнике порой громоздок. Но при этом и язык и слог его в дневнике свободны, богаты, точны, лишены ка-

ких бы то ни было элементов косноязычия или стилистической беспомощности и громоздки никак не в большей степени, чем язык и слог Чернышевского — публициста зрелой поры. Логичность мышления не приводит его к сухости, почти неизбежной в этом случае. Напротив, слог дневника интонационно гибок, и Чернышевский везде, где касается чужих мнений или высказываний, не прибегает к пересказу, а прямо вписывает их от первого лица. Хотя в этих чужих высказываниях заметны иногда следы индивидуального стиля самого Чернышевского, но все-таки смысл этого приема в том, чтобы сохранить индивидуальную интонацию чужого высказывания, воспроизвести его как можно точнее, собственными словами говорившего. Подлинное изящество, художественность литературной формы — в точности и емкости мысли или образа. В этом плане дневник Чернышевского не нуждается ни в каких извинениях.

2

Дневник ведет нас не к публицистике и литературной критике Чернышевского, а непосредственно к его беллетристике. В дневнике впервые возникают очерки тех социально-психологических типов, тех сюжетных коллизий и конфликтов, которые составят оригинальное содержание художественных произведений Чернышевского.

Размеры статьи позволяют нам остановиться только на одном примере.

Рассмотрим первую запись, тем более, что она, как мы уже отмечали, стоит несколько особняком в системе всего дневника.

Она сделана в два приема — 19 и 23 мая 1848 года и посвящена одной-единственной теме: женитьбе близкого в то время Чернышевскому человека, Василия Петровича Лободовского. Тогда Чернышевскому не исполнилось еще двадцати лет, а Лободовскому было уже лет двадцать пять. Он имел на студента Чернышевского выдающееся влияние, может быть, больше по стечению обстоятельств, чем по своим действительным качествам.

Запись, о которой идет речь, скорее даже не дневниковая, а мемориальная: друг женится, делится при этом с другом-наперсником своими сокровенными соображениями, планами, сомнениями, а наперсник его, он же автор записи, открывший в себе, неожиданно для себя самого, высокие качества души и психологическую проницательность, решил для памяти записать все это в наиточнейшем виде.

Благодаря подробности и большой наполненности записи фактами и наблюдениями, читатель объективно оказывается в состоянии видеть больше и понимать увиденное иначе, чем автор в момент записи. Таким образом, перед нами возникают три героя, очерченные выпукло и определенно. Дело не меняется оттого, что все это — реально существовавшие люди, что во всей записи нет ни малейшего элемента так называемого художественного вымысла. Сам Чернышевский через несколько лет — в эстетической диссертации — теоретически осмыслит это явление: «Бывают ли в действительности поэтические события, совершаются ли в действительности драмы, романы, комедии, трагедии, водевили? — Ежеминутно... Истинно ли поэтичны эти события в своем развитии и развитии? Имеют ли они в действительности художественную полноту и законченность? — Как случится; часто не имеют, но очень часто имеют. Есть очень много таких событий, в которых строго поэтическое воззрение не находит никаких недостатков в художественном отношении... Имеют ли действительные события „общую“ сторону, которая необходима в поэтическом произведении? — Конечно, ее имеет всякое событие, достойное внимания мыслящего человека; а таких событий очень много».⁷

В записи о женитьбе Лободовского зафиксировано как раз такое событие и очерчены такие психологические типы, которые имеют сами по себе «художественную полноту и законченность», имеют и ту „общую“ сторону, которая необходима в поэтическом произведении, ибо все это увидено внимательными глазами мыслящего человека.

Начинается запись сообщением о времени и действующих лицах события: «В конце апреля 1848 г. сказал мне Василий Петрович Лободовский, что он женится; невеста — дочь стапционного смотрителя на первой станции по Московской дороге (Средняя Рогатка) Егора Гавриловича, Надежда Егоровна».⁸

Сразу же вслед за этим приводятся точные слова Василия Петровича о невесте, мотивах женитьбы и его сомнениях: «Это девушка... молоденькая, полная, румяная, но, мне кажется, не отличается особым умом; добрая, будет меня любить и будет, конечно, верна до несомненности, но я не буду, кажется, в состоянии любить ее и разделять ее чувствований, потому что девушка простая, которую едва ли можно будет образовать, и верно я не буду с нею счастлив; ее сделать счастливой постараюсь...» (стр. 29).

⁷ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. II, стр. 67—68.

⁸ Там же, т. I, стр. 29 (в дальнейшем ссылки на этот том приводятся в тексте).

Василий Петрович, как мы видим, уже встает перед нами в собственных своих словах, независимо от авторского понимания и отношения. Он не влюблен и не идеализирует своей невесты. Неясно, любит ли она его (*«будет меня любить»*). Он даже не надеется быть с нею счастливым. Можно подумать, что он принужден к женитьбе силой, не зависящей от его воли!

Читаем дальше: «...главная причина жениться: это существо, которое я буду обязан сделать счастливым, будет для меня необходимым побуждением к деятельности, заставит меня выйти из той беспечности, к которой я привык, принудит и определить мое положение в обществе, и обеспечить его и материально и нравственно; заставит думать и о деньгах, и о службе, и об ученой степени, развернуть внутреннюю деятельность, которая может действовать чрезвычайно энергически, но слишком беспечна» (стр. 29).

Лободовский говорит об обязанности и моральном долге. Но перед кем? Какую роль играет здесь Надежда Егоровна, не в качестве невесты или будущей жены, а сама по себе, как конкретный живой человек? Все, сказанное Василием Петровичем, — это «главная причина», побуждающая его жениться. Но зачем же именно на Надежде Егоровне? Нуждается ли она в его самоотверженности («я не буду с нею счастлив; ее сделать счастливой постараюсь»)? Он женится, не будучи страстно влюбленным. Он женится на ней не в благодарность за ее страстную любовь к нему. Наконец, в его мотивах нет и той ноты освобождения женщины «из подвала», которая так характерна для морального облика разночинца-демократа.

Почему же он женится? В его «мотивах» царит одно: мысль о себе, память о себе, любовь к себе; он не замечает и не уважает человека в ней. Все, что говорит он дальше и что с добросовестной подробностью зафиксировано Чернышевским, подтверждает этот вывод и еще больше проясняет суть характера Лободовского.

«Эта девушка так проста и ограничена, что я буду стыдиться ее перед своими родителями и сестрами, которые несравненно выше ее. Что делать? Я буду скрывать перед ними и всеми без как можно более; когда нельзя будет скрыть, напишу; ездить к ним буду один, без нее; а старшая сестра... пишет мне, что если умрут родители, она не будет жить у зятяев... и будет жить у меня, говорит: „не правда ли, ты без меня не женишься?“ А что теперь делать? Как показать ей мою жену? А я ее так люблю! (т. е. сестру, — Ю. Р.)... Жена не будет знать ничего, я буду стараться сделать ее счастливой, а сам — ну, шутя со мною выйдет что-нибудь нехорошее — шутя и запьешь с отчаяния...» (стр. 29; здесь и далее курсив мой, — Ю. Р.). «...Его ужасно беспокоило, — добавляет автор дневника, — что это может само собой дойти до родных: отца, говорит, это убьет» (стр. 30).

Надежда Егоровна не подозревает, бедняжка, что ее гипотетическое «счастье» будет куплено, оказывается, ценой отчаяния жениха, а там, глядишь, и запоя! Более того, она поставлена им в ложное положение не только по отношению к нему, но и по отношению к его родным.

А Василий Петрович продолжает свои признания: «А у нее (Надежды Егоровны, — Ю. Р.) есть сестра замужем, это существо милое, которое я мог бы любить; муж у нее чиновник, совершенно истощенный; она поглядывает на меня неравнодушно; боюсь как бы чего не вышло. Стану реже видеться с нею. Хотя другим она кажется хуже ее, но у нее есть выражение в лице, которого у моей нет» (стр. 29—30).

Поистине «он был в ужасном положении», как горестно замечает по этому поводу его юный друг!

Через несколько дней Василий Петрович доверительно сообщает ему: «...мне было бы жалко теперь убить ее отказом, я не могу не кончить дела. А между тем я совершенно равнодушен, и если пробудилась во мне, то только физическая сторона» (стр. 30).

Еще через несколько дней: «Во время обручения у меня физическая природа взяла свое, шевелилась, но больше ничего. А для этого употребления она чрезвычайно хороша, но это чувство совершенно физическое; и я готов был бы употребить ее теперь, пожалуй» (стр. 30).

А за два дня до свадьбы он и совсем примирился с судьбой: «...приготовляя и укладывала приданое, была идиллическая сцена, невеста плакала и так плакала, что я даже был расстроен и расстроган и сам плакал; а, черт возьми, я тяжел до слез и черт знает, сколько уж времени не плакал. Нет, она не так ограничена, как я думал. Я напишу как можно скорее своим» (стр. 31).

Перед нами тип пуганика, немного нытика, себялюбца, привыкшего носиться со своей драгоценной персоной, любящего для эффекта порисоваться «сложностью» и «тонкостью» своих душевных переживаний, а, в сущности, человека нравственно пошлого. Равнодушие безразличия к судьбе человека, о «долге» перед которым льются такие жалобные слова, эгоизм, которому мало быть, которому надо еще кокетничать, прикидываясь чувством долга, добровольно изваленным, — таков истинный облик Лободовского, просвечивающий сквозь флер его словесных построений. Его ярчайшая черта — ложноромантическая поза при очевидной ординарности.

«Главная причина жениться», указанная им, им придумана, чтобы найти «высокий» мотив для обыкновенного дела. И все его «страдания» отдают той же нравственной нечистоплотностью, лишь прикрытой слегка претензией на трагическую значительность.

Все эти выводы являются следствием нашего, читательского, осмысления того, что объективно вытекает из слов Лободовского, как они записаны Чернышевским. Но юноша Чернышевский сам не делает таких выводов в своей дневниковой записи. Ирония по отношению к Лободовскому или трезвое понимание его характера там отсутствуют. Отражая фигуру своего старшего друга с поразительной характерностью и вниманием к наиважнейшим, существеннейшим обстоятельствам его психологического и нравственного облика, юноша Чернышевский не судит его (возможность чего объективно возникает): дружеское расположение к Лободовскому, безусловное преклонение перед ним, сознание своей житейской неопытности и необыкновенно суровое отношение к собственному своему нравственному состоянию лишают его такой возможности.

Эта резкая противоположность между авторским и читательским отношением к герою приводит к тому, что образ Лободовского «остраняется», приобретает в читательском восприятии самостоятельную жизнь, окрашивается эстетически. Возникнув, этот эффект распространяется и на образ автора записи: во взаимосвязи с образом Василия Петровича он также оказывается «остраненным». Реальная тема дневниковой записи перерастает в тему художественную, замыкается в собственные границы в соответствии с открытым еще Аристотелем законом единства художественного действия; события жизни реальных людей становятся сюжетной канвой этой темы и начинают вскрывать такие проблемы, о которых, вероятно, не думали тогда ни сами эти люди, ни автор записи.

О Надежде Егоровне мы слышали до сих пор от Василия Петровича. Пока его друг не видел ее сам, он не имел случая составить о ней собственное мнение. Показательно, что записать событие он сел *после* того, как увидел ее: он обнаружил, что хотя Василий Петрович несомненно искренен, но Надежда Егоровна отнюдь не такова, какой она являлась в его описании.

Надежда Егоровна, с которой автор не разговаривал даже после личного с нею знакомства и не мог поэтому предоставить ей самостоятельное слово в своей записи, предстает перед нами в двух субъективных отражениях: Василия Петровича и автора.

Что же увидел в ней автор?

Вот его впечатление от нее в день венчания: «Это была девушка полная, с круглым благородным лицом... широкий лоб, правильно очерченный нос и подбородок, прекрасная шея и голубые глаза... она мне казалась лучше и лучше... Меня предупредило в ее пользу благородство и тонкость, с которой она старалась держаться перед благословением, ... и во время благословения держалась спокойною и то, что даже в то самое время, как чувство превозмогло ее, она так мило и благородно держалась, — естественная, как мне казалось, грация и благородство; и то же самое во время венчания. Все время венчания я... любовался ею... [У] Надежды Егоровны... контуры все так благородны, правильны и вместе с полнотою лица так изящны и тонки... и кроме того, лицо имеет такое тихое, даже в этом бурном состоянии, такое отрадное и вместе глубоко нежное выражение» (стр. 31—32). Во время свадьбы, говорит автор, «меня радовало это милое, нежное, благородное существо. Проходя мимо меня, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал, или как это сказать, меня...» (стр. 32).

Как противоречат друг другу эти два взгляда на Надежду Егоровну! Василий Петрович говорил об ограниченности, неразвитости и неспособности к развитию. Чернышевский увидел отсутствие ограниченности, физическое и душевное благородство, способность к развитию. Можем ли мы присоединиться к одному из этих взглядов? Василию Петровичу мы, пожалуй, не склонны нравственно доверять, зато на его стороне житейская опытность. Взгляд автора симпатичнее своей гуманностью, доброжелательностью, к тому же он не голословен, но он ничем не может быть пока и подтвержден. Образ Надежды Егоровны так и остается для нас раздвоенным.

Зато благодаря ему мы можем определенно увидеть, насколько противоположны друг другу Василий Петрович и автор. Первый погружен в себя и только в себя. Второй — весь растворился в чувстве дружбы. Он — друг истинный, ибо не склонен непременно поддакивать из ложной солидарности; сочувствуя переживаниям друга, он в то же время как бы встал на стражу его счастья и поэтому критически проверяет его мнения, не соглашается с его пристрастиями там, где собственные наблюдения расходятся со взглядом друга. Он гордится тем, что друг, напротив, легко соглашается с ним, начинает поддакивать ему в оценке Надежды Егоровны. Эта гордость нетщеславна и альтруистична: он мечтает об усилении своего влияния на Василия Петровича для самого Василия Петровича.

В таком контексте фразерство Лободовского обнажается с особой очевидностью.

Вот он во время свадьбы *«несколько раз, подходя на несколько минут ко мне, говорил, что думает, что привяжется к ней тихою, спокойной любовью и будет с нею счастлив»* (стр. 32). Как многозначительны здесь слова о «тихой, спокойной любви»! Василий Петрович говорит это «несколько раз», т. е. намеренно подчеркивает контраст между своими трагическими «надрывами» до свадьбы, которые претендовали на «неразрешимость» и влекли своего обладателя чуть ли не прямо в запой, и теперешним душевным «умиротворением». Все это — ходульные штампы, взятые напрокат из арсенала романтизма.

Может быть, все-таки Лободовский это все действительно переживает? Пусть его переживания отдадут литературным романтизмом — но если они в нем и вправду есть?! Однако читатель не остается на распустье: маленькая деталь, замечание в скобках освещает реальным светом весь этот фейерверк поз и фраз: «Когда венчали, я все смотрел на них обоих... Вас. Петр. стоял, казалось, спокойной, а между тем, — говорил после, — дрожал, как в лихорадке (я этого не заметил)» (стр. 31).

Это похоже на знаменитую фразу дитяти о голом короле из сказки Андерсена. Ведь способность автора цепко видеть и тонко замечать нам уже хорошо известна. Поэтому несомненно, что Василий Петрович и здесь позирует и рядится в «гарольдов плащ», а Чернышевский простодушно сочувствует его байронизму и из уважения к другу увековечивает момент своей «непроницательности». Каждый из «героев» вполне сохраняет здесь свой характер.

Через три дня после свадьбы Василий Петрович делится с другом своей радостью относительно перемены в себе, ради которой он вообще решил жениться, и в то же время полностью признает правоту друга в оценке своей жены: «...во мне большая перемена нравственная, — это существо вовсе не такое ограниченное, как я думал; напротив того, в ней много ума, весьма много, и чрезвычайно много естественного благородства во всем, даже в манерах (это я-то заметил и в день свадьбы), и она будет иметь на меня чрезвычайно влияние, я с нею буду счастлив, она чрезвычайно любит меня; правда, она не образованна, но этому легко пособить, у нее большие способности, и она весьма мила; я ее буду любить и теперь неравнодушен. *Начинаю быть деятельным*» (стр. 33).

«Это все вместе меня весьма обрадовало...» — замечает автор. Однако, несмотря на то, что Василий Петрович уже «начинает быть деятельным», заботы у друга его не уменьшаются, а прибавляется. Через несколько дней, во второй половине записи, эта забота уже сформулирована: «...я постоянно думаю о них, и мне хочется видиться с ними и чтоб он рассказывал мне о Над. Егор., и сердце постоянно как-то сжато от ожидания: чувство приятное, хотя есть несколько и стеснений, — они, кажется, оттого, что не знаю, как-то [он] еще окончательно поймет характер и пр. Над. Егор. и, кроме того, *как он будет доставлять деньги*» (стр. 35).

Стал ли Василий Петрович «деятельным», создал ли он «счастье» Надежды Егоровны, — на эти вопросы в первой дневниковой записи Чернышевского ответа нет. Но зато исчерпывающий ответ дает последующий двухлетний дневник Чернышевского.

Чернышевский за это время успел коренным образом переработать свое мировоззрение, заявить себя в кружке Иринарха Ивановича Введенского, сойтись с петрашевцем Ханыковым, изучить Гизо, Гегеля, Фейербаха, Фурье, Консидерана, программы и речи французских либеральных социалистов, изучить английский язык, подготовить фланк по летописи Нестора, составить записки лекций И. И. Срезневского, сделаться убежденным поклонником Лермонтова, Гоголя, Жюль Санд, Диккенса, написать три повести, между прочим давать постоянно частные уроки, закончить университет с кандидатским дипломом.

А что же Василий Петрович? Слова его — «начинаю быть деятельным» — остались фразой. Он жалобно и скучно поскуливал по поводу своего затаившегося равнодушия к жене, много спал, просыпая, между прочим, важные визиты, которых ему добивался Чернышевский и которые были необходимы для устройства на службу, со страстью отдавался мелким перипетиям ненависти к родным Надежды Егоровны, по вечерам играл с нею в карты и с незамутненной совестью в течение двух лет состоял с супругой на содержании у Чернышевского, принимая полностью весь заработок последнего от уроков и львиную долю того, что присылалось Чернышевскому от родителей из Саратова, при этом ему вполне удавалось «не замечать», как друг его обнаживается и во всем урезает себя.

Как видим, этот затаившийся «эпизод» ничего не опровергает в той психологической картине, которая открылась нам с самого начала. Более того, он доказывает, что картина открылась верно. Можно удивляться, пожалуй, тому, что Чернышевский, оценивавший Василия Петровича очень высоко, нигде не искажал подлинного смысла картины. Но, по размышлении, в этом нет ничего удивительного: острые и верные наблюдения, стенографически подробно зафиксированные с величайшей точностью, говорят сами собою. Под пером Чернышевского событие действительности обрело «художественную полноту и законченность».

И в самом деле, та тема записи, о которой мы говорили, оказалась вполне истерпанной, так что ее можно сформулировать: борьба за счастье девушки, невинной, юной, доверчиво и с любовью идущей под венец, с любовью, хотя и без страсти — она в ней еще не проснулась.

Развитие темы в ходе ее изложения выявляет проблему, возникающую из взаимного соотношения характеров всех трех центральных «действующих лиц» рассказа: какие условия ведут к тому, чтобы счастье было настоящим и прочным; как мало чистая девушка, достигшая возраста невесты, готова к самостоятельности выбора; какие нравственные качества и связанные с ними взгляды на жизнь и на людей более жизненны — взгляды ли «опытного» человека, идущего зигзагами реальных житейских отношений, или же взгляды незагрязненного, «безопытного» юноши, *избирающего* принципы, способные очеловечить, облагородить, осласливить его и окружающих?

«Эпилог» вполне отвечает на эти вопросы. Постепенное потускнение образа Надежды Егоровны в последующем дневнике Чернышевского, ничего не опровергая в системе взглядов самого Чернышевского, замечательно ярко освещает истинную цену фразам и завякам Василия Петровича. Впрочем, образ Василия Петровича в последующем дневнике — это целая самостоятельная тема для исследования...

Мы выбрали из дневника Чернышевского один фрагмент и постарались показать, какое богатство содержания — помимо собственно биографического — он в себе содержит и насколько он эстетически полноценен.

3

Вопрос о том, почему Чернышевский, отметивший в Лободовском все необходимое для правильной его оценки, сам не только такой оценки не дал, но и не увидел ее возможности, возвращает нас к смыслу и значению дневника Чернышевского в целом.

Из дневниковых записей 1848—1849 годов можно увидеть, в чем выразилось несомненное влияние Лободовского на Чернышевского: под его влиянием Чернышевский начинает по-настоящему задумываться над проблемой революции в России, а в литературном плане — начинает читать и вчитываться в Гоголя и Лермонтова, сперва не умея еще самостоятельно аргументировать, но принимая ту высочайшую оценку их значения для русской литературы и русского общества, на которой настаивал Лободовский в их беседах. Зная, во что это вылилось благодаря Чернышевскому в дальнейшем развитии русского общества, нельзя не признать, что, какими бы случайными ни были обстоятельства, связавшие Чернышевского именно с Лободовским, эта связь так или иначе отвечала коренным запросам внутренней эволюции Чернышевского,⁹ в особенности в первую пору его духовного возмужания, которое началось как раз весной и летом 1848 года. Еще не раз Чер-

⁹ А. П. Медведев в статье «Н. Г. Чернышевский и В. П. Лободовский», являющейся исследованием проблемы в плане биографическом, аргументированно и убедительно доказывает ложность традиционного мнения о положительном влиянии В. П. Лободовского на студента Чернышевского (см.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. 2. Под ред. проф. Е. И. Покусаева. Изд. Саратовского университета, 1961). Однако в статье А. П. Медведева этот взгляд проводится несколько прямолинейно. К уже указанным в литературе причинам влияния Лободовского на Чернышевского можно добавить следующие:

1) А. П. Медведев говорит о «гипнотическом плене». Уместно спросить: «гипнотический плен» или душевная деликатность, не позволяющая наедине с собою говорить резко, чем в глаза самому человеку?

2) Почему не предположить, что Лободовский влиял на Чернышевского больше, чем этого можно было бы ожидать объективно? Ведь для этого было бы достаточно того, чтобы Лободовский сам подпал под некоторое влияние Чернышевского. Если неизвестно, было ли такое влияние в действительности, то дневник (и, в частности, анализируемая нами запись) свидетельствует, что Чернышевский предполагал свое влияние на Лободовского.

3) Как это ни парадоксально, но Чернышевскому было тем труднее высвободиться из-под влияния Лободовского, что Лободовский был как раз не тем, кем считал его Чернышевский. Человек рационалистической складки, если его рационализм ориентируется на реальную действительность, а не отворачивается от нее, склонен чрезвычайно высоко ценить так называемых «людей действия», людей, чуждых «односторонности» последовательного рационализма. От Лободовского исходил тот «плотский запах», который вчуже питал рационализм Чернышевского в его самых высоких устремлениях. В таких условиях достаточно было со стороны Лободовского проявить добрую волю идти на консолидацию, а не на охлаждающую дифференциацию личных мнений, чтобы это вызвало «странную» непомерность оценок его личности со стороны Чернышевского.

нышевский будет чувствовать (и отмечать в дневнике) превосходство уверенного в себе и в своих мнениях Лободовского над кажущимися ему зыбкими и недостаточно еще осмысленными собственными суждениями и симпатиями. Лишь постепенно и в той мере, в какой духовное становление Чернышевского будет углубляться и определяться, будет ослабевать и меркнуть его детское преклонение перед Лободовским. Но весной 1848 года до этого было еще далеко.

А между тем уже майская запись 1848 года, первая дневниковая запись Чернышевского, открывает перед читателем перспективу будущей эволюции ее автора.

Через пять лет, в саратовском дневнике 1853 года, накануне *своей* женитьбы, Чернышевский будет писать о причинах, побуждающих его жениться, и среди многих других мы находим следующую:

«Жить здесь — значит терять свою карьеру. Будет ли у меня довольно сил, чтобы вырваться отсюда? Два года, которые я прожил здесь, в течение которых я два раза собирался решительно уехать и все-таки не уехал — почему, это другое дело... — доказали, что у меня нет решимости уехать отсюда, если меня не принудят обстоятельства... Неужели я должен остаться учителем гимназии, или быть столоначальником, или чиновником особых поручений с перспективой быть асессором? Как бы то ни было, а все-таки у меня настолько самолюбия еще есть, что это для меня убийственно. Нет, я должен поскорее уехать в Петербург. А я могу ехать, если обстоятельства меня не заставят. Какие же обстоятельства? Служебные? Я уверен, что меня не вытеснят, а я скорее поставлю всех вверх дном и останусь, если уж на то пошло... Остается одно — приобретение возможности жениться. Да не просто в части возможности жениться, а по необходимости жениться. Мысль о женитьбе только тогда подействует на меня, ... когда я буду не человеком, который думает жениться, а когда я буду женихом... без этого у меня не достанет сил уехать отсюда, покинуть маменьку. Я должен уехать. Без этого одного уж я несчастлив на всю жизнь. Итак, я должен стать женихом О. С., чтобы получить силу действовать, иначе —

На путь по душе

Крепкой воли мне нет» (стр. 481—482).

Через несколько дней эта мысль повторяется:

«Я чувствую себя совершенно другим человеком после 19 февраля (в этот день Н. Г. Чернышевский сделал предложение Ольге Сократовне, — Ю. Р.). Я стал решителен, смел; мои сомнения, мои колебания исчезли. Теперь у меня есть воля, теперь у меня есть характер, теперь у меня есть энергия» (стр. 500).

В тот же день он добавляет, обращаясь мысленно к невесте:

«Вот твоё влияние:

Я стал через тебя из тряпки, дряни — человеком; я стал из ожесточенного — радостным, гуманным в мыслях; я стал из мнительного, недоверяющего себе — уверенным в себе, уважающим именно себя» (стр. 504).

Как это перекликается с той «главной причиной жениться», которой поделился с Чернышевским его друг в конце апреля 1848 года! Конечно, это не Лободовский: сила страсти, окрыленность чувств, бодрость настроения, энергия планов — все это так мало похоже на вялый пессимизм и тусклое нытье Василия Петровича.

Однако совпадение некоторых «мотивов» при обеих женитьбах нельзя считать случайным. Чернышевский до конца жизни неизменно подчеркивал «побудительную» роль жены для своей жизни, общественной и писательской деятельности. Эта мысль была частью его натуры. Как же могла она не поразить юношу Чернышевского, она, осветившая для него такое важное в нем самом! Не в этом ли причина той бережной подробности, с которой слова Лободовского — через три недели после того, как были произнесены, — записаны Чернышевским?

Юношу взволновало тогда и другое. На пороге своих двадцати лет он ощутил в себе сквозь темную физиологическую стихию пола пробуждающуюся сердечную потребность любви. Женитьба друга приоткрыла для него таинственную завесу над интимной стороной многосложных и противоречивых отношений мужчины и женщины. Чувство дружбы и бескорыстное желание другу счастья очищают его самого и открывают ему глаза на то хорошее в себе, о существовании чего он до сих пор не знал.

«Я был радостен сердцем...» (стр. 32), «я не так в сущности холоден ко всем, кроме себя, и не такой эгоист, как раньше думал» (стр. 34), «давно я не чувствовал такого тихого осчастливливающего удовольствия, как в этот вечер... Эх, хорошо иметь полное сердце. Это еще более дало мне почувствовать радости семейной жизни — во всяком случае, как я воображаю и желаю ее всем... Это радостно для меня и потому, что уверяет меня, что я не такой негодяй, как думал и, может быть, имел раньше основание думать, что я способен питать чистую привязанность к посторонней девушке или молодой женщине, не думая ни о любви к ней, как обыкновенно понимают эту любовь, ни о тому подобном, а просто питать расположение к ней» (стр. 34—35).

В приведенных высказываниях настойчиво повторяется мысль о дружбе между юношей и девушкой, шире говоря — между мужчиной и женщиной. Уже здесь Чернышевский осмысливает этот вопрос как моральную и даже мировоззренческую проблему и формулирует выводы: «...меня обрадовало... то, что физическая сторона во всех не так сильна, как обыкновенно думают, и что это поддерживает мое постоянное мнение о девушках, на которых, с одной стороны, я смотрю как-то слишком платонически и считаю их более, чем обыкновенно думают, доступными влиянию в обыденной жизни и выходе зауж других чувств, а не физической потребности любви. И как один из примеров и доказательств, что есть такие женщины и девушки, как я думаю про большую часть их (пока не увлекутся они испорченностью жизни и не охлаждаются постепенно), мне стала мила Надежда Егоровна, мил и Василий Петрович, которые доказывают и служат примером моему взгляду на молодых людей» (стр. 34).

Еще более значительным выводом кончается и вся эта запись. Радуюсь «перемене своего характера», Чернышевский восклицает: «Дай бог, чтобы оставалось это в таком направлении, как эти дни, все до сих пор».

Не так ли это: всегда я склонен — может быть, потому, что дурен слишком сам, ... судить о других не по тому, каков я сам, а по тому, каковым бы мне хотелось быть и каковым быть было бы легко, если бы не мерзкая слабость воли, это *laissez faire*, которого, как я думаю, нет у других, — я не *хочу оскорблять человечество, судя о нем по себе вообще, а сужу о нем не по цепи всей своей жизни, а только по некоторым моментам ее, когда бываю доступен чувствам высшим; поэтому я готов все видеть в свете той неискорченности, какую я желал бы иметь сам...*» (стр. 37—38).

Последняя формулировка представляет собой один из краеугольных камней всей этической концепции Чернышевского. «Высшее» в человеке человеческое, характернее, существеннее для человеческой природы, чем «низменное», «темное»; предостительное внимание при суждении о человеке к «высшим чувствованиям» его, а не ко «всей цепи его жизни» — это фундамент и «разумного эгоизма», и «антропологического принципа», и революционно-героического начала в жизни самого Чернышевского и революционеров-шестидесятников и народников. В этой формулировке замечательно даже то, что логика, «способность суждения» выдвинута на передний план: ведь именно логичность, императивный рационализм является коренным — и едва ли не единственным — недостатком всех теоретических концепций революционеров-демократов. Здесь на наших глазах происходит процесс становления революционно-демократической этики, которая в зрелых произведениях Чернышевского предстает перед нами как стройная и выработанная система.

В то же время выводы, сформулированные здесь Чернышевским, имеют самое близкое отношение к его последующему художественному творчеству.

Идея «чистой привязанности» к женщине является одной из важнейших тем романа «Что делать?» и ведущей темой романа «Алферьев». Мысль об ограниченной роли «физической стороны» в «обыденной жизни» людей проходит красной нитью через «Повести в повести» и выступает одной из главных идей в «Истории одной девушки». Из всех излюбленных идей Чернышевского-писателя остается незатроутой здесь только одна — идея раскрепощения чувства любви, антигуманности узкой, тупой и бедной господствующей морали. Но ведь это только *первая* запись! В дальнейшем мы и эту идею встретим, причем во всей первозданности ее постижения, — в саратовском «Дневнике моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье».

К художественным произведениям Чернышевского ведут и некоторые реалии записи. Например, в характеристике, данной Лободовским своей старшей сестре, — «это превосходная, но выше своего состояния и женихов девушка, которая поэтому должна остаться незамужнею» (стр. 29), — предчувствуется уже очерк характера и судьбы Лизаветы Арсеньевны Свилиной, героини «Истории одной девушки». Сама Надежда Егоровна — главным образом в ее авторской интерпретации — это один из тех женских типов, которые Чернышевский будет разрабатывать в «Повестях в повести», в частности в «Объективных очерках А. А. Сырнева». А некоторые черты Лободовского и таких лиц из дневника, как Иван Григорьевич Терсипский и Александр Федорович Раев, художественно обобщены в типе Николая Федоровича, чуть ли не самого интересного героя студенческой повести Чернышевского «Теория и практика» (1849).

Конечно, нет в майской записи еще того революционного подтекста, который проходит сквозь все, созданное впоследствии Чернышевским для печати. Но самый процесс становления его революционного мировоззрения лежит в будущем и в том же дневнике отразится во всей своей многогранности и многосложности.

Хотя и поразительна та предельная насыщенность первой дневниковой записи Чернышевского идейной, нравственной и психологической атмосферой, которая пройдет сквозь всю дальнейшую жизнь и все дальнейшее творчество Чернышевского, однако в контексте всего дневника этот факт закономерен.

Внутренняя цельность и законченность дневника, говорили мы, являются следствием тематического богатства его, полноты и последовательности в освещении всей совокупности избранных тем, систематичности и строгости нравственных критериев, классической цельности характера, который в дневнике выступает одновременно и объектом и субъектом наблюдений, удивительной чуткости и точности самонаблюдений. И так как дневник был для Чернышевского-студента инструментом самопознания и самоконтроля, он прекратился не раньше и не позже того, как сыграл эту свою роль.

В первый раз он фактически обрывается с окончанием университета: идут отрывочные записи, затем и до этого «не доходят руки». Новая, начинающаяся жизнь не так замкнута и, следовательно, не столько времени оставляет для размышления, и нет той острой потребности излиться наедине перед самим собой, ибо для себя решены уже главные принципиальные вопросы и наибольший интерес представляет их пропаганда, например ученикам в гимназии.

Потребность в дневнике с новой силой вспыхивает после встречи с Ольгой Сократовой. Новый дневник переключается с самым началом дневника студенческой поры. Лишь теперь как бы завершается тема, раньше всех других вошедшая тогда в дневник и единственная оставшаяся незавершенной: тема женщины, любви, личного счастья, не опошляющего, не замораживающего, а окрыляющего, стимулирующего к деятельности, к борьбе. И если «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» обрывается буквально на полуслове, то виноват в этом трагический аккорд, сопутствовавший женитьбе Николая Гавриловича, — смерть его матери. Она снимает проблему разногласия с родителями из-за женитьбы, торопит с намеченным уже отъездом в Петербург и ставит категорически точку: все неясное прояснилось, все бродившее определилось, все неустоявшееся сформировалось; теперь новы будут только детали, а главное найдет себе иную трибуну, выйдет на страницы журналов, превратится в факт общественной жизни страны. Это и будут те идеологические и практически-революционные «выводы», которые — со всей добросовестностью ученого и со всей последовательностью революционера — сделает Чернышевский из своего «журнала самонаблюдений».

Как литературное произведение дневник Чернышевского уникален и со стороны своего психологического, этического и философского содержания, и со стороны своей литературной формы: написанный стенографическим способом, он заключил в себе столько конкретных наблюдений над жизнью и людьми (вдумчивых наблюдений «мыслящего человека!»), что даже без сознательной воли на то автора открывает перед читателем живые, художественно полноценные типы, коллизии и проблемы эпохи.

Дневник, таким образом, представляет собою в творчестве Чернышевского двойное начало: не только начало выработки его теоретических концепций и систем, но и начало его художественной деятельности.

И. М. ПОРОЧКИНА

ВОСПОМИНАНИЯ М. ГОРЬКОГО О Л. ТОЛСТОМ В ОТКЛИКАХ СЛАВЯНСКОЙ ПЕЧАТИ

Основные произведения Л. Толстого еще при жизни писателя неоднократно переводились на славянские языки. К концу XIX—началу XX века Толстой стал фактором культурного сознания и мироощущения поколения, входившего в жизнь на рубеже веков. Чехословацкий ученый и общественный деятель З. Неедлы, посетивший Толстого в Ясной Поляне в 1901 году, писал впоследствии, что все его поколение выросло на русском романе — начиная с Гоголя и кончая Толстым и молодым Горьким.

Между тем суждения о Толстом за пределами России в первой четверти XX века становились все более противоречивыми. Часть критиков негодующе отвергала Толстого. В немалой степени этому способствовала деятельность последователей писателя, толстовцев, не только русских, но и чешских, словацких, болгарских, которые учреждали товарищества вегетарианцев, земледельческие колонии, издавали специальные журналы и т. п. Они готовы были вслед за Толстым отрицать значение его величайших художественных творений, подчеркивая религиозно-нравственную сторону идей писателя и насаждая представления о Толстом прежде всего как о непротивленце.

В меньшей степени толстовская философия пассивности привилась в югославских землях. Несмотря на уважение к русскому писателю и преклонение перед его нравственным авторитетом, в Сербии не был принят высказанный

Толстым в известном «Письме сербке» совет удовлетвориться моральной победой над врагом.

Не получило распространения толстовство и в Польше, хотя там это было вызвано иными причинами.

Первая мировая война и Октябрьская революция изменили политическую географию Европы. Развал Австро-Венгрии привел к образованию самостоятельного югославского государства, Чехословацкой республики; независимой стала Польша. Славянские приверженцы русской культуры разделились на враждующие лагери — отношение к революции, ее приятие или неприятие часто становилось решающим при оценке тех или иных явлений культурного порядка. Так, слои, не принимавшие революцию, выступили против Толстого, полагая, «будто он явился одним из виновников грозных событий, будто он подготовил революцию».¹

В это бурное, хаотическое, «грозное» в представлении европейской буржуазной публики время появляются свежие, яркие, написанные с тонким пониманием и бережной любовью воспоминания Горького о Толстом. Творчество Горького проникает за рубеж в начале XX века, когда Толстой уже был всеми признанным главой мирового литературного движения. На первых порах переводчиками и толкователями произведений Горького зачастую выступали толстовские последователи. Так, в Словакии А. Шкарвац, посвятивший свою жизнь пропаганде идей Толстого, перевел «Песню о Соколе», причем перевел по второй редакции, политически более острой. По-видимому, предпринять перевод этой бунтарской вещи побудил убежденного непротивленца обострившийся национальный кризис в Словакии, подвергавшейся усиленной мадьяризации. В Болгарии первый перевод из Горького и первая статья о нем принадлежали также толстовцу С. Ничеву,² который попытался превратить Горького в проповедника христианской любви и смирения.

Вскоре Горький становится в славянских странах не менее популярен, чем Толстой. В революционно-демократических кругах возрастает интерес к творчеству писателя. Деятели культуры, политики завязывают личное знакомство с ним.

Большую роль в восприятии очерков Горького о Толстом зарубежным читателем сыграла та сдержанная страстность, которой они исполнены. Боль и восхищение, пронизывающие книгу Горького «о контактах и разломах» (*В. Б. Шкловский*), передавались читателям, формируя в их сознании новый, «синтетический» образ Толстого.

Первые переводы воспоминаний Горького о Толстом относятся к 1920 году, когда они появляются на английском языке (Англия, США), на немецком и начинают печататься по-чешски. Год спустя воспоминания Горького переводятся на сербохорватский язык. Одновременно шло освоение их славянской критикой и литературоведением.

В Болгарии, где были сильны толстовские традиции и после 1917 года продолжали выходить журналы болгарских толстовцев, в частности журнал «Возраждане», в изданиях левой ориентации отдается явное предпочтение Горькому.³ Особое внимание уделяется его воспоминаниям о Ленине, о Толстом, Блоке, Чехове, Короленко.

Первая статья, посвященная воспоминаниям о Толстом, появилась в пловдивской газете «Борба» (1922, № 320, 26 марта). В Болгарии они еще не были переведены, но там отлично знали русские издания Ладыжникова и Гржебина. Известны были также переводы воспоминаний на другие языки. Автор статьи в «Борбе» делает попытку художественного анализа очерка Горького по лондонскому изданию. Сравнивая стенографические записи секретаря Гете Эккермана и, на первый взгляд, случайные зарисовки Горького, болгарский критик приходит к выводу, что русскому писателю удалось создать динамичный, правдивый в своей жизненной противоречивости образ. Толстой предстает как «мыслитель, человек, безжалостный критик и разрушитель, аристократ-мужик, замечательный художник, влюбленный в красоту мира; философ».⁴ Особое восхищение у критика вызывает запечатленная Горьким картина: Толстой на скалистом берегу Черного моря. Романтический образ Толстого, «который знает все начала и цели, думает о том, когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской, человека и всего мира, от камня до солнца», становится у болгар излюбленным, и критики вплоть до наших дней не перестают восхищаться им (Г. Константинов, Ст. Караков и другие).

Осенью 1924 года в журнале «Пламък» (1924, кн. 7—8, сентябрь—октябрь) рецензию на воспоминания о Толстом печатает известный болгарский писатель Гео Милев. Отдавая должное тонкому анализу и психологической проникновенности очерка Горького, Милев особую заслугу Горького видит в том, что ему удалось

¹ Ot. C m u n t. Několik poznámek k jubileu M. Gorkého. «Nové Rusko», 1928, č. 4/5, str. 125.

² М. Горьки. Часовете и др. разкази. София, 1905. (Перевод и предисловие С. Ничева).

³ См., например: Г. Бакалов. М. Горьки. «Работнически вестник», 1922, бр. 98.

⁴ Цит. по: И. Цветков. М. Горьки и българската литература. София, 1964, стр. 140.

вскрыть противоречивость Толстого, показать писателя со всеми присущими ему слабостями и во всем его величии. Рецензия Милева — лучшее из того, что написано о воспоминаниях Горького в 20-х годах в Болгарии. Небезынтересно отметить, что после первой мировой войны Милев был одним из неумолимых отрицателей социального и реалистического искусства. Но увлечение модернизмом, которое наблюдается в болгарской послевоенной литературе, к середине 20-х годов ослабевает. Поэты-символисты Х. Ясенов и Г. Милев, по выражению К. Константинова, «в один прекрасный день сжигают свои корабли».⁵ Милев становится вдохновенным глашатаям искусства для народа». В том же 1924 году, когда была написана рецензия на воспоминания Горького, выходит его поэма «Петроград», посвященная революции. Возможно, в обращении Милева к этой теме не последнюю роль сыграло творчество Горького.

Со временем Толстой и Горький начинают восприниматься болгарским читателем не как противостоящие друг другу художники, а как великие гуманисты, поборники общественного прогресса. Молодой писатель К. Станчев в середине 30-х годов говорил, что Толстой и Горький были учителями его поколения, а известный болгарский литератор и общественный деятель К. Кюлявков писал литературоведу С. Каракостову о том, что в начале века Горький помог ему, как и многим другим, добавим мы от себя, «освободиться» от Толстого и он же своими воспоминаниями «вернул» ему Толстого.⁶ Несмотря на популярность в Болгарии воспоминаний Горького, отдельной книжкой они вышли только в 1934 году.⁷

«Противоядием против толстовства и ... эпигонов» Толстого⁸ послужило творчество Горького и в Чехословакии. Воспоминания Горького о Толстом в 1920 году начал печатать в пражском журнале «Kmen» выдающийся чешский писатель и общественный деятель С. К. Нейман, инициатор и первого отдельного издания воспоминаний 1921 года.⁹ В том же 1921 году С. К. Нейман помещает в газете «Rudé právo», органе только что созданной Коммунистической партии Чехословакии, критическую статью «Книжка о человеке богоподобном». Прежде всего Нейман подчеркивает, что воспоминания Горького сводят на нет легенды о Толстом. «Легенды не в духе нашего времени, — пишет он. — Заблуждаются те, кто в них верит. Этих людей ждет скорое разочарование, так как ореолы в наше время быстро тускнеют... Только Максиму Горькому удалось в его книге, написанной без претензий, но смело и талантливо, показать в истинном свете личность „тринадцатого апостола“». И далее Нейман продолжает: «Пригоршня воспоминаний и одно неоконченное письмо — вот все, что мы имеем. Но за этой скромной фрагментарностью кроется революционный акт: освобождение великого человека от унижительной легенды, защита прекрасной человеческой личности».¹⁰

Воспоминания Горького помогли чешской интеллигенции понять Толстого по-новому и способствовали тому же процессу «возвращения» его современному читателю, о котором писали болгары.

В начале 20-х годов в Чехословакии появились и другие отзывы об очерке Горького. Литературовед и переводчик В. Червинка в статье «Три книги о Толстом», помещенной в журнале «Lumír», сравнивает воспоминания Горького с двумя другими изданиями, появившимися тогда же в Чехословакии: «Яснополяскими записками» Д. Маковицкого и книгой В. Г. Черткова «Уход Толстого». Воспоминания Горького, по мнению Червинки, наиболее значительны. В них «переданы человеческая теплота и своеобразие великого художника и исключительного человека. Две другие книги о Толстом при всей их обстоятельности расплывчаты и не содержат ничего, что могло бы приблизить нам человека, о котором они повествуют».¹¹

Несколько лет спустя к воспоминаниям Горького о Толстом обратился журнал «Komunistické revue»: «Мировое значение этой книги, — писал прогрессивный литератор, один из переводчиков Горького на чешский язык И. Вейл, — состоит в том, что она вдребезги разбивает легенду, созданную псевдоучениками Толстого, легенду о набожном христианине Л. Н. Толстом, провозвестнике новой веры и религиозном моралисте».¹²

⁵ К. Константинов. Път през годината. София, 1966, стр. 322.

⁶ С. Каракостов. М. Горки и българската литература. София, 1947, стр. 48.

⁷ М. Горки. Спомени за Л. Н. Толстой. От руски превео Симеон Марпинович. София, 1934.

⁸ «Přítomnost», 1932, č. 42, 19.X. Цит. по: Е. Ю. Перфецкий. Максим Горький в печати и жизни Чехословакии. «Труды Института славяноведения Академии наук СССР», II. Изд. АН СССР, Л., 1934, стр. 360.

⁹ M. Gorkij. Vzpomínky na Lva Nikolajeviče Tolstého. Přel. Sáva Racek. Praha, Fr. Borový, 1921. Edice «Června», sv. 21.

¹⁰ S. K. Neumann. Knížka o člověku bohupodobném. «Rudé právo», 1921, č. 198, 25.VIII.

¹¹ V. Červinka. Tři knížky o Tolstém. «Lumír», 1923, č. 2, str. 90.

¹² «Komunistické revue», 1928, č. 4, str. 316.

Признание, которое получили горьковские воспоминания в Чехословакии, их высокая оценка представляются особенно значительными в силу того, что после Октябрьской революции именно в Праге оказалось много русских, так или иначе причастных к Толстому, издавалась обширная литература на русском языке, в том числе и книги о Толстом. В Праге выходят крайне необъективные воспоминания Льва Львовича Толстого «В Ясной Поляне. Правда об отце и его жизни», книга последнего секретаря Толстого В. Ф. Булгакова «Л. Н. Толстой в последний год его жизни», «Мои воспоминания» Ильи Львовича Толстого и др. Продолжает писать о Толстом давний поклонник его педагогических идей чех К. Велеминский.

В 1923 году Горький приехал в Чехословакию лечиться. Живя в Марианских Лазнях, он работал над очерком о С. А. Толстой, который нельзя рассматривать в отрыве от воспоминаний о самом Л. Н. Толстом. Очерк о жене писателя — продолжение серьезного и важного для Горького разговора о Толстом. Этот очерк явился ответом Горького на порочащие С. А. Толстую публикации, прежде всего на книгу Черткова о Толстом,¹³ которая не удовлетворила и упоминавшегося нами чешского критика Червинку.

Очерк Горького о С. А. Толстой вышел в свет в июне 1924 года и уже в 1925 году был переведен на чешский и сербохорватский языки.

Воспоминания Горького не только развеяли миф о Толстом, но и в известной мере подготовили почву для появившихся в переводе на чешский статей Ленина о Толстом (1928). Эти ленинские статьи и воспоминания Горького прочно вошли в обиход чехословацкой марксистской критики.

В Югославии к моменту появления воспоминаний Горького о Толстом сложилась определенная традиция в восприятии творчества обоих художников. И здесь интерес к Толстому был в свое время ослаблен интересом к Горькому;¹⁴ тем не менее книги о Толстом выходили в достаточно большом количестве. Как и в Чехословакии, в Югославии издаются воспоминания детей Толстого: Александры Львовны (1920, 1931, 1932), Ильи Львовича (1926), Льва Львовича (1925, 1933).

О воспоминаниях Горького югославскому читателю стало известно в 1921 году, когда о них впервые сообщила белградская газета «Новое время».¹⁵ В том же году воспоминания вышли в Загребе в переводе на сербохорватский язык.¹⁶ На это издание откликнулись похвалой газеты «Jutarni list» и «Ильустровани лист».¹⁷ В 1923—1930 годах отрывки из горьковских воспоминаний о Толстом печатали журналы и газеты в Белграде, Сплите и других городах.¹⁸ По мере того, как слово Горького в Югославии становилось все более авторитетным, повышается внимание и к его литературным очеркам. Югославские исследователи неоднократно обращаются к ним в своих работах о Толстом и других русских писателях.¹⁹

В Польше после Октябрьской революции складывается особая ситуация. Отрицательное отношение к русской культуре со стороны националистически настроенных буржуазных кругов выразилось, в частности, в том, что на польском языке воспоминания Горького о Л. Н. Толстом (так же как и статьи Ленина о Толстом) вышли лишь после второй мировой войны: в 1947 году в отрывках²⁰ и в 1956 году — полностью.²¹ Известны они, разумеется, были и ранее и даже использовались в 1926 году в статье Грубинского «Толстой и женщины»,²² а в 1937-м — в статье без авторской подписи «Старец из Ясной Поляны», где сообщалось о впечатлениях Горького от посещения Толстого.²³

В заключение следует сказать, что после 1928 года, когда совпало два юбилея — столетие со дня рождения Толстого и шестидесятилетие Горького, и когда появился ряд юбилейных публикаций, посвященных обоим писателям, воспоминания

¹³ См. об этом: Л. Н. Иокар. А. М. Горький и С. А. Толстая. (Пометы на книгах личной библиотеки Горького). В кн.: Горьковские чтения. К 100-летию со дня рождения писателя. Изд. «Наука», М., 1968, стр. 176—188.

¹⁴ Б. Ковачевич. М. Горки у српској књижевности. «Наша књижевност», Београд, 1946, кн. 1, св. VI—VII, стр. 476.

¹⁵ «Новое время», 1921, № 117, стр. 3.

¹⁶ M. Gor'kij. Uspomene na Lava Nikolajeviča Tolstoja. Zagreb, 1921.

¹⁷ D. Bubić. Dva sna Maksima Gorkog. «Jutarni list», 1921, № 3451, str. 4; Ув. Успомене о Лаву Николајевичу Толстоју. «Забавник „Ильустрованог листа“», 1922, № 9, стр. 15.

¹⁸ «Вечер», 1923, № 823, стр. 4; «Звоно», 1923, № 1, стр. 3; № 2, стр. 3; № 14, стр. 3; «Јутро», 1924, № 258, стр. 11—12; «Одјек», 1924, № 58, стр. 3—4, и др.

¹⁹ См., например: Р. Копарец. Поводом тридесетгодишнице Толстојеве смрти. «Правда», 1940, № 12, стр. 977.

²⁰ Z zapisków M. Gorkiego o rozmowach z Lwem Tolstojem. «Głos ludu». Łódź, 1947, nr. 13, str. 1—2.

²¹ M. Gorkij. Lew Tolstoj. Przełożył Lucjan Rudnicki. «Twórczość», 1956, nr. 1, str. 68—101.

²² W. Grubiński. Tolstoj i kobiety. «Kurier Warszawski», 1926, nr. 144, str. 3—4.

²³ Starzec z Jasnej Polany. «Prosto z Mostu», 1937, nr. 13, str. 7.

Горького воспринимались у славян уже не в свете былых споров вокруг Толстого, а в ряду других произведений русского пролетарского писателя, и порою даже как своего рода ключ к пониманию его собственного творчества.²⁴

Л. Л. БЕЛЬСКАЯ

РОЛЬ А. БЛОКА В СТАНОВЛЕНИИ ПОЭТИКИ РАННЕГО ЕСЕНИНА

Взаимоотношения молодого Есенина с петроградскими литераторами после его приезда в столицу в 1915 году и, в частности, с Александром Блоком, принявшим участие в судьбе начинающего поэта, не раз освещались в исследовательской и мемуарной литературе.¹ Меньше внимания уделяется конкретному анализу различных влияний, испытанных им в этот период, хотя упоминается о них во всех работах о Есенине. Так, о «гибельности знакомства» поэта с декадентскими кругами, о «тлетворном» воздействии на него символистов, о «сильнейшем влиянии» Блока, Клюева, Белого пишут многие литературоведы, но мало кто стремится понять, какой след оставили эти влияния в творчестве Сергея Есенина.

В есенинской поэзии 1915—1916 годов появляются мистические «откровения», излюбленные символистские мотивы (о любви к царевне, о былом счастье и страдании, о вечности — с тайными намеками, недосказанностью, неопределенной печалью), пристрастие к изысканности и экзотическим атрибутам модернистской литературы («чары веселья», «нежная вуаль», «кораллы слез», «хитон», «золотое ожерелье»). Проникают в стихи Есенина этих лет и отзвуки «поэз» Северянина, и сниженная, огрубленная лексика, и образность, напоминающая вызывающую манеру футуристов («вспучил бельма вечер черный», «сгнившая даль» — ср. у Маяковского: «выколоть бельма пустынь», «догнивающие в ливнях огни»), и любование мелочами быта, свойственное акмеистам. Но соприкосновение с поэтами-декадентами было весьма кратковременным, а главное, сыграло в есенинском творчестве не только отрицательную роль. Оно сказалось в повышенном интересе молодого поэта к стихотворной форме — метрике, ритмике, рифме, строфике, звукописи. Он пишет первый в своей жизни сонет, придумывает каламбурные рифмы, включает рифмующиеся слова в общую эвфонию стиха, впервые вводит разноstopность как заданный размер, разнообразит строфику. Поразительно метрическое многообразие есенинской поэзии этого периода: все трехсложные размеры, ямб — от 2- до 6-сложного, дольник, тонический стих, хорей — от 3- до 8-сложного. Безусловно, пристальное внимание Есенина к стихотворной технике и к звучанию стиха связано с его увлечением поэзией начала XX века.

Сам Есенин из всех современных поэтов выделял троих. «Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности», — вспоминал он в 1925 году.² Формальные искания Андрея Белого увлекут его ненадолго в 1917—1918 годах и пройдут бесследно. «Наставничество» Клюева тоже окажется временным, а его «ярочатый стих» вскоре перестанет восхищать молодого поэта. Зато уроки Блока запомнятся ему на всю жизнь.

Речь идет не о личных связях между двумя поэтами, не об отношении их друг к другу, а о том влиянии, которое оказала блоковская лирика, блоковские художественные принципы на поэзию молодого Есенина. Поэтому нас будут интересовать не столько перепевы некоторых тем и мотивов, сколько те структурные изменения, которые произошли в есенинских стихах предреволюционной поры и затронули все элементы его поэтики.

Поэзия Блока произвела огромное впечатление на 20-летнего Есенина, и в его стихах 1915—1916 годов зазвучали блоковские мотивы, ритмы, интонации, образы, лексика, часто преобразованные, расцвеченные новыми красками (например, «нездешний прелесок» вместо «поздешней страны»). Не обошлось и без текстуальных совпадений, которые, вероятно, и сам поэт не всегда замечал: «неопалимая кушина», «имя тонкое», «невозвратные и далекие», «зеленая вода», «день дик» и др.

Ср. у Блока:

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!

²⁴ «Národní osvobození», 1932, č. 265, 25 IX.

¹ См. работы К. Зелинского, Е. Наумова, П. Юшина, В. Вдовина, В. Земскова, И. Правдиной, воспоминания Вс. Рождественского, С. Городецкого, В. Чернявского и др.

² Сергей Есенин, Собрание сочинений в пяти томах, т. V. Гослитиздат. М., 1962, стр. 22 (в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте).

И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.³

И есенинское:

Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав,
Не заморозит, не обмашет
Твой разукрашенный рукав.

(I, 222)

Но, конечно, блоковское влияние не сводилось лишь к заимствованию отдельных образов, мотивов и случайным совпадениям. Сам Есенин подчеркивал, что Блок научил его «лиричности», т. е. умению передавать различные состояния человеческой души и прежде всего своей собственной. Блоковская лирика открыла Есенину наслаждение самоанализа. Не просто наблюдение, а свое отношение ко всему; не пересказ чьей-то истории, а рассказ о себе; не пейзажная зарисовка, а свое настроение при виде картин природы — вот то новое, что вошло в есенинскую поэзию в эти годы. И ожили прежде неподвижные, мозаичные картинки, обогатились эмоциями, наполнились раздумьями.

В связи с этим меняется и образ лирического героя, яснее вырисовывается его облик, приобретая все большую автобиографичность. Это уже не удалой молодец из народной песни; не страдалец, обманутый жизнью, потерявший подругу; не пастух, чьи «хоромы — в мягкой зелени поля». Все чаще лирический герой Есенина предстает перед нами без маскарадных одеяний, все чаще раздается искренний голос самого поэта, повествующего о своих переживаниях, основанных на личном опыте. И мы узнаем о его друге и любимой, о его бесприютности, о его «тоске по гречневым просторам».

Совсем утрачивает поэт в это время интерес к эпическому творчеству. А единственное крупное стихотворение «Голубень» (1916), которое лишь с большими оговорками можно назвать поэмой, носит лирический характер. Если в поэме «Русь» (1914) повествовательное начало преобладало, а лирическое было вынесено в отдельные главки, то в «Голубени» нет определенного сюжета. Это ряд описаний с элементами элегических раздумий, изредка «вкрапленных» и в образную ткань («осенним холодом расцвечены надежды», «водою зыбкой стынет синь во взорах»). И несмотря на чисто есенинскую изобразительность и пластичность, на целую вереницу многоступенчатых метафор:

С пустых лощин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног...

(I, 224)

в «Голубени» можно отыскать и блоковские следы: «бредет мой конь, как тихая судьба», «в дорогу дальнюю ни к битве, ни к покою ведут меня незримые следы».

Лирические раздумья проникают в есенинские стихи о родине. На первый план выдвигается теперь не описание ее исторического прошлого («Марфа Посадница») и быта, не пейзажи, а взволнованная, то светлая, то печальная дума о России. Молодой поэт все пристальнее вглядывается в лицо родной земли и все острее осознает ее заброшенность и забытость. Он задает себе вопрос: «Какая же ты, Русь?» — и пытается разгадать ее душу. На помощь приходят не только собственные представления и воспоминания, но и блоковские размышления о непостижимой, бескрайней и нищей России. Как в калейдоскопе, мелькают разнохарактерные картины: земля волхов, где дремлет тайна; страна, затерявшаяся в Мордве и Чуде (явно навеяно Блоком), запуганная кандалами Сибири и горбом Уральского хребта; то она на туманном берегу, то «тропой-дорогой разметала ал наряд», то жива какой-то «притчею мглы» (отзвуки символистской поэзии).

Чаще всего Русь является Есенину тоскующей, с сиротливыми избами деревень, с бесконечными часовнями и крестами, сырыми шахтами и могилами, острогами и тюрьмами. Она кажется живым существом, способным страдать и веселиться: «А Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора». Такая Россия во многом была увидена сквозь призму поэзии Блока. Но иногда в есенинских стихах о родине проглядывали иные черты, своеобразие его видения, его горячая, восторженная любовь к «стороне ковыльной пущи», его представления о Руси деревенской, патриархальной:

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку...

(I, 220)

³ Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. II, Гослитиздат, М.—Л., 1960, стр. 75 (далее ссылки на этот том — в тексте).

И дремлет Русь в тоске своей веселой,
Вцепивши руки в желтый крутосклон.

(I, 225)

Из мелких штрихов постепенно складывался облик «страны березового ситца». И невозможно представить ее без таких примет, как «синий плат небес» и «береза-свечка в лунных перьях серебра» в самых ранних есенинских стихах или «озерная тоска» и «известка колоколен», на которую невольно крестится рука, в его поэзии 1915—1916 годов.

С годами юношеская романтическая влюбленность в загадочную Русь сменится ощущением кровной духовной близости и сыновней преданности родине. Но образ России навсегда останется овечьим дымкой печали, иногда умиротворенной, иногда мучительной, камнем ложащейся на сердце.

Россия! Сердцу милый край,
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушьи пеньи, песий лай.⁴

(III, 141)

Впервые как личная, а не как разработка романсовых и песенных мотивов возникает в есенинском творчестве этих лет и тема любви. Во многом и здесь Есенин следует за Блоком. Бедная странница, пришедшая «поклониться любви и кресту»; незримая «ты», склонившаяся ниц в молитве о тех, кто вдали от родины, — эти образы кажутся тенью блоковских героинь, так же как и само чувство — неопределенное, нежное, романтическое. И все-таки ошибется тот, кто увидит в есенинских стихах о любви 1915—1916 годов только слепок с лирики Блока. Конечно, такие строки, как

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста...

навеяны Блоком.

Но рядом стоят совсем другие:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

(I, 204)

Это чисто есенинская конкретность, его пейзажный зачин, характерные для него образы из мира природы. Есенина, который приметил алый сок ягоды на коже, разглядел, как «осыпались зерна глаз» (у Блока — «звезды глаз»), вообразил, что «заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот», — такого Есенина ни с кем не спутаешь.

Все явственнее пробивается сквозь «затуманенную дымку» романтических предчувствий горячее, вполне земное юношеское чувство. В стихотворении «Гаснут красные крылья заката» (в первоначальной редакции «Теплый вечер грызет воробья») поэт поведал грустную историю о той, что берегла для другого «девичью честь и улыбку» (I, 386) и не ответила ему взаимностью; а он продолжал ждать и надеяться. В этом стихотворении нет и отзвука блоковских переживаний, все пропущено через собственное сердце: и детали обстановки (белая хата, глухие стога, зыбка), и рассуждение о судьбе гордых и робких («Не силен тот, кто радости просит, Только гордые в силе живут»), и слабая надежда:

И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.
Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

(I, 234)

⁴ Ср. с Блоком:

Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

(стр. 75)

Изменился сам тон есенинских стихов этих лет: не осталось и следа от прежней восторженности, почти совсем исчезли светлые краски, даже описания природы приобрели грустный колорит. Все вызывает грусть или скорбь: воспоминания «о товарищах веселых», «овсяной ветерок» с родных полей, «вечерняя мгла». Но это не безысходная тоска, надрывающая сердце, а временное, преходящее состояние души, задумавшейся о печальном. Забыв о нем, поэт с ласковой улыбкой взирает на мир.

Мир вам, рощи, луг и липы,
Литии медовый ладан!
Все приившему с улыбкой
Ничего от вас не надо.

(I, 240)

На ранних стихах Есенина нет того налета трагизма, который они обретут впоследствии. Юноша пока далек от осознания катастрофичности «страшного мира» и водоворотов человеческих страстей, характерного для мироощущения Блока («Мы вольные души! Мы злые рабы!», «так сложно, так трудно и празднично жить», «нежности ядом убита душа», «роковая, родная страна», «нищая мечта»). Но и тогда молодой Есенин начинает ощущать смутно и не без помощи Блока противоречивость и сложность мира и человеческой души («Ты вся — далекая и близкая» — о Руси, «люблю до радости и боли», «пропьясал, проплакал дождь весенний», «загрустила, словно голубь, радость лет уединенных»).⁵ В зрелом возрасте сознание трагических противоречий жизни у Есенина будет исходить уже не от блоковского восприятия действительности, а станет неотъемлемой частью его собственного мироощущения.

В сущности, первые поэтические раздумья о жизни и людях появились в есенинском творчестве в 1915—1916 годах. Впервые поэт пытается выразить свое отношение к миру в форме прямых деклараций и обобщений, иногда еще беспомощных или трафаретных.

Есть радость в душах — топтать твой цвет,
На первом снеге свой видеть след.

(I, 246)

Не изменят лик земли напевы...

(I, 255)

Расхождение с Блоком у Есенина в решении идейных и творческих проблем будет с годами углубляться. Но в стихотворениях 1916 года многое напоминает о Блоке (особенно раннем): и «туманы», и «сны», и всевозможные тайны и призраки, и «нездешние поля», и «незримые следы». Во всем этом, впрочем, мало мистики, но много неопределенного, неясного, непонятного: «чей-то мягкий лик за лесом», «кто-то дерзкий, непокорный, позавидовал улыбке».

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

(I, 254)

Однако «иные земли» и сны недолго манили к себе поэта. Его поэзии всегда были свойственны точность и конкретность в изображении материального мира. Может быть, поэтому не привились в ней ни зыбкие, неуловимые настроения, ни отвлеченные символы. И все же с этого времени у Есенина заметно пробуждается интерес к символике как средству иносказательного, условного обозначения предметов, явлений и чувств (см. символы зрелого Есенина: «синий цветень мая» — это светлая, юношеская любовь, холодный «костер рябины красной» — увядание чувств в остывшем сердце).

В стихах 1915—1916 годов таких символов не так уж много. Среди них слово «туман», которое становится символом смутных видений, скрытых чувств, «неразгаданных» явлений. «На туманном берегу» скрывается непонятная Россия; «в глухом тумане» грустит влюбленный; «под затуманенною дымкой» видится поэту и девицы краса (см. у Блока: «Опять за туманной рекою ты кличешь меня издали»). Иногда такой многозначительный символ лежит в основе целого стихотворения. Какой-то неясный женский образ, то ли девы Марии, то ли умершей возлюбленной, проходит через стихотворение «В зеленой церкви за горой», как бы олицетворяя несбывшиеся мечты об идеале. В воображении поэта возникает смутный образ ожившей тени («День ушел, убавилась черта»), которая «другого нежно обняла».

⁵ Среди есенинских оксюморонов этого периода попадают и надуманные, искусственные. Ср., например: «Много зла от радости в убийцах...» (I, 180).

Может быть, склоняясь к нему,
 Про меня она совсем забыла
 И, вперившись в призрачную тьму,
 Складки губ и рта переменила...

Я целую синими губами
 Черной тенью тиснутый портрет.

(I, 228)

Ее измена — это утрата самого близкого и дорогого. Кстати, о такой же печальной потере говорится в блоковском стихотворении «О доблестях, о подвигах, о славе», и звучит тот же мотив: оставшийся, как память о былом, портрет («твое лицо в его простой оправе»).

Появляются в есенинской поэзии и цветковые символы. Устойчивая символика цветов — особенность символистской поэтики. Так, у Бальмонта в голубой цвет окрашивались сны и мечты («душа — оазис голубой»); у Белого серый цвет — символ омертвения, а белый — мистических чаяний (ср. есенинский «белый плач разгадавших новый свет»); у Блока лиловые и фиолетовые тона означают нечто враждебное, гибельное. Конечно, не всегда цветковые эпитеты имели у символистов значение символов: выступали они и в качестве простых определений (см. в стихах Белого: «малиновая роза», «белые кружева», «золотая луна», «лазурный камзол»). А любимые цветковые эпитеты Блока хотя обычно и несут в себе символический смысл, но последний не является чем-то постоянным, закрепленным, он изменчив и неопределен. Белыми у него могут быть рассвет и пристань, ложь и мечта, намек и стан, а синими — призрак, вечер, даль, раздолье.

В есенинской поэзии символика цветов более устойчива, а некоторые цветковые эпитеты (пока это только — малиновый и розовый) становятся постоянными символами. Другие же — особенно часто голубой и синий — употребляются как в прямом, так и в переносном значении. Так, есенинское «малиновое поле», «малиновая ширь» не отвечают зрительным представлениям, но как нельзя лучше передают восхищение красотой родного края; в этом определении слились воедино и высшая похвала, и высшая мера любви (ср. «малиновый звон» колоколов). Точно так же «розовое небо» воспринимается не как небо, освещенное закатом солнца, а как символ чего-то идеального, несбыточного, о чем можно только тосковать, как и о «голубиных облаках».

Лирическая стихия, захлестнувшая поэзию Есенина в период 1915—1916 годов, во многом перестроила всю ее образную систему. На смену изобразительным средствам в ранних опытах поэта все больше приходят выразительные: насыщаются эмоциями сравнения и метафоры, экспрессивными становятся цветковые и звуковые эпитеты, в образную орбиту вовлекается мир человеческих чувств и мыслей.

Иным содержанием наполняются понятия, выражающие различные душевные состояния — тоску, грусть, радость. Из общих и расплывчатых («теперь тоска меня сосет и грусть мне сердце точит», «изнывает душа от тоски и от горя») они, «обрастая» эпитетами, становятся более индивидуальными — «тоска журавлиная», «озерная», «солончаковая». Аналогичный прием конкретизации отвлеченных понятий с помощью определений находим мы и у Блока, у которого тоска, например, имеет множество «разновидностей»: острожная, дорожная, железная, беззвездная.

Интересно проследить судьбу есенинских эпитетов, на примере которых особенно ясно происшедшая в его стихах этих лет разительная перемена. В самом начале творческого пути поэта привлекали главным образом изобразительные возможности определений, их красочность и наглядность. Изменения в употреблении эпитетов идут по двум направлениям: увеличивается число эмоциональных определений, а эпитеты, обозначающие форму, качество, объем, начинают включать в себя дополнительный экспрессивный смысл. Так, в предложении «Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка» «теплый» можно истолковать как «ласковый», «мягкий», а «овсяной ветерок» — не столько ветер, пахнущий овсом, сколько несущий запах с родных полей. Есенинский эпитет приобретает те важные качества, которые впоследствии станут определяющими, — эмоциональность и романтическую приподнятость. Из средства изображения предметов и явлений он все больше превращается в средство выражения авторских настроений.

Стремление к эмоциональности и поэтичности стихотворной речи наложило свой отпечаток и на лексику и стиль есенинских стихов 1915—1916 годов: резко уменьшилось число диалектизмов и бытовизмов, зато возросла роль книжно-поэтических и экспрессивных языковых средств. Эти изменения в поэтике Есенина не связаны с использованием внешних приемов, с подражательностью (ни есенинский эпитет, ни лексика не повторяют блоковские образцы), а отражают процесс освоения им нового, интенсивного метода поэтического воплощения человеческих чувств и мыслей, явившегося достижением поэзии XX века и нашедшего наиболее полное выражение в лирике Блока. Есенин стремится отныне к углубленному

психологизму, к передаче «диалектики души», к «подчинению всех форм изобразительности раскрытию лирического переживания».⁶

Как уже отмечалось, в 1915—1916 годах Есенин начинает проявлять особый интерес к стихотворной форме. Изменения в этой области коснулись прежде всего метрики есенинского стиха. Это выразилось в широком применении трехсложников и нового, в сущности, для Есенина метра — ямба. В связи с тем, что ямб отныне занимает важное место в есенинском творчестве, небезынтересно проследить историю его появления и эволюцию в поэзии Есенина, сопоставив с ямбами других поэтов.

В первых своих стихах (1910—1914) Есенин прибегал к ямбу крайне редко — в тех случаях, когда хотел высказать гражданские, скорбные, мужественные чувства («Поэт» («Он бледен...»), «К покойнику», «Бельгия»), причем его ямбическим стихам недоставало самостоятельности. Подражательные и слабые в идейном и образном отношении, они были бедны и ритмически, отличаясь однообразием и случайностью ямбических ходов. Из 6—7 форм 4-стопного ямба, употреблявшихся поэтами XIX—XX веков (ЯЯЯЯ, ПЯЯЯ, ЯПЯЯ, ЯЯПЯ, ПЯПЯ, ЯППЯ), в есенинских стихах этих лет встречаются лишь 2—3, в редких случаях 4.

Но вот появляются стихи, согреты лирическим чувством, более самостоятельные и художественно совершенные, с необычными для классического ямба дактилическими клаузулами.

Тебе одной плету венок,	ЯЯЯЯ
Цветами сыплю стезю серую.	ЯЯЯЯ
О Русь, покойный уголок,	ЯЯПЯ
Тебя люблю, тебе и верю.	ЯЯЯЯ

(I, 167)

Однако и здесь мы замечаем ритмическую монотонность и вялость. В ровном течении 4Я, в медленной напевности ЯЯПЯ не ощущается взволнованного состояния поэта, его восторженной влюбленности в родной край.

К некоторым своим ранним стихам Есенин возвращался впоследствии неоднократно, частично или полностью переделывая их. Вносил он изменения и в ритмическое их строение. Сравним, к примеру, два варианта стихотворения «Пойду в скуфье смиренным иноком» — первоначальный (1914) и окончательный (1922). Разница между ними вовсе не сводится к освобождению «поэтической ткани» стихотворения от религиозных образов и церковной лексики, как об этом говорится в примечаниях к первому тому пятитомного собрания сочинений Есенина (стр. 346).

Пойду в скуфейке, светлый инок,	ЯЯЯЯ
Степной тропой к монастырям;	ЯЯПЯ
Сухой кошель из хвостинки	ЯЯПЯ
Повешу за плечи к кудрям. ⁷	ЯЯПЯ

И

Пойду в скуфье смиренным иноком	ЯЯЯЯ
Иль белобрысым босяком —	ПЯПЯ
Туда, где льется по равнинам	ЯЯПЯ
Березовое молоко.	ЯППЯ

(I, 120)

Изменился весь смысл и звучание стихотворения, его образность. И именно ритм подчеркивает несовместимость сопоставления инока с босяком, давая рядом две резко контрастные формы — ЯЯЯЯ и ПЯПЯ. Именно ритм заставляет остановиться на последней строке, помогая представить, как медленно тонкой струйкой льется березовый сок: этому способствует и пауза после «льется», и замедление сонорного «равнины», и растяжение пятисложного слова «березовое», стоящего между двумя паузами, и сплошное «о» этой строчки. Так возникает не только зрительный, но и звуковой и ритмический образ.

Но до такого ритма-образа Есенину пришлось пройти долгий путь: снова и снова молодой поэт пытается овладеть таким разработанным и таким «капризным» метром. Первые удачи приходят в 1915—1916 годах. По-прежнему наиболее популярной схемой 4Я остается ЯЯПЯ (40—60%), но появляются III и VI формы (ЯПЯЯ и ЯППЯ), сокращается число чистых ямбов, зато возрастает количество пеонов.

Холодной скорби не измерить,	ЯЯПЯ
Ты на туманном берегу.	ПЯПЯ

⁶ В. Д. Сквозников. Лирика. В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. Изд. «Наука», М., 1964, стр. 249.

⁷ Сергей Есенин, Сочинения в двух томах, т. I, Гослитиздат, М., 1956, стр. 326.

Но не любить тебя, не верить — ПЯПЯ
Я научиться не могу. ПЯПЯ

И не отдам я эти цепи, ПЯЯЯ
И не расстанусь с долгим сном, ПЯЯЯ
Когда звенят родные степи ЯЯЯЯ
Молитвословным ковылем. ПЯПЯ

(I, 220—221)

На всех этих «превращениях» ясно видны следы «чар» Блока. Находясь под обаянием его лирики, Есенин вольно или невольно был захвачен и его ритмами: чувствуется, что блоковская Русь «укачала» молодого поэта. Но это относится далеко не ко всей ямбической поэзии Блока и даже не ко всем его стихам о России. Есенинские ритмы сближаются с ритмикой таких блоковских стихотворений, как «Россия», «Фабрика», «Опять над полем Куликовым», «Под шум и звон однообразный». А главное — то, что для Блока не являлось характерным и встречалось в исключительных случаях (отсутствие или редкое употребление III формы — ЯПЯЯ, более частое применение V — ПЯПЯ — свыше 10% и, наконец, уменьшение I — ЯЯЯЯ до 20—15%), то стало для Есенина определяющим качеством. В отличие от Блока он не только не стремился к четырехударности, больше того — количество чистых ямбов в своих стихах 1915—1916 годов он довел до минимума: 1—2 строчки на стихотворение из 20—28 строк.

Эта черта ритмической структуры есенинского 4-стопного ямба скорее напоминает ямб А. Белого, у которого ранний Есенин учился формальному мастерству, однако в употреблении III, IV и VI форм молодой поэт шел своим путем.

Из приведенной ниже таблицы явствует, что 4-стопный ямб Есенина при некоторой общности с ямбами других поэтов (I форма — как у Белого, IV — как у Пушкина) имеет свой индивидуальный ритмический рисунок.⁸

ЯЯЯЯ ПЯЯЯ ЯПЯЯ ЯЯПЯ ПЯПЯ ЯПЯЯ

Пушкин («Медный всадник»)	28,4	6,5	4,3	49,4	11,1	0,2
Языков	27,6	6,7	1,8	49,6	14,0	0,3
Блок	38,5	8,7	10,4	33,5	8,3	0,6
Белый	12,8	8,1	36,6	28,1	10,8	3,7
Брюсов	42,5	5,7	7,4	38,8	5,6	0,0
Городецкий	44,1	8,0	1,8	41,1	5,0	0,0
Есенин (1915—1916)	12,2	12,5	5,9	49,1	18,4	1,9

Анализ есенинской лирики 1915—1916 годов показывает, как настойчиво поэт стремился подчинить чувству каждый ритмический ход. Выразительные функции начинают выполнять прежде всего такие необычные ямбические формы, как ПЯПЯ и ЯПЯЯ:

О сторона ковыльной пущи, ПЯЯЯ	О край дождей и непогоды, ЯЯЯЯ
Ты сердцу ровностью близка, ЯПЯЯ	Кочующая тишина ЯПЯЯ
Но и в твоей таится гуще ПЯЯЯ	Ковригой хлебною под сводом ЯЯЯЯ
Солончаковая тоска. ПЯПЯ	Надломлена твоя луна. ЯПЯЯ

(I, 202)

(I, 288)

Ритмическое замедление на словах «солончаковая тоска» и «кочующая тишина» оправдано тем мощным образным и эмоциональным зарядом, который заложен в них.

Правда, ритмическая монотонность и бесцветность свойственны некоторым стихам Есенина и этого периода. И все-таки мы можем говорить не только о своеобразии есенинского ямба, но и об эмоциональной содержательности ямбических ходов, об «осмысленности» ритмики. В стихотворении «За темной прядью перелесяиц» после поэтического описания «стороны ковыльной пущи» с ее затихшими озерами, с «неколебимой синевой» небес и зелеными степями, описания, в созерца-

⁸ Цифровые данные (в %) (за исключением подсчетов, касающихся есенинского ямба, сделанных автором, — объем выборки — 300 строк: все ямбические стихи раннего Есенина) взяты из работы А. Кондратова «Математика и поэзия» (изд. «Знание», М., 1962). Данные А. Кондратова несколько расходятся с подсчетами К. Тарновского. См.: К. Тарновский. Руски друделни ритмови, I—II. Београд, 1953.

тельную, светлую мелодию которого прокралась грустная нотка, — возникает новая тема, тема раздумья о своей судьбе, сопоставляемой с судьбой родины:

И ты, как я, в печальной требе,	ЯЯЯЯ
Забыв, кто друг тебе и враг,	ЯЯЯЯ
О розовом тоскуешь небе	ЯПЯЯ
И голубиных облаках.	ПЯПЯ

(I, 203)

Перелом в содержании выразился и в ритмическом перебое: в плавное течение пиррихий и пеонов «врывается» строка четырехударного ямба. От напевности не осталось и следа — короткие, «глухие» и «взрывные» слова первой и второй строки произносятся раздельно, затрудненно. Две последние строчки дают новый поворот мысли, а с нею и новые ямбические формы: ЯПЯЯ и ПЯПЯ. Все исполнено здесь глубокого смысла, ничто не работает вхолостую: метафоры, инверсия, паузы, растяжение слов, звукопись. Все призвано выделить кульминационный момент, в котором сосредоточился весь пафос стихотворения — порыв к прекрасному и идеальному, воплощенный в полных тонкой прелести и поэзии образах «розового неба» и «голубиных облаков».

Найденный ритмический рисунок 4-стопного ямба не удовлетворил Есенина, и ритмические искания продолжают. То он вводит в ямб цезуру, наращивая безударный слог («Есть радость в душах — топтать твой цвет»), то видоизменяет его ритмическое строение, доводя III форму ЯПЯЯ до 25—33% (см. стихи 1919 года «Душа грустит о небесах», «И небо и земля все те же»).

Затем на несколько лет ямб почти исчезает из поэзии Есенина и возвращается в нее лишь в 1923—1924 годах в качественно новом виде — с изменившимся ритмическим узором, интонационно раскованный, «разговорный» и разностоппный.

Надо сказать, что разностоппность появилась в есенинских стихах в 1915—1917 годах, но была либо «задана» и последовательно проведена через все стихотворение как правильное чередование длинных и коротких строк («В том краю, где желтая крапива», «Проплясал, проплакал дождь весенний» — 3—5-стопный хорей); либо являлась случайной гостьей, безразличной к художественным задачам («Табун», «Небо ли такое белое»). В поэзии Есенина последних лет она играет выразительную роль (см., к примеру, смену 5—6-стопного ямба в стихотворении «Прощай, Баку!»).

Аналогичные явления происходят в 1915—1916 годах и в ритмическом строе есенинских хореов и трехсложников: он становится богаче, подвижнее, выразительнее. Правда, превращение последних в дольники (за редким исключением — «Занеслися залетною птишкой»), столь характерное для поэзии XX века, относится к последующему этапу творчества Есенина.

И, наконец, именно в этот период 20-летний поэт стал прислушиваться к звучанию поэтической речи, которому такое громадное значение придавали символисты и Блок («музыка слов», «магия звуков»).

В 1915—1916 годах Есенин больше, чем прежде, заботится о мелодичности и благозвучности своих стихов, избегая сочетания трудно произносимых звуков («в сваялах», «с подтыками»), резких, дисгармоничных созвучий, например нагнетения шипящих и глухих звуков, вроде следующего:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

(I, 125)

Ср.:

Уже светает, краской тараканьей
Обведена божница по углу,
Но мелкий дождь своей молитвой ранней
Еще стучит по мутному стеклу.

(I, 226)

Если в ранних произведениях поэта аллитерация и ассонансы довольно бедны и однообразны («слышу шепот сосняка», «звоны резки, звоны гулки», «гулкий звон словно зык чугуна», «как сережки, прозвенит девичий смех»), то теперь есенинские звукоподражания отличаются большим богатством и разнообразием: тут и многоголосый шум базара («карусельный пересвист», «дробь копыт и хрип торгов», «ой, удал и многосказан лад веселый на пыжну»), ночные шорохи, шепчущий ветер; «нежно охает ячменная солома» и «заливается задорно нижегородский бубенец». Или пример из стихотворения 1916 года: «Изда-старуха челстью порога жует пахучий мякиш тишины» — изумительная по своей инструментовке картина деревенского вечера с его приглушенными звуками и шорохами, отчетливо слышимыми в наступившей тишине.

Есенин все чаще использует звуковые повторы для подкрепления смысла, выделяя с их помощью нужные слова и тем самым усиливая смысловую и эмоциональную выразительность стихов.

Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

(I, 204)

Эти строки из стихотворения «Не бродить, не мять в кустах багряных» — его фокус, в котором сконцентрировалось все волнение, вся душевная боль лирического героя: и восхищение любимой женщиной, и грустные воспоминания о былом, и горечь невозвратимой утраты. Повторение первой строфы дважды — в начале и в конце, соответствующее звуковое оформление призваны подчеркнуть особую ее значимость, повысить ее эмоциональную напряженность.

В стихотворении «Опять раскинулся узорно» звукопись помогает запечатлеть различные оттенки переживания; с изменением содержания и настроенности меняется и звуковой строй стиха: исчезают сочетания гласных «а», «я», «о» с «р» и звонкими согласными, придававшие речи звучность и бодрость («заливается задорно нижегородский бубенец», «дуга, раскалываясь, пляшет, то выныряя, то пропав, не заморозит, не обмахнет твой разукрашенный рукав»); на смену им появляются сонорные с гласными «е», «и», «ы» — и тон стихов становится меланхолическим, мечтательным:

Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе — высокая светлица.
А мне — далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней
И легкодымней пелена...

(I, 222)

Так Есенин уже в раннем творчестве заставляет звукопись служить целям образности и выразительности, используя звуковые повторы для более тонкого и глубокого выражения лирического содержания. Но в отличие от Блока, стремясь к мелодичности стихотворений, тщательно инструментуя их (особенно это относится к последнему периоду), он не отдавал предпочтения музыкальности за счет зрительных и других ощущений, и его стихи никогда не теряли своей почти осязаемой конкретности и красочности.

Ярче всего самобытность раннего Есенина обнаруживается в образной стихии. Он все рассматривал сквозь призму деревенских впечатлений, а материал для образов черпал из мира природы и крестьянского быта. Природа во всем своем блеске и очаровании становится героем его поэзии. Поэт наделил ее живой душой, заставил ее чувствовать и одновременно выражать авторские чувства. Когда ему грустно — и пашни тоскуют; когда на сердце покой и нежность, тогда и день кажется ласковым; «грезит над озером рыжий овес» в унисон с задумавшимся лирическим героем.

Иное отношение к природе мы видим у Александра Блока. В его поэзии ей отведено весьма незначительное место, как одной из граней разносторонней человеческой жизни. Иногда это фон, на котором совершаются события, или детали обстановки, подобранные мастерской рукой в строгом соответствии с поэтическим замыслом («Незнакомка», «В ресторане», «Унижение», «Авиатор»). Не природа сама по себе привлекает внимание Блока, а те ассоциации, которые она вызывает, возможность символического ее толкования (особенно в ранних стихах). Все в природе полно таинственных намеков и сокровенного смысла: в лунной красе поэту чудится тайна, весна кажется обетованной, а голый куст вербы встает «унылым призраком буден».

Олицетворение природы и растворение человека в окружающем мире — черта всего есенинского творчества. Но в его ранней поэзии не чувствуется еще того полного слияния человеческой жизни с жизнью природы, которое наблюдается в его поздней лирике. Едва ли не большее место, чем олицетворения, занимают аналогии между миром природы и бытом, совершенно чуждые Блоку.

Ягненок кудрявый — месяц
Гуляет в голубой траве.

(I, 202)

Чешет тучи лунный гребень.

(I, 218)

Льется солнечное масло
На зеленые холмы.

(I, 174)

Для есенинских образов этих лет характерно перенесение свойств и признаков животных, орудий труда и предметов крестьянского обихода на явления природы, на всю вселенную, на отвлеченные понятия (небо выводит облако из стойла; «в короб лет улягутся труды»; месяц чистит рога; время стучит клювом). Этот специфический деревенский облик образов, тесно связанных с хозяйством и бытом крестьянина, — особенность раннего творчества Есенина, в том числе и творчества 1915—1916 годов.

Его образы резко отличаются от блоковских не только по своему материалу и окраске, но и по структуре. Если Блок предпочитает образы действия и состояния, созданные путем метафоризации глаголов, то у Есенина главное место занимает предметная образность — сопоставление двух предметов по их общему признаку. Ср.: «схимник-ветер» и «ветер, бьющийся в тревоге», «седина пасмурного дня» и «день догорел в душе давно».

Если Блок переводит конкретное в отвлеченный план: бытовые, житейские, природные явления превращаются у него в символы человеческих чувств и представлений, а безобразное описание таит в себе глубокое подводное течение, то Есенин низводит все абстракции на землю, овеществляя их. И, наконец, в то время как в блоковской поэзии живописный образ встречается довольно редко и органично входит в стихотворение, сливаясь с его мелодией, у Есенина чуть не каждое слово предстает в метафорическом наряде и сложные, двух-трехъярусные метафоры («и пляшет сумрак в галочьей тревоге, согнув луну в пастушеский рожок») подчас «безразличны» к выявлению лирического чувства.

Таким образом, говоря о перестройке есенинской поэтики, происшедшей под воздействием современной ему поэзии и прежде всего лирики Блока, мы подчеркиваем, что молодой поэт сумел сохранить свою поэтическую самостоятельность, преобразовав на свой лад все воспринятое и постепенно отменяя чуждое своему таланту (экзотичность, зыбкие символы, «сны» и «туманы»). Блоковский лиризм и задумчивость, грустная задумчивость и напевные интонации в сочетании с есенинской светлой любовью ко всему существу, восхищенным любованием природой и обращением к ней и к фольклору в поисках образов, конкретное, вещное восприятие мира придают неповторимое своеобразие стихам Есенина 1915—1916 годов.

Шло время и приносило новые темы, идеи, образы. «Иные в сердце радости и боли, и новый говор липнет на язык» (I, 226). В 1917 году, словно открывая следующую страницу в своем творчестве, Есенин писал:

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

(I, 286)

Так сам поэт подметил то новое, что вошло в его творчество вместе с Блоком: печаль о прекрасном и невозможном, неопределенность, окутавшая мир; загадочность жизни, «непостижимой для ума»; ласковая, как весенний ветерок, нежность и поэтичность настроений и даже «синяя мгла».

Наступил новый этап в творчестве Сергея Есенина. В его поэзию ворвался вихрь революционной бури — в воображении поэта встают картины народного бунта, мужичьего рая. Прежние идеалы обесценены, прежние взгляды и представления или отмечены, или подверглись переоценке. Рассеялись и «чары» Блока. Не осталось и следа от бывшего преклонения, даже признавать своего недавнего учителя русским поэтом Есенин отказывается. «...Блок по недоразумению русский... поэт бесформенный... нет почти никакой фигуральности нашего языка» (V, 146). Забыты и блоковские уроки.

К черту чувства, слова в навоз.
Только образ и мощь порыва!

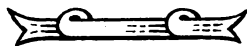
(V, 247)

Но к середине 20-х годов, когда творчество Сергея Есенина достигло своего наивысшего расцвета, оказалось, что «блоковский» период не прошел бесследно в его развитии. Больше того, можно говорить об общности отдельных тенденций, мотивов, приемов в творчестве обоих поэтов: «беспощадная искренность» (слова М. Горького о Блоке) поэтической исповеди; главная тема — Россия, родина; «щмяющая грусть» (любимый блоковский эпитет); разработка романсного жанра: тяготение к классической пушкинской ясности и строгости формы; мотивы бездомности, бродяжничества; образ «бешеной тройки», на которой умчались младость

и счастье (у Блока — «земное счастье запоздало на тройке бешеной своей»), «отшумевшей жизни» («жизнь отшумела»), клена — «сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым» (ср. блоковское «зеленею таинственный клен»).

И в некоторых новых чертах окончательно оформившегося самобытного почерка Есенина слышится эхо лирики Блока. Изменилось строение есенинских образов, все большее распространение получают метафоры действия и состояния: «снова выплыла боль души», «сердце метелит твоя улыбка» (ср. с блоковскими «затуманила сердце усталость», «жизнь пытала, жгла, коверкала»). Поэтическая речь насыщается массой повторений и синонимов, появляются в ней обращения к абстрактным понятиям и чувствам (прежде только к живым существам, вещам и явлениям природы), например к счастью, удаче, жизни, молодости (ср. у Блока: «Принимаю тебя, неудача, и удача, тебе мой привет!»). Все чаще есенинские трехсложники преобразуются в дольники, столь излюбленные Блоком, причем, как и у последнего, превращение это ведет не к «разговорности» стиха, а к большей его плавности и напевности.⁹

Все это свидетельствует о том, что блоковская поэзия была для Есенина не временным увлечением, но серьезной поэтической школой, которая помогла ему стать настоящим поэтом-лириком.



⁹ Проблема творческих связей двух поэтов в послереволюционное время и близости их поэтических систем требует специального исследования и особого разговора, выходящего за рамки данной статьи, посвященной лишь одному аспекту темы «Есенин и Блок» — влиянию блоковской поэзии на раннего Есенина.

ПОЛЕМИКА

А. Ф. БРИТКОВ

СТАРОЕ И НОВОЕ В ТРАКТОВКЕ ТРАГЕДИИ ГРИГОРИЯ МЕЛЕХОВА

Нынешняя дискуссия о герое полоховского «Тихого Дона» третья по счету. Первая началась в 1940 году, по выходе в свет заключительной части романа. Вторую открыли «Вопросы литературы» в № 12 за 1958 год. Настоящей положили начало полемические заметки Ф. Бирюкова в пятой книжке «Нового мира» за 1965 год. Подводить итоги, как хотелось бы Бирюкову («Русская литература», 1968, № 2, стр. 109), и еще рано, и уже поздно. Что грубо социологическое толкование фигуры Григория Мелехова в работах И. Лежнева и Л. Якименко оказалось несостоятельным, это стало ясно еще во второй дискуссии, до того, как в спор вступили сторонники новой точки зрения. Здесь Ф. Бирюков, А. Хватов¹ и Л. Ершов² (критики подчеркивают взаимность своей позиции) ничего принципиально нового не внесли. Новизна их трактовки в другом — в попытке выдвинуть на первый план общечеловеческие критерии трагедии Григория Мелехова, мало принимавшиеся в расчет прежними исследователями. Но что сторонники новой точки зрения впали здесь в другую крайность — затупевали критерий социально-исторический, — это заставляет предвидеть длительный разговор. Новый подход, который мог бы и в конце концов, я думаю, обогатил наше понимание трагедийности «Тихого Дона», оказался пока что не менее упрощенным, чем старый социальный схематизм, против которого восстали Бирюков, Хватов и Ершов.

В нынешней дискуссии часто произносятся слова «историзм», «историческая конкретность». Обратимся к истории — истории спора. Она основательно забыта.

1

В конце 1940 года, под занавес дискуссии, которую вскоре прервет война, появилась острая талантливая статья Б. Емельянова «О „Тихом Доне“ и его критиках». Из нее выросла концепция трагедии Григория Мелехова, ныне оспариваемая новой точкой зрения. «Огромный трагизм заложен в том именно обстоятельстве, — писал Емельянов, — что как раз в величайший момент мировой истории, когда она перестает быть стихией рока и судьбы, становясь управляемой, отсталая часть народных масс все еще, в силу ряда социально-экономических причин, продолжает какое-то время»³ вслепую искать исторические пути. «Нет более „объективно неразрешимого противоречия“ (народа с историей, — А. Б.). Но „всемирно-историческое заблуждение“ масс разве не остается до тех пор, пока они не поймут объективного хода истории?»⁴

Что это за причины? Коренная причина — неспособность мелкобуржуазных слоев народа выработать в своей среде последовательно революционное понимание путей в социальной революции. Отсюда — иллюзии о каком-то третьем пути, между диктатурой рабочего класса и диктатурой буржуазии. Как неоднократно подчеркивал В. И. Ленин, мелкобуржуазные слои народа лишь на собственном историческом опыте убеждаются, что их путь — вместе с пролетариатом, какие бы временные противоречия их ни разделяли. Тяжесть, трагичность этого опыта, писал Емельянов, и сконцентрирована в метаниях Григория Мелехова меж берегов исторического потока, т. е. в «Тихом Доне» историческое заблуждение — огромной емкости ретроспектива, включающая обобщение и социальной природы, и исторического пути значительной части народа, и многие другие (о них я скажу далее) черты эпохи.

В 50-е годы Л. Якименко, трансформируя идеи И. Лежнева и некоторых других предшественников, выдвинул противоположную трактовку. Обобщение, го-

¹ А. Хватов. Образ Григория Мелехова и концепция романа «Тихий Дон». «Русская литература», 1965, № 2, стр. 3—33.

² Л. Ф. Ершов. Русский советский роман. (Национальные традиции и новаторство). Изд. «Наука», Л., 1967, стр. 263—308.

³ «Литературный критик», 1940, № 11—12, стр. 187.

⁴ Там же, стр. 186.

ворил он, не в том, что соотносит Григория Мелехова с определенной частью народа, а в том, что его с ней разделяет. Шолохов, мол, «обобщил, типизировал судьбу тех людей из народа, которые... разорвали с народом, пришли к отщепенству».⁵ Трагично лишь это разъединение; историческое же заблуждение, поскольку в конечном счете оно изживается колеблющимися массами..., лишь может приводить к трагическим ситуациям, подобным вешенскому восстанию».⁶

Шолохов, однако, называл Григория «своеобразным символом середняцкого донского казачества».⁷ В беседе с литературоведом В. Васильевым он высказался более определенно: «... в социальном облике Григория Мелехова воплощены черты, характерные не только для известного слоя казачества, но и для крестьянства вообще».⁸ Так что ж, отщепенство характеризует эти черты? (Отметим — это нам понадобится далее, — что все сводится к трагизму судьбы Григория, духовная его драма не включается в трагедию).

Главный литературный герой величайшего романа о революции превращен был Якименко в негативный отблеск истории.

Резкое размежевание двух концепций отмечено было во всех откликах, независимо от того, с какой из них солидаризировались. Л. Ершов же подытожил следующим образом: «Когда читаешь работы Л. Якименко, доказывающего, что сущность Григория Мелехова не столько в заблуждении, сколько в отрыве от народа и отщепенстве, то видишь уязвимость положений другой части спорящих. Когда знакомишься с не менее хорошо аргументированными контртезисами А. Бритикова, то возникает сходное представление, но уже о позиции его оппонентов... обе стороны правы, убедительно доказав слабость в целом как той, так и другой концепции».⁹ Противные стороны взаимно уничтожились...

Новая точка зрения исходила из того, что старые толкования если не одинаково ошибочны, равно узки для современного взгляда. Односторонни (Хватов) и неполны (Ершов). Григория Мелехова рассматривали, мол, «в пределах жесткой социологической схемы крестьянина-середняка». И вот, говорит Бирюков, «терпит крах грубо социологический подход».¹⁰

Но если Лежнев с Якименко «наскребли разное» (Бирюков), разоблачая собственника, то Бирюков во что бы то ни стало хочет обелить Григория, представить его только тружеником. Тот же метод, только с обратным знаком. Вместо «злого собственника» (Якименко) у Бирюкова — герой, который «стоит высоко над собственниками».¹¹ Игра вперекидку: они мне «черненькое» — я им «беленькое». А грубо социологический подход будто уже потерпел крах...

«Авторы, расписывающие зажиточность семьи Мелеховых, — читаем в другой статье Бирюкова, — избыточную, тучную их сытость, меньше всего задумываются над тем, что на самом-то деле не так уж роскошна была их жизнь и немалого пота стоил кусок хлеба в доме этих тружеников».¹² Но разве искания Григория вот так брутально направлялись его имущественным состоянием? Его сытостью или голодом, его шкурным чувством собственности (Лежнев, Якименко) или, наоборот, чистейшим сознанием труженика (Бирюков)?

За Григорием Бирюков готов признать лишь «некоторые убогие сословные представления».¹³ Но возьмем эпизод, который попал в поле зрения Бирюкова. Григорий отмечает накопленный за революцию опыт классовой солидарности и решает, что нет для трудящихся общей правды: «За кусок хлеба, за деланку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться...»¹⁴ Мстительно думает о «захватчиках»: «Биться с ними насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области!» (IV, 198).

Это не чувства труженика, стоящего «высоко над собственниками», но и не «философия злого собственника» (Якименко). Разве неправы те, кто отмечает в таких эпизодах групповой коллективизм Григория,¹⁵ граничащий порой

⁵ Л. Якименко. «Тихий Дон» М. Шолохова. О мастерстве писателя. Изд. «Советский писатель», М, 1954, стр. 148.

⁶ Л. Якименко. О трагическом в «Тихом Доне» М. Шолохова. «Вопросы литературы», 1958, № 12, стр. 43 (курсив мой, — А. Б.).

⁷ «На литературном посту», 1929, № 7, стр. 44.

⁸ «Ученые записки Магнитогорского государственного педагогического института», 1957, вып. IV, стр. 64 (курсив мой, — А. Б.).

⁹ Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 283.

¹⁰ Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики. «Русская литература», 1968, № 2, стр. 109.

¹¹ Там же, стр. 96.

¹² Ф. Бирюков. Снова о Мелехове. «Новый мир», 1965, № 5, стр. 245.

¹³ Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 96.

¹⁴ М. Шолохов. Собрание сочинений в восьми томах, т. IV, Гослитиздат. М., 1957, стр. 198 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

¹⁵ В. Камянов. Григорий Мелехов как трагический характер. «Русская литература», 1960, № 4, стр. 109.

с групповым же казачьим индивидуализмом, но в то же время связывающий Григория с трудовым народом вообще? Разве можно здесь что-либо объяснить, прилепляя Мелеховых только к труженикам или только к собственникам? Бирюков снимает всю сложность насмешкой: «Бог ты мой, сколько же их, изощренных определений! Какая громоздкая номенклатура. Хоть специальный словарь создавай!»¹⁶ Бирюкову хочется чего-нибудь попроще. Получается в духе Якименко, только — с обратным знаком.

В его контркомментарии заглушена социальная противоречивость. Поймите, требует Бирюков, что перед вами «ведь приговоренный к смерти»; важна поэтому «чисто психологическая сторона»; не следует «брать слова в их чисто внешнем выражении, без причинной основы, внутреннего подтекста»,¹⁷ и т. д. Будьте бережны к индивидуальному душевному миру. Ну, а все-таки *социальный* подтекст, — в чем его «причинная основа»? Вот в чем: «Проба сделана: пустили на войсковую землю красные полки, испробовали? А теперь — за пашку!» (IV, 198); в том, что (здесь Бирюков цитирует письмо Шолохова Горькому по поводу описанного в 6-й части «Тихого Дона» восстания) «такая политика, проводимая некоторыми представителями советской» власти, иногда даже заведомыми врагами, была истолкована как желание уничтожить не классы, а казачество».¹⁸ И все.

А что Шолохов в том же эпизоде показал нам, кроме жгучей обиды на несправедливость, именно крестьянина, казака, по-своему воспринимающего извращения ленинской политики: «Пути казачества скрестились с путями безземельной мужицкой Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними насмерть» (IV, 198) и т. д., — об этом нет речи. В этих словах Бирюков готов увидеть и запальчивость, и несдержанность, и обиду приговоренного, и протест против насилия (и все это правда), но только почему-то не двойственность труженика—собственника.

Кстати, о приговоренном к смерти. Бирюков берет на себя задним числом кассировать приговор ревтрибунала. Я не берусь. Сам Григорий затруднялся «общим обидам счет провозвести» (IV, 302). Когда Штокман зашел на сходе список, в котором были и братья Мелеховы, «собрание... взорвалось криками:

- Неверно!
- Бреешь! Говорили они против власти!
- За такие подобные следует!
- В зубы им заглядывать, что ли?
- Наговоры на них!» (IV, 184).

Сколько голосов — столько мнений. Не в трибунале — здесь, в толпе, где Петра и Григория Мелеховых знал каждый. Дон кипел, когда хуторской ревком послал Мишку Кошевого арестовать своего «корешка». Михаил сам едва ушел от восставших казаков. Мы вернемся еще к причинам накала страстей. Те, кто преступно довел события до этой грани, пытались арестовать и Штокмана. Но коль скоро восстание начиналось, надо было спасать советскую власть.

Весной 1919 года (как раз во время донских событий) Ленин обратился к Плехану ВЦИК с призывом: «В момент большой опасности вы должны помогать Советской власти такой, какова она есть. Мы в эти месяцы не изменимся. Тут никакой середины нет и быть не может. Создавать эту середину искусственными парламентскими приемами — значит становиться на скользкую почву... что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невинных, сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих? — Первое лучше. И пусть меня обвинят в каких угодно смертных грехах и нарушениях свободы — я признаю себя виновным, а интересы рабочих выиграют».¹⁹ Это было сказано о тех, кто подстрекал к саботажу. Верхнедонское восстание создало обстановку куда более сложную. А Бирюков делает парламентский запрос: «Надо ли было загонять»²⁰ Мелеховых в подполье...

Не жалеть нельзя и жалеть нельзя; жалость тянет назад, ненависть толкает вперед».²¹ В этих афористических формулах — драматическое раздумье А. Неверова над противоречивым ходом жизни. Писатель работал над романом «Гуси-лебеди» в 1918—1923 годах и не решался установить ту грань, ту меру, которая дается нынче иным литературоведам росчерком пера. В трактовке Бирюкова утрачивается нечто большее, чем особенность социальных настроений Григория: историческая правда.

Я бы не задерживался на неудачном эмоциональном акценте, вложенном в слово «приговоренный», если бы Бирюков не брался и не требовал от других «все учесть, ничего не забыть и не отбросить»²² и если бы пафос сочувствия и

¹⁶ Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 96.

¹⁷ Там же, стр. 94—95.

¹⁸ «Литературное наследство», т. 70, 1963, стр. 696.

¹⁹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 294—295.

²⁰ Ф. Г. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 242.

²¹ А. Неверов, Собрание сочинений в четырех томах, т. IV, Куйбышевское книжное изд., 1958, стр. 75.

²² Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 108.

осуждения не играл в его оценках решающей роли. Вот, например, Бирюкову напомнили, как Григорий — не приговоренный, вольный в своих поступках (а для Бирюкова жажда внутренней свободы и справедливости — ценнейшая черта его героя) ударил словом приговоренного к виселице Подтелкова: «Ты, поганка, казак-жидам продал!» (III, 392). «Что ответить на это? — возражает Бирюков. — Сомневаюсь я, что они, эти „гуманисты“ (стало быть, гонители Григория, — А. Б.), знают ту ситуацию, о которой судят по отдельной реплике. Я бы советовал им... повнимательнее присмотреться к психологической реакции Григория. Что-то заставило же его содрогнуться, когда он узнал о предстоящей казни... Он огрызнулся... — и усекал прочь...»²³

Все учел, кроме того, что у Подтелкова — петля на шее и что реакция Григория, когда Подтелков велел рубить пленных офицеров, была другой: едва не зарубил самоуправца. Важна психологическая реакция, а не социальная ее оценка. А брань — что ж, на вороту не виснет. Висеть будет Подтелков. Матери будут закрывать детишкам глаза. С ужасом отпрянет толпа от виселицы. И кровь лучших сынов Тихого Дона, которых казнила толпа своим безучастием, ожесточит потом — в дни мятежа — не одного Михаила Кошевого. Репрессии будут иметь глубокие корни и в этом социальном равнодушии, и в той социальной мести, оправдываем мы то и другое или осуждаем.

Такова цена «отдельной реплики» Григория. Если думать об ответственности не только за его судьбу, но и за судьбу народа. Ни в мотивах, ни в действиях Григория почти никогда нет одной линии, которую можно было бы объяснить лишь индивидуальными обстоятельствами. В казни Подтелкова он соучаствовал только морально, а позднее и сам велел отвести пленных «в Вёшки» — «Чтоб ушли не дальше вон этого кургана!» (IV, 226). Личная месть? Но ведь позднее Григорий отменит свой приказ «сгукнуть» пленного красного казака. Благородство? Да, но — взвешенное на одних весах с жестокостью.

Не буду советовать Бирюкову исследовать психологические реакции литературного героя в социальном контексте, побуждения — через призму поступков. Этот совет он найдет в словах В. И. Ленина: «...по каким признакам судить нам о *реальных*, „помыслах и чувствах“ *реальных* личностей?.. такой признак может быть лишь один: *действия* этих личностей... *общественные действия*...»²⁴ Григорий как социальный тип раскрывается в своих поступках, а в совокупности поступков просвечивает двойственный лик самого мятежа: советы без коммунистов.

Не без основания ищет Ершов формулу трагической вины Григория на рубеже побуждений и поступков: «Григорий... мнимо виновен. И все-таки виновен, ибо требует от жизни того (учета и анализа не просто деяний и поступков, но побуждений, которые их вызвали), чего она ему еще не может дать».²⁵ Не знаю, даст ли, должна ли вообще давать жизнь кому-нибудь когда-либо такую тотальную индульгенцию. Но Бирюков широко дает ее Григорию, а вот Михаила Кошевого судит прежде всего не по побуждениям, а по поступкам — и это правильно.

Вернемся к размышлениям Григория о путях казачества и мужичьей Руси. Прислушаемся к внутреннему голосу человека, вырвавшегося из лап смерти. Приговоренный должен бы поглощен быть прежде всего этим. А над помыслами Григория царит обаяние донской земли. Всмотримся и вслушаемся, ибо мотив земли не иссякает в «Тихом Доне» до последней страницы, от лирических отступлений до политических сентенций. О земле философствуют донские генералы в кулуарах Государственного совещания. О земле говорит Подтелков: стоит ли наделять иногородних? Григорий великодушно выскажется за. О земле, которая ляжет, мол, яблоком раздора меж казаками и мужиками, Доном и Россией, толкует ему Изварин. И так далее, вплоть до конфликта в ревкоме, когда Григорий хотел бы убедить (не самого ли себя?), что ни воли, ни земли казакам больше не надо: «Земли у нас — хоть заглонишь ею» (IV, 161). Вплоть до предфинальных эпизодов, когда казаки, обсеменяющие землю, угрюмо отвернутся от «освободителя» Фомина.

Именно мотив земли больше всего и острее всего раздвигает настроения и поступки Григория. Он колеблется в романе между властью земли и трудом на земле, между групповым чувством собственности и широкой щедростью трудового человека, между родным Доном и «чужой» Россией. Очень странно: такой чуткий к чужой нечуткости в прочтении шолоховских страниц, Бирюков, хотя и видит, знает все это, не считает подобные колебания существенными, главными для Григория. Вопрос о земле, «причинная основа» всей революции в деревне, как в песок, уходит у него в оправдательные микроанализы лично-психологических мотивировок.

Ершов, наоборот, отбрасывает индивидуальный характер этих мотивировок и пытается представить их в качестве обобщающей формулы отношения казачества к советской власти. Вот Григорий подступает к председателю ревкома Котля-

²³ Там же, стр. 102.

²⁴ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 423—424.

²⁵ Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 295.

рову с вопросом, что дает казакам советская власть, и возражает: «Земли дает? Воля? Сравняет?... Земли у нас — хоть заглонись ею» (IV, 161). Комментируя, Ершов полностью разделяет эту запальчивую крайность: «Григорий Мелехов борется не за землю и даже не за волю. Что может дать Октябрьский переворот человеку, у которого хозяйственные и политические условия жизни примерно такие, какие несла на своих социально-экономических знаменах революция?»²⁶ Но разве можно здесь отделять Мелехова от тех, кто за ним стоял?

Старый большевик В. Трифонов, комиссар Особого Донского экспедиционного корпуса, сформированного для подавления Верхнедонского восстания, в докладе Центральному Комитету партии в качестве одной из мер предлагал как раз «уравнение казачьих (земельных, — А. Б.) паев».²⁷ «...Надел южных округов, — писал он, — равен в среднем 25—20 десятинам, в северо-восточных же... 2—4»,²⁸ т. е. в 5—10 раз меньше. «Все те казачьи преимущества и привилегии, — продолжает Трифонов, — которые создали из казаков верный оплот для царского самодержавия, сосредоточены исключительно на юге области...»²⁹

Было что давать и уравнивать. Территориальное экономическое неравенство являлось одной из форм классового расслоения в среде «единого» казачества. На вопрос Григория, что дает новая власть «всем (казакам, — А. Б.), какие есть», Котляров отвечает: «Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному. А не дадут — с мясом вырвем!» (IV, 161). Вот что несла Октябрьская революция трудовому казачеству «на своих социально-экономических знаменах».

В Григорьевом чувстве земли — вся противоречивость его позиции, его сознания, его социальной труженика и собственника одновременно. Трудно найти у Шолохова более проникновенный моментальный снимок двойственной социальной психологии, чем в той ярости, с какой Григорий собирался рвать из-под ног «мужиков» казачью землю, и в том отчаянии, в каком бился об нее в припадке, зазря порубив матросов.

Бирюкова, когда он твердит: «стоит высоко над собственниками» — двуединство «труженик—собственник» не устраивает само по себе, независимо от жесткого ли, гибкого ли понимания. Это ему не нужно, это мешает его трактовке трагедии Григория Мелехова и Верхнедонского восстания. Оттого ему надо доказывать, что «мелкая буржуазия предстает у них» (всех, кто когда-либо писал о «Тихом Доне») «как нечто единое. Она колеблется и восстает против советской власти — вот и все, что необходимо, по их мнению, знать для анализа образа Григория. Этим по сути дела исчерпывается вся концепция».³⁰

А это неправда. Не было единой концепции. В борьбе мнений (сам Бирюков отметил ее несколькими страницами выше)³¹ удалось отстоять реальный взгляд на изображенное в «Тихом Доне» противоречие между различными слоями народа в гражданской войне и внутри мелкобуржуазных слоев, показать несоизмеримость Григория с отщепенцами вроде Фомина (что тоже несколькими страницами ниже отмечает Бирюков).³² Для концепции заблуждения анализ «Тихого Дона» только начинался с той истины, что Григорий принадлежит к особой мелкобуржуазной группе. Отсюда вели разные пути. Бирюков отодвигает эту истину в сторону. Он убежден: не было бы перегибов — не было бы восстания; не оттолкнули бы Григория подозрениями и несправедливостями — не было бы его трагедии. Это напоминает препирательство Григория с Кошевым в знаменательном ночном разговоре:

«— Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.

— Если б меня не брали на службу, не был бы я офицером... Ну, это длинная песня!» (V, 369).

Бирюков так и не дошел до истока этой «песни».

2

То обстоятельство, что Верхнедонское восстание «возникло... в результате перегибов по отношению к казаку-середняку»³³ (как писал Шолохов Горькому, но что и без того очевидно из «Тихого Дона»), ничуть не дает оснований пренебрегать неустойчивостью казака-середняка, еще большей, чем у крестьянина. Если, конечно, смотреть на «Тихий Дон» не как на разоблачительный мартиролог, а как на эпопею о революции, какой она была вся — и сверху и снизу, и в победах и в поражениях, и в индивидуальных судьбах и в судьбе всего народа. Ибо искрив-

²⁶ Там же, стр. 286.

²⁷ В кн.: Ю. Трифонов. Отблеск костра. Изд. «Советский писатель», М., 1966, стр. 161.

²⁸ Там же, стр. 159.

²⁹ Там же, стр. 159—160.

³⁰ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 245 (курсив мой, — А. Б.).

³¹ Там же, стр. 238—239.

³² Там же, стр. 250.

³³ «Литературное наследство», т. 70, стр. 695.

ления политики партии, невольные и злонамеренные, извинительные обстоятельства и преступные (Бирюков почти не касается первых и весь упор делает на вторых), были толчком к мятежу, но в Верхнедонском восстании проявилось прежде всего то темное прошлое, которое несло в себе казачество. Ленин примерно в то самое время, признавая, что крестьянин прав, когда требует от советской власти порядка, говорил: «...много смутного, много реакционного и много предрассудков связано с этим крестьянским стремлением к порядку...»³⁴

Учитывая сложный переплет причин и обстоятельств, не могу согласиться с тем, что письмо Шолохова Горькому, которое мы недавно узнали полностью, и интересный документ — доклад старого большевика В. Трифонова в Оргбюро ЦК РКП(б) — подтверждают исходную мысль Бирюкова: «Главную причину, которая вывела колеблющуюся часть трудовой массы за черту, Шолохов видит в перегибах по отношению к казаку-середняку...»³⁵ Впрочем, Бирюков, как увидим далее, сам не тверд в этом тезисе.

Я вовсе не хочу обесценить эти документы. Они существенны для более глубокого понимания историографии «Тихого Дона». Шолоховеды несомненно оценят энтузиазм и смелость Бирюкова в иллюстрации фактов, в которые кое-кто не хотел бы углубляться. Следует только предостеречь от сенсационного их прочтения. Трагическую картину преступного головоуятия, неразберихи, злоупотреблений и прямого предательства, которую рисует доклад Трифонова, шолоховеды находили и в гневном очерке А. Серафимовича «Дон». Мне уже доводилось на него ссылаться в книге «Мастерство Михаила Шолохова». Серафимович, в то время корреспондент «Известий», писал, как и Трифонов, прямо с театра военных действий.³⁶ Факты, оценка, острота тона — все совпадает с докладом Трифонова.

Жаль, что Бирюков выпустил в своей цитации очень существенно дополняющие очерк Серафимовича факты и выводы Трифонова о политике «расказачивания». Бирюков иллюстрирует главным образом военном-карательные меры и пишет: «...перегибы творились с одобрения Троцкого».³⁷ Вероятно, так оно и было. Но письмо Трифонова старому большевику А. Сольцу, посланное параллельно с докладом в ЦК, на которое опирается Бирюков, прямых указаний на это не содержит. Трифонов возмущается Троцким — «бездарнейшим организатором» («Армию создавал не Троцкий, а мы, рядовые армейские работники»): «Путанику не место в организме, который должен точно и отчетливо работать, а военное дело именно такой организм и есть».³⁸ Речь о военном деле.

Вину же за «расказачивание» Трифонов возлагает на Донское бюро, на ряд лиц. Он пишет (Бирюков это цитирует): «Нужно прежде всего убрать из донской работы всех скомпрометированных предыдущей работой, старой „линией поведения“, товарищей».³⁹ Товарищей. Кое-кого из них он, в частном письме к Сольцу, «готов перестрелять». Здесь же, в официальном документе в ЦК, он более трезв.

Возмущение Трифонова понятно. Донбюро вздумало «вселять в Донскую область немедленно, после ее освобождения, крестьян северных губерний. Такое переселение... политически... вредно и, конечно, всегда будет служить поводом к восстанию».⁴⁰ События, стало быть, «выводились за грань» не только репрессиями, командованием, «волевыми» решениями, но и таким вот политическим недомыслием, незрелостью, исторической малограмотностью, от чего не были застрахованы и преданные партии работники. Ленин, непримиримый к тем, кто не хотел считаться с народом, отмечал вместе с тем: «Мы знаем, что товарищи, которые больше всего работали в период революции и вошли целиком в эту работу, не умели подойти к среднему крестьянству так, как нужно, не умели сделать это без ошибок, и каждую из таких ошибок подхватывали враги, каждая из таких ошибок зароняла некоторое сомнение, затрудняла вопрос об отношении к нам среднего крестьянина».⁴¹ Но Бирюков все-таки считает, что «практические работники *должны были* хорошо знать, с кем и с чем они имеют дело».⁴² Откуда эта непримиримость? Что она дает? Ленин весной 1919 года подчеркивал: «...мы никогда не были утопистами и не воображали, что коммунистическое общество мы будем строить чистенькими руками чистеньких коммунистов... Пролетариат, — вы превосходно это знаете, — не лишен недостатков и слабостей капиталистического общества».⁴³

³⁴ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 369.

³⁵ Ф. Г. Бирюков, «Тихий Дон» и его критики, стр. 97.

³⁶ См.: А. Серафимович, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М., 1948, стр. 97—103.

³⁷ Ф. Г. Бирюков, «Тихий Дон» и его критики, стр. 100.

³⁸ В кн.: Ю. Трифонов, Отблеск костра, стр. 151—152.

³⁹ Там же, стр. 160.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 225.

⁴² Ф. Г. Бирюков, «Тихий Дон» и его критики, стр. 98 (курсив мой, — А. Б.).

⁴³ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 197.

Историческое наследство, с которым пришлось иметь дело пролетариату, создавало чрезвычайно запутанные коллизии. В. Трифонов, как упоминалось, отмечал сложившееся при царизме совершенно несправедливое распределение «материальных благ между южными и северными округами»⁴⁴ казачьего Дона. Трифонов предлагал поэтому «ограничиться переселением казаков северных округов на юг — уравнением казачьих паев и наделением земель крестьян, уже живущих в донских станицах», что «пройдет безболезненно, т. к. об этом еще при самодержавии велись разговоры».⁴⁵

Смысл выправления перегибов Трифонов, таким образом, видел в гибком изменении той самой групповой собственности, которой не обнаружил в своем словаре Бирюков. Ленин еще в 1908 году, анализируя в работе «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов» опыт буржуазной революции и оценивая опасность для революционного государства муниципальной формы собственности на землю (ее разновидность, говорил он, уже существует в Области Войска донского), предупреждал, что раздача земли местным самоуправлениям чревата конфликтами,⁴⁶ так как развяжет собственнический ажиотаж. Так и случилось. В представлении казака земля была казачьей («кровью политая»), а не общегосударственной, он болезненно воспринимал ее перераспределение. Политическая ошибка Донбюро пала на разрыленную почву.

Возмущение Трифопова теми, кто вершил неоправданные репрессии, кто исходил из вреднейшей мысли о поголовной контрреволюционности казачества, не закрыло для него того, что конфликт вызван был прежде всего *социально-экономическим* просчетом. Анализ этого просчета посвящена центральная часть доклада. Но доклад помечен уже июнем 1919 года — когда восстание было в разгаре. Не все, видимо, можно было предусмотреть заранее.

Верхнедонская трагедия вошла в исторический опыт революции. На этом опыте партия выправляла свою линию, «которая, — писал Ленин, — недостаточно шла на блок, на союз, на соглашение со средним крестьянством».⁴⁷

А у Бирюкова: «Столкнулись, следовательно, две линии — ленинская, которую отстаивал и Трифонов... Другая линия — авантюристическая. Она предполагала насилие, администрирование, основывалась на самоуверенности и волевом решении».⁴⁸ Прямо-таки предполагала и основывалась! Не глядя на то, что Трифонов, которого Бирюков берет в свидетели, дает иную оценку: «Огульное обвинение казаков в контрреволюционности является, конечно, плодом незрелого *размышления*».⁴⁹

Политика партии в отношении крестьянства не могла выйти готовенькой из теоретической лаборатории. Весной 1919 года Ленин в отчете ЦК писал: «Что касается мелкобуржуазных элементов, то здесь задача партии еще не разрешена окончательно... Теоретически мы сошлись на том, что средний крестьянин не враг наш, что он требует к себе особого отношения, что здесь дело будет меняться в зависимости от многочисленных привходящих моментов революции, в частности, в связи с решением вопроса: за патриотизм или против патриотизма?»⁵⁰ (На действия местных советских органов на юге не могли не повлиять автономистские и сепаратистские настроения донцов). Несколько позднее Ленин, резко предупреждая о недопустимости насилия, командования, предлагая коммунистам учиться у крестьянина, объяснял: «Как свергнуть буржуазию, как ее подавлять, — этому мы научились и этим гордимся. Как урегулировать отношения с миллионами среднего крестьянства, каким путем завоевать его доверие, этому мы еще не научились, — это надо сказать открыто».⁵¹ Определить отношение к казакам с их еще более изменчивыми социально-политическими симпатиями было значительно трудней.

Бирюков несколько упрощает обстоятельства Верхнедонского восстания, когда переносит центр тяжести на проиcки авантюристов и «самодетельность» догматиков (отсюда они с Ершовым и Хватовым проводят линию преемственности к беззакониям 30-х годов). В совокупности причин восстания Бирюков выделяет репрессии, и здесь неизбежно появляется противоречащий нюанс. «Вешенское восстание, — пишет он в «Новом мире», — не имело бы такого размаха и таких последствий, если бы вовремя убрали ретивых загибчиков, щелкоперов, прямых провокаторов».⁵² «Не имело бы такого размаха...» Стало быть, все равно произошло бы, только в ослабленной форме? Сохраняется этот нюанс и во второй статье:

⁴⁴ Ю. Трифонов. Отблеск костра, стр. 159.

⁴⁵ Там же, стр. 161.

⁴⁶ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 314—315 и др.

⁴⁷ Там же, т. 38, стр. 146.

⁴⁸ Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 100.

⁴⁹ Ю. Трифонов. Отблеск костра, стр. 159 (курсив мой, — А. Б.).

⁵⁰ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 135—136.

⁵¹ Там же, стр. 205.

⁵² Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 250.

«Тут весомыми оказались *привходящие* причины — *перегибы*, оторванность руководителей от массы». ⁵³ Стало быть, из «главной причины», какой они были на предыдущей странице (стр. 97), перегибы превратились в привходящую? Тайной лишь осталась действительно главная «причинная основа»...

Поэтому резонен вопрос, заданный Бирюкову Ю. Андреевым: «Не есть ли эта трактовка... умаление одного из величайших произведений нашего века, не есть ли это подмена целого частным?» ⁵⁴ «Нет, — отвечает Бирюков, — не есть. Защита ленинизма на любом (!) примере — положительном, когда говорится о том, как следует поступать, или отрицательном, когда учитываются уроки промахов (а в романе примеры и того и другого ряда) — это самая возвышенная цель современной политики и нашего искусства». ⁵⁵ Все это прекрасно. Но разве расщепление романа на «примеры» не есть еще одна подмена общего частным? Разве размыливание целостно отраженной в «Тихом Доне» исторической истины не есть идейное и художественное умаление того и другого?

Как же защищает Бирюков ленинизм «на любом примере»? Субъективно отобранные эпизоды перетолковываются то в ослабительном наклонении, то в повелительном. Судите сами: «если бы все время вот так по-человечески... разговаривали бы с Мелеховыми... они не были бы нашими врагами»; «надо ли было загонять их туда (в подполье, — А. Б.) и тем самым толкать к мятежу»; «если в этой сложной ситуации... осуществлялась бы ленинская политика...»; «Кошевому надо было проявить больше интереса к тому, как Мелехов искупал свою вину». ⁵⁶

От грамматики Бирюков переходит к гипотезам: «Предположим другое. Кошевой поручился бы за него, помог» и т. д.; «Но если бы в этом случае Мелехов переметнулся в банду? Тогда — иное дело. Тогда мы смотрели бы на него без всякого сочувствия». ⁵⁷ Стало быть, не исключен и такой оборот? *Мелехов все равно мог пойти тем же путем, невзирая на исправившегося Кошевого?* Бирюков, кажется, не считает это возможным. Но зачем тогда подобные предположения? И как тогда быть с уже знакомой нам, все разрешающей утопической развязкой: «Если бы вовремя убрали ретивых загибщиков...»?

Логика Григорьева характера не укладывается в тезис «причина трагедии Мелехова — перегибы, несправедливое недоверие». А так как собственные заблуждения Григория Бирюков отодвигает в сторону, «причинная основа» трагизма повисает в воздухе.

Касаясь конкретных эпизодов, авторы новой точки зрения еще больше подрывают свою позицию. Кошевому принадлежит фраза: «Я вам, голуби, покажу, что такое советская власть!» (V, 339). Хватов уверяет, что это обращено к «казакам», к народу; здесь, мол, пример того, что действия Кошевого не всегда согласованы «с требованиями гуманизма, с интересами исторической целесообразности». ⁵⁸

У Шолохова все не так. Сакраментальную угрозу Кошевой произносит про себя и вот в какой связи. «Боже мой, — думал Кошевой, — каким же сукиным сыном был он все это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по-настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом...» (V, 339). Палачи вроде Кирюшки Громова (во время восстания рубил пленных красноармейцев, чтоб пользоваться солдатскими ботинками) возвращались домой с оружием.

И тем не менее Кошевой при встрече сдержан: «С прибытием тебя, Кирилл Иванович!» (V, 341). Иванович в тот час угощался дома с друзьями. На регистрацию в военкомат, конечно, идти отказался. Махнул с порожка в сады. Кошевой безуспешно ловил стволом нагана мелькавшую меж яблонь его фигуру. Было так: либо бандит Кирюшка председателя ревкома Кошевого — либо Кошевой бандита Кирюшку.

Вот «чего стоит формула» ⁵⁹ «Я вам, голуби, покажу, что такое советская власть!» и против кого она направлена. Вот что якобы «не согласовывалось с требованиями гуманизма, с интересами исторической целесообразности» (Хватов). Вот как в конкретном эпизоде (он не обеляет, разумеется, всех поступков Кошевого) была, по словам Бирюкова, «потеряна мера» и как «все это... не объединяло, а разъединяло» Кошевого «с народом». Я думаю, меру теряют критики. Тут можно только присоединиться к Бирюкову: «Каждый раз наталкиваешься на невозможные искажения, „исправления“ шолоховского текста, приблизительное или просто превратное прочтение». ⁶⁰

⁵³ Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 98 (курсив мой, — А. Б.).

⁵⁴ «Русская литература», 1967, № 3, стр. 232.

⁵⁵ Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 101.

⁵⁶ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 241, 242, 243, 246.

⁵⁷ Там же, стр. 249.

⁵⁸ А. Хватов. Образ Григория Мелехова и концепция романа «Тихий Дон», стр. 31.

⁵⁹ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 249; см. также: Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 103.

⁶⁰ Ф. Г. Бирюков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 91.

Восстание перегорело, а казаки все еще «дюже недовольные продразверсткой. В Богучарском уезде восстание» (V, 383), сообщит вскоре Фомин Григорию и не посоветует идти регистрироваться в Чека. С тем встретил Кошевой своего «ко-решка», когда Григорий вернулся из Первой конной. Григорий-то знал, что с прошлым покончено. А Кошевой видел, как оно, это прошлое, возвращается. Помыслили они друг друга по обе стороны фронта. Только мы, глазами Шолохова заглянувшие в самую душу Григория, узнали, что он истинно искупал свою вину перед новой властью. И все-таки стоим на том, что «Кошевому надо было проявить больше интереса»⁶¹ к этому искуплению.

Правда, надо было. Да ведь не было под рукой ни 7-й части «Тихого Дона», ни хотя бы прямого провода с Буденным. Отношение к бывшему командиру повстанческой дивизии, надо думать, было несколько сложнее, чем к тем рядовым казакам, что перешли от белых и о ком с одобрением отзывался Калинин в приводимой Бирюковым цитате. (Между прочим, Калинин ничего не говорит о безоговорочном политическом доверии, как получается у Бирюкова).⁶²

Много было Григорием пролито своей и чужой крови, и должно было взвесить, чья «переважит». «Его не поняли, оттолкнули» — и в этом для Бирюкова вся правда. А правда в том, что и не протянуть руку было нельзя, и протянуть с легким сердцем было невозможно. Я не говорю о бесцеремонности, с какой оттолкнул Григория Кошевой. Речь идет о самой ситуации. Я не берусь выносить категорический приговор. Но должен ли гуманный эксперимент («Предположим... Кошевой поручился бы за него») ставить на карту нечто гораздо большее, чем судьба одного человека?

Все дело в конкретной ситуации. Бирюков ее игнорирует, как только она не в пользу Григория. А она, мы видели, не давала безусловного права на «поручительство», будь на месте Кошевого и более выдержанный коммунист. В конце концов не на виселицу, а на регистрацию посылал он человека, однажды уже ставшего одним из вожаков мятежа, и в обстановке, когда вновь началось брожение. Предлагая забыть обо всем, что тяготело над Григорием и Кошевым в час трудного ночного разговора, Бирюков слишком легко развязывает сложный узел.

Григорий оценивает неласковую встречу иначе. «Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покрывает все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые грехи сполна?» (V, 372).

Кошевой озлоблен и несправедлив. «Как волка ни корми, — бросает он Григорию, — он в лес глядит»; «А чем ты лучше (Кириушки Громова, — А. Б.)... ты непременно хуже, опасней»; «Ревтрибунал или Чека... торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился — получай свой паек с довеском»; «ежели добром не пойдешь (на регистрацию, — А. Б.) — погоню под конвоем» (V, 369—372).

Тон приведенного выше отступления иной. В нем смешались голоса, куда более сочувственные Григорию, — авторский и его собственный. Но и там — отголосок сказанного Кошевым. Может быть, горькая интонация этого отступления напоминает нам, как Григорий, примкнув к восстанию, сам вынужден был силой обстоятельств бывать не то что жестким — жестоким? Помнил ли, как заставлял Степана вступить в казачье войнство? Как цыкнул на Дуняшку, чтоб вырвала сердце, если не в силах вырвать из него Кошевого? Так или не так, но оба голоса — автора и Григория — не очень созвучны сентенциям Бирюкова: не поняли, оттолкнули, не протянули руки.

Тем не менее не следует отбрасывать долю истины, которая есть в самом намерении Бирюкова дать более определенную оценку Кошевому и образам других коммунистов «Тихого Дона». П. Строков, я думаю, неправ, когда говорит, что из ошибок Кошевого мы можем лишь извлечь урок, но не можем судить их нравственным судом.⁶³ Какие-то проступки судить бессмысленно, ибо их повторяли многие люди, ограниченные условиями исторического времени, среды, личного опыта. Но какие-то и сейчас оправдать нельзя. Самочинное убийство полупомешанного деда Гришаки ни в какие объяснения не укладывается. Строков о нем не вспоминает. А ведь это не отсутствие «сентиментальной чувствительности» и никакого отношения не имеет к революционной беспощадности.

Бессмысленная месть унижает классовую правоту Кошевого, и тем сильней, что он этого не сознает. Бунчук, кому по должности в трибунале довелось расстреливать людей с мозолистыми руками — виновных, совершивших преступления, почернел и высох. Кошевой не испытывает (и сам говорит об этом) угрызений совести. Не осудив преступление Кошевого нравственно, невозможно извлечь урока, который положил бы предел подобному. Не будем забывать предупрежде-

⁶¹ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 246.

⁶² См.: там же, стр. 247—248.

⁶³ Петр Строков. Эпопея прозрения. «Октябрь», 1966, № 12, стр. 177.

ния Дзержинского чекистам (оно касается любого коммуниста): у них должна быть холодная голова, но горячее сердце и чистые руки.

Бриуков поэтому имеет основание возражать Строкову.⁶⁴ Но он обесценивает свою правоту, не делая различия между бесспорно порочащим эпизодом и по меньшей мере спорно перетолкованной угрозой «голубям» типа Кирюшки. Что «превращает» у Кошевого, загибы или честное исполнение долга? Ведь Шолохов утверждал, и Бриуков приводит эти слова, что ввел в 6-ю часть «щелкоперов от советской власти... для того, чтобы, *противопоставив* им Кошевого, Штокмана, Ивана Алексеевича и др., показать, что не все такие „загибщики“». ⁶⁵ Бриуков это цитирует, делает в пользу Кошевого несколько оговорок — и нанизывает пример за примером в прямо противоположном духе. Концы с концами не сходятся.

Бриуков как будто соглашается со Строковым в том, что Кошевой и другие коммунисты сердцем были чисты и верны своему классовому долгу.⁶⁶ А вслед за тем так уточняет свое понимание их ошибок, что к Котлярову, Кошевому и Подтелкову оказываются отнесены слова Ленина: «Мы выгнали старых бюрократов, но они снова пришли, они называют себя „камунистами“, если не могут сказать коммунист, они нацепляют красную петличку, они лезут на теплое местечко. Как тут быть? Опять и опять с этой нечистью бороться, опять и опять, если эта нечисть пролезла, чистить, выгонять...» ⁶⁷ и т. д. У рядовых солдат партии в «Тихом Доне» слишком мало общего с этой нечистью. Не красным ведь бантиком, но кровью и жизнью отмечена их принадлежность революции. Можно понять, если не оправдать, почему воспитанный жестокими нравами Дона, очерстевший за войну, полуграмотный казак Подтелков велел рубить пленных, но я затрудняюсь понять, во имя какой правды унижает его сегодня этим сопоставлением образованный гуманист.

И тем не менее следует отдать должное если не тому, что и как говорит, то по крайней мере, из чего исходит Бриуков. Его статьи подняли целый пласт идей и образов «Тихого Дона», до сих пор не нашедший по-настоящему объективного освещения в литературной критике, в том числе и в работах автора этих строк. Суровым, зачастую жестоко несправедливым обвинениям, предъявляемым Григорию Мелехову, сопутствовала сплошь голубая характеристика почти всех персонажей, действующих от имени партии. Всех мы их объединяли именем «коммунисты». «Наши люди» — так озаглавлен соответствующий раздел в книге Лежнева «Михаил Шолохов» (1948). Под одной шапкой собраны здесь и Подтелков, и Кошевой, и Бунчук, почти без дифференциации, поскольку каждый в самом деле воплощает какие-то черты коммуниста.

Кстати, о Бунчуке. Этому настоящему ленинцу, жизнью заплатившему за преждевременную, но благородную попытку поднять выжидающих донцов на защиту советской власти, человеку на редкость цельно совместившему политическую непреклонность со знанием казачества и гуманностью, — ему не нашлось места в статьях Бриукова. А ведь сопоставление в этом плане Бунчука со Штокманом ⁶⁸ или Кошевым отвечало бы его идеям, если бы их не пронизывал дух отрицания.

3

Итог спора о Григории Мелехове до момента, когда в него вступили Бриуков, Хватов и Ершов, был вовсе не в том, что противостояли две противоположные концепции, обе одинаково односторонние, обе схематизирующие социальную сущность Григория. Итог, по-моему, в том, что спор обратил нас к действительно истоку трагедии. Концепция заблуждения, мне кажется, вернула трактовке образа Григория Мелехова подлинно исторический смысл. Усилиями Якименко, Лежнева и их сторонников неправомерно выпячена была негативная сторона образа. Суть концепции исторического заблуждения, во-первых, в соотношении эволюции Григория действительно с судьбой части народа, а не кучки отщепенцев, и, во-вторых, в обосновании исторической разрешимости его заблуждений. Последнее создает предпосылку конкретно-социальной, не отвлеченно-нравственной оценки «очарования человека» — качества, подчеркнутого Шолоховым в Григории Мелехове.

Показательно, что у авторов новой точки зрения трагизм Григория безысходен «не хуже», чем у Лежнева с Якименко. Бриуков вовсе ничего не говорит об его исторической разрешимости. Финал трагедии у него — вступление в банду:

⁶⁴ Ф. Г. Бриуков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 106.

⁶⁵ «Литературное наследство», т. 70, стр. 696 (курсив мой, — А. Б.).

⁶⁶ Ф. Г. Бриуков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 106.

⁶⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 15—16. См.: Ф. Г. Бриуков. «Тихий Дон» и его критики, стр. 106—107.

⁶⁸ См. в моей книге «Мастерство Михаила Шолохова» (изд. «Наука», М.—Л., 1964, ср. стр. 116—117).

«Таков конец. Такова развязка»;⁶⁹ вот «если бы» и т. д. Ершов, казалось бы, берется нам показать, что в «Тихом Доне»... дана трагедия... без пессимизма буржуазной драмы (?).⁷⁰ Но когда добавляет: «...поскольку в финале утверждается неизбежное торжество социальной правды»,⁷¹ — делается ясно, что речь идет о чем-то внешнем, ибо Григорий-то далек от торжества. Логика та же, что у Якименко, у которого трагизм снимается жизнеутверждающим пафосом революционного народа.⁷² Смысл «очищающего душу катарсиса»⁷³ Ершов так и не раскрывает, а с читателем делится прямо противоположным: «Григорий не видит выхода из создавшегося положения. Отсюда... мотив бездорожья, тупика, горчайшей безысходности».⁷⁴

Есть в финале все это. Но есть и нечто другое, ускользнувшее от сторонников новой точки зрения точно так же, как и от «отщепенцев». Вот эпизод перед самой концовкой — после банды, после смерти Аксиньи и знаменитого «черного солнца». Отсидевшись в землянке дезертиров, Григорий собрался в дорогу.

«— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть заметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы до весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения» (V, 494; курсив мой, — А. Б.).

Ни Ершов, ни Хватов, ни Бирюков не касаются этих светлых движений души в глубоко трагедийные минуты. Хотя, казалось бы, где как не в них заявляет о себе «не собственно и обнаженно политическое, а нравственное начало».⁷⁵ Анализ катарсиса испортил бы все построение, основанное на безнадежной «тягбе» личности с историей.

Видимо, неожиданно для себя новая точка зрения сомкнулась со старой концепцией отщепенства. Обе сошлись на том, что, как говорит Якименко, Григорию «не будет места в начинающейся новой жизни».⁷⁶ Только если прежде это утверждали как закономерность, то ныне — сожалеют и говорят: закономерность была «неправильной»; вот если бы...

Но вот что примечательно. Резиньядии на тот счет, что Григорий «не прибил к нам» (Бирюков), меланхолическая регистрация «тупика, горчайшей безысходности» (Ершов) — все это расходится с шолоховской трактовкой. На вопрос болгарских писателей, какова судьба людей типа Григория Мелехова. Шолохов ответил: «Люди этого типа шли к советской власти очень извилистым путем. Некоторые из них избрали окончательный разрыв с советской действительностью. Большинство же сблизилось с советской властью. Они строили наше государство, служили в Советской Армии во время Отечественной войны».⁷⁷

Большинство сблизилось. Не правда ли, несколько иначе, чем у Бирюкова: «...если этого не произошло, то не только он виноват...»⁷⁸ И дело не только в том, что Шолохов говорит о людях типа Мелехова, а Бирюков об одном лишь Григории. Несклько ниже Бирюков в той же заупокойной интонации скажет и о членах мелеховской семьи: «Но если бы предстали перед нами сейчас эти люди, мы протянули бы им руку...»⁷⁹ (Сомневаюсь, чтобы все кинулись пожимать руку фоминскому другу Петру Мелехову). Дело прежде всего в том, что Бирюков и Хватов с Ершовым рассматривают образ Григория локально. Вопрос о соотносении Григория с народом занимает их очень мало. Шолохов же ощущает в судьбе своего героя судьбы собратьев по несчастью. Для Бирюкова трагизм замкнут личными обстоятельствами и оттого упирается в безысходность биографии.

Мне уже доводилось обращать внимание на то, что трагедия Григория как бы раздваивается на трагедию действий, поступков и трагедию духа, сознания; что в трагизме внутреннем сказывается оптимистическая закономерность, уже в полной мере раскрывающаяся в преодолении заблуждений народом, который проходит

⁶⁹ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 249.

⁷⁰ Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 307.

⁷¹ Там же.

⁷² См., например: Л. Якименко. 1) «Тихий Дон» М. Шолохова, стр. 156; 2) Творчество М. А. Шолохова. Изд. «Советский писатель», М., 1964, стр. 267.

⁷³ Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 296.

⁷⁴ Там же, стр. 295 (курсив мой, — А. Б.).

⁷⁵ Там же, стр. 294.

⁷⁶ Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова, стр. 186.

⁷⁷ Михаил Шолохов в България. «Литературен фронт» (София), 1951, № 45, 12 июля.

⁷⁸ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 250.

⁷⁹ Там же.

перед нами в «Тихом Доне»; что, стало быть, в своей духовной трагедии Григорий соотносится с народом не только негативно, но и позитивно, выражая постепенное прозрение отсталой его части.⁸⁰

Разве он не подошел к отрицанию «третьего пути» в революции? И разве как раз в этом — личном, индивидуальном и особенном — не сблизился с массовым и всеобщим?

Для Якименко вся суть в том, что Григорий «понял антинародный... смысл борьбы против революции, но не пришел к признанию»⁸¹ всенародной правды. Для сторонников же концепции заблуждения куда важней, что хотя и не пришел, но со всей силой понял гибельность «двух правд», особого казачьего пути. Этот положительный итог тем и существен, что поистине выстрадан. Оттуда, из глубоко индивидуального, трагического и горького перебарывается мостик к большому и всеобщему, главному и оптимистическому, характерному именно для пролетарской революции. Именно это и пытаются перечеркнуть наши идеологические противники,⁸² ибо здесь сильнее всего утверждается в «Тихом Доне» неизбежность прихода к советской власти наименее сознательной части народа.

Как раз это-то и было оставлено без внимания новой точкой зрения.

Концепция заблуждения не сразу пришла к выводу, что прозрение Григория — своеобразный катарсис трагедии. Емельянов искал оптимистическое начало романа лишь вне Григория и даже — против Григория. Блестящий анализ исторического заблуждения заканчивался у него ложным противопоставлением Григория Мелехова революционному народу, что впоследствии подхватил и развил Якименко.

Как видим, у концепции исторического заблуждения были свои заблуждения. Она и далее должна быть усовершенствована. В частности, необходим более глубокий синтез общечеловеческого и социально-исторического критериев трагедии Григория Мелехова. Думаю однако, что на ее основе возможен этот синтез, и какой-то шаг в этом направлении сделан.

Шолохов сказал как-то: «Больше всего нужно для писателя, — ему самому нужно, — передать движение души человека. Я хотел рассказать об этом очаровании человека в Григории Мелехове...»⁸³ Разве не человечно преодоление заблуждений в ходе народной революции? Разве не человечно *такое* движение души?

Хватов сетует на недостаточное внимание предшественников к «очарованию человека», но сам вместо эволюции прочерчивает даже инволюцию. Две горьковские темы, говорит он, — тема обогащения человека, соприкоснувшегося с плодотворным течением истории, и тема *распада личности* (!), неспособной ответить на требования истории, «у Шолохова... синтезируются в одном образе — образе Григория Мелехова».⁸⁴

Подмена социального критерия литературно-тематической реминисценцией ведет Хватова дальше. По аналогии с горьковскими типами людей, выпадающих из своей среды, Григорий у него в эпизодах восстания якобы — «белая ворона», стоит «боком к мятежу»,⁸⁵ как стоял «боком» к своей среде упоминаемый Хватовым Егор Булычов.

А ведь это упрощает действительное отношение Григория к своей среде. К обманувшимся и обманутым трудящимся казакам он никогда не стоял боком. Он заблуждался вместе с ними. Он даже приходил к разьединению с ними, потому что в своих крайностях острее выражал их иллюзии. «Белой вороной» он был среди примкнувших к мятежу белых «инструкторов». В том-то и был тягчайший его крест, что, чувствуя, казалось бы, чем дышит народ, он повел часть народа против народа же. А когда казаки поняли, что только советская власть, при всех допущенных на Дону злоупотреблениях, несет станицам мир и свободный от эксплуатации труд, то же чувство общности с трудящимися привело Григория к переоценке ценностей.

Очень важно, что все человечески прекрасное пропитано в Григории соками трудового Дона. В возвращении Григория на родной хутор чувство общности с породившей его средой сыграло не последнюю роль. Мы оставляем его, казалось бы, потерявшим все: место под солнцем, любовь, семью и родных. Но в его жизни осталось все-таки нечто большое и важное — потребность в людях своей трудовой породы. И оттого, а не по «исчерпанности и обескровленности души» (Ершов), он возвращается, пренебрегая грозившей ему расплатой. Это — возвра-

⁸⁰ См.: А. Ф. Бритиков. Мастерство Михаила Шолохова, стр. 38.

⁸¹ Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова, стр. 256.

⁸² См.: Н. Muchnik. Scholokhov and Tolstoy. «Russian Review», 1957, vol. 16, № 2.

⁸³ В. Крупин. В гостях у М. А. Шолохова. «Советская Россия», 1957, № 201, 25 августа.

⁸⁴ А. Хватов. Образ Григория Мелехова и концепция романа «Тихий Дон», стр. 13.

⁸⁵ Там же, стр. 14.

щение к своему истоку. Шолохов, конечно, очень далек от идиллии. Не зря холодное солнце освещает покаянный путь Григория. И все-таки мы были свидетелями того, как в глубинных тайниках этой сложной натуры побеждало классовое чувство, родственное тому, что помогло казачеству преодолеть разъединение с рабоче-крестьянской Россией. В трагических испытаниях коллективизм Григория очищался от группового эгоизма, в крушении иллюзий об особом казачьем пути созревало чувство общности со всем народом.

Новая точка зрения, казалось бы, больше всего озабоченная тем, чтобы подчеркнуть в Григории трудовое начало, поразительно глуха к этой нравственной эволюции, раскрывающей неистребимость трудовой социальной природы.

Ершов, например, конструирует для Григория трагедию неосуществленных возможностей, и в ней исчезает Григорий-казак, сын земли и своего времени. Эта абстрактная трагедия, кстати сказать, появляется и в новой статье Якименко. Только если Якименко по старинке повторяет, что Григорий не воспользовался возможностями, предоставленными ему революцией, то у Ершова, наоборот, революция не предоставила Григорию возможность осуществить свой идеал, а именно — свободное волеизъявление и доверие (потому-то Григорий у Ершова и борется «не за землю и даже не за волю»). И еще одно различие: у Якименко «трагедия неиспользованных исторических возможностей» — «помимо прочего»;⁸⁶ Ершов же выдвигает ее в центр.

Ершов не отрицает «заблуждений» Григория, но понимает их как простые ошибки и, естественно, не считает подлинно трагическими. «Не будем спорить, — говорит он, — Шолохов действительно много пишет о заблуждениях Григория... Но если бы только этим исчерпывалось содержание поисков Григория, тогда и трагедии бы (не личной — героя, а трагической эпопеи) не было».⁸⁷ Эпический трагизм, по Ершову, в том, что поскольку белые социально чужды Мелехову, а красные оскорбляют недоверием, он ищет «нравственно-социальной гармонии. Иллюзии, но благородная; отсюда трагизм ситуации».⁸⁸

Коллизия существенная. Но почему она эпична, коль скоро коснулась сравнительно узкого круга участников восстания? А трагическое заблуждение повстанцев (и не только на Дону) затронуло большие людские массы и наложило отпечаток на целый период гражданской войны. С другой стороны: настолько ли трагично воспринимает Григорий невозможность полного доверия к нему и таким, как он, если все-таки сознает правомочность недоверия?

Ершов странным образом уравнивает иллюзии Григория о путях казачества в революции с простыми ошибками — отождествляет их, например, с промахами красных в борьбе с белыми. Ленин говорил, что красные ошибались, считая $2 \times 2 = 5$, а белые — $2 \times 2 =$ стеариновая свечка.

Однако громадная, принципиальная разница между ошибками типа $2 \times 2 = 5$, порожденными недомыслием отдельных людей или случайным стечением обстоятельств, и заблуждениями не личного характера, но социального. Последние обусловлены всем строем общественного сознания промежуточных слоев, которым история уготовливает извилистый путь, ибо наделяет их социально-историческим предрассудком. К прозрению они приходят в результате длительного и трудного сравнения двух социальных систем, двух политик, двух моралей. Не случайно Емельянов назвал заблуждения Григория *всемирно-историческими*.

Из этого широкого потока Ершов обособляет стремление Григория к социально-нравственной гармонии. Неудовлетворенную жажду демократизма он делает доминантой трагических переживаний. Григорий у Ершова «убеждается к финалу эпопеи в том, что его идеал трудно достигим. Мысль о жизни без доверия к людям, без свободы волеизъявления» кажется ему «нестерпимой»; события развертываются так, что постепенно у него отбирается то, в чем «судьба не отказывает, — как верно заметил Н. Грибачев, — и последнему нищему, — право на свой взгляд, на свои мнения».⁸⁹ И наконец: «Идеал Григория выдвинут ходом истории, но конкретные обстоятельства сложились так, что пока он в полной мере неосуществим».⁹⁰

Не слишком ли пристального внимания к себе лично требует Григорий у Ершова от истории? Обещала ли история особое покровительство людям исключительной судьбы? (Ведь что касается доверия, волеизъявления и т. п., то те Григории Мелеховы, которые не командовали дивизией, не побывали в бандах, — они были совсем в другом положении). Разве осуществимость идеала, хотя и трудная, достижимость его, хотя и не «в полной мере», создает истинно трагическую

⁸⁶ Л. Якименко. Философия истории и методология литературоведческого исследования. (Еще раз о судьбе Григория Мелехова). «Вопросы литературы», 1968, № 7, стр. 8.

⁸⁷ Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 294.

⁸⁸ Там же, стр. 292.

⁸⁹ Там же, стр. 295.

⁹⁰ Там же.

коллизии? (Ершов, надо полагать, имел в виду нечто иное, когда говорил нам о безысходности Григория, о тупике).

Вопросов, как видим, немало. И один из них: переживает ли в конце концов сам Григорий ущемленное свое волеизъявление как трагедию?

По Ершову — элемент трагизма заключен уже в угрозе, которой Котляров оборвал спор в хуторском ревкоме о том, что дает казакам советская власть («...ты поперек дороги нам не становись. Стопчем!..» — IV, 162). «Элемент спора, дискуссии, который вносит в эту беседу Григорий...» — комментирует Ершов, — снимается угрозой насилия.⁹¹ Но сколько раз самому Григорию доводилось быть и виновником, и свидетелем ограничения воли и страстей! И всегда ли справедливым? Вспомним его непреклонность в сердечных делах Дуняшки, вспомним насилие по отношению к Степану Астахову. Не в семейной ведь ссоре пустил в ход плеть Григорий, когда казаки (и в их числе отец, Пантелей Прокофьевич) бросили повстанческий фронт. Григорий не так наивен, чтобы не понять в конце концов, что «волеизъявление» всегда ограничено. О том он сам говорит повстанцам, недовольным воскрешением старых порядков после соединения с белой армией: «по нынешним временам» супротивничать да «языками орудовать» — «аккурат до полевых судов да штрафных рот» (V, 149). Он же обрывает повстанцев («Нету больше об этом разговоров!» — IV, 273), всерьез принявших было его «шутку»: повернуть дивизию и ударить по своей верхушке.

В споре в ревкоме самое горькое для Григория, мне кажется, не то, что ему грубо запретили критиковать советские порядки, а то, что опять он не нашел ответа на свои сомнения, чем новая власть лучше старой, что дает она казакам. Он унес из ревкома не столько обиду, сколько «глухое неумолчное раздражение», что вот вновь «стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их» (IV, 162). Это было предвестием того мучительного вопроса, который станет перед ним во время восстания: «Кто нас (не его лично, — А. Б.) сведет с советской властью? Как нашим общим обидам счет произвести?» (IV, 302). Григорий будет страдать сильнее всего оттого, что ему (но в том-то и дело, что не одному ему!) жизнь не дала сразу, как Кошевому или Котлярову, понимания путей народной судьбы.

Да, трагическая вина Григория и в том, что он «требует от жизни того... чего она ему еще не может дать»,⁹² но трагизм не в неосуществимости свободного волеизъявления и доверия, а в недостижимости для него ясного понимания хода жизни.

В его трагическом круге займут место и горечь недоверия, и разочарование в «волеизъявлениях». Но если взять даже наиболее личные его чувства, то страдает он оттого, что ему больше, чем кому-либо из повстанцев, пришлось испытать «неправильный ход» жизни. Это — эпицентр его ощущения трагизма своей жизни.

Сюда ведет не только логика поступков, мыслей и чувств, но и поэтика, в частности символ бездорожья, о котором так много пишут исследователи. Ершов ограничивает этот символ Григорьевой драмой «неосуществленных надежд». А ведь символ бездорожья неотделим от казачьих топ — это они потеряли направление. Самые горькие переживания Григория связаны с историческим заблуждением казачества. Защитники демократизма и вольнолюбия, право же, оказывают Григорию Мелехову плохую услугу, награждая его чувствами более личными, более эгоистичными, чем они есть.

Так обстоит с его субъективным ощущением трагизма.

Но есть и другая, не менее, а более важная — *объективная* сторона вопроса о демократических идеалах. «Тихий Дон» — о том этапе истории, когда реласился вопрос кто кого, и революция не обещала и не могла тогда обещать немедленного и полного осуществления идеалов человека. Григорий это и понимает (когда вынужден логикой вещей нарушать свои же принципы или когда признает долю истины в недоверии Кошевого), и не понимает (когда требует для себя прав, в которых сам отказывает другим, или когда правота Кошевого для Григория меркнет перед суровостью расплаты). Но с него и спрос другой, чем с нас, когда мы утверждаем, что вольнолюбивый «идеал Григория выдвинут был ходом истории, но конкретные обстоятельства» помешали его «полному» осуществлению. Обстоятельства *революции* или объективные законы *истории*? От них ведь и революция не была свободна. Как раз в этом, очень важном, решающем в оценке трагедии Григория вопросе авторы «более глубокой трактовки» и создают полную неясность.

Хватов сперва как будто видит причину трагедии (когда личность лишена «возможности осуществить себя в интересах исторической целесообразности») ⁹³ в «старом, выпадающем в обличии крайней революционности». Но затем поправляется: «Опрометчиво... полагать, что *революционная* действительность не таила в себе тенденций, осложняющих осуществление личности во всей полноте ее сил,

⁹¹ Там же, стр. 287.

⁹² Там же, стр. 295.

⁹³ А. Хватов. Образ Григория Мелехова и концепция романа «Тихий Дон», стр. 27.

и заранее искать причины трагических коллизий только в прошлом...»⁹⁴ И вновь: «Шолохов в „Тихом Доне“ показал возможность трагических конфликтов, порожденных противоречиями определенного этапа социалистической революции..., и неизбежность их преодоления».⁹⁵ (К слову сказать, декларированное «преодоление» Хватов так и не включил в свою концепцию).

Есть некоторая разница между *«осложняющими тенденциями»* и *трагическими* обстоятельствами. Есть некоторый нюанс: *возможность* трагических конфликтов — и *действительная* трагедия. Но суть не в этом. Суть в том, можно ли возлагать на революцию ответственность за трагедию «неосуществленной личности», когда социалистическая революция на том этапе не ставила и не могла ставить цель «осуществления личности во всей полноте» (о чем свидетельствует даже терминология: *военный коммунизм*). Хватов перемещает цель коммунистического общества в эпоху гражданской войны. На фронтах шла борьба за власть. А нынче нас уверяют, что на этих фронтах и должно было разворачивать демократические установления, осуществлять гуманистический идеал...

«Мы открыто заявили, — писал Ленин об этом периоде диктатуры пролетариата, — что в переходное время, время бешеной борьбы, мы не только не обещаем свобод, а заранее говорим, что мы будем лишать прав тех граждан, которые мешают социалистической революции».⁹⁶ Тогда же, весной 1919 года, Ленин предостерегал: тот, кто в момент борьбы за власть прибегает к слову «свобода» вообще... помогает эксплуататорам и ничего больше».⁹⁷ И подчеркивал: коммунисты будут «за полную свободу» тогда, когда «забудут люди о том, что... можно быть членом общества не работником», «к социализму человечество придет не иначе, как через диктатуру пролетариата. Диктатура — слово жестокое, тяжелое, кровавое, мучительное, и этаких слов на ветер не бросают».⁹⁸ В иных эпизодах «Тихого Дона» Григорий Мелехов, кажется, лучше понимает это слово, чем авторы новой точки зрения.

Неизбежные отступления от демократизма и гуманизма, а также неоправданные извращения принципов диктатуры пролетариата несомненно усугубили трагедию Григория Мелехова. Ошибка не в том, что это отмечает, а в том, что эти *приходящие* (по словам же Бирюкова) обстоятельства делают причиной основой трагизма, а затем перестают считаться с их исторической обусловленностью — ставят знак равенства между перегибами 1918—1919 годов и преступными нарушениями законности в 30-е годы. Новая точка зрения рассматривает «Тихий Дон» не только как роман «30-х годов»,⁹⁹ но и как роман о репрессиях того времени.

По мнению Ершова, в трагедии Григория Мелехова Шолохов не только объяснил «глубинный источник конфликтов, имевшийся в тогдашней действительности», но «и разгадал (!) основное из тех противоречий, характер которых вполне обрисовался значительно позднее».¹⁰⁰ Какое противоречие? Видимо, более «глубокая трактовка» и состоит в загадывании таких загадок.

Создавая «восьмую книгу „Тихого Дона“», пишет Хватов (имея в виду, очевидно, восьмую часть — четвертую книгу), Шолохов «не мог не испытывать „давления времени“».¹⁰¹ Отсюда проникновенность темы гуманизма и стремление передать в герое трагической судьбы «очарование человечности».¹⁰² Нравственно-поэтическая параллель в этом направлении, вероятно, могла бы быть интересна. Но она явно не удалась. Хватов уверяет, что о «давлении» 30-х годов свидетельствует образ «черного солнца»: он соотнесен, мол, «с философской концепцией автора, грозно предостерегающего, что ошибки и преступления, заблуждения и просчеты..., касающиеся революционной стратегии и тактики..., таят опасность грозных последствий».¹⁰³

Может быть. Но мы ведь помним, что «черное солнце» символизирует скорбь Григория по Аксинье. Критик и не делает попытки выявить в этой символике черекличку социальных, исторических времен. Весь аргумент — только «грозные» слова. Так можно установить связь с Историей и кавалера де Грие, рыдающего на могиле Манон Леско, и чего угодно с чем угодно. Эта натяжка должна была бы привести в отчаяние Бирюкова, если бы его возмущение приблизительным прочтением шолоховских строк не было столь избирательным.

⁹⁴ Там же, стр. 28 (курсив мой, — А. Б.).

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 294.

⁹⁷ Там же, стр. 347.

⁹⁸ Там же, стр. 349, 350.

⁹⁹ См.: Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 283; А. Хватов. Образ Григория Мелехова и концепция романа «Тихий Дон», стр. 32.

¹⁰⁰ Л. Ф. Ершов. Русский советский роман, стр. 295—296.

¹⁰¹ А. Хватов. Образ Григория Мелехова и концепция романа «Тихий Дон», стр. 32.

¹⁰² Там же.

¹⁰³ Там же.

Хватов, мне кажется, ближе к истине, когда высказывает общие суждения. «Тихий Дон», говорит он, писался в то время, когда выявилось, что «мелкобуржуазное начало в социалистической революции способно выступать и действовать не только как стихийность, анархическое своеволие, но и в форме догматической нетерпимости, „жесткой политики“, не согласующейся с принципами революционной законности и гуманизма. Поэтому „Тихий Дон“ надо рассматривать не только как памятник эпохи гражданской войны, но и как произведение 30-х годов», когда победы социализма «были осложнены и омрачены... нарушениями... норм, принципов, традиций и заветов, вытекающих из самой природы социалистической революции».¹⁰⁴

По-видимому, есть связь трагических событий гражданской войны и 30-х годов с мелкобуржуазной идеологией, психологией, сознанием. Выступая подчас «в облики крайней революционности», они, справедливо отмечает Хватов, противоречат гуманизму, законности и всему духу пролетарской революции. Разгром маоистами в Китае демократических завоеваний социализма подчеркнул историческую цепкость мелкобуржуазных элементов. Причины живучести этого прошлого должны быть тщательно изучены.

Нет, однако, оснований говорить о «мелкобуржуазном начале в социалистической революции» (Хватов). Правильней видеть пережитки мелкобуржуазности, историческое их сосуществование с пролетарской революцией. Ведь в революцию Россия вступила в значительной мере мелкобуржуазной страной. Во всяком случае, те перегибы, которые явились одной из причин Верхнедонского восстания, корнями уходили именно в прошлое. Мелкобуржуазная «революционность» перегибщиков была таким же порождением дореволюционных условий жизни, как и социальная двойственность Григориев Мелеховых. Попытка определить социальную почву перегибов приводит Хватова все к тому же прошлому, которым, мол, «односторонне» ограничила трагедию Григория концелция заблуждения. Объективно Хватов возвратился к тому, что взялся отрицать.

Мне уже доводилось обращать внимание на неправомерность прикрепления явлений, всей своей природой принадлежащих дореволюционной жизни, — к революционной эпохе, в частности в связи с утверждением Якименко, что «условия революционной действительности... привели» Григория Мелехова «к страшной катастрофе».¹⁰⁵ Речь шла о том, что неверно отождествлять всю историческую действительность с ее революционным пролетарским началом. Неверно возлагать на революцию ответственность за прошлое, которое она разрушала, но которое в ходе ее еще продолжало существовать — в сознании, в поступках людей. Когда Ленин говорит о неумении некоторых коммунистов наладить отношения с крестьянином-тружеником, он подчеркивает связь этих ошибок с прошлым.¹⁰⁶ Когда Ленин говорит о преступлениях примазавшихся к партии элементов, он тоже указывает на живучее прошлое — совсем ведь недавнее! В 30-е годы действовали куда более сложные факторы.

Получилось так, что сторонники новой точки зрения, рассуждая о «сложной совокупности мотивов... трагической судьбы» Григория Мелехова (Хватов), на деле не расширили, а сузили причинную основу трагедии. Возражая против того, чтобы «сводить эту трагедию лишь к историческому заблуждению» (Хватов), порожденному прошлым, они сами объективно пришли к тому же прошлому, только не прямо, а через неосновательные исторические параллели.

Эти параллели не учитывают того, что очень разные люди, разные воли и принципы руководства были у истоков событий 30-х годов, с одной стороны, и времени гражданской войны, с другой; что донская Вандей, а равно и антоновщина и семиречинское восстание и т. д. были изжиты прежде всего социально-политическими, а не военными мерами; что перегибы исправлялись немедленно, в ходе событий, открыто и радикально.

Страсть к внеисторическим параллелям доходит до того, что у Бирюкова исчезает разница между февральской буржуазной и Октябрьской социалистической революцией. Концепция заблуждения, выясняя корни конфликта казаков с советской властью, опиралась на высказывание Ленина, в котором определены социально-исторические предпосылки донского мятежа: «Что касается до казачества, то здесь мы имеем слой населения из богатых, мелких или средних землевладельцев... одной из окраин России, сохранивших особенно много средневековых черт жизни, хозяйства, быта. Здесь можно усмотреть социально-экономическую основу для русской Вандей».¹⁰⁷

Если бы исследователи, возражает Бирюков, не вырывали эту цитату из статьи, а изучили ее всю, «они нашли бы как раз то, что полностью опрокидывает их утверждение».¹⁰⁸ А именно, слова Ленина о том, что Каледину не удалось под-

¹⁰⁴ Там же.

¹⁰⁵ «Вопросы литературы», 1958, № 12, стр. 40.

¹⁰⁶ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 107.

¹⁰⁷ Там же, т. 34, стр. 219.

¹⁰⁸ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 243.

нять Дон, потому что «большинство бедноты и среднего казачества больше склонно к демократии и лишь офицерство с верхами зажиточного казачества вполне корниловское».¹⁰⁹ И если бы, говорит Бирюков, «ленинская политика по отношению к массам» осуществлялась последовательно, «кровавого столкновения не было бы».¹¹⁰

Можно, конечно, гадать, как сложились бы события. Хотя мы помним, что правильную политику по отношению к среднему крестьянству (а не к «массам» вообще) и тем более казачеству партия определила не сразу, но в опыте самой революции. Зачем только ссылаться на ленинское высказывание о склонности трудового казачества к *буржуазной демократии*? Ведь цитируемая статья написана в сентябре 1917 года и характеризует обстановку в канун Октября. А Верхнедонское восстание произошло в 1919 году, в условиях ожесточенной борьбы за диктатуру пролетариата. Бирюков перескочил через целую эпоху, когда буржуазно-демократическое развитие было исчерпано. С отношением же донцов к диктатуре пролетариата обстояло сложней.

Разумеется, восстание не было фатально предопределено. Но концепция заблуждения никогда и не утверждала этого, равно как и предопределенности участия в восстании Григория Мелехова. Вообще концепция исторического заблуждения видит трагизм коллизии не столько в самом факте восстания, сколько во внутреннем характере приведшего к нему конфликта. Напомню тезис о раздвоении трагедии Григория на трагедию биографии, жизненного пути и духовную, внутреннюю. Концепция заблуждения основывалась на ленинском выводе о предпосылках «русской Вандеи», имея в виду прежде всего идейный конфликт. Речь шла не о предопределенности вооруженной борьбы, а о неизбежности противоречивого отношения донского труженика—собственника к пролетарской революции, о неизбежности шатаний и, следовательно, закономерности заблуждений.

Все это вытекало из принадлежности среднего казачества к мелкобуржуазным слоям. О них Ленин в апреле 1919 года писал: мелкая буржуазия «в настоящий момент идет не прямыми путями к цели, а зигзагами... мелкобуржуазные массы... нужно сто раз побить для того, чтобы они поняли, что необходимо уяснить себе одно: возможна либо диктатура буржуазии, либо диктатура рабочего класса... Рабочий класс давно понял это из стачечной и революционной борьбы. Мелкая буржуазия не может этого понять сразу; сотни жизненных указаний не могут научить и приучить мелкую буржуазию к этой мысли...»¹¹¹

Концепция исторического заблуждения ставит в центр трагедии Григория Мелехова это непонимание и вместе с тем — неизбежное его изживание. Два полюса, меж которых развивается трагический характер, две взаимодействующие закономерности трагедийного конфликта.

Вот почему Строков в статье, хорошо излагающей преимущество концепции заблуждения, напрасно возражает против того (он цитирует мою книгу), что трагизм — именно «в социально-исторической закономерности заблуждения, т. е. в неизбежности конфликта мелкобуржуазной собственнической стихии с пролетарской революцией».¹¹² «Ведь Ленин, — поясняет Строков, — говорил о *неизбежности колебаний* крестьянства... между революцией и контрреволюцией. Но он никогда не выдвигал якобы историческую, а на деле фаталистическую теорию „закономерности“ заблуждения известной части трудящихся масс в революции, а тем более „неизбежности“ братоубийственных войн и „обильного“ кровопролития».¹¹³

Здесь, видимо, чисто словесное недоразумение. Что было причиной *неизбежных* политических колебаний, если не иллюзии и заблуждения, *закономерно* вытекавшие из двойственной социальной природы крестьянства? Что было коренной почвой конфликта мелкобуржуазных слоев с диктатурой пролетариата, если не веками складывавшиеся условия жизни, — ведь их не могла мгновенно изменить никакая правильная политика.

Далеко не всегда конфликт превращался в кровавую борьбу. Но разве не трагично уже то, что начинали видеть врагов в братьях по классу? Заблуждение ведь не только со стороны Григория. В какой-то мере трагически заблуждались и незрелые коммунисты, вздумавшие было, что казачество сплошь контрреволюционно, и начавшие поголовное расказачивание. В этом плане трагическое в «Тихом Доне» еще ждет своего исследователя.

Мы либо должны признать действительно закономерную природу трагедийного конфликта в «Тихом Доне», либо оставить всякие разговоры об историзме. Важно понять, что заблуждения трудящихся были преодолены в ходе революции такой же объективной, но более могущественной закономерностью прозрения. В какой-то мере она сказывается и в эволюции якобы начисто «опустошенного» Григория (осознание ложности «третьего пути»). Вот почему важно видеть не только трагическую биографию Григория, но и эволюцию внутреннего трагизма.

¹⁰⁹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 220.

¹¹⁰ Ф. Бирюков. Снова о Мелехове, стр. 243.

¹¹¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 252—253.

¹¹² Петр Строков. Эпопея прозрения, стр. 175.

¹¹³ Там же.

Вот почему важно понять, что трагедийная коллизия Григория Мелехова связана с противоположными течениями истории: одно уходило в прошлое, другое порождено было революционным настоящим. И революционное начало эпохи обусловило не духовный «крах» Григория, разъединение с народом (Якименко) и не ущемленность его демократизма и свободолюбия (новая точка зрения), но первый шаг к исторической истине.

Так, на мой взгляд, прорисовывается в трагедии Григория Мелехова диалектика исторических закономерностей. Очевидно, что это не имеет ничего общего с пониманием Строчкова, когда он полемизирует с моей книгой: «Против исторической закономерности в конечном счете все бессильно».¹¹⁴ Бессильна — магия терминов. В истории нет ничего фатального. В моей книге, из которой Строчков взял не устроившую его цитату, об этом говорилось: «Это мифологическое мировоззрение древних рисовало неизбежную (но по сути относительную) закономерность в виде абсолютной — никогда и никак неподвластной людской воле; мы же «видим причину трагического в противоречивом сцеплении возможности и необходимости — в диалектике объективных законов. Мы отвергаем трагедию как абсолютную неизбежность... но не можем не считаться с неизбежной относительностью нашего знания суровых путей социальной борьбы».¹¹⁵ Управление историей — война с тем, что было бы неотвратимо без воздействия организованных человеческих воле; но воздействие на объективные законы не беспредельно.

Очевидно, что концепция исторического заблуждения не сводится ни к регистрации двойственной социальности Григория Мелехова, ни к жесткой социологической схеме, фатально предопределяющей братоубийственные войны. Она включает и идею катарсиса, и соотнесенность трагедии Григория с трагедией неизбежных жертв революции (Бунчук, Подтелков), и перекличку социальных и семейных трагедий мелеховского куреня. Она обратила внимание также на еще один аспект трагического, о котором постоянно забывают шолоховеды.

В свое время Энгельс предвидел, что эпоха решительного боя с капитализмом по своей исключительной ожесточенности должна быть трагической и вина за эту трагедию падает на тех, кто не желал без кровавой борьбы уступать власть. В этой связи Ленин писал: «Мыслима ли многолетняя война без одичания как войск, так и народных масс? Конечно, нет. На несколько лет, если не на целое поколение, такое последствие многолетней войны безусловно неизбежно. А наши „человеки в футляре“, хлюпки из буржуазной интеллигенции, называющие себя „социал-демократами“ и „социалистами“, подпевают буржуазии, сваливая проявления одичания или неизбежную жестокость мер борьбы с особенно острыми случаями одичания на революцию, — хотя ясно, как день, что создано это одичание империалистской войной и что никакая революция без долгой борьбы, без ряда жестоких репрессий освободиться от *таких* последствий войны не в состоянии».¹¹⁶

Концепция заблуждения не бралась решать все вопросы трагического в «Тихом Доне». Она лишь поставила, по ее мнению, главный и предложила его решение. Ход дискуссий, мне кажется, подтверждает основательность ее в этом пункте.

Концепция же сочувствия, нынче сравнительно простая (ведь авторы ее шли проторенным путем), не дала ответа на нерешенные вопросы и запутала те, что были выяснены. Не потому, что не надо было сочувствовать Григорию Мелехову. Напротив, сегодня как никогда мы нуждаемся в нравственной, этической, моральной оценке трагических страниц нашей истории. Но именно поэтому критерий гуманизма, критерий человечности сегодня как никогда отчетливо должен быть прояснен социальным критерием. Концепция сочувствия состоит в их разъединении и противопоставлении. Плодотворность нынешней дискуссии может быть в том, что она обнажила этот методологический изъян.

А. А. МОРОЗОВ

ПРОБЛЕМА ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЕЕ...

Свою статью «Национальное единообразие и национальное разнообразие»¹ Д. С. Лихачев посвятил ответу на мою статью «Национальное своеобразие и проблема стилей».² Д. С. Лихачев не предлагает и даже не намечает позитивного решения проблемы, хотя и признает: «вопрос „о национальном своеобразии“ на-

¹¹⁴ Там же, стр. 178.

¹¹⁵ А. Ф. Бритиков. Мастерство Михаила Шолохова, стр. 36.

¹¹⁶ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 475; см. также стр. 473.

¹ «Русская литература», 1968, № 1, стр. 135—141 (в дальнейшем ссылки на эту статью даны в тексте).

² «Русская литература», 1967, № 3, стр. 102—123 (далее ссылки на эту статью даны в тексте).

столько важен, что пройти мимо него нельзя» (стр. 135). Однако эта проблема никогда его особенно не занимала. Д. С. Лихачев даже особенно подчеркнул, что в последней книге «Поэтика древнерусской литературы» (1967) он не только не писал «ни о каком своеобразии русской литературы», но даже не употреблял этого термина. «Вопрос о национальном своеобразии очень редко затрагивался мною и в предшествующих работах» (стр. 135), — как бы подводит он итог. По правде, мы полагали, что изучение древнерусской литературы, хотя бы в статике, неизбежно связано с изучением особенностей ее исторического развития, порождающих те специфические черты, которые, собственно, и составляют ее национальное своеобразие. К сожалению, и в последней статье Д. С. Лихачев обсуждает не самую проблему, а статью А. А. Морозова и, устремившись в чистую полемику, не оставляет без ответа ни одной мелкой частности. Однако метод маргиналий не всегда плодотворен, особенно при недостаточной разработанности проблемы и терминологической недоговоренности. Так произошло и в настоящем случае. Обратившись к вопросу о барокко, Д. С. Лихачев исходит из своего понимания термина и отвергает причастность к барокко некоторых памятников, которые были отнесены к этому стилю на совершенно иных основаниях, по совокупности совсем иных признаков.

Д. С. Лихачев понимает барокко как узкое «литературное направление», представленное такими именами, как Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев и другие. Это литературное движение, «заносное» по своей природе, «не имело тех социальных корней, которые оно имело на Западе». Да и тут речь может идти только «о некотором сходстве форм» при резком различии в содержании.³ При этом Д. С. Лихачев наиболее характерными для барокко объявляет признаки, отбрасывая к периферии школярского барокко, и совершенно не касается принципов барочного метафоризма, концептизма и др.

Я же утверждаю, что барокко такое же широкое понятие, как Готика или Ренессанс; оно объединяет историческую совокупность различных художественных направлений, течений, школ и индивидуальных стилей, порожденных в конкретную историческую эпоху, которую К. Маркс называл эпохой «первоначального накопления», эпоху огромных социальных потрясений, вызванных общим кризисом феодализма, которого не миновала и Россия. Это последнее обстоятельство позволяет рассматривать русское барокко как национальный вариант общеевропейского литературного развития. Д. С. Лихачев протестует против того, что я «вербую» русскую литературу XVII—первой половины XVIII века «целиком в полчища и полки одного общеевропейского „стиля эпохи“» (стр. 136). Сказано образно, но неубедительно! Разве Готика или Ренессанс, будучи общеевропейским явлением, во Франции, Англии, Германии и Италии представляли собой единообразный стиль? Почему же барокко, если его признать общеевропейским стилем в столь же широком понимании, следует рассматривать только как некое унылое единство? Именно барокко в своих национальных вариантах, особенно в славянских странах, и являло удивительную пестроту и разнообразие. Введение понятия барокко связывает в рамках общего «стиля эпохи» отдельные явления, раньше изучавшиеся изолированно.

Д. С. Лихачев, напротив, утверждает: «Метод поиска единого стиля для нации или национальностей, единого национального варианта всех общеевропейских стилей, как и одного национального характера, вряд ли может считаться плодотворным» (стр. 141). Непонятно только, почему Д. С. Лихачев разбирал вопрос о возможности или невозможности появления Ренессанса в России, если таковой «единый стиль» вообще невозможен.

Ограниченное понимание барокко приводит к представлению о его «единообразии», а к нему, разумеется, несводимо все разнообразие литературы какого бы то ни было времени. На этом и строится полемическое противопоставление, попавшее даже в заглавие статьи Д. С. Лихачева. Не приняв широкого понимания барокко как отражения всей исторической действительности своего времени, т. е. на тех же правах, как Ренессанс или Готика, Д. С. Лихачев с недоумением спрашивает: «Единство создается на основе отражения многообразия?» И далее поясняет, как бы предупреждая собственное мнение читателей: «Понять это можно только так, что искусство едино в своем отражении действительности» (стр. 136). Однако понять это не только можно, но и нужно не «только так». Едино не искусство, а историческая действительность, как объективная реальность, которая и определяет процесс отражения ее в искусстве. Отражение же это неизбежно многообразно как в силу непрерывных изменений, совершающихся в течение исторического развития, так и в силу социальных противоречий, различия классовых позиций художников. Единство художественного отражения эпохи возникает в Готике, Ренессансе и барокко, но это вовсе не исключает, а предполагает разнообразие. Противопоставив единообразие и многообразие, как исключающие друг друга понятия, Д. С. Лихачев не увидел общего исторического процесса.

³ Д. С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 162.

В некоторых случаях Д. С. Лихачев выступает против сконструированных им самим положений. Так, например, я довольно подробно возражаю против преувеличения значения «национального колорита» при оценке национального своеобразия литературы как древней, так и новой (стр. 107—108). Д. С. Лихачев, указывая на ошибки «некоторых исследователей», которые усматривают своеобразие древней литературы в ее «экзотике», попутно замечает, что этой ошибки «не избежал... и А. А. Морозов» (стр. 139). И вместе с тем Д. С. Лихачев укоряет меня, что я нахожу своеобразие русской литературы в таких памятниках, которые почти лишены «специфически русских черт», «национального колорита». Д. С. Лихачев утверждает, что «национальное своеобразие явилось в русской литературе XVII века вопреки барокко, а не благодаря ему» (стр. 137). Здесь либо крайне узкое понимание «национального своеобразия» как «национального колорита», либо нежелание увидеть, что национальное своеобразие русской литературы XVII века находило свое выражение и в формах барокко как заимствованного, так и неизвестного на Западе. Оно не пришло извне, а возникло в силу потребностей развития русской национальной художественной культуры.

Допуская барокко в России только в форме, близкой к западноевропейскому барокко (тоже понимаемому односторонне), Д. С. Лихачев, естественно, считает недопустимым видеть в «Житии» Аввакума «только барокко, типичное барокко» (стр. 136). Приняв один объем термина, Д. С. Лихачев отвергает приложение его к «Житию», хотя я вкладываю в это понятие иной смысл.

Д. С. Лихачев указывает, что я связываю барочные элементы в стиле «Жития» Аввакума с его начитанностью в «Великом Зерцале». Отсюда им делается вывод: «...раз барочность „Жития“ определяется в какой-то мере „Великим Зерцалом“, — значит, в „Великом Зерцале“ все-таки больше элементов барокко, чем у Аввакума» (стр. 137). Конечно, элементов барокко, связанных с западноевропейской традицией барочной католической проповеди, в «Великом Зерцале» действительно больше, чем у Аввакума. Но они далеко не определяют всю барочность «Жития», а только «в какой-то мере», как признает сам Д. С. Лихачев. «Великое Зерцало» и не представляло собой всего европейского барокко. Это один из памятников католического барокко, проникший на русскую почву в качестве «душеполезного» и занимательного чтения. Возможно даже, что и знакомство с ним Аввакума не было непосредственным. Речь должна идти не о простом использовании «Великого Зерцала» Аввакумом или «влиянии» этого памятника на «Житие», а о некотором родстве их барочной стилистики в описании чудес и адских мук. В целом же принадлежность Аввакума к барокко устанавливается на основе всей совокупности стилевых средств и мотивов, встречающихся в «Житии», с неременным учетом общих условий литературного и социально-исторического развития.

Необходимость такого подхода почувствовал Х. Грассхофф в своей статье «К вопросу о барокко в русской литературе», в которой он отмечает «некоторую близость» Аввакума к этому стилю. «Как никто другой, — пишет Х. Грассхофф, — извещал воинствующий протопоп вершины и бездны человеческих радостей и страданий и был в оппозиции к господствующим князьям церкви и светским властителям. Его понимание конца христианства и его полная отчаянная борьба с неизбежной судьбой способны представить его как героя поэзии барокко. Однако даже его автобиография, невзирая на весьма живописные описания ландшафта и отдельные проявления словесной игры, более носит отпечаток духовных сочинений, а также гомиластики и патристики средневековых духовных писателей, как например Иллариона Киевского. Вопреки повторяющейся смене возвышенного стиля и простой разговорной речи с многочисленными вульгаризмами, способ изложения у Аввакума все еще вращается в пределах традиций духовной литературы, которая благодаря свежим народным способам выражения и оборотам речи превращает его в неповторимый документ литературы и современной истории».⁴

Обращает на себя внимание, что Х. Грассхофф говорит скорее о психологическом сходстве протопопа Аввакума с «героями поэзии барокко», чем о литературной близости его произведений к барокко, и, по существу, отрицает принадлежность его к этому стилю. По-видимому, он и само понимание этого стиля ограничивает лишь его западноевропейским вариантом, а с ним, если следовать узкостилевым характеристикам, у Аввакума не так уж много общего, хотя немецкий исследователь и отметил такие черты, как тяготение к ландшафту и игре слов. Во всем остальном Аввакум, по его мнению, остается в «пределах» традиционной древнерусской литературы. Эта точка зрения не учитывает само состояние традиции ко времени Аввакума, ломку старых литературных норм и традиционных жанров в его «Житии», переосмысление и субъективацию агнографической схемы. Традиционные риторические средства приходят в движение. Они сталкиваются с новыми вторгающимися извне мотивами, изменяют свою функцию, что приводит к разрушению самой традиции и вместе с тем создает небывалое напряжение всего стиля. Привычные

⁴ H. Grasshoff. Zur Frage des Barocks in der russischen Literatur. «Zeitschrift für Slawistik», Bd. XIII, 1968, N 3, S. 317.

традиционные формулы и средства, оказавшиеся в распоряжении Аввакума, как бы оживают, раскрывая свою потенциальную силу. Это и придает его произведениям неистовую выразительность, порождаемую страстной убежденностью и своего рода отчаянием. Невиданное сочетание проповеди, агиографии и описания реальной человеческой судьбы, реалистические картины и сцены и риторическая аллегоризация жизненных отношений, возведение их к абсолюту, страстная правдивость и атмосфера чудесного и фантастического, пронизывающая это произведение, — все это стало возможно только в новых условиях литературного развития. «Житие» протопопа Аввакума отразило сложный водоворот чувств, мыслей, ассоциаций, образов, теснившихся в его сознании, всю его внутреннюю трагедию, вызванную социальным и религиозным кризисом его времени. Для этого он нашел в живом терзании сердца и муках разума адекватные художественные средства. В его «Житии», несмотря на изобилие традиционных форм и мотивов, мы сталкиваемся с новым литературным явлением, которое и надлежит рассматривать как едва ли не самый значительный вариант русского барокко. Д. С. Лихачев утверждает, что в предложенной мною общей характеристике барокко нет «ни одной черты, которая не была бы характерична и для предшествующих веков средневековой русской литературы» (стр. 136). Это все та же статическая точка зрения на историю литературы.

Сказанного совершенно достаточно для того, чтобы уяснить сущность разногласий. Следовать строка за строкой и отвечать возражениями на возражения — бесплодное занятие при столь решительном несовпадении точек зрения. Здесь надо отвечать дальнейшей разработкой затронутых вопросов, не игнорируя опыт изучения барокко зарубежными учеными, в особенности учеными славянских стран. К сожалению, Д. С. Лихачев не обратился к этому опыту и не уделил внимания если не сравнительному изучению славянских литератур, то хотя бы простому знакомству с конкретными работами в этой области. Тогда, как нам кажется, изменился бы и его взгляд на барокко! Напомним, что еще И. П. Еремин в 1958 году справедливо говорил, что «центр тяжести следует перенести, главным образом, на изучение индивидуальных особенностей, местных особенностей стиля в разных странах и у отдельных авторов; только тогда мы получим полную и отчетливую картину развития этого направления — стиля барокко европейских литератур, и славянских в частности».⁵

Это особенно необходимо, так как проблема барокко в русской и украинской литературах все еще понимается некоторыми исследователями чрезвычайно упрощенно и, в сущности, отвергается. Замечание Д. С. Лихачева, что барокко в России «не имело тех социальных корней, которые оно имело на Западе», развевается О. А. Державиной в целую историческую концепцию. О. А. Державина утверждает, что «в русской жизни XVII—XVIII вв. мы не можем найти тех исторических, экономических и социальных предпосылок и условий, которые определили в западной литературе те элементы, которые принято считать за признаки „барокко“. Экономическое положение и взаимоотношения русской аристократии, дворянства и буржуазии в XVII веке были совершенно иными, чем на Западе, не говоря уже об их культурном уровне; не было у нас и „католической противореформации“, с которой обычно связывают стиль „барокко“ на Западе».⁶ О. А. Державина не указывает, какие именно «исторические, экономические и социальные предпосылки и условия» определили на Западе появление барокко. Она лишь утверждает, что в России их либо вовсе не было, либо они были «иные» (опять-таки неизвестно в чем и насколько). Однако основные предпосылки барокко в России были налицо. Был кризис феодализма и социальные потрясения, которые вызвали решительные сдвиги во всех областях общественного сознания. Происходило становление новых художественных форм, более отвечавших изменившимся условиям и потребностям всех слоев общества, интенсивный культурный обмен с другими народами, в первую очередь Украиной и Польшей. Особенности исторического развития России не выводили ее из общеевропейского исторического процесса, хотя, разумеется, наложили отпечаток на развитие культуры и характер художественного отражения действительности. Но это лишь обязывает к изучению национального варианта русского барокко и не дает оснований к его поверхностному игнорированию.

Отрицание исторического существования барокко приводит к натяжкам и нарушению исторической перспективы. О. А. Державина утверждает, что произведения Симеона Полоцкого «при ближайшем рассмотрении не дают нам права причислять его к писателям — представителям „барокко“» (стр. 20). Казалось бы,

⁵ IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. 1. Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики. Изд. АН СССР, М., 1962, стр. 146.

⁶ О. Державина. К вопросу о русском литературном «барокко». «Česko-slovenská rusistika», 1968, ч. XIII, č. 1, str. 19 (в дальнейшем ссылки на эту статью даны в тексте).

после такого решительного заявления и должно было бы последовать «ближайшее рассмотрение» прежде всего поэтического стиля Симеона Полоцкого и научное опровержение анализа и выводов, сделанных в работах А. И. Белецкого и И. П. Еремина и других авторов, которые относили Симеона Полоцкого к барокко. Но анализом метафорического стиля Симеона Полоцкого О. А. Державина себя не затруднила. Она лишь ограничилась замечанием, что «адресованные царю Алексею Михайловичу и его семье» стихи С. Полоцкого представляют собой «типичные панегирические оды XVII в.» (стр. 20), как будто принадлежность к этому жанру уже сама по себе выводит эти произведения за пределы барокко! На наш взгляд, исследовательница слишком поспешно усмотрела в творчестве Симеона Полоцкого «элементы нарождающегося классицизма с его идеалом просвещенного монарха» (стр. 20). Не говоря уже о том, что царь Алексей Михайлович еще не вполне созрел до идеала «просвещенного абсолютизма», отметим, что тема доброго и просвещенного государя и противопоставляемого ему монарха-тирана (на что указывает исследовательница) как раз характерна для многих трагедий западноевропейского барокко. Так же и переработка Симеоном Полоцким заимствованного у Н. Коссена сюжета о Навуходоносоре вовсе не дает основания усматривать тут «идейную установку, близкую к идеологии классицизма» (стр. 20). «Урок» спектакля, по мнению исследовательницы, заключающийся в моралистическом выводе, что «только смирение перед божеством и власть над собственными страстями» может обеспечить «счастливое царствование» (стр. 20), не выходит за пределы дидактической проповеди барокко. Таковы те аргументы, которые О. А. Державиной представляются «достаточными» для выведения Симеона Полоцкого из числа «писателей — представителей „барокко“».

Нам кажется, что причиной многих заблуждений в отношении барокко служит излишне суммарное представление об этом стиле на Западе и почти механическое перенесение этих представлений на явления и процессы, происходившие в русской литературе. Подобно всем большим стилям, барокко не располагает постоянным и единообразным набором признаков или характерных черт, которые были бы присущи ему на всем протяжении его исторического существования во всех национальных культурах, в которых оно проявлялось. Выводя Феофана Прокоповича из сферы барокко, В. Д. Кузьмина указывает, что ему были чужды напыщенность, гипертрофия формы, «нарочитая „темнота“ стиля» и т. д.⁷ Однако уже в середине XVII века такие видные теоретики барокко, как Грасиан в Испании и Тезауро в Италии, а за ними и многие другие осуждали гипертрофию формы и нагромождения «темного стиля» Гонгоры и Мариньо. В. Д. Кузьмина подыскивает у Феофана Прокоповича «элементы поэтики классицизма» и не находит у него ничего, что связывает писателя с традициями и художественной практикой барокко (эмблематика, тяготение к гротеску и т. д.).

Отрицая или крайне ограничивая историческое существование барокко в России, О. А. Державина и В. Д. Кузьмина приходят к своеобразному изоляционизму. Они искусственно отгораживают русскую литературу от других славянских литератур и общеевропейского литературного процесса. Удивительное дело! В то время как некоторые исследователи устремились на поиски русского Ренессанса и подчас довольно удачно находят интересные аналогии с западноевропейской литературой и изобразительным искусством, другие, а иногда и те же самые исследователи упрямо закрывают глаза на явления барокко, хотя не подлежит сомнению, что культурные и художественные связи в это время стали куда более интенсивными. Но ведь таким образом упрощается и сам процесс формирования русской национальной литературы. Россия не только испытывала воздействие художественных импульсов, рождающихся в результате общения с культурой других народов, но и вырабатывала свои художественные средства. Барокко не только приходило в нее извне, но и возникало из потребностей исторического развития, обусловившего его особенности. Как бы отличны и «непохожи» ни были формы художественной культуры в странах, связанных общностью исторического процесса, их нельзя отрывать друг от друга.

В несколько ином положении находится Я. С. Лурье, который выступил с ответом по частному вопросу оценки исторического значения и характера позднейшей «Повести о Дракуле», на которой я счел необходимым остановиться в своей статье, как на частном случае крайне преувеличенного идеологического и политического истолкования памятника. Я утверждал, что Я. С. Лурье «перендологизировал» «Повесть о Дракуле» и придал ей непосильную идейную нагрузку, не отвечающую ее содержанию.

Я. С. Лурье несколько раз пишет о недозволенных «полемических приемах» и упрекает меня в том, что изложение содержания «Повести о Дракуле» в статье отличается, «мягко выражаясь, некоторой неточностью».⁸ «Легко представить себе,

⁷ В. Д. Кузьмина. Барокко и классицизм в русской литературе первой трети XVIII века. «Československá rusistika», 1968, ч. XIII, č. 1, str. 17.

⁸ Я. С. Лурье. Еще раз о Дракуле и макиавеллизме. «Русская литература», 1968, № 1, стр. 143 (далее ссылки на эту статью приводятся в тексте).

что было бы с другими произведениями такого объема, если бы А. А. Морозов подверг их аналогичной вивисекции, — если бы он, например, пересказал „Песню о Соколе“, выпустив разговор Сокола с Ужом и концовку о „безумстве храбрых“ (стр. 143). Я утверждал, что поступки Дракулы, описанные в «Повести», патологически жестоки и лишены политической мудрости, которую ему приписывает Я. С. Лурье, сравнивая «идеологию» «Повести» с учением Макиавелли: «Жестокость и справедливость макиавеллиевского „князя“ имеют исторический смысл. Это беспощадность и неумолимость в достижении политических целей! Жестокость Дракулы в этом отношении совершенно бессмысленна. В лучшем случае она имеет своим предметом наказание за бытовые поступки» (стр. 117). Дракула имел обыкновение «обедать под трупом» посаженных им на кол людей, и однажды повелел посадить на кол слугу, который не смог стерпеть смрада, исходящего от трупов, и отвернулся. «Тамо ти есть высоко, смрад не может ходити», — мрачно пошутил при сем Дракула. Я. С. Лурье признает, что перечисленные деяния «действительно лишены политического смысла» (стр. 143). Возможно ли в таком случае, что выпущенное при изложении способно своей значительностью затмить и до известной степени оправдать перечисленные поступки Дракулы? Столь ли важны неприведенные отрывки, чтобы их сравнивать по значению со словами о «безумстве храбрых»? Оказывается, Дракула не только творил гнусные злодеяния, но и боролся «со злом». Он преследовал «татбу, или разбой, или кую лжу, или неправду», казнил беспощадно, невзирая на социальную принадлежность преступника. «Здесь не только борьба „со злом“, но еще и нелицеприятие, беспристрастность по отношению ко всем подданным — от великих бояр до простолудинов», — разъясняет Я. С. Лурье (стр. 143). Вот какой он великодушный и справедливый правитель, этот Дракула! А не кажется ли непредубежденному читателю вся эта «борьба „со злом“» Дракулы совершенно ничтожной по сравнению с его бессмысленными по жестокости злодеяниями? Кого нельзя было при случае обвинить «во лжи и неправде», да еще при «шутливых» методах дракуловского правосудия? И не является ли эта «борьба со „злом“» мнимой мотивировкой садистских преступлений, не стоит ли за ней садистский цинизм и лицемерие извращенного изверга? Я. С. Лурье подчеркивает, что русский автор «Повести», в отличие от немецкого варианта, где жестокость «мутьянского» воеводы «действительно „совершенно бессмысленна“, был склонен «видеть в Дракуле не просто „дьявола“, но „дьявола“, искореняющего зло» (стр. 144) и, добавим, дьявольскими средствами. Что из того, что в изложении повести на русском языке «нет таких немотивированных зверств, как убийство матерей с детьми, истязание на точильном камне, принуждение к людоедству и т. д.»⁹ Злодеяний, и притом совершенно бессмысленных, осталось более чем достаточно. Сохранена и общая атмосфера гнетущей жестокости и злорадства. И все утверждения Я. С. Лурье о серьезном идеологическом переосмыслении «Повести» на русской почве остаются недоказанными. Примеры «борьбы „со злом“», которые приведены Я. С. Лурье, совершенно лишены высокого идеологического и государственного значения, которое пытается придать им исследователь, ссылаясь на политическую концепцию Макиавелли и его слова о «хорошо направленных жестокостях» (стр. 145). Правда, Я. С. Лурье счел необходимым пояснить, что исторически гуманизм Макиавелли, вытекающий «из разума и опыта», «не согласуется с гуманностью» (стр. 145); но и в таком понимании «гуманизм» Макиавелли не приложим к Дракуле! «Бесполезно отрицать, — пишет Я. С. Лурье, — что писатели Возрождения, несомненно преследовавшие „далеко идущие политические идеи“, считали допустимыми для достижения определенных целей самые непривлекательные „деяния“» (стр. 145). Далее Я. С. Лурье сообщает, что Макиавелли в качестве «достойного подражания образцу» приводил Цезаря Борджиа, который «истребил „все потомство разоренных им сеньоров“ и, поручив правителю Романи действовать жестокими мерами, затем, когда эта задача была осуществлена, казнил его и выставил на площади его тело, рассеченное пополам» (стр. 145). «Разве это менее отвратительно, чем пир Дракулы под кольями?» — спрашивает исследователь. Да, отвратительно! Но пир Дракулы «под кольями» не только отвратителен, но и не заключает в себе никакой «политической мудрости», которую тщится найти у него Я. С. Лурье. А какие политические или этические цели преследовал Дракула, с каким «злом», моральным или социальным, он боролся, когда, сидя в темнице, по старой привычке сажал на кол пойманных им мышей?

Сближая идеологию «Повести о Дракуле» с макиавеллизмом, Я. С. Лурье предлагает читателям целую философию истории. По его словам, «ни Макиавелли, ни Бонфини, ни русский автор „Повести о Дракуле“ не жили в эпоху расцвета абсолютной монархии — им гораздо лучше была знакома предшествующая эпоха феодальной раздробленности и самоуправства. Тирания, о которой они писали, была в их глазах лишь временным средством для установления затем свободы и справедливой власти (идеалом такой власти была для Макиавелли республика)»

⁹ Повесть о Дракуле. Исследование и подготовка текстов Я. С. Лурье. Изд. «Наука», М.—Л., 1964, стр. 46.

(стр. 145—146). Помилосердствуйте! Это Дракула-то, хотя бы в изображении Федора Курицына, поборник грядущей свободы?

Несмотря на все старания Я. С. Лурье, во всей «Повести» нельзя найти ничего, что указывало бы на политическую мудрость Дракулы. Связь ее с общественно-политической борьбой принадлежит к числу особо бездоказательных гипотез Я. С. Лурье. Недавно американский критик Джон Файн указывал, что «нет прямого доказательства использования „Повести о Дракуле“ в политических спорах», и высказал мнение: «Убеждение Лурье, что „Повесть о Дракуле“ отражает мечту о справедливости, которая могла распространяться в интересах честного правителя, притянута за волосы, так как эти повести — рассказы об ужасах». Рецензия была известна Я. С. Лурье, он даже указывает ее в своем ответе (стр. 145), но не приводит цитат и не полемизирует с нею, поэтому у читателя, незнакомого с рецензией, может создаться впечатление, что в оценке Дракулы Д. Файн согласен с Я. С. Лурье. Автор статьи также отмечает, что «делаемое Лурье сравнение русского и немецкого циклов „Повести“ вводит в заблуждение, поскольку он предполагает, что различие между ними отражает процесс селекции со стороны русского посредника, благодаря чему некоторые рассказы о Дракуле были сознательно изменены. Но одинаково возможно, что человек, доставивший из Венгрии „Повесть“, просто никогда не слышал эпизодов, которые Лурье не нашел в русских текстах».¹⁰

К сожалению, концепция Я. С. Лурье не только научно несостоятельна, но невольно перекликается с декадентским литературоведением, питающим особое пристрастие к наукообразному изучению пикантных тем. Тему Дракулы, садиста и вампира, давно освоили постановщики «фильмов-ужасов», которые, впрочем, не устремлялись в идеологические выси и не объявляли Дракулу борцом с феодальной раздробленностью, представителем гуманизма и пр., и пр. Они, не мудрствуя лукаво, экранизировали известный роман Брем-Стокера, дополняя его кинематографическими трюками и нагнетая атмосферу кровавого кошмара. Может быть, и не стоило бы связывать эту низкопробную продукцию со старинной повестью, если бы этого не сделал сам Я. С. Лурье, поместивший редкие кадры из таких фильмов в качестве иллюстраций к своему исследованию. В книге Я. С. Лурье мы находим и изображение мрачного замка Дракулы, и даже труп вампира, приподымающий крышку своего гроба. Эти поучительные фотографии связывают «Повесть о Дракуле» с литературной традицией, идущей от маньеризма к роману Брем-Стокера и современной литературе патологии и ужасов.¹¹

В «Повести о Дракуле» мы имеем дело не только с «идеологией», которую вычитывает из нее исследователь, но и с персонажем, который говорит сам за себя. И никакая изощренная логика или эрудиция не в состоянии защитить надуманную концепцию каннибальского гуманизма Дракулы.



¹⁰ Kritika. Cambridge Mass., Fall 1965, vol. II, № 1, pp. 1—6.

¹¹ К сожалению, сенсационность темы вывела книгу Я. С. Лурье за пределы научных интересов. В поисках «острого» материала журнал «Знание — сила» (1967, № 1, стр. 42—43) поспешил опубликовать статью, подробно излагающую деяния Дракулы и таким образом привлекающую к труду Я. С. Лурье внимание читателей, далеких от исследовательских проблем.

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

Р. Б. ЗАБОРОВА

ИЗУЧАЯ РУКОПИСИ ЕСЕНИНА

За пятитомным собранием сочинений Есенина (Гослитиздат, М., 1961—1962) укрепились слава первого «научного издания».¹ Коллектив его составителей проделал «большую работу... по уточнению текстов произведений и выявлению вариантов по рукописям и перепечаткам в различных изданиях».² В переиздании пятитомника, как следует из предисловия редакции, дополнительно «учтены материалы, появившиеся в печати за прошедшее время. Это позволило уточнить даты написания и текст отдельных стихотворений».³ Высказывалось мнение, что по своему типу и по соблюдению требований «максимальной достоверности» пятитомное издание (1966—1968) приближается к «академическому».⁴

Тем не менее нельзя не отметить, что некоторые стихотворения оказались ненапечатанными, наблюдаются ошибки и неточности в воспроизведении отдельных произведений, в комментариях в ряде случаев отсутствуют существенные варианты стихов.

В известной степени перечисленные недостатки объясняются отказом составителей от свода других редакций и вариантов и от библиографического раздела. По справедливому мнению критики, «издание не оказалось бы перегруженным, если бы в нем нашли место справки о всех публикациях произведений Есенина, об имеющихся рукописях»,⁵ так как изучение творческого наследия требует «наиболее полной, научно обоснованной библиографии произведений поэта», «описания его автографов».⁶

Подобные справочные сведения были бы незаменимы при определении полноты состава томов и фронтальной сверке текстов с автографами и прижизненными изданиями. Сейчас библиографические и текстологические сведения приводятся в комментариях кратко и выборочно.

В качестве одного из пропущенных текстов укажем стихотворение «Тихий вечер. Вечер сине-хмурый...» с пометой «Июнь 1925 г. Баку», напечатанное в «Красной газете» (1926, № 73, 27 марта). В публикации «Затерявшееся стихотворение Сергея Есенина» В. Н. Орлов своевременно напомнил об этом произведении, предлагая включить его в цикл «Персидские мотивы»,⁷ но в названном цикле и вообще среди произведений 1925 года этот текст в третьем томе (вышедшем в 1967 году) отсутствует.

В пятом томе собрания сочинений (М., 1962) в приложении «Стихотворные экспромты и наброски» нет экспромта «Эх жизнь моя, улыбка девичья...». Автограф стихотворения хранится с 1948 года в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и наполовину опубликован В. Белоусовым в заметке «Экспромты Есенина».⁸

Вот полный текст этого стихотворения, написанного Есениным накануне отъезда из Баку в кругу прощавшихся с ним литераторов (упомянутые в стихах

¹ Н. Рыленков. Становление большого поэта. Заметки на полях собрания сочинений Сергея Есенина. «Звезда», 1963, № 9, стр. 200.

² А. Васильковский. Научное издание С. Есенина. «Вопросы литературы», 1964, № 7, стр. 187.

³ Сергей Есенин, Собрание сочинений в пяти томах, т. I, изд. «Художественная литература», М., 1966, стр. 5.

⁴ А. П. Ломан. Об изданиях произведений С. А. Есенина. (Критические заметки). В кн.: Есенин и русская поэзия. Изд. «Наука», Л., 1967, стр. 365.

⁵ А. Васильковский. Научное издание С. Есенина, стр. 187.

⁶ А. П. Ломан. Об изданиях произведений С. А. Есенина, стр. 369, 371.

⁷ День поэзии. «Советский писатель», М.—Л., 1964, стр. 84—85.

⁸ «Ленинская правда» (Чарджоу), 1962, № 139, 22 ноября. В заметке опубликован еще один неизвестный экспромт «Так всегда в пьяную пирушку, который должен быть учтен в новом издании, как и четверостишие «Пусть революция, ну что же...», обращенное к С. Т. Коненкову (см.: Прометей, 1967, т. IV, стр. 319).

К. Муран — сотрудник редакции «Бакинский рабочий», В. Гольдшмит — приехавший в Баку поэт).

Эх жизнь моя,
Улыбка девичья.
За Гольдшмита пьем
И за Галькевича.
Будет пуст стакан,
Как и жизнь пуста.
Прижимай, Муран,
Свой бокал к устам.

С. Есенин
5/X Баку 24.⁹

Нет в издании стихотворной дарственной надписи «А. А. Берзиной», сделанной Есениным 12 июня 1925 года на сборнике его стихов «Березовый ситец» (хранится в семье А. А. Берзинь),¹⁰ и шуточных стихов «Шел козел дорогою...», опубликованных в журнале «Нева» за 1957 год без указания места хранения рукописи.¹¹

Требуется дополнительных уточнений текст и само авторство помещенного в V томе экспромта «За сухое дерево месяц зацепился», ранее напечатанного в восьмитомном собрании сочинений Блока («За сучок сухой березы месяц зацепился»).

К сожалению, и в новом издании упомянутый раздел экспромтов и набросков оторван от общего корпуса стихотворений и не помещен в конце третьего тома, где ему следовало бы находиться. (Так же как и в первом издании пятитомника, этот раздел будет напечатан в последнем томе, после автобиографий, писем и деловых документов). Поскольку грань между стихотворениями и экспромтами очень зыбка и равноценные альбомные стихи попадают то в основной ряд, то в приложение, целесообразно было бы, на наш взгляд, поместить экспромты вслед за основным рядом стихотворений; в пятый же том в качестве приложения следовало бы ввести дарственные надписи на книгах, фотопортретах, обычно в изданиях сочинений примыкающие к письмам.

В последних пятитомных изданиях явно недостаточно использован рукописный фонд Есенина. Справки об автографах, наиболее авторитетных источниках, как уже говорилось, даются редко и непоследовательно. Например, из шести автографов стихотворений, хранящихся в архиве Ясинского,¹² в комментариях указано только два: «Не бродить, не мять в кустах багряных...» и «Даль подернулась туманом...».

О наличии автографов «Гой ты, Русь, моя родная...», «О красном вечере задумалась дорога...», «О товарищах веселых...» и «Твой глас незримый...» даже не упомянуто. Между тем они представляют несомненный интерес.

В стихотворении «Гой ты, Русь, моя родная...» начиная со сборника «Березовый ситец» 1925 года и четырехтомника 1926—1927 годов и кончая однотомником в большой серии «Библиотеки поэта» (2-е издание 1956 года) зачастую печаталось: «Звонко чахнут тополя», «Побегу по мягкой степке». Указанных ошибок, перешедших в такие популярные издания, как «Вечер русской поэзии и романа» (изд. «Искусство», М., 1964, стр. 93), легко было бы избежать, обратившись к автографу, где отчетливо написано: «Звонно чахнут тополя», «Побегу по мятой степке».

В ряде автографов имеются любопытные разночтения с печатным текстом. Так, например, в рукописи стихотворения «О красном вечере задумалась дорога...» было:

Осенний шелест ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору.

В окончательной редакции вместо «осеннего шелеста» появляется более гармонизирующий с предшествующим образом («пахучий мякиш типины») «осенний холод».

⁹ Автограф. Стихотворение написано химическим карандашом. На полях наклеены контрмарка на вечер стихов Есенина 3 октября 1924 года, вырезки из афиши и счет отеля «Новая Европа» с указанием фамилии — «Галькевич» (Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее — ГПБ), ф. 270, ед. хр. 1).

¹⁰ Е. Динерштейн, В. Земсков. Из литературного наследия Сергея Есенина. «Урал», 1963, № 1, стр. 164. Задержавшаяся печатанием публикация Динерштейна и Земскова — участников издания сочинений, судя по их предисловию, предваряла выход пятого тома.

¹¹ А. Жаворонков. Неопубликованные строки С. Есенина. «Нева», 1957, № 1, стр. 220.

¹² ГПБ, ф. 901, III, ед. хр. 283, лл. 2—7.

В стихотворении «Твой глас незримый...» метафора «Золою солнца посеян свет» сменилась более яркой и выразительной — «Рудою солнца посеян свет».

В комментариях к стихотворениям «Калики» и «Русь» не учтены вклеенные в альбом А. М. Ремизова «Цветник» беловые автографы первых (журнальных) редакций этих стихов с любопытными разночтениями и с авторским пояснением: «Переписывал для Серафимы Павловны Ремизовой. С. Есенин. 18.IV.15 г.»¹³

Особенно характерна переработка 19-й строфы стихотворения «Русь».

Первая редакция:

Помирился я с мыслями слабыми.
Сладок запах покосной травы.
Я хочу верить в лучшее с бабами
И молиться в простор синевы.

Последняя редакция:

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Примеры вариантов и разночтений можно было бы умножить.

Ссылки на автограф не всегда даются даже в спорных случаях, до сих пор вызывающих недоуменные вопросы. Так, например, к тексту стихотворения «Свет вечерний шафранного края...» (где первая строка печаталась и так: «Свет шафранный вечернего края...») дается ссылка на автограф, хранящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, а к стихотворению «Вечер черные брови насопил...» такой ссылки на автограф (см. факсимиле его в одномомнике, изданном «Библиотекой поэта» в 1956 году¹⁴) нет. Между тем ссылка лучше всего объяснила бы, почему восторжествовало в пятитомниках написание «насопил», а не «насушил» (Есенин, видимо, допускал такое написание по типу параллелей: сомневался — сомневался, пожалостя — пожалуйста).

С рядом искажений воспроизведено по рукописи в обоих изданиях пятитомника не печатавшееся при жизни поэта и впервые опубликованное в 1956 году в одномомнике «Библиотеки поэта» стихотворение «Егорий».¹⁵

Автограф этого стихотворения, написанного вместе с «Марфой Посадницей» на листках из школьной тетрадки в косую линейку, сохранился в архиве петербургского знакомого Есенина К. К. Владимирова.¹⁶ Владимиров — литератор и графолог, член Российского теософического общества, писал небольшие рассказы и литературно-критические заметки. Общаясь с писателями-современниками (И. И. Ясинским, В. В. Муйжелем, Е. Н. Чириковым, А. А. Измайловым, Н. А. Клюевым), Владимиров деятельно пополнял свою коллекцию автографов, в которой имелись рукописи Фета, Салтыкова-Щедрина, Гаршина, Горького, Брюсова, К. М. Фофанова, М. И. Цветаевой и многих других. Судя по письму поэта к Владимирову (1915), последнему принадлежит и «охарактеризование» творчества Есенина.¹⁷

Рукописи поэта — альбомная запись на память,¹⁸ черновой автограф поэмы «Марфа Посадница» и неотделанный набросок «Егорий»,¹⁹ оказались в архиве Владимиров в результате встреч с Есениным в 1915 году. Есенин, видимо, отдал Владимирову свои стихотворные наброски, как листки, ставшие ему ненужными: «Марфа Посадница» была переработана и перебелена, «Егорий» оставлен вовсе. Однако не доведенный до печати текст «Егория» имеет определенную смысловую и художественную завершенность. Кроме того, отказ от этого стихотворения иллюстрирует моменты преодоления ликепатриотических идей поэтом, в ряде других откликов на начавшуюся мировую войну («Узоры», «Русь») выразившим отрицательное отношение к этой навязанной народу войне. В стихотворении изображался (в духе воинствующего патриотизма) популярный в народном эпосе святой-воин как герой, борющийся с враждебными силами ради национального освобождения. Именно так осмыслились подвиги Егория в духовных стихах, которые во множестве знал дед поэта и которые на разные лады распевались «каликами переходжими», забредавшими и в село Константиново. Егорий, всадник с пикой в руках, преодолевает препятствия в виде гор высоких (крутых, толкучих), лесов темных (дремучих), волков серых (жадных, рысучих), змей лютых и птиц клевучих, побеждает иноверного царя и «устраивает» русскую землю.²⁰

¹³ Там же, ф. 634, ед. хр. 7, л. 7; ед. хр. 8, лл. 26—30.

¹⁴ Сергей Есенин. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта, большая серия. Изд. 2-е, «Советский писатель», Л., 1956, стр. 183.

¹⁵ Там же, стр. 67—68.

¹⁶ ГПБ, ф. 150, ед. хр. 139, лл. 1—2 об.

¹⁷ Там же, ед. хр. 73, л. 1.

¹⁸ Там же, ед. хр. 338, л. 1.

¹⁹ В ГПБ имеется также фотопортрет Есенина (поясной; сидит в кресле с книгой в руках) с надписью: «Дорогому Константину Константиновичу Владимирову. За встречи наши приятные. Сергей Есенин. 1916. 29 июль. Пт.» (ГПБ, Отдел эстампов, инв. № 15800).

²⁰ См.: Калики переходжие. Сборник стихов и исследование П. Бессонова. М., 1861, стр. 393—504 (цикл стихов «Егорий храбрый»); Духовные стихи, записанные

На наш взгляд, следует сравнивать стихотворение с духовными стихами, близкими к былинам, а не с легендами и сказаниями, как это сделано в комментариях, помещенных в обоих изданиях пятитомника (по примеру первой публикации в «Библиотеке поэта») и в некоторых специальных работах.²¹

Образы духовных стихов, иконописи, а может быть, и принадлежавшего Есенину панно «Святой Георгий побеждает зло»²² своеобразно претворились в изображенной поэтом живописной картине похода Егория, собирающего «белых волков» против затаившего злобу врага; старый мотив устной народной поэзии по-новому зазвучал в дни военной угрозы 1914 года. Но стихотворение интересно не только в этом плане; оно привлекает внимание поэтическими приемами, динамикой действия, красочностью изображения, образностью языка. К сожалению, читатели и исследователи творчества Есенина получили в свое распоряжение не совсем точный текст этого стихотворения, что видно из приводимого ниже сравнения последней публикации в первом томе собрания сочинений (М., 1966) и предлагаемого воспроизведения автографа:

В синих даях плоскогорий,
В лентах облаков
Собирал святой Егорий
Белых волков.

«Ой ли, светы, [ратовой уж]
Слушайте мой сказ.
У меня в лихом изгой уж
Есть поклон до вас.

Все волчицы строят гнезда
В муромских лесах.
В их глазах застыли звезды
На ребячий страх.

И от тех ли серолобых
Ваш могучий род,
Как и вы, сгорает в злобах
Чужевой (?) оплот.

Но недавно помирились
С русским мужиком.
Долго злились, долго бились
В пуще вы тайком.

Там с закатных поднебесий
Скачет враг — силен,
Как на эти ли полесья
Затаил полон.

Чую, выйдет лохманида —
Не ужиться вам,
Но уж черная планида
Машет по горам».

Громовень подняли волки:
«Мы ль трусовики!
Когти остры, зубы колки —
Разорвем в клоки!»

В синих даях плоскогорий,
В лентах облаков
Собирал святой Егорий
Белых волков.

«Ой ли, светы-[ратобойцы],
Слушайте мой глас.²³
У меня в лихом, изгойцы,
Есть поклон до вас.²⁴

Все волчицы строят гнезда
В муромских лесах.
В их глазах застыли звезды
На ребячий страх.

И от тех ли серолобых
Ваш могучий род.
Как и вы, сгорает в злобах
Гнездовой оплот.²⁵

Долго злились, долго бились
В пуще вы тайком,
Но недавно помирились²⁶
С русским мужиком.

Там с закатных поднебесий
Скачет²⁷ враг — силен
Как на эти ли полесья
Затаил полон.

Чую, выйдет лохманида —
Не ужиться вам,
Но уж черная планида
Машет по горам!»²⁸

Громовень подняли волки:
«Мы ль трусовики?»²⁹
Когти остры, зубы колки —
Разорвем в клоки!»

в Тульской губернии в июле 1845 года Павлом Смирновым. М., 1908, стр. 12—16; «Олонецкие губернские ведомости», 1867, № 13, 1 апреля, и др.

²¹ В примечаниях в указанных изданиях стихотворение связывается не с духовными стихами, а с легендами. Л. Л. Бельская считает стихотворение переложением «евангельских легенд», восходящих «к апокрифам или народным сказаниям» (Л. Л. Бельская. Раннее творчество Сергея Есенина (стихи 1910—1916 годов). Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Алма-Ата, 1967, стр. 12).

²² Е. А. Есенина. В Константинове. В кн.: Воспоминания о Сергее Есенине, М., 1965, стр. 41.

²³ Было: сказ

²⁴ Надписано над зачеркнутым: Повелел сам Спас

²⁵ Далее зачеркнуто: Как на это ли полесье

²⁶ В рукописи: померились. На полях — знак $\angle$, как и после стиха 16-го. Предполагаем, что это означает перестановку двуступий. В следующей строфе перестановка двуступий обозначена, однако, иначе: 1), 2).

²⁷ В рукописи: скачет, переделанное из вскочет

²⁸ Далее зачеркнуто: как залкалили

²⁹ В рукописи: трусовики

Собирались все огулом
Вырядить свой ³⁰ суд,
Грозным криком, дальним гулом
Замирал их гуд.

Как почуяли облаву,
Вышли на бугор.
«Ты ве́ди ³² нас на расправу,
Храбрый наш Егор!»

«Ладно, — молвил им Егорий, —
Я вас поведу
Меж далеких плоскогорий,
Укро́чу ³³ беду!»

Скачет всадник с длинной пикой,
Распугал всех сов.
И дрожит земля от крика
Волчьих голосов.

Собирались все огулом
Вырядить свой суд,
Грозным криком, дальним гулом
Замирал их гуд.³¹

Как почуяли облаву,
Вышли на бугор:
«Ты ве́ди нас на расправу,
Храбрый наш Егор!»

«Ладно, — молвил им Егорий, —
Я вас поведу,
Меж далеких плоскогорий
Укро́чу Беду!»

Скачет всадник с длинной пикой,
Распугал всех сов.
И дрожит земля от крика
Волчьих голосов.

Есенин отказался от мысли печатать это стихотворение. Однако аналогичный художественный прием (связь с русской стариной, народным песенным и былинным творчеством) нашел выражение в другом произведении поэта. В печати вместо «Егория» появилось стихотворение «Богатырский посвист» с тем же описанием похода богатыря против иноземного врага, но с заменой богатыря-святого мужиком-богатырем, который, оседлав «клячу брыкучую» и взяв в руки «пику вострую», едет с богатырским посвистом на битву с врагом.

Ура-патриотические настроения ненадолго захватили поэта. Есенин писал в автобиографии, переданной И. Н. Розанову: «Я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему „гром победы раздавайся“, но поэт может писать только о том, с чем он органически связан».³⁴

Полностью подтверждает эти слова Есенина начатая на тех же листах, что и «Егорий», поэма «Марфа Посадница», принятая Горьким в «Летопись», но запрещенная царской цензурой. Более того, в ней можно уловить отголоски социал-демократического лозунга превращения войны империалистической в войну гражданскую.

Выработка окончательного текста поэмы, завершающегося призывом к народному восстанию, которое свергло бы «с Кремля колокола» и водрузило бы «с веча колокол» над вольным Новгородом, шла сложным путем, о чем дает некоторое представление сохранившаяся черновая рукопись.

Сперва концовка была иной — она включала картину поражения «гордого Новгорода», оплакивания его горькой участи.

Выходили новгородцы с хлебом-солью,
Обливались они в горьком плаче,
Отдали ключи от города с болью.
А и тут конец его сдачи.

Однако работа над этим вариантом прекратилась в самом начале. После замены первых двух стихов:

Выходили новгородцы за ворота,
Обливались они горючими слезами —

автор оборвал переделку, все зачеркнул и заключил произведение четверостишием, в окончательной редакции открывающим последнюю главку:

А и минуло теперь чetyреста лет.
Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
Исполнить святой Марфин завет:
Заглушить удалю московский шум.

³⁰ В издании «Библиотеки поэта»: сей

³¹ Далее зачеркнуто: Ох ты, храбрый наш Воя

³² В издании «Библиотеки поэта»: ведешь

³³ В издании «Библиотеки поэта»: укрошу

³⁴ И. Н. Розанов. Воспоминания о Сергее Есенине. В кн.: Воспоминания о Сергее Есенине, стр. 299.

В печатной редакции это обращение приобретает все нарастающую силу в связи с тем, что после него следуют новые четыре строфы о бойцах Новгорода и Киева, призванных подружить вечевой колокол вместо кремлевского.

Приведенный выше любопытный вариант (как и вся черновая редакция в целом) в пятитомном собрании сочинений отсутствует, хотя, например, в комментарии к «Песни о Евпатии Коловрате» первоначальная редакция произведения приводится полностью.

Непонятно, на какую печатную редакцию опираются составители и почему в последней строфе печатается стих из ранних публикаций стихотворения (Скифы, сб. I. Пгр., 1917; Красный звон. Пгр., 1918): «Загудит *нам* с веча колокол, как встарь» (курсив мой, — Р. З.). В некоторых позднейших подготовленных автором изданиях (Сергей Есенин. Радуница. [М.], 1921; С. А. Есенин. Собрание стихов и поэм, т. I. Изд. З. И. Гржебина, Берлин—Пб.—М., 1922; С. А. Есенин. Собрание стихотворений. ГИЗ, М., 1926—1927) печаталось: «Загудит *наш* с веча колокол, как встарь» (курсив мой, — Р. З.).

В числе отличий публикуемого текста от рукописи указан лишь заголовок «Новгород», в отношении которого следует заметить, что он мог означать и наименование цикла: на листках, содержащих «Марфу Посадицу», начато также стихотворение «Поп» (ни в одном из изданий сочинений не учтенное).

В седилах донышко от чаши
С вином и пресной просфорой.
Витали в глаза<х> все скорби наши.

Текст черного автографа и разночтения печатных редакций были бы тем более уместны в пятитомном собрании сочинений, что учет разночтений начат еще в посмертном четырехтомнике, а появившаяся в 1958 году публикация автографа, не отмеченная составителями нового издания, но зарегистрированная в есенинской библиографии, из-за допущенных пропусков и искажений текста не дает о нем правильного представления.

Приведем для примера несколько строф из первой части публикации, принятая в доказательство того, что «предельно сжатой, точной и выразительной речи Есенин достигал в процессе упорной работы над текстом»³⁵ (разночтения с окончательным текстом публикатор выделил курсивом, зачеркнутое — скобками; в нашей параллели добавляем от себя знаки препинания).

Раскололся зыками колокол на вече
Замахали кружевом полотнища зорния
Услыхали ангелы голос человечесий

Раскол<ол>ся зыками колокол на вече,
Замахали кружевом полотнища зорния;
(Гаркнул над проулками голос
человечий)

Отворили наскоро окна ставни горния

(Выглянула в окна)
(Отворила окна)
(С моста ли заречного голос человечесий
Как отгул)
Услыхали ангелы голос человечесий,
Отворили наскоро (вытворники)
окна-ставни горния.
(Стала Марфа с чинностью у крыльца
столбового)

Возговорит Марфа голосом *серебряным*

Возговорит Марфа голосом
серебрян(ым)о:

Ой ли вы внуки Васькины правнуки
Микулы

«Ой ли, внуки Васькины, прав-
нуки Микулы!

Грамотой московскою извольню

Грамотой московскою извольню повелено

Выгомонить вольницы бражные загулы.
Заходила буйница выхвали старинной

Выгомонить вольницы бражные загулы!»
(Поднялась) Заходила буйница выхвали
старинной,

Бороды как молоньи выпячились грозно

Бороды, как *молоньи*, *выпячились*
грозно:

Что нам Московия как поставник
блинный

«Что нам Московия, — как поставник
блинный.

(Там антихрист празднует важно
и загозно)

(Там антихрист празднует крепко
и загозно)

Там бояре те жены хлыстают загозно.

Там бояр(е плачут перед ба)-те жены
хлыстают загозно».

³⁵ А. З. Жаворонков. Поэма С. Есенина о Новгороде Великом. «Ученые записки Новгородского государственного педагогического института», т. III, филологический выпуск, 1958, стр. 101—103, 110.

Марфа на крылечко праву ножку
 кинула
 Левою помахала *каблуком* сафьяновым
 Быть так кротко молвила *брови*
 сдвинула
 (Не указы от нехристи...)
 (Не указ зере...)
 Не ручки брызгатели выцветням
 росяновым

Марфа на крылечко праву ножку
 кинула,
 Левою помахала *каблуком* сафьяновым.
 «Быть так, — кротко молвила, черны
 брови сдвинула, —
 (Не указ от нехристи)
 (Не указ заре)
 (Не указ ручки поемам росяновым)
 Не ручки (указуют) — брызгатели
 выцветням росяновым».

Нетрудно видеть, что освещение творческого процесса создания произведения дано публикатором крайне упрощенно и даже искаженно: истинные варианты («Гаркнул над проулками голос человеческий» и др.) и разночтения («Бороды, как *молоньи*, *выпячались* грозно»; курсив мой, — Р. З.) сплошь и рядом опущены. Вместо них фигурируют неправильно прочитанные отдельные слова и выражения, идентичные в черновике окончательному тексту. Ряд разночтений в дальнейшем тексте, наоборот, уничтожен из-за подмены их словами печатной редакции. Исчезли «чикнул», «зёмным гудом», «черных свит», замененные словами печатной редакции: «чиркнул», «земным гудом», «черных згит».

Публикация Жаворонкова не дает представления об авторской работе над образом Марфы. В зачеркнутом первоначальном варианте героиня «стала... с чинностью у крыльца столбового»; в последующем изложении она говорит с крыльца, помахивая «каблучком сафьяновым», покоряя «буйницу» своим женским обаянием, в котором автор отказывает боярским женам. От строки «Стала Марфа с чинностью у крыльца столбового» Есенин отказался, так как по своему содержанию она не соответствовала характеристике героини, которая, выйдя за ворота к новгородцам, «в жемчуге кокошник в небо запрокинула», а в пылу речи приподнялась над ними, встав на крыльцо. Неправильно отнесена к конечному этапу работы боевая демократическая «озвученность» поэмы. Целевая агитационная установка появилась не внезапно «для окончательной редакции»³⁶ — она изначально намечена автором, уже в центральной сцене указавшим на грядущее возмездие «московскому царю».

Проецирование идей современности вглубь исторической жизни народа, погружение в мир старины в поэме не прокомментировано соответствующим образом в статье «Поэма С. Есенина о Новгороде Великом». Современный читатель, конечно, не может примириться с употреблением сугубо архаичных слов и отживших диалектных форм, вроде таких: «загозно», «брызгатели выцветням росяновым», «тропарь», «в зарукавнике» и т. п., — заявляет Жаворонков,³⁷ и рука его произвольно меняет стилизованные есенинские формы на более обыденные, «свои». Так появились в ущерб словесной точности и ритму стиха «исчадь ада» вместо «исчаведье ада», «гордый Новгород» вместо «гордый Новоград», в цитации печатной редакции — «певунный Волхов» вместо «певунный Волохов» и т. д. Одновременно публикация навязывает поэту привычные простонародные формы: «во черном овраге», «Ужо вы, голуби...», «стучитесь по новоградским дверям» (в рукописи: «в черном овраге», «Уж вы, голуби...», «стучитесь к новоградским дверям»).

Нападки на старинную лексику перемежаются с критическими замечаниями автора статьи по поводу религиозной символики произведения, объясняемой, в первую очередь, «религиозными верованиями автора» и лишь во вторую — «стремлением воспроизвести взгляды людей далекой старины».³⁸

Такое толкование идет вразрез с общеизвестными высказываниями Есенина о чисто литературном значении его Спасов и Микол, о том, что его «стихи не есть исповедание веры».³⁹

Творческое развитие Есенина характеризовалось прояснением и углублением его реалистического видения мира. В этом отношении характерна эволюция текста стихотворения «Даль подернулась туманом...», окончательная редакция которого значительно отличается от первоначальной, сохранившейся в архиве Ясинского.

Воспроизводим лишь частично использованный в комментариях последних изданий текст в первой редакции с подчеркиванием отличающихся от печатного варианта мест.

Даль подернулась туманом,
 Странник день и лис и бледен.

Темный вечер *над* куканом
 Расстелил кудрявый бредень.

³⁶ Там же, стр. 103.

³⁷ Там же, стр. 110.

³⁸ Там же, стр. 102, 106.

³⁹ Н. Полетаев. Есенин за восемь лет. В кн.: Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. Под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 100; см. также: П. С. Выходцев. Русская советская поэзия и народное творчество. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 228.

За попоной карих ветел
Перепелли звоны ветра.
Тихий сумрак — ангел теплый
Напоен звездным светом.

Сон избы легко и ровно
Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Краше девок пот мужичий.

Теплют ясли в ризах скользких
Пламень правды и покоя.
Желтый тлев окрошен воском
Молока парных удоев.

Чей-то мягкий лик за лесом,
Пахнет вишнями и мохом.
Друг, товарищ и ровесник,
Помолись коровьим вздохам.

В примечаниях к окончательному тексту, помещенных в обоих изданиях пяти-томника, приведена лишь исключенная в печатной редакции четвертая строфа автографа. Но, кроме изъятия этой строфы о яслях, теплющих пламень правды и покоя, строфы, невольно вызывающей ассоциации с евангельскими яслями и поэтому, возможно, впоследствии отброшенной, автором был сделан и ряд других изменений для усиления конкретно-реальной выразительности стиха. Образ смн-ренного странника («Странник день и лыс и бледен»), служащий метафорой угасающего дня, как бы клонящегося к вечерней молитве, уступает место другому образу — вольному, жизнерадостному: «Чешет тучи лунный гребень»; эпитет «скользких» характеризует уже не ризы яслей, а качающиеся от ветра ветлы. Последней строфы правка не коснулась, и отклонения (в первом стихе) в посмертной публикации в «Красной нови» (1926, № 7, с датой: «Июнь 1916 года») и в перепечатках — в IV томе посмертного собрания сочинений (М., 1927), а также в издании «Библиотеки поэта» (в первом и четвертом стихах) — в свете сохранившегося автографа придают другой оттенок последней строфе. Вот эти искажения:

Чей-то мягкий *лих* за лесом
Пахнет вишнями и мохом...
Друг, товарищ и ровесник,
Помолись коровьим *вздохом*.

Чуткость восприятия, глубина проникновения в конкретную реальность, обостренность нравственного чувства безошибочно влекли поэта к главной магистрали советской поэзии.

Уже в начале пути поэт, вовлеченный в 1913 году в рабочее движение, видел в любовном и художественно верном освещении деревенской Руси выражение не только поэтического, но и политического служения родине.

В этом плане любопытно сообщение С. И. Стриевской, обнаружившей в конфискованном номере большевистской газеты «Наш путь» от 30 августа 1913 года стихотворения «В эту ночь...» и «Уйти бы...»,⁴⁰ подписанные инициалами «А. Т.».⁴¹ Первое стихотворение, в следующем 1914 году переработанное и напечатанное Есениным в журнале «Мирок» под названием «С добрым утром», сейчас перепечатано в сборнике «Поэзия в большевистских изданиях. 1901—1917».⁴² Второе стихотворение «Уйти бы...» («Мне снится родимое поле...») было отставлено требовательным к себе поэтом возможно из-за отдаленного сходства его начала с надсоновскими «Грезами». Точно так же, из творческих соображений, была забракована и приведенная выше первоначальная редакция (1916 года) стихотворения «Даль подернулась туманом...». В переработке, возможно, не окончательно, но значительно видоизменившей идейный смысл произведения, оно было напечатано лишь после смерти поэта.

В. Е. ГУСЕВ

ЕЩЕ РАЗ ОБ АВТОРЕ «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

Творческая история революционных песен давно интересует советских исследователей. Особое их внимание привлекает «Красное знамя» — один из самых популярных гимнов российского пролетариата. Вопрос об авторе русского текста этой песни с самого начала оказался весьма сложным: переводчиками с польского

⁴⁰ С. Стриевская. Не Есенин ли это? «Литературная Россия», 1966, № 42, 14 октября, стр. 11.

⁴¹ Известны и другие случаи, когда поэт печатался под псевдонимом. Так, в 1914 году Есенин опубликовал стихотворение «Береза» за подписью «Аристон».

⁴² Поэзия в большевистских изданиях. 1901—1917. Библиотека поэта, большая серия. Изд. 2-е, «Советский писатель», Л., 1967, стр. 268.

в разных источниках и исследованиях назывались В. Акимов (В. П. Махновец), В. Г. Богораз, Г. М. Кржижановский.

Атрибуция многих революционных песен связана с большими трудностями — они публиковались без подписи, распространялись в разных вариантах, документальные доказательства принадлежности тому или иному поэту, как правило, отсутствуют, свидетельства об авторах (зачастую позднейшие) противоречат одно другому. Поэтому всякая категоричность, в особенности в тех случаях, когда исследователь основывается лишь на косвенных данных, весьма рискованна. Особые трудности представляет атрибуция переводов международных революционных песен. Когда речь идет о таких песнях (как это имеет место в случае с «Красным знаменем»), то рассуждения о первичности или вторичности того или иного перевода оказываются беспредметными без обращения к тексту на языке подлинника. Если предполагаемый автор песни — видный участник освободительного движения, то вряд ли лучшим аргументом против принадлежности ему текста может служить стремление дискредитировать его литературный труд. Вот почему, как мне представляется, спор об авторе «Красного знамени» приобретает принципиальный характер.¹

В своей заметке я выразил сомнение в убедительности утверждения, будто автором русского текста, ставшего песней, является В. Акимов (В. П. Махновец), и высказал недоумение, почему Е. Гиппиус и П. Ширяева даже не упомянули имя В. Г. Богораза, хотя текст, весьма близкий к песенному, сам поэт включил в сборники своих стихотворений. Это умолчание было особенно выразительным, поскольку Е. Гиппиус и П. Ширяева воспроизвели текст перевода Богораза, но по песенникам — как якобы анонимный «малоизвестный полный перевод». ² Не вдаваясь в историю вопроса, я упомянул лишь последние работы о поэзии Богораза и сосредоточил внимание на архивных материалах, доказывающих причастность поэта к созданию революционной песни.

Отвечая мне, мои оппоненты настаивают на своей версии, по-прежнему считая Акимова единственным автором русского песенного текста. К полемике меня вынуждают два обстоятельства: неверное изложение в статье Е. Гиппиуса и П. Ширяевой моих выводов и, особенно, весьма субъективное истолкование ими идейной направленности богоразовского перевода.

Мои оппоненты пишут: «В. Е. Гусев... пытается доказать, что автором *общераспространенного* русского перевода... был В. Г. Богораз...» (стр. 115). Это — явное упрощение моего понимания творческой истории песни. Свою заметку я заключил следующим выводом: «...если Богораз и не был единственным автором известного, закрепившегося в песенном быту русского текста „Красного знамени“, то, во всяком случае, он является одним из основных авторов этого произведения, и замалчивание его имени не может быть ничем оправдано». ³ Я допускаю в своей заметке, что Акимов сыграл некоторую роль в творческой истории песни, ⁴ но не могу (ни тогда, когда писал заметку, ни теперь) признать Акимова автором песенного текста.⁵

Е. Гиппиус и П. Ширяева отрицают какое бы то ни было участие Богораза в создании песни; все совпадения его перевода, а также черновых вариантов отдельных стихов (не вошедших в первую авторскую публикацию) с песенным текстом мои оппоненты объясняют «прямыми заимствованиями» соответствующих мест из популярной русской песни и даже из других параллельных переводов «Красного знамени», публиковавшихся в разных изданиях. При этом Е. Гиппиус и П. Ширяева создают определенную идеологическую концепцию богоразовского перевода. Правда, она нигде не сформулирована, но составляет «подтекст» статьи и обнаруживается определенно в одном месте. То, что в переводе принадлежит самому Богоразу, выражает, по словам авторов, «одну и ту же тенденцию — смягчения остроты политического звучания» польского текста и русской песни, поэт «прослаивает» оригинал «своими вариациями, политически его переакцентирующими в том же народническом оттенке» (стр. 121) и т. п. (курсив мой, — В. Г.). Постараемся разобраться, правы ли мои оппоненты.

¹ См.: В. Гусев. Кто же был автором «Красного знамени»? «Вопросы литературы», 1967, № 5, стр. 247—251; Е. В. Гиппиус, П. Г. Ширяева. Об авторе русского текста «Красного знамени» (По поводу заметки В. Е. Гусева «Кто же был автором «Красного знамени»?». «Русская литература», 1968, № 2, стр. 115—124 (далее ссылки на эту статью в тексте).

² Е. Гиппиус, П. Ширяева. Из истории песни «Красное знамя». «Советская музыка», 1965, № 12, стр. 55.

³ В. Гусев. Кто же был автором «Красного знамени», стр. 251.

⁴ Там же, стр. 250.

⁵ Коль скоро в статье Е. Гиппиуса и П. Ширяевой неверно представлена даже суть наших расхождений, то нет смысла опровергать другие неточности в изложении моей заметки. Внимательный читатель сам заметит неоправданность многих упреков в мой адрес.

Не требуется никаких усилий, чтобы убедиться, что богоразовский перевод отличается большей, почти текстуальной близостью к польскому оригиналу. Совершенно очевидно, что Богораз руководствовался стремлением максимально точно передать подлинник. А поскольку это обнаруживается в строфе, имевшейся уже в первой авторской публикации, то все рассуждения Е. Гиппиуса и П. Ширяевой относительно побуждений, которые влияли на работу поэта над своим переводом, вызывают большие сомнения.

Мои оппоненты полагают, будто черновые наброски перевода подтверждают их концепцию. Так, они считают, что Богораз придавал «явно решающее значение» пятой строфе в смысле «смягчения остроты политического звучания». Что ж, проанализируем автографы этой строфы, тем более, что Е. Гиппиус и П. Ширяева далеко не полностью воспроизвели ее текст.⁸ Второй набросок пятой строфы (всего имеется три ее наброска), отражающий упорную работу Богораза над переводом, выглядит так:

Долой владык с их подлой [свит] дворней
разобьется
Пусть гибнет старый гнусный мир
обновим тот всю в корнѣ
Мы перестроим <нрзб> [разобьем] жизнь [до корня]
строй разбитый
Основы жизни создадим лю
И новый строй! И воплотим любовь и мир
мир.⁹

«Смягчение» текста Е. Гиппиус и П. Ширяева усматривают в исчезновении в этом отрывке слова «тираны» (тогда как оно было в первом наброске: «долой тиранов»). Однако далее, обращаясь к третьему наброску, Е. Гиппиус и П. Ширяева опускают первую его строку (не указав даже пропуск отточием), хотя здесь Богораз снова возвращается к первому варианту, дополняя его новыми словами:

Долой тиранов. Прочь оковы
Пусть гибнет старый злобный мир
Мы обновимъ его основы
И воплотим любовь и мир.¹⁰

Таким образом, первая строка оказалась целиком совпадающей с песенным текстом! По представлению моих оппонентов, Богораз от варианта к варианту отходил от песенного текста, «смягчая» его, а на поверку оказывается наоборот — только в третьем варианте он «приблизился» к этому тексту. Следовательно, рассуждения моих оппонентов повисают в воздухе. Наконец, Е. Гиппиус и П. Ширяева забывают упомянуть, что «окончательной авторской версии» предшествовал еще один вариант:

И братство даст нам общий мир.¹¹

В результате неоднократных переделок пятая строфа в беловом автографе и в первом опубликованном варианте стихотворения (сборник 1905 года) оформилась так:

Долой тиранов, прочь оковы!
Пусть гибнет старый, злобный мир!
Мы обновим его основы,
И будет жизнь, как братский пир.

⁸ В рукописном собрании В. Г. Богораза (Архив АН СССР, Ленинградское отделение, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 96/8) имеются следующие автографы перевода: 1) черновые наброски (лл. 79—80); 2) рукопись без названия, где первые три строфы переписаны без помарок, а четвертая и пятая строфы содержат правку (л. 143—143 об.); эту рукопись Е. Гиппиус и П. Ширяева неправомерно называют «беловым автографом», в действительности же это — редакция, предшествовавшая беловому автографу (в дальнейшем — промежуточная редакция); 3) беловая рукопись, озаглавленная «Песня (перевод)», содержащая редакцию перевода, опубликованную во 2-м издании «Стихотворений» (1905) (л. 37—38).

⁹ Архив АН СССР, ф. 250, оп. 2, л. 79 об. Кстати, вторую строку первого наброска авторы воспроизводят неточно. В рукописи: «Пусть гибнет старый» (л. 79 об.). Сохраняю орфографию подлинника (за исключением конечного «ѣ»). По старому правописанию слова «мир» и «мпр» имели разное значение.

¹⁰ Там же, л. 80.

¹¹ Там же, л. 143 об.

Но вернемся к приведенному выше наиболее полному черновому наброску строфы и сравним его с польским текстом:

Precz z tyranami, precz
z zdziercami!..
Niech zginie stary, podły świat!
My nowe życie stworzymy sami
I nowy zaprowadzimy ład!

Долой тиранов, долой живодеров!
Пусть сгинет старый подлый мир!
Мы новую жизнь создадим сами
И новый наведем порядок.

Теперь становится понятным, чем вызвана была замена слова «тиранов» на «владык» в первой полной строке черногового варианта: она объясняется не «тенденцией смягчения», а желанием сохранить смысл всей строки оригинала в целом, при этом первоначальное «тиранов» не уложилось в строгий ямбический размер стиха (ср. возможное «Долой тиранов с их подлой дворней» с богоразовским текстом: «Долой владык с их подлой дворней»). Но затем, в окончательной редакции этой строки, Богораз решил пожертвовать точностью передачи второй половины («долой живодеров» — «подлой дворней») как раз для того, чтобы сохранить более значительную часть подлинника («долой тиранов»).

Наибольшие трудности Богораз испытывал при переводе последней строки. Следует признать, что ему она так и не далась. Но легко можно догадаться, почему он так бился над ней, — он явно подгонял ее под рифмующую с ней вторую строку, которую перевел без особых усилий, очень точно по смыслу и текстуально весьма близко к подлиннику: «Пусть гибнет старый гнусный мир». Отсюда разные варианты четвертой строки: «И воплотим любовь и мир», «И братство даст нам общий мир», «И будет жизнь как братский пир». Всякий, кто учитывает психологию поэтического творчества, поймет, следовательно, что в данном случае отступление от оригинала было не результатом намеренного его «смягчения», а вынужденным компромиссом, причем продиктованным желанием сохранить другую, значительную по политическому содержанию строку в точном соответствии с оригиналом («Пусть сгинет старый подлый мир»). Так обстоит дело с «тенденцией» богоразовского перевода «Красного знамени». Теперь посмотрим, как Богораз «заменял» свои стихи стихами из популярной песни.

Произвольность аргументации моих оппонентов, стремящихся во что бы то ни стало доказать, что Богораз компилировал разные, в том числе даже непопулярные переводы «Красного знамени», и несостоятельность их вывода, что все случаи совпадений текста Богораз и прочих текстов объясняются «прямыми заимствованиями» из них, особенно обнаруживаются на следующем примере. Е. Гиппиус и П. Ширяева утверждают, что «в тексте перевода Богораз, опубликованном в 1905 году, слышатся прямые отзвуки и малоизвестного анонимного русского текста „Красного знамени“, обнародованного в 1902 году в газете „Наше дело“, издававшейся Николаевской группой РСДРП:

Красное знамя Песня (перевод с польского)

Первое четверостишие текста Б. Червенского

Но близок, близок день расплаты	Но близок час расплаты правой
Судить мы будем палачей...	Тогда судьями будем мы...

Третье четверостишие текста Б. Червенского

Порядок старый уж рушится	Отживший рушится порядок,
Что нас живит, его мертвит...	В его паденьи наш успех...

(стр. 119).

Мои оппоненты допускают только два объяснения сходства обоих переводов: либо богоразовский текст был известен в Николаеве, либо, наоборот, Богоразу был известен текст из николаевской газеты. Как и следовало ожидать, авторы, не колеблясь, принимают второе объяснение, даже не затрудняя себя доказательствами, каким образом Богораз мог воспользоваться этим текстом, находясь в то время (и до конца 1904 года) в Америке. Между тем стоит лишь обратиться к польскому подлиннику, как становится совершенно ясным, что близость обоих переводов объясняется общим источником.

Nadejdzie jednak dzień zapłaty, Sędziamy biedziem wtedy my!	Настанет, однако, день расплаты, Судьями будем тогда мы!
--	---

Как мы видим, вторая строка богоразовского перевода точно воспроизводит подлинник, в отличие от текста николаевской газеты («Судить мы будем палачей»), что само по себе опровергает предполагаемую зависимость от него перевода Богораз. Второй же цитируемый Е. Гиппиусом и П. Ширяевой пример есть

не что иное, как стихи из куплета, в принадлежности которого Богоразу и в оригинальности которого они сами до этого не сомневались, поэтому в данном случае сопоставление с текстом николаевской газеты по меньшей мере бессмысленно. А ведь именно эти примеры мои оппоненты приводят в подтверждение того, что совпадение перевода Богораз — даже его черновиков — со стихами песни, опубликованной в 1900 году, объясняется теми же «прямыми заимствованиями»!

Обратимся поэтому к автографам Богораз и проверим утверждение, что все стихи, совпадающие в его переводе с популярной песней, «выписаны» (это слово повторяется моими оппонентами неоднократно) поэтом из «певческого текста».

Так, Е. Гиппиус и П. Ширяева ссылаются на «опущенные» в моей заметке две заключительные строки второго куплета (хотя этот пропуск у меня обозначен отточиями). Но эти строки нисколько не опровергают выдвинутого мною тезиса о «поисках Богоразом окончательной редакции текста». Привожу соответствующую часть чернового автографа полностью:

Слепое зло падет бессильно

Добро не может умереть

[Добро] Но в[ечно бу]дет жить любовь.¹²

По утверждению моих оппонентов, Богораз первое слово последней строки («добро») «выписывает сначала также в версии общераспространенного текста» (стр. 121). Но почему Богораз понадобилось «выписывать» это слово, затем искать «свою» версию, отказываться от нее и снова «восстанавливать» «версию, дословно повторяющую общераспространенную» (стр. 12), когда все дело просто и естественно объясняется тем, что в распоряжении Богораз был польский текст, где соответствующая строка и содержала это самое слово:

Co złe, to w gruzu się rozleci,
Co dobre, wiecznie będzie żyć!

Что зло, то в развалины распадется,
Что добро — вечно будет жить!

Авторы сетуют, что я не привожу факсимиле автографа. Это замечание, очевидно, сделано с целью вызвать сомнения в точности воспроизведения мною цитируемых мест. Но мои строгие оппоненты не преминули бы отметить неточности, если бы такие действительно оказались. Между тем они не смогли это сделать. Лишь в одном случае они пытаются поправить меня, но сами ошибаются (стр. 120): вопреки их утверждению, слова «над миром» все-таки содержатся в той рукописи, на которую я ссылаюсь,¹³ и эта рукопись не является, как они считают, «беловым автографом» (см. примеч. 8 и факсимиле 4-й и 5-й строф).

Пристальное внимание Е. Гиппиуса и П. Ширяевой привлекли четыре стиха черновых набросков (2-я строка второй строфы и 2-я, 3-я, 4-я строки четвертой строфы). По их утверждению, эти стихи Богораз «выписывает... сначала в своей авторской версии, не соответствующей общераспространенному певческому тексту, а вслед затем, в одном и том же ряду, в версии, дословно с ней совпадающей» (стр. 120). Богораз сделал это, по мнению моих оппонентов, с целью сопоставления «своего перевода» и «певческого текста», отдав предпочтение последнему. С авторами статьи можно согласиться лишь в одном: Богораз действительно мог сопоставлять два возможных варианта перевода. Но где доказательства, что вторая версия «выписана» автором из русского «певческого текста», а не является непосредственным переводом с польского, принадлежащим самому Богоразу? В двух случаях (2-й стих второй строфы и 2-й стих четвертой строфы) вторая версия ближе к польскому тексту, чем первая, и это-то и объясняет, почему Богораз, как и в других случаях, отдал предпочтение именно второй версии. Сопоставим соответствующие стихи:

Польский текст	Дословный перевод	Вторая версия
Nawiązać chcą starganą nić	Связать хотят разорванную нить	Связать разорванную сеть
Z jedną myślą, z dłońią w dłoń!..	С единой мыслью, с рукой в руке!..	Рука с рукой и мысль одна

Что же касается 4-го стиха четвертой строфы, то он вообще, вопреки утверждению моих оппонентов, не имеет двух версий, а сразу дан как перевод соответствующей строки польского текста:

Польский текст	Дословный перевод	Автограф Богораз
Czyż jest na świecie taka broń!..	Разве есть на свете такое оружие!..	Чья власть на свете так сильна?

¹² Архив АН СССР, ф. 250, оп. 2, л. 79 (вторая строка надписана над третьей).

¹³ Там же, л. 143. Факсимиле см. на стр. 168.

Amputation' premières, seconde
A la naissance pour le sexe
Naufrage en mer, colerance, sang
U d'après nous en que l'on

[illegible][illegible]

речь? ¹⁴ Однако все, на мой взгляд, становится на свои места, если отказаться от противоречивой в своей основе концепции, предложенной авторами статьи, и принять самое естественное объяснение: Богораз непосредственно пользовался польским оригиналом и переводил его независимо от русского песенного текста.¹⁵

Когда же был создан перевод Богораза? Е. Гиппиус и П. Ширяева оспаривают мою датировку и уверяют, что сам Богораз отнес его возникновение «к кануну первой русской революции, а отнюдь не к 1898—1899 году» (стр. 122). Эту датировку авторы статьи основывают на том, что Богораз «собственноручно» перенес фразу, касающуюся его перевода, в ту часть его автобиографии, «в которой речь идет о событиях 1905 года» (стр. 122). Но авторы статьи неправы, так как соответствующая фраза отнюдь не находится в этой части, а содержится в самостоятельном абзаце. Этот абзац и следующие за ним отделяют рассказ Богораза о длительном периоде его жизни (причем события передаются не в хронологической последовательности) от рассказа о первой мировой войне. Три абзаца, в том числе и включающий признание в принадлежности поэту песни «Красное знамя», содержат краткую обобщенную сводку его литературного творчества за весь довоенный период. Первый из них начинается фразой: «За это время я много писал, стихи и прозу».¹⁶ Фраза относится не только к кануну революции 1905 года; это подтверждается тем, что далее Богораз называет, с одной стороны, произведения, написанные им в ссылке (например, «Чукотские рассказы», выпшедшие в свет отдельной книгой в 1900 году), а с другой стороны — собрание сочинений 1910—1911 годов. Следовательно, никаких оснований для того, чтобы усматривать в автобиографии Богораза «соотнесение» перевода «Красного знамени» к кануну революции 1905 года, нет. Тот же факт, что Богораз впервые опубликовал свой перевод в сборнике, изданном в 1905 году, объясняется просто: это было первое неподцензурное собрание его стихотворений (о чем я пишу в своей заметке). К стати, в сборник 1905 года впервые включены и другие произведения, созданные поэтом в 1890-е годы, но не вошедшие в первое издание его «Стихотворений» (1900): «Голод», «Волны», «Брат мой, спутник по общей тернистой тропе», «Рождество», «Конец века», «На Лене», «В изгнании», «В пустыне».

В своей заметке я попытался локализовать время перевода, однако, как справедливо отметили Е. Гиппиус и П. Ширяева, допустил одну неточность, отнес разрешение иркутского генерал-губернатора не к одному произведению Богораза, а к нескольким стихотворениям. Извиняюсь перед читателями за невольную оплошность, я вместе с тем не могу согласиться с моими оппонентами, что ошибся по существу. Дело в том, что имеется два обстоятельства, которыми Е. Гиппиус и П. Ширяева пренебрегли. Во-первых, из пяти стихотворений, хранящихся в той же тетрадной обложке, что и беловой автограф перевода, четыре датируются: «Встреча» — указанным выше разрешением (1898 год), «В изгнании. 2» — 1895 годом, «На пашне» и «Лето» — временем не позднее начала ноября 1899 года, поскольку они вошли в сборник «Стихотворений» 1900 года (цензурное разрешение — 13 ноября 1899 года).¹⁷ Следовательно, автограф перевода находится в окружении стихотворений, написанных во второй половине 1890-х годов. Во-вторых, этот автограф извлечен Богоразом из беловой рукописи подготовленного к переизданию сборника «Стихотворений».¹⁸ Здесь автограф был помещен перед стихо-

¹⁴ Искусственность концепции Е. Гиппиуса и П. Ширяевой усиливается еще и тем, что в своей прежней статье они обнаружили «народнические оттенки» в... песенном тексте! Они писали, что текст второй строфы «не лишен *народнического оттенка*, характерного для Акимова» («Советская музыка», 1965, № 12, стр. 54; курсив мой. — В. Г.). Это окончательно запутывает проблему «политической переакцентировки», которой якобы добивался Богораз в своем переводе путем «прямых заимствований» из песенного текста.

¹⁵ Е. Гиппиус и П. Ширяева, полемизируя уже не столько со мною, сколько с автобиографией Богораза, пишут, что последний «не имел никакого основания» называть себя автором песни, и при этом ссылаются на «признание самого Богораза», сделанное В. И. Чичерову в устной беседе в 1935 году и сообщенное последним в печати лишь в 1953 году. Но, по свидетельству М. Г. Воскобойникова, в том же 1935 году Богораз неоднократно заявлял о своем авторстве в беседах со своими сотрудниками и учениками (об этом М. Г. Воскобойников говорил на заседании сектора фольклора Института русской литературы 14 марта 1966 года в присутствии одного из моих оппонентов — П. Ширяевой). В письме ко мне от 12 марта 1968 года М. Г. Воскобойников подтверждает это свидетельство (ссылаясь с разрешения моего корреспондента).

¹⁶ Энциклопедический словарь «Гранат», изд. 7-е, т. 40, стр. 448.

¹⁷ Архив АН СССР, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 96/8, лл. 43—51.

¹⁸ От этого сборника сохранились расшитые тетрадные листы и заглавный листок: «Весна. Стихотворения. (Тан). Издание 2-ое дополненное» (зачеркнутое «Тан» затем восстановлено сбоку поперек листа). Часть текстов и заглавный листок этого сборника оказались в упомянутой тетрадной обложке, а большая

творением «Волны», датированным самим автором 1899 годом. Этот факт, по мнению моих оппонентов, «вряд ли доказуем», но он без труда устанавливается. Дело в том, что Е. Гиппиус и П. Ширяева в споре со мной отождествили два разных источника — рукопись, на которую я ссылаюсь, указывая шифр, и рукопись, которую я лишь упоминаю, не указывая, где она находится.¹⁹

Е. Гиппиус и П. Ширяева считают, что в пагинации рукописей Богораза вообще невозможно разобраться. Но это не так. Зачеркнутые цифры 13, 14 как раз и указывают местонахождение белового автографа перевода «Красного знамени» в первоначальной рукописи второго издания, а беловой автограф стихотворения «Волны» (перенесенный впоследствии в материалы для 4-го издания) имеет цифры 15—17 по первоначальной пагинации.²⁰ Кроме пагинации, стихотворения имели и порядковые номера: перевод идет под цифрой 6 (красным карандашом), стихотворение «Волны» — под цифрой 7 (дважды — красным и черным карандашами). Все это и подтверждает первоначальное намерение Богораза поместить свой перевод перед «Волнами».

Авторы статьи, возможно, правы, когда сомневаются, что нынешнее расположение автографов, вложенных в тетрадную обложку, установлено Богоразом, но тогда и их ссылки на существующую хронологическую непоследовательность теряют силу контраргумента. Что же касается последовательности произведений в первоначальной рукописи второго издания, то она бесспорно принадлежит Богоразу, и поэтому соседство перевода с «Волнами» отнюдь не случайно.

Разумеется, приведенных соображений недостаточно, чтобы точно датировать перевод (я сам высказал лишь «предположение» о вероятном «времени создания перевода».)²¹ Поэтому постараюсь подкрепить эти доводы другими наблюдениями. Прежде всего подчеркну, что тетрадная обложка, где хранится беловой автограф перевода, находится в папке с рукописями конца XIX века. За указанной обложкой следуют черновые наброски «Встречи» (1898), черновые наброски стихотворения «Волны» (1899), автограф стихотворения «Гроза и дуб», вошедшего в сборник 1900 года, и т. д.²² Во-вторых, черновые наброски перевода лежат между автографом стихотворения «Vae victis», включенного в сборник 1900 года, и черновиком перевода стихотворения А. Мицкевича «Русским друзьям».²³ В-третьих, промежуточная редакция перевода написана на той же бумаге, что и черновики стихотворения «Памяти Н. Г. Чернышевского», и находится непосредственно за ним;²⁴ последнее не датировано самим Богоразом, но весь его характер и содержащиеся в нем стихи — «Над русскою рекою Могила есть. Она еще свежа» — со всей очевидностью указывают, что это стихотворение создавалось в близкие после смерти вождя русской революционной демократии годы, вероятнее всего — в связи с десятой годовщиной со дня его смерти, т. е. не позже октября 1899 года (знаменательно, что аналогичное стихотворение «М. Е. Салтыкову» датировано Богоразом 1899 годом; оба эти стихотворения несомненно мыслились автором как связанные одно с другим и в сборнике 1905 года они помещены рядом). Наконец, после промежуточной редакции перевода непосредственно следует второй автограф перевода названного уже стихотворения Мицкевича.²⁵ Думается, что одной случайностью все это объяснить нельзя. Е. Гиппиус и П. Ширяева пишут, что рукописное наследие Богораза поступало на хранение от разных лиц по частям и упорядочено работниками архива (стр. 118—119); но, во-первых, все автографы перевода (беловой, черновые, промежуточная редакция) находятся в одной папке и,

часть текстов была перенесена Богоразом при подготовке четвертого издания «Стихотворений» в другую папку (см. примеч. 19). Далее этот воссоздаваемый нами рукописный сборник будем называть первоначальной рукописью второго издания, поскольку сравнение ее состава и порядка расположения стихотворений с печатным вторым изданием приводит меня к выводу, что этот рукописный сборник не тождествен изданному в 1905 году (в первоначальной рукописи находятся произведения, не вошедшие во второе издание).

¹⁹ Архив АН СССР, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 93/5. Эта папка содержит материалы для 4-го издания «Стихотворений»: оглавление, листы из предшествующих изданий, газетные и журнальные публикации стихотворений Богораза, корректурные листы, а также автографы, в том числе и некоторые разрозненные части из первоначальной рукописи второго издания, среди них и автограф «Волн».

²⁰ Архив АН СССР, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 93/5, лл. 13—15 архивного хранения.

²¹ В. Гусев. Кто же был автором «Красного знамени», стр. 249.

²² Архив АН СССР, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 96/8, лл. 52—61.

²³ Там же, лл. 77—78, 81—81 об. (в автографе перевод названия не имеет).

²⁴ Там же, л. 141 об. (в автографе название отсутствует).

²⁵ Там же, л. 144—144 об. (листок положен неправильно — начало стихотворения «Вы помните ль меня? Когда друзей в могилах...» находится на обороте). В сборнике «Стихотворений» Богораза этот перевод озаглавлен «Декабристам»; поэтом он не датирован, но несомненно перевод относится к концу XIX века, так как второй автограф написан на той же бумаге, что и «Vae victis» (лл. 77—78)

во-вторых, если допустить, что рукописи вносились в нее частями, то указанное окружение разных автографов перевода, находящихся в разных местах папки, другими стихотворениями конца XIX века тем более свидетельствует об определенной закономерности.²⁶

Я не претендую на точную и окончательную датировку переводов Богораза, но на основании приведенных соображений по-прежнему предполагаю, что перевод этот мог быть осуществлен до подготовки первого издания «Стихотворений», вероятнее всего, по возвращении Богораза из ссылки в Петербург, в конце 1898— в 1899 году, когда поэт снова окунулся в политическую жизнь столицы. В автобиографии Богораза есть такое знаменательное признание: «В то время расцветало движение марксистов. Я, хотя бывший народник, примкнул к марксистам».²⁷ Вовсе не хочу сказать, что Богораз действительно стал революционным марксистом; он, как известно, принимал участие в редактировании органов «легального марксизма» — журналов «Начало» и «Жизнь» (там же печатались его стихотворения). Но связь Богораза с социал-демократической средой в то время и могла побудить его взяться за перевод польской песни, весьма популярной как раз в этой среде. «Красное знамя» — не единственный перевод с польского, сделанный Богоразом; ему принадлежат переводы и других польских песен — «Первое мая» («Праздник светлый и свободный»), «Кто под землей и на земле», цикла стихотворений М. Конопницкой (два из которых — «Зачем же та бездна обиды и горя» и «К женщине» — вошли в сборник 1900 года), упоминавшегося стихотворения А. Мицкевича «Русским друзьям». Очевидно, в конце XIX века Богораз общался с польскими деятелями, о чем свидетельствует, например, находящийся среди автографов поэта рукописный перевод на польский язык его известного стихотворения «Разбойникам пера», осуществленный Лео Бельмонтом и датированный 30 декабря 1899 года.²⁸ Вообще же в этот период поэтическое творчество Богораза наполняется революционным содержанием. В том же 1899 году он пишет известное стихотворение «Не скорбным, бессильным, остывшим бойцам», которое пропагандировалось «Правдой», и другие стихотворения (они названы выше как вошедшие впервые в издание 1905 года). Ничего нет невозможного в том, что именно в этот период Богораз перевел «Czerwony Sztandar», предназначая свой перевод для какого-либо заграничного социал-демократического издания. Вот почему появление в приложении к «Рабочей мысли» (№ 8) текста «Красного знамени», содержавшего стихи, совпадающие с текстом белового автографа Богораза, а затем и цитаты (№ 10), содержащей строки, близкие лишь к черновым наброскам богоразовского перевода и не совпадающие с песенным текстом, дают мне основание предполагать, что в «Рабочей мысли» был известен и использован перевод Богораза (цитату см. в моей заметке в «Вопросах литературы»).

Мои оппоненты убеждены, что автором популярного перевода мог быть только Акимов. Е. Гиппиус и П. Ширяева снова ссылаются на примечание В. Д. Бонч-Бруевича, теперь уже не только во втором издании «Песен революции» (1919), но и в издании этого сборника 1920 года, а также в сборнике «Перед рассветом» (1920, 1922) (стр. 123).²⁹ Точность этого примечания не подвергается ими ни малейшему сомнению, поскольку, по выражению авторов, В. Д. Бонч-Бруевич и В. М. Величкина «были, вероятнее всего, очевидцами рождения текста» (в журнале «Советская музыка» они названы более определенно «свидетелями этого события»).³⁰ Но это явное преувеличение — В. Д. Бонч-Бруевич и В. П. Акимов, хотя и находились в эмиграции, жили в разных городах, а их встреча в мае 1900 года в Цюрихе привела, как пишут сами же авторы статьи, к «полному разрыву отношений» (стр. 124). Следовательно, В. Д. Бонч-Бруевич и В. М. Величкина в 1919 году не могли с полной достоверностью утверждать, что песенный текст «Красного знамени», в той редакции, в какой он был опубликован в приложении к «Рабочей мысли», непременно принадлежал одному Акимову. Им мог остаться совершенно неизвестным факт, что в «Рабочей мысли» был другой перевод. Авторы статьи правы лишь в одном отношении — В. Д. Бонч-Бруе-

и последующие за переводом автографы стихов, вошедших в сборник 1900 года (лл. 145—146, 149—157), причем между этими листами вложен лист с редакционным грифом: «Редакция газеты „Восточное обозрение“... дня 189... г. г. Иркутск» (лл. 147—148).

²⁶ Чтобы так точно «упорядочить» рукописи, потребовался бы предварительный скрупулезный текстологический анализ разных недатированных и не имеющих названий черновых автографов, но известно, что подобной работы сотрудники архива не производили.

²⁷ Энциклопедический словарь «Гранат», т. 40, стр. 445—446.

²⁸ Архив АН СССР, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 96/8, лл. 189—190.

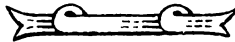
²⁹ Авторы статьи, однако, не объясняют, почему в первом издании «Песен революции» (1917) это примечание отсутствовало и появилось только в 1919 году.

³⁰ «Советская музыка», 1965, № 12, стр. 52.

вич неоднократно перепечатывал свое примечание, чтобы «подчеркнуть полнейшую объективность своего отношения к В. П. Акимову-Махновцу, с которым он «не кланялся... всю жизнь», будучи его идеологическим противником (стр. 123—124). В. Д. Бонч-Бруевич проявил вполне объяснимую щепетильность и мог искренне предполагать (или доверять чьему-либо свидетельству), что Акимов был «действительным» автором распространенного песенного текста. Текстологических и историко-литературных разысканий В. Д. Бонч-Бруевич, разумеется, не производил. Этим я вовсе не хочу сказать, что примечанием В. Д. Бонч-Бруевича можно вообще пренебречь. Оно свидетельствует прежде всего о том, что В. П. Акимов был одним из русских переводчиков польской песни. Более того, я допускаю, что Акимов мог быть редактором или даже соавтором перевода, опубликованного в «Рабочей мысли». Но доказать и документировать, что Акимову принадлежит *песенная редакция целиком*, невозможно.³¹

Итак, в арсенале моих оппонентов по-прежнему лишь позднейшее примечание В. Д. Бонч-Бруевича да явное предубеждение против Богораза; на этом основании они стараются утвердить единоличное авторство Акимова. В пользу же участия Богораза в создании песенного текста «Красного знамени» по-прежнему говорят факты и документы: включение перевода в сборники стихотворений поэта, совпадение или близость более половины стихов первой авторской публикации и песенного текста, наличие в рукописном фонде Богораза белового автографа, черновых набросков и промежуточной редакции перевода, признание самого Богораза в принадлежности ему «Красного знамени», неоднократно повторенное (в рукописных вариантах и в печатном тексте его автобиографии, в устных беседах). Все это и позволяет мне с еще большей убежденностью, чем прежде, говорить о Богоразе как об одном из основных авторов русского текста «Красного знамени» — текста, окончательная редакция которого, утвердившаяся в песенном быту, может рассматриваться уже как плод коллективного творчества.

Я не считаю, что в творческой истории «Красного знамени» все окончательно выяснено. Думаю, что песенный текст еще привлечет внимание исследователей. Пока же я выношу на беспристрастный арбитраж читателей скромные данные своей текстологической разведки.



³¹ Авторы пишут, что утверждение В. Д. Бонч-Бруевича «не было ни опротестовано, ни опровергнуто в печати ни одним из старых большевиков-ветеранов» (там же, стр. 123). Но ведь не были опротестованы и опровергнуты никем при жизни Богораза и факты включения им перевода в свои сборники, и его признание в автобиографии. Точно так же не было опровергнуто и опротестовано утверждение, что автором перевода был Г. М. Кржижановский (до тех пор, пока он сам не написал в своих воспоминаниях, что ему принадлежат переводы только «двух песен, которые стали общенародными» — «Варшавянки» и «Беснуйтесь, тираны»; см.: Г. М. Кржижановский. Песни борьбы. «Советская музыка», 1955, № 12, стр. 3—4). Что же касается Акимова, то авторы статьи, беря себе в «единомышленники» В. И. Чичерова, отрицавшего авторство Богораза, пренебрегают еще более решительным отрицанием тем же В. И. Чичеровым авторства Акимова. Более того, в своей прежней статье они определили позицию В. И. Чичерова в последнем случае как «вульгарный социологизм», поскольку В. И. Чичеров не допускал возможности создания перевода революционного гимна идеологом «экономизма», а затем меньшевизма. Но почему в таком случае Е. Гиппиус и П. Ширяева не допускают возможности создания перевода «бывшим народником» Богоразом?

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. А. ШОШИН

СЕРДЦЕМ ДРУГА *

Развитие национальных культур издавна сопровождалось интенсификацией творческого общения между ними. Процесс этот, как известно, усилился в эпоху роста капиталистических отношений. «Плоды духовной деятельности отдельных наций, — отмечали классики марксизма, — становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными...»¹ В ходе межнационального общения «стена национальности между народами постепенно падает; дружелюбно и братски начинают они делиться духовными дарами своего национального исторического развития и постепенно сливаются в единое семейство человечества...»² Разумеется, процесс этот сложен и противоречив, так как, помимо культурного сотрудничества и содружества, он знает и политический нажим, и идеологические диверсии.

Лишь социалистический строй, возникший под знаменем равноправия и дружбы народов, обеспечивает им справедливость и братство во взаимоотношениях. Сотрудничество народов, объединенных в Советский Союз, граждане которого «разноплеменны, разноязычны, но все и каждый из них — граждане первого в мире социалистического отечества»,³ являет ярчайший пример действительно равноправного взаимодействия и сотрудничества во всех областях жизни.

В процессе взаимодействия национальных литератур происходит взаимное их обогащение, укрепляются творческие связи писателей, плодотворно развивается деятельность переводчиков. Проведение широких общественных мероприятий консолидирует общие усилия, направленные на дальнейший расцвет литератур.

Обращаясь к изучению творческих связей национальных литератур народов нашей страны, исследователи подчеркивают историческую обусловленность и прочность этих связей, роль гуманистических традиций русской классической литературы и освободительного движения в России в расширении и углублении межнационального сотрудничества. При этом раскрывается непосредственное воздействие русской классической литературы на литературы братских народов.

Активно заявляет о себе и такой плодотворный жанр литературоведческого исследования, как обзор литературно-общественной жизни той или иной национальной республики с учетом межнациональных литературных связей.⁴

Межнациональное взаимодействие как процесс двусторонний обуславливает необходимость изучения и «обратного» воздействия, проблемы использования русской литературой опыта братских литератур.⁵

Одним из видов «обратного» творческого воздействия исследователь называет изображение писателем одной национальности жизни другого народа.⁶ Этот аспект имеет большое общественно-политическое значение. М. Горький подчеркивал, что

* Очерки истории русской литературы Узбекистана. Изд. ФАН Узбекской ССР, Ташкент, 1967, 327 стр.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 4, стр. 428.

² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 630.

³ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 27, Гослитиздат, М., 1953, стр. 326.

⁴ Например, «Летопись литературной жизни Карелии (1917—1961)». Карельское книжное изд., Петрозаводск, 1963.

⁵ См. об этом: Г. И. Ломидзе. Проблемы творческого взаимодействия литератур народов СССР. В кн.: Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 156; Н. Грибачев. Полемика. «Советский писатель», М., 1963, стр. 55—56; К. Зелинский. Что дают русской литературе народы СССР? Изд. «Знание», М., 1965.

⁶ К. Зелинский. Литературы народов СССР. «Советский писатель», М., 1957, стр. 120.

«процесс объединения разноплеменных рабочих пойдет быстрее, успешнее, когда художественное слово, изображая „дух“ народа — бытовые и национальные особенности племен..., покажет вам друг друга „изнутри“ во весь рост».⁷

Изображению инонациональной действительности посвящен ряд произведений крупных русских советских писателей, например, П. Павленко, Н. Тихонова. Естественно, что рассмотрение данной проблемы занимает определенное место в монографиях о творчестве этих писателей.⁸

Исследователи показывают исторически обусловленные трудности освоения инонационального материала, в особенности восточного. Если колониалистская идеология была врагом легко распознаваемым, то в плену у старых литературных приемов, предвзятых представлений, безотчетно почерпнутых все из того же мутного колониального источника, во власти дурманных туманов ложновосточной сказки оказаться было не так уж трудно: ведь именно колониалистская литература на протяжении десятилетий создавала образ стран Азии и Африки. Пытаясь идейно бороться с зарубежной традицией, писатели порой сбивались с тона, невольно смазывали социальные противоречия, ограничивались изображением внешнего, увлекались описанием подробностей. К тому же разобраться в специфической противоречивости общественных условий инонациональной действительности было не так просто. Автор не всегда мог найти соответствующую новому содержанию форму и пользовался приемами, которые входили в противоречие с содержанием и дискредитировали его. Положительным моментом в монографиях о творчестве П. Павленко следует считать, в частности, правдивый анализ заблуждений и поисков писателя в 20-е годы, заблуждений и поисков, характерных не только для него одного.

В работах о Н. Тихонове исследователей закономерно привлекает процесс овладения материалом, вживания в образ. «Я отвергаю цветные гирлянды вымысла, я не хочу сочинять небыллицу», — писал Н. Тихонов, полемизируя с колониальной традицией.⁹ Обратившись к изучению реальной действительности, он сумел раскрыть национальный характер своих героев (Йоржи в «Клятве в тумане», Симон Чапчатов в рассказе «Симон-большевик», Сафар в «Кавалькаде»). Передавая национальные особенности, Тихонов при этом подчеркивает социальную обусловленность развития ряда черт, свойственных народному характеру, в условиях социализма. Естественно, что в монографиях о писателе, который, по словам В. Луговского, всю свою жизнь «чувствует могучее и трепетное сердце Востока»,¹⁰ большое внимание уделяется изображению им инонациональной действительности. В критике отмечалось, что в книге Б. Соловьева, посвященной Тихонову, правильно определена как «генеральная тема» Тихонова — тема дружбы народов.¹¹

Вопросы межнационального литературного взаимодействия, в том числе и вопросы изображения инонациональной действительности, требовали специального освещения. Закономерным поэтому было появление работ, рассматривающих данные вопросы на примере творчества того или иного писателя,¹² а также на более широком материале: Л. Соколова поставила своей задачей изучение становления в русской советской литературе дагестанской темы,¹³ А. Мурадов — русско-туркменских¹⁴ и Ю. Андрианов — русско-узбекских литературных связей.¹⁵

Подробно останавливаясь на деятельности первой ударной бригады русских писателей в Туркмении в 1930 году, А. Мурадов отмечает, что члены бригады познакомили русского читателя с произведениями Берды Кербабая, Караджи Бурунова и других авторов. Еще более важно было воздействие на молодую туркменскую литературу творческой практики опытных русских писателей, таких ее черт, как масштабность и проблемность в изображении действительности, публицистичность и оперативность вмешательства в жизнь. Туркменские писатели по примеру русских стали выезжать в творческие командировки в районы республики. В свою

⁷ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, стр. 424.

⁸ М. Новикова. П. А. Павленко. Крымиздат, Симферополь, 1955; Л. Левин. П. А. Павленко. «Советский писатель», М., 1956; И. Гринберг. Творчество Николая Тихонова. «Советский писатель», М., 1958; Б. Соловьев, Николай Тихонов. Гослитиздат, М., 1958.

⁹ Н. Тихонов. В долинах Дагестана. «Дагестанская правда», 1933, 12 октября.

¹⁰ «Литературная газета», 1956, 4 декабря.

¹¹ «Нева», 1959, № 10, стр. 210.

¹² См. статьи Т. Д. Фроловой «Дагестан в творчестве Н. Тихонова» и «Очерки и рассказы П. А. Павленко о Дагестане» в «Ученых записках Дагестанского гос. университета им. В. И. Ленина» (т. VI, 1960, т. VII, 1962).

¹³ Л. М. Соколова. Дагестан в русской советской литературе. Дагестанское книжное изд., Махачкала, 1963.

¹⁴ А. Мурадов. Мой русский брат. Изд. «Туркменистан», Ашхабад, 1965.

¹⁵ Ю. П. Андрианов. Русско-узбекские литературные связи (30-е годы). В кн.: Литература правды и мечты, Кемеровское книжное изд., 1966.

очередь, изучая процесс коллективизации, строительства индустриальной базы, преобразования сознания, русские писатели создали ряд значительных произведений о Туркмении («Кочевники» и «Юрга» Н. Тихонова, «Пустыня» и «Путешествие в Туркменистан» П. Павленко, «Саранча» Л. Леонова, «Большевикам пустыни и весны» В. Луговского и др.).

Обзор общественных связей представителей двух братских литератур занимает значительное место и в работе Ю. Андрианова. Автор показывает значение деятельности бригады русских писателей, приехавшей в Узбекистан в марте 1934 года, для активизации творческого процесса в республике. В частности, члены бригады должны были вместе с узбекскими писателями подготовить альманах об Узбекистане.

Характеризуя общественно-литературные межнациональные связи, Л. Соколова также значительное внимание уделяет анализу посвященных Дагестану произведений целого ряда русских писателей (Л. Пасынкова, П. Павленко, Н. Тихонова, К. Паустовского, В. Луговского, М. Зингера, Д. Трунова и других).

Работы Л. Соколовой, А. Мурадова, Ю. Андрианова при всем различии поворотов темы объединяет не дифференцированное рассмотрение и общественных взаимосвязей, и собственно вопросов творчества в едином потоке межнационального содружества. Имеющие несомненное историко-литературное значение, эти работы могут расцениваться как выражение определенного этапа в изучении нашей темы, когда вопросы инонационального изображения в литературе еще не вычленились из более общей проблемы межнациональных связей. (Показательно, что статья Ю. Андрианова так и называется: «Русско-узбекские литературные связи», хотя речь в ней идет не только о литературных связях в широком смысле этого понятия, но и о произведениях русских писателей, посвященных Узбекистану). Выступая как первооткрыватели, прокладывая дорогу последующим исследователям, указанные авторы не стремились к жанровой определенности, соединения и летописи культурных связей, и исторический обзор развития инонациональной темы, и монографические главы. Кстати, именно в этом рецензент видел недостаток книги Л. Соколовой.¹⁶

В период накопления материала исследователи стремились прежде всего показать, что «дружба народов в ее эстетическом выражении выступает не пропагандистской формулой, а движущей силой многонационального литературного процесса».¹⁷ Этой важной цели хорошо служат также хрестоматийные сборники произведений русских писателей о какой-либо республике, предваренные историко-литературными вступлениями.¹⁸

Время, однако, ставило задачу непосредственного и целенаправленного изучения проблем изображения инонациональной действительности. Вот почему знаменательным было появление статьи А. Макарова «Социалистический гуманизм в действии (русский роман о народах бывших окраин)», опубликованной в журнале «Знамя» (1955, № 3), а затем помещенной в книге того же автора «Воспитание чувств» (М., 1957). Правда, автор сам подчеркивал, что тема его статьи — лишь частное выражение более общей темы.

Шире эта тема ставится в статье «Знамя дружбы» Г. Владимирова, вошедшей в одноименную книгу того же автора.¹⁹ Принципиальное значение этой работы заключается прежде всего именно в широкой постановке темы отображения инонациональной действительности. Автор анализирует целый ряд произведений русских советских писателей о жизни узбекского народа, а также других народов Средней Азии, давая первый в литературоведении аналитический обзор узбекской темы в русской советской литературе. Наряду с известными романами («Мятеж» Д. Фурманова, «Ниссо» П. Лукницкого, «Человек меняет кожу» Б. Ясенского), Г. Владимиров уделяет большое внимание и менее известным, но игравшим существенную роль в развитии литературного процесса произведениям. Весьма важно, что автор обращается не только к произведениям писателей, посвятивших себя в значительной мере изображению Востока, но живших в Москве или Ленинграде (П. Павленко, Н. Никитин), но и к произведениям литераторов, жизнь и деятельность которых протекает среди их героев, вследствие чего повседневность наблюдений сообщает особую убедительность образам и сюжетным ситуациям (А. Алматинская, А. Удалов, М. Шевердин). В заслугу Г. Владимирову следует поставить также то, что творчество русских авторов анализируется в связи с раз-

¹⁶ М. Чудакова. Понимание темы. «Вопросы литературы», 1963, № 11, стр. 235—236.

¹⁷ «Коммунист», 1959, № 12, стр. 76.

¹⁸ Дагестан в русской литературе. Дагкиногиздат, Махачкала, 1960 (авторы предисловия У. Далгат и Б. Кирдан); Башкирия в русской литературе. Башкиногиздат, Уфа, 1966 (предисловие М. Г. Рахимкулова).

¹⁹ Г. Владимиров. Знамя дружбы. Гос. изд. художественной литературы УзССР, Ташкент, 1964.

витием узбекской советской литературы (К. Яшен, Х. Гулям, А. Мухтар, П. Турсун, Ш. Рашидов и другие).

Как видим, исследования на тему отражения инациональной действительности в русской советской литературе становятся все более значительными. Литературоведы показывают, как жизнь формировала интернационалистическое мировоззрение, как видоизменялся национальный характер, как укреплялись в сознании героев принципы социалистического миропонимания. Конкретно рассматривается общественно-политическое значение работы русских писателей-интернационалистов. Любопытно, что в передовой статье республиканской газеты «Туркменская искра» все члены писательской бригады 1930 года характеризовались как московские писатели, хотя среди них был и ленинградец Н. Тихонов. Эту ошибку вслед за газетой повторяет и А. Мурадов.²⁰ Эта ошибка показательна, потому что имя Москвы к 20-м годам для национальных республик стало нарицательным и образ человека из Москвы олицетворял то передовое, что и несла писательская бригада.

В правильной оценке исторического процесса, как и в анализе отдельных произведений прошлых лет, помогают некоторые работы литературоведов 20—30-х годов. Одним из первых исследователей инациональной темы был С. Вельтман, отмечавший успехи советских писателей в ее освоении. С. Вельтман также своевременно указывал на опасность того, что некоторые литераторы пытались «перенести на нашу почву оранжерейным путем декоративные моменты западноевропейской колониальной беллетристики».²¹

Широта в охвате материала, четкое формулирование темы, использование опыта предшественников — все это обуславливает неуклонное продвижение литературоведов к новым успехам. Так, вслед за статьями Т. Фроловой о Дагестане в русской советской литературе появилась обстоятельная книга Л. Соколовой на эту же тему, а вслед за ней Л. Соколовой — диссертация В. Лебедева, автор которой стремится от обзорной подачи материала перейти к проблемному его истолкованию.²² Он затрагивает общие вопросы формирования художественного метода советской литературы, прослеживает взаимодействие в ней элементов реализма и романтизма, раскрывает напряженность поисков новых эстетических средств, нового литературного героя, передает специфичность литературных споров 20—30-х годов вокруг темы Дагестана и шире — Кавказа, Востока, показывает борьбу советских писателей за реалистическое изображение послереволюционной действительности. Положительно оценивая произведения Л. Пасынкова, П. Павленко, Н. Тихонова, В. Луговского, С. Мстиславского, В. Лебедев вместе с тем анализирует и отдельные неудачи, явившиеся следствием ложной романтичности (Б. Брик, Р. Фатуев). При этом его анализ опирается на изучение широкого очеркового, зачастую почерпнутого из газет материала, дающего яркое представление о «биении» живой жизни. Правда, основные теоретические положения, последовательно развертываемые в работе, могли бы и по ходу этого развертывания опираться на больший теоретический материал, накопленный предыдущими исследователями.

Конкретные исследования Г. Владимирова, Л. Соколовой, А. Мурадова, И. Гринберга, Б. Соловьева, Л. Левина, А. Макарова, Ю. Андрианова, В. Лебедева и других авторов раскрывают определенные закономерности в развитии инациональной темы, особенно на восточном материале. Показывая, что 20-е годы были периодом напряженных идейно-творческих исканий, авторы, как правило, делают вывод, что литература шла от романтически восторженного восприятия рождавшегося социалистического бытия к углубленному осмыслению его, психологически тонкому отражению процесса переделки человека, освобождаясь от традиций эпигонского романтизма, романтического натурализма. Именно на этой основе происходил и своеобразный и закономерный «возврат» к классикам. Обращаясь к литературно-общественной действительности 30-х годов, исследователи вскрывают такую существенную особенность русской литературы того времени, посвященной инациональной действительности, как становление ее в процессе творческого содружества многонациональных советских литератур. Конкретный анализ опирается на теоретические труды современных ученых, изучающих проблемы развития многонациональной советской литературы, своеобразие путей национальных литератур и высказывающих ряд существенных общих положений.²³

²⁰ А. Мурадов. Из истории русско-туркменских литературных взаимосвязей. Автореферат дисс. Ашхабад, 1961, стр. 5.

²¹ С. Вельтман. Живая и стоячая вода. «Красная новь», 1929, № 12, стр. 204.

²² В. Д. Лебедев. Инациональная (дагестанская) тема в русской советской литературе и некоторые проблемы социалистического реализма. Автореферат дисс. Махачкала, 1968.

²³ К. Зелинский. Литературы народов СССР. «Советский писатель», М., 1957; Г. Ломидзе. В поисках нового. «Советский писатель», М., 1963.

12 Русская литература, № 4, 1968 г.

Достижения налицо. Но несомненны и не реализованные еще возможности. Как справедливо пишет исследователь, «до сих пор нет ни одного монографического исследования, на конкретном материале какой-либо национальной республики раскрывающего путь утверждения принципов социалистического реализма в разработке инациональной темы русской советской литературы».²⁴ Первоостепенной задачей ныне становится создание проблемных обзоров по отдельным республикам. Вот почему наше внимание не могут не привлечь «Очерки истории русской литературы Узбекистана» (том первый). Здесь впервые с достаточной полнотой собран и проанализирован богатый и важный материал — произведения русских советских писателей, посвященные Узбекистану.

Существенные особенности этой книги особенно наглядно проявляются при сопоставлении ее с большинством предшествующих работ на данную тему, упомянутых нами. Авторы «Очерков», поставив в центре внимания произведения, посвященные Узбекистану, расширяют «географические» рамки материала до пределов Средней Азии, рассматривая общие «среднеазиатские» проблемы в истории русской советской литературы. Рецензируемая книга, как свидетельствует ее название, опирается прежде всего на произведения русских писателей самого Узбекистана. Но авторы широко привлекли к исследованию также произведения русских писателей всего Союза, посвященные Средней Азии, так как подобное расширение «географических» рамок «Очерков» позволяет отобразить действительный размах межнационального взаимодействия.

Первый том «Очерков» посвящен становлению русской литературы Узбекистана и изображению Узбекистана в русской советской литературе в 20-е и 30-е годы. Необходимость такого издания давно назрела. «На протяжении почти ста лет, — писал в 1959 году Ш. Рашидов, — язык и литература народов Средней Азии развиваются во взаимной связи с передовой русской культурой и с культурой других народов. Между тем до настоящего времени нет капитальных исследований об их взаимном влиянии и обогащении, то есть о тех процессах общественной жизни, которые особенно бурно происходят в советский период».²⁵

Во введении подчеркивается определенная стадийность в развитии взаимодействия национальных литератур. В самом деле, если в 20-е годы русская литература в Средней Азии содействовала развитию литератур среднеазиатских народов, то со временем образуется содружество равных литератур, взаимно обогащающих друг друга. Принцип историзма помогает объективно проследить последовательные исторические этапы взаимодействия, конкретно показать, как русские писатели осваивали новый материал, помогая становлению писателей других народов и в свою очередь обогащаясь их опытом.

Марксистско-ленинское решение национального вопроса в жизни народов нашей страны содействовало плодотворному развитию литературы. По справедливому замечанию И. Бехера, «национальная политика Советского Союза — существенная основа того, что советские художники в состоянии так же вживаться в человеческие образы и проблемы других народов, как и своего собственного...»²⁶ Это положение развевается на протяжении всей книги.

Вместе с тем исследователи подчеркивают, что советские писатели опираются на интернационалистские традиции русской классической литературы, благодаря которой многие «малые» и бесписьменные народы «впервые заговорили с миром со страниц произведений русских писателей, заговорили, как люди с высоко поднятой головой, с сознанием своего права на лучшую жизнь».²⁷

Авторы «Очерков» немногочисленны: П. И. Тартаковский, И. Я. Темкина, И. Х. Майорова, М. П. Протасова. Однако они сумели не только осмыслить сложные процессы литературного развития за длительный период, но и подкрепить свои выводы богатым материалом, всесторонне проанализированным.

В первом разделе развернута картина давних исторических связей среднеазиатских народов с Россией, которая, как известно, играла прогрессивную роль по отношению к Востоку. Анализируя предреволюционную русскую литературу о Туркестане, автор раздела П. Тартаковский опирается на известное положение В. И. Ленина о двух национальных культурах в каждой национальной культуре и наряду с основной, гуманистической тенденцией в изображении Востока, выражающей интернационализм русской классической литературы (В. Даль, М. Горький, М. Пришвин), отмечает зачатки колониальной тенденции, которая, однако, для русской литературы не характерна. В целом положительно оценивается творчество Н. Каразина, что расходится с установившейся точкой зрения (знарок Вос-

²⁴ В. Д. Лебедев. Инациональная (дагестанская) тема в русской советской литературе и некоторые проблемы социалистического реализма, стр. 6.

²⁵ «Коммунист», 1959, № 10, стр. 51.

²⁶ И. Бехер. В защиту поэзии. Изд. иностр. лит., М., 1959, стр. 184.

²⁷ К. Зелинский. Литературы народов СССР, стр. 41.

тока П. Павленко прямо, например, заявлял, что книги Каразина забиты «империалистической дребеденью».²⁸

Авторы «Очерков» исходят из того, что в изображении жизни других народов с особенной остротой проявляется идейная позиция художника. Действительно, идейно-эстетические принципы в послеволюционной литературе у Средней Азии отличались большой пестротой. Но за этой «экзотической» пестротой авторы видят и прослеживают контуры основных общественных процессов, отражавшихся в литературе. В центре их внимания — формирование социалистического характера в среде различных национальностей. Именно с этой точки зрения положительно оценивается роль Пролеткульта в Средней Азии, так как, ратуя за создание пролетарского искусства и отделение его от буржуазного, пролеткультовцы помогли укреплению дружбы национальной творческой молодежи, в результате чего преодолевались националистические предрассудки, крепла интернациональная спайка.

Живо воссоздавая литературно-общественную обстановку первых революционных лет, «Очерки» отмечают широту интересов первых русских советских писателей Узбекистана. Думается только, что проблематику их произведений можно было бы крепче связать с фольклорным творчеством самих народов Средней Азии.

Как показывают «Очерки», задача воссоздания реалистического и полнокровного образа современника была решена далеко не сразу. Новый герой уже существовал в жизни, но русские писатели еще не могли его отобразить. Мешал не только языковой барьер, мешали ложные традиции в изображении национального характера. Некоторые прозаики создавали условный образ необузданного «азиата», «остающегося в душе „дикарем“», несмотря даже на внешнюю цивилизованность и европейскую одежду.²⁹ Другим штампом было изображение «человека востока» как забитого и покорного раба. Штампы эти шли прежде всего от колониальной западноевропейской литературы, которая влияла таким образом на идейно-тематическую сущность ряда произведений.

Односторонность проявлялась не только в изображении национального характера, но и в общем восприятии действительности. Продолжало бытовать представление о Востоке как об оазисе, далеко от социальных потрясений. Внеисторическое представление о жизни Востока сказывалось даже в творчестве писателей остро современных (Вс. Иванов).

В «Очерках» нет упрощения, сглаживания истории. Авторы вскрывают противоречивость развития литературного процесса 20-х годов. С одной стороны, давал о себе знать бескрылый этнографизм, ведущий к натурализму. С другой стороны, отвлеченный романтизм, безоглядное устремление в будущее вели к духовному отрыву от национальных традиций, от жизненного опыта и культуры народа и также не содействовали реалистическому их отражению.

Авторы «Очерков» наглядно показывают, что трудности творческих поисков возникали на почве развития новых идей и самого содержания жизни, которые, естественно, требовали адекватного отображения в литературе. Корни колониальной экзотики заключались в противопоставлении не только двух национальных, но и двух социальных миров, как мира господ и мира рабов, неспособных понять друг друга. Социалистическая действительность, утверждавшая равноправие и объединение наций, лишала традицию колониальной экзотики опоры на нашей земле. Вместе с тем социалистические преобразования в реальной действительности порождали подлинную романтику современности. Эти весьма существенные положения «Очерков» воспринимались бы более четко, если бы терминология авторов была более определенной: атакуется одним и тем же автором то «лжеэкзотика», то «псевдоэкзотика», то просто «экзотика» («экзотический штамп», «экзотическая легенда») — и это все на соседних страницах (стр. 266—268).

Беда многих писателей заключалась в том, что они зачастую, располагая многообразием фактов, не находили возможностей для раскрытия национального характера героев. Здесь на помощь приходил фольклор. По справедливому заключению авторов «Очерков», в условиях неразвитости национальных письменных литератур в 20-е годы обращение русских советских писателей к национальному фольклору (Л. Солсвьев, Б. Чепрунов, М. Швердин и другие) имело важное значение на пути к решению проблемы национального характера современника.

Как показывается в «Очерках», развертывание строительства социализма на всем просторе страны Советов и первые успехи этого строительства привели в конце 20-х и особенно в начале 30-х годов к росту активности межнационального общения. Русские писатели помогали развитию кадров национальных литератур, которые в свою очередь способствовали более глубокому проникновению русских авторов в быт и душу своих земляков. Общность социально-экономических задач, решаемых всеми республиками, сплачивала многонациональные литературные силы. Проведение коллективных поездок русских писателей в разные края и

²⁸ П. А. Павленко, Собрание сочинений в шести томах, т. 5, Гослитиздат, М., 1955, стр. 32.

²⁹ Очерки истории русской литературы Узбекистана, стр. 53.

республики страны содействовало выполнению одной из писательских заповедей, особенно ценной при обращении к сравнительно мало знакомой инонациональной действительности: «нужно хоть одним глазом видеть или чувствовать рукой теплоту описываемого события, чтобы достичь правды в изображении».³⁰

Авторы книги стремятся связать развитие русской советской литературы с развитием литературы общесоюзной, как единой советской литературы, но это им не всегда удается. В «Очерках» не прослеживается общность задач русских советских писателей, обращавшихся к Средней Азии, и писателей народов Средней Азии, которых сближало не только «чувство семьи единой», но и общий материал. Хотелось бы, чтобы во втором томе «Очерков» этот недостаток был устранен.

Спорна структура книги, рассматривающей развитие прозы и поэзии обособленно, в соответствующих разделах. Между тем общие задачи стояли перед литературой в целом, и раздельное изучение ее препятствует наиболее полному представлению об этих задачах, порождая к тому же неизбежные повторы. По-видимому, соответствующие главы о поэзии и прозе одного исторического периода нелишние было бы снабдить общим кратким введением.

В разделах, посвященных поэзии и прозе 30-х годов, авторы показывают, каким образом были решены многие существенные вопросы, поставленные в предшествующий период. Так, национальный характер в лучших произведениях встает перед читателем как характер современника, не отделившегося от представителей других народов, а тесно связанного с ними общностью задач социалистического строительства. Думается, однако, что выводы авторов можно было бы подкрепить большим кругом значительных произведений. Подробно говорится об исторических произведениях В. Яна — и это хорошо, но жаль, что сравнительно мало сказано о «Кочевниках» Н. Тихонова. Правда, они — о Туркмении, но и анализируемые произведения Яна не только об Узбекистане. Находит свое место в ряду анализируемых произведений роман П. Лукницкого «Ниссо», но отсутствует его повесть «Дивана».

Возможно, авторы не хотели повторяться, но, являясь обобщающим исследованием, «Очерки» должны отличаться и полнотой исторического обзора. В ряде случаев могли бы помочь ссылки на предшественников, о которых авторы «Очерков», как правило, умалчивают, не упоминая даже работ Г. Владимирова и Ю. Андрианова. А между тем на статью Ю. Андрианова следовало бы сослаться хотя бы потому, что она в значительной части посвящена роману Н. Никитина «Это было в Коканде», который в «Очерках» не анализируется. Известно, что в 1940 году роман подвергся резкой несправедливой критике, против чего решительно выступили многие писатели. Упоминание об этом факте само по себе явилось бы дополнительным свидетельством того внимания, с которым писательская общественность относилась к проблемам литературы о Средней Азии.

Анализируя важнейшие историко-литературные процессы, авторы «Очерков» стремятся показать многообразие и оригинальность индивидуальных путей литераторов в их движении к инонациональной теме, в их стремлении «на Восток», хорошо выраженном в словах А. Адалис: «Нас тянуло сюда нечто большее, чем жажда страстей или заработков, чем молодое честолюбие или того больше — карьеризм. Нечто дивное здесь было, безусловно, зарыто для нас — в этой земле...»³¹ Творчество того или иного автора рассматривается как бы изнутри, в сложности его духовных исканий. Вследствие этого известные литераторы поворачиваются новыми гранями своих творческих индивидуальностей (Б. Лавренев, А. Гайдар). Особо хочется отметить интересный анализ произведений А. Платонова, своеобразное раскрытие интернационализма поэзии Павла Васильева. Следует сказать и о том, что в «Очерках» внимательно рассматривается творчество полузабытых или малоизученных писателей (С. Мстиславский, А. Шириевец), широко привлекаются архивные материалы (о творчестве П. Павленко, А. Адалис).

Тема дружбы народов для авторов «Очерков» не бесстрастно исследуемый «объект». Повествование выливается во вдохновенный рассказ о братстве народов, укреплявшемся на разных исторических этапах, о братстве народов, последовательно отраженном в целом ряде художественных произведений — от очерков 20-х годов Л. Соловьева, М. Швердина, А. Удалова, Б. Чепрунова до наиболее значительных произведений 30-х годов Н. Тихонова, Н. Никитина, В. Луговского. Книгу интересно читать, события и факты передаются живо и увлеченно, видно, что книгу делали энтузиасты, и это не может не вызвать благодарного читательского отклика. Читатель найдет в книге много интересных наблюдений, например, о специфике проблемы традиционного образа (стр. 163), о тонком раскрытии Востока в стихах Н. Тихонова (стр. 184). Правда, некоторые замечания можно было бы уточнить. Так, «защитая» «Персидские мотивы» С. Есенина, следовало бы не упускать из виду, что С. Вельтман, не ставя под сомнение достоинств этого цикла, справедливо отмечал, что к изображению реальной Персии он не имеет отношения.

³⁰ П. Павленко. Писатель и жизнь. «Советский писатель», М., 1955, стр. 238.

³¹ Очерки истории русской литературы Узбекистана, стр. 129.

Хотелось бы, чтобы в дальнейшем анализ русской литературы об Узбекистане был более тесно связан с анализом процессов, происходивших в современной узбекской литературе. Небезынтересны были бы также сопоставления со сходными процессами в творчестве русских писателей, посвятивших свои произведения жизни народов Кавказа и Закавказья. Это могло бы побудить к некоторой перестройке самой структуры «Очерков». Так, вряд ли отвечают самому содержанию заглавия разделов «Русская проза Узбекистана», «Русская поэзия Узбекистана», коль скоро (и в этом — отмеченная заслуга «Очерков») в них говорится и о русских советских писателях, не живущих в Узбекистане, но пишущих о нем.

В целом разделы «Очерков» «увязаны» друг с другом. Отметив это как результат работы редколлегии в лице И. А. Султанова, К. Х. Ханазарова, М. М. Расули, П. И. Тартаковского, хотелось бы вместе с тем указать на некоторые неустраненные противоречия в трактовке отдельных произведений. В разделе «Русская проза Узбекистана 30-х годов» узнаем, что «очерковые серии Павленко и Тихонова, создававшиеся в самом начале десятилетия, грешили сухим документализмом, излишней прозаизацией стиля, очевидно, вытекавшими из воинственной антиэкзотической позиции авторов» (стр. 222). А в разделе «Русская поэзия Узбекистана 30-х годов» другой исследователь пишет, что «и в прозе, и в стихах Тихонов верен своей установке на документальность, но его факты далеки от фотографического объективизма. „Фактографичность“ Тихонова — поэта и очеркиста строго избирательна; любой документ, любое событие, попадающие в поле зрения писателя, глубоко осмыслены и обобщены» (стр. 268—269). Стремление Тихонова к документальности («я хочу сухими и скучными словами нарисовать хозяйственный практический пейзаж») на соседней странице одобрительно комментируется как «решительный отказ от „лирических салатов“, от позиций поэта-ориенталиста, бездумно и броско воспроизводящего традиционный *couleur locale* Востока», отказ, который «не случаен и объясняется прежде всего самой тесной связью писателя с жизнью» (стр. 267). В итоге читателю неясно, что же перед ним: порицаемый «сухой документализм, излишняя прозаизация стиля» или приветствуемый «решительный отказ от „лирических салатов“».

Это различие в трактовке одного и того же произведения можно объяснить и тем, что к нему обращаются и автор статьи о прозе, и автор статьи о поэзии, т. е. о родах литературы, имеющих собственные закономерности развития (еще один аргумент в подтверждение мнения об искусственности расчленения анализируемого материала без выделения каких-либо общих положений). Но вот в разделе «Русская поэзия Узбекистана 20-х годов» отмечается, что стихотворение Н. Тихонова о «султаноподобном» фининспекторе лишено «налета экзотизма» (стр. 138), а в разделе «Русская поэзия Узбекистана 30-х годов» говорится, что в этом стихотворении Н. Тихонов отдал «определенную дань традиционному восприятию Востока» (стр. 266). Дело, конечно, не в противоречиях отдельных формулировок, а в том, что у самих авторов нет единого мнения по данным вопросам.

На проиллюстрированной выше терминологической неопределенности стоило остановиться еще и потому, что она не является исключительным достоянием какой-либо одной работы. Так, анализируя повесть Н. Тихонова «Серый хануман», В. Турбин ставит знак равенства между понятиями «экзотическое» и «чудесное». Он уверенно заявляет, что «Тихонов никогда не переставал культивировать интерес и любовь к экзотике чужеродного, к странности реального и реальности странного. В частности, к экзотике Востока. Она не в почете была, и с нею, конечно, боролись“. Ее „изживали“, „преодолевали“». ³² Склонность автора к иронии, может быть, и похвальна, но вот беда, ее следовало бы отнести к его герою — Н. Тихонову. Это именно он активнее других современников действительно боролся с экзотикой и преодолевал ее. Это именно он писал: «Долгое время быт и природа национальных республик изображались случайно посещавшими их писателями и изображались под тем соусом, который мы иронически называли экзотикой». ³³ Это его герой с явного одобрения писателя уверенно говорил: «Экзотики, дорогие, у нас нет. У нас, как говорится, везде жизнь». ³⁴

Жизнь, как видим, противопоставляется у Н. Тихонова экзотике. Что же под этим словом понимает В. Турбин? «Экзотика — это выражение свойственного каждой нации чувства собственного достоинства, это — щедрое обнаружение богатств нации». И далее: «... именно в экзотике нация экспонирует себя другим народам. В экзотике она познает свое прошлое и разгадывает будущее...» ³⁵ Тем самым ставится знак равенства между экзотикой и национальным своеобразием, национальной культурой и историей — вообще народной жизнью. Между тем до сих пор справедливо считалось, что борьба с экзотикой как отзвуком «романтики» колониальных завоеваний имела прогрессивный характер и была обусловлена самой историко-литературной обстановкой 20—30-х годов. Борьба эта не кончена. Вспомни-

³² В. Турбин. Индия чудес и тревог. «Комсомольская правда», 1968, 4 июня.

³³ «Литературный Ленинград», 1935, 8 октября.

³⁴ Н. Тихонов. Воспоминание. «Знамя», 1948, № 2, стр. 89.

³⁵ В. Турбин. Индия чудес и тревог. «Комсомольская правда», 1968, 4 июня.

ная произведения колониальных литераторов, Н. Тихонов писал, что «в этих произведениях было много экзотики, но мало той правды о жизни индийского народа, которая дала бы читателю почувствовать, чем и как живут люди огромной страны...»³⁶ И Тихонов приветствует произведения прогрессивных писателей, сочувственно отмечая, что в них «читатель не найдет экзотической Индии, тропических красот и неведомых тайн, не увидит описаний пышной восточной жизни. Нет, все эти писатели пишут неприкрашенную правду...»³⁷

Как видим, спор может разгореться даже из-за термина. Это не случайно. В области изучения изображения инонациональной действительности еще много нерешенных вопросов. Но несомненно и то, что сегодня мы можем говорить и о значительных успехах в этой области литературоведения, которым и посвящена данная статья.

Л. В. КРУТИКОВА

ПРОЧИТАН ЛИ БУНИН? *

За последние 10—15 лет произошли значительные сдвиги в изучении русской литературы начала XX века. Опубликовано много новых материалов — писем, воспоминаний, художественных текстов. Взоры исследователей устремились к малоизученным темам и проблемам. И все-таки «белых пятен» на материке русского искусства того времени еще много. К тому же в освещении литературного процесса бурной эпохи трех революций преобладает еще описательно-фактографический метод. Вероятно, поэтому в фундаментальной трехтомной «Теории литературы», где ведется интересный и плодотворный разговор об эволюции образного сознания на протяжении веков, русская литература начала века, за исключением М. Горького, не нашла своего места.

Между тем Горький не был одинок в поисках новых возможностей реалистического искусства, в своих прогнозах, в стремлении овладеть правдой века. Рядом с Горьким шло немало талантливых художников, самостоятельно искавших разрешения загадок и противоречий новой эпохи. Одним из таких писателей был Иван Бунин, дарование и творчество которого всегда высоко ценил Горький. Называя Бунина первейшим мастером, «лучшим стилистом современности», Горький не раз говорил о его новаторстве, о создании им новых художественных ценностей.

Сегодня не скажешь, как 15 лет назад, что творчество Бунина мало известно советскому читателю. Книги его за минувшее десятилетие издавались и переиздавались не раз. Недавно завершено второе, значительно более полное, девятитомное собрание сочинений писателя. Имя Бунина замелькало на страницах газет и журналов, зазвучало по радио, появилось даже на экранах телевизоров. Бунин, по словам А. Твардовского, «обретает у нас того большого читателя, которого достоин его поистине редкостный дар».¹

Однако «редкостный дар» автора «Деревни» открывается не сразу. Он требует большой читательской культуры. Книги Бунина не легко читаются, его сокровенные чувства и мысли не лежат на поверхности. Его стихи и проза ждут от читателя напряженной работы ума и сердца.

Как же помогают наши критики и литературоведы проникать в глубины бунинского искусства, в словесную магию Бунина, художественный опыт которого, как справедливо заметил Твардовский, «мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безязыкости и безличности нашей прозы и поэзии» (I, 48)? Долгое время в освоении бунинского наследия преобладала черновая, кропотливая подготовительная работа: собирались биографические факты, выверялись художественные тексты, изучались архивные материалы, вводились в научный оборот письма, воспоминания, отзывы критики, осмыслились, наконец, конкретные произведения, отдельные, главным образом ранние, этапы литературной деятельности художника. Освещение всего долгого творческого пути Бунина, его места в литературном движении эпохи, своеобразия его стиля вырисовывалось как большая, но далекая задача.

³⁶ Индийские и пакистанские рассказы. Изд. иностр. лит., М., 1954, стр. 3.

³⁷ Индийские рассказы. Изд. «Правда», М., 1953, стр. 3.

* В. А. Афанасьев. И. А. Бунин. Очерк творчества. Изд. «Просвещение», М., 1966, 384 стр.; О. Н. Михайлов. Иван Алексеевич Бунин. Очерк творчества. Изд. «Наука», М., 1967, 175 стр.; А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). Изд. «Художественная литература», М., 1967, 332 стр.

¹ И. А. Бунин, Собрание сочинений в девяти томах, т. I, изд. «Художественная литература», М., 1965, стр. 8 (далее ссылки приводятся в тексте).

Достойное представление о Буине-художнике читатель получал из уст писателей. Лучшее, что сказано о Буине, принадлежит М. Горькому, К. Паустовскому, А. Твардовскому, И. Соколову-Микитову. Образное мышление, богатая интуиция, а главное — приобщенность к тому прекрасному и трагическому, что таила в себе русская жизнь и чем постоянно мучился Бунин, помогли им проникновенно сказать о тернистом пути художника, о завораживающей силе его слова, о его подвизнической взыскательности, о его самобытном искусстве и о его трагических ошибках и заблуждениях.

Вполне понятно, что появившиеся недавно первые монографии о Буине, вышедшие в издательствах «Просвещение», «Наука» и «Художественная литература» и рассчитанные не только на специалистов-литературоведов, сразу привлекли внимание читателя. Их быстро раскупили.

Так что же получил читатель? Справились ли со своей задачей авторы первых монографий, посвященных большому и сложному писателю? Помогли ли новые книги понять и освоить художественный опыт одного из классиков русской литературы? Не приходится говорить о тех трудностях, которые стояли перед исследователями, взявшимися обозреть 83-летнюю жизнь Бунина и его почти 70-летний литературный труд. Три автора пошли разными путями. Их книги различны по жанру, объему и освещению бунинского наследия. Монография А. Бабореко привлекает огромным количеством новых фактов и сведений о художнике. К тому же она имеет скромный подзаголовок: «Материалы для биографии». О. Михайлов в небольшом по объему очерке (9 печ. л.) приглашает читателя совершить путешествие «по стране, именуемой творчеством Бунина», пытается дать общее представление о литературной деятельности писателя, о своеобразии его искусства. И только В. Афанасьев предлагает «первый опыт целостного рассмотрения всего большого и сложного творческого пути выдающегося русского писателя».

Вполне естественно поначалу обратиться к книге, претендующей на целостное рассмотрение литературной деятельности художника. Тем более полезно это сделать, что первые рецензенты в своих коротких отзывах высоко оценили работу В. Афанасьева как «серьезный научный труд» (И. В. Мыльцына), одобрили «целостную концепцию органического развития» Бунина (П. Н. Берков), целостный анализ бунинской прозы и поэзии (Л. Усенко).²

В книге В. Афанасьева действительно предпринята попытка рассмотреть все творчество Бунина от первых литературных опытов до последних произведений эмигрантских лет — романа «Жизнь Арсеньева» и сборника рассказов «Темные аллеи». Автор довольно полно собрал и обобщил вошедшие за последние годы в научный обиход сведения о жизни и творчестве Бунина. Станным, правда, представляется, что в монографии не подведены итоги изучения писателя. Не всегда считается В. Афанасьев с трудами своих предшественников, весьма редко ссылается на них.

Вместе с тем автор не только обобщил известное, он обнаружил немало новых любопытных сведений и материалов. В. Афанасьев установил ряд первых публикаций бунинских рассказов («Пыль», «Аглая»). Он часто использует в книге результаты текстологических наблюдений, срагивает различные редакции произведений Бунина, широко привлекает архивные документы, отзывы современников, письма и интервью писателя. Самый интересный новый материал, введенный в книгу, — это факты из творческой истории рассказа «Петлистые уши». Исследователь выяснил и неопровержимо доказал, что в основу известного бунинского рассказа положен судебный процесс 1912 года по угловому делу Вадима Кровяника, широко освещавшийся тогда в газете «Речь». Весьма любопытно и сопоставление рассказа «Соотечественник» с одним из «Невыдуманных рассказов» Вересаева; в обоих случаях прототипом главного героя послужило одно и то же лицо — русский консул на Цейлоне. Наконец, автор пытается понять Бунина как большого художника, правильно пересматривает тезис о якобы холодном, бесстрастном отношении писателя к своим героям, делает попытку более широко осветить его эмигрантское творчество.

Однако, несмотря на наличие ряда интересных фактов, сведений, документов и отдельных наблюдений над эволюцией мотивов и стиля бунинских произведений, книга В. Афанасьева разочаровывает. Изложение фактического материала не одухотворено в работе глубоким осмыслением творчества Бунина. Из книги мы прискорбно мало узнаем о подлинном облике писателя — сложнейшем человеке и оригинальном художнике.

Разобраться в просчетах рецензируемой книги тем более необходимо, что это поможет выявить некоторые методологические шаблоны, которые тормозят подлинно научное изучение искусства начала XX столетия.

Острота и накаленность политической атмосферы обусловили небывалую интенсивность и сложность литературной жизни той эпохи. Между тем именно эта

² «Филологические науки», 1967, № 6, стр. 112—113; «Известия АН СССР», серия литературы и языка, т. XXVI, вып. 6, 1967, стр. 546—548; «Дон», 1966, № 12, стр. 176—178.

напряженность, многообразие философских, эстетических и художественных исканий выяснены не в полной мере. Более того, анализ философско-эстетических проблем века, разговор об искусстве во многих статьях, учебниках и монографиях нередко переключается в план сугубо социально-политический. Вместо разнообразия мучительно трудных исканий художников перед нами возникает уныло однотипная анкетная схема, варьирующая не более десятка одних и тех же тем и проблем, трактуемых к тому же довольно нехитрым способом: «понимал — не понимал», «принимал — не принимал», «верил — не верил», «видел — не видел», «изображал — не изображал» (революцию, борьбу классов, рабочее движение, ведущую роль пролетариата, победу социализма и т. п.). Названные темы безусловно важны, но ими далеко не исчерпывается влияние революции на мировоззрение и творчество художников. Влияние это было гораздо более глубоким, плодотворным и многогранным. Надвигавшаяся революция расширяла диапазон мысли писателей, заставляла их подходить к миру и человеку с новых, еще неизведанных сторон, заставляла искать ответы на трудные социально-этические, философско-исторические и психологические вопросы. Упрощенный социализм, господствовавший в ряде статей и учебников, игнорирует эти проблемы и тем самым обедняет жизнь и искусство эпохи трех революций.

Книга В. Афанасьева, к сожалению, не порывает с таким упрощенным взглядом на литературу. Изъяны ее выступают тем более рельефно, что речь идет о незаурядном художнике, никак не укладывающемся в привычные схемы, в уготованные трафаретные рамки. Исследователь попадает буквально в заколдованный круг. Называя Бунина выдающимся писателем, большим талантом, В. Афанасьев не подтверждает своих суждений, а даже противоречит им как только обращается к конкретной характеристике художника.

В этом легко убедиться, проследив логику мысли автора, рассмотрев систему его доказательств, оценок и выводов. Из главы в главу кочуют одни и те же формулы, одни и те же суждения, выраженные даже в однотипных синтаксических конструкциях. «Как бы ни был далек Бунин от понимания истинных причин социальной неустроенности, эта неустроенность нашла широкое отражение в его книге», — так пишет автор о сборнике «Иоанн Рыдалец» (стр. 151). «И хотя, далекий от революции и даже враждебный ей, писатель не призывал к радикальному переустройству жизни, сама объективно и строго нарисованная им картина людских страданий не могла не рождать у чуткого передового читателя мысли о необходимости коренного изменения действительности» (стр. 211). Приведенные утверждения не могут вызывать возражений. Они справедливы. Но дело в том, что автор не идет вглубь, а ограничивается подобными слишком общими определениями. О каких бы разных вещах Бунина ни шла речь — об «Антоновских яблоках», о «Деревне», «Суходоле», «Чаше жизни», «Братьях», о поэзии или литературных взглядах писателя, — везде В. Афанасьев варьирует одну и ту же мысль: несмотря на ограниченность мировоззрения Бунина, неприятие им революции, в его книгах созданы правдивые и впечатляющие картины действительности. Мысль опять-таки сама по себе бесспорная. Критик правильно говорит об ограниченности и одновременно о силе — жизненной достоверности — бунинских произведений. Но не слишком ли общими категориями оперирует автор? Не скользит ли он по поверхности, уходя от постижения эстетического сознания Бунина, его своеобразного взгляда на мир, человека и общество?

Отказываясь от более конкретного и глубокого выяснения самобытности художественного мышления писателя, его эстетической системы, В. Афанасьев поневоле упрощает, схематизирует социальную характеристику позиции и творчества Бунина. Искусство Бунина оказывается переключенным в иной — нормативный — план. Автор зачастую ищет в книгах Бунина то, чего в них нет, что было характерно для других писателей, с иным кругом тем и интересов, с более прогрессивными и ясными политическими убеждениями. В таких случаях и появляются в работе формулировки, бьющие мимо цели, не приближающие читателя к пониманию бунинского искусства. Например, автор вменяет в вину писателю, что тот «не замечает классового расслоения крестьянства, выделения из его среды кулачества» (стр. 30), не отражает административный гнет (стр. 31), увлекается «описанием природы за счет внимания к... людям» (стр. 45), не подымается до сатиры Салтыкова-Щедрина (стр. 14, 116).

В том же духе выдержаны сопоставления Бунина с писателями XX века. Исследователь не раз подчеркивает, что бунинские произведения несоизмеримы с книгами М. Горького (стр. 23, 79, 104, 219), что Бунин уступает в своей прозрачности и гуманизме Вересаеву и Серафимовичу (стр. 60, 178), Евг. Тарасову (стр. 66), А. Толстому (стр. 167), Подъячеву, Вольнову, Треневу (стр. 169—178). Несомненно, сравнительный анализ произведений и художественных систем различных писателей необходим. Он помогает глубже понять и литературное движение эпохи, и оригинальность каждого из художников, достоинства и просчеты их книг. Безусловно важным для изучения Бунина будет сопоставление его произведений с творчеством М. Горького — магистральной линией века. Но все это станет плодотворным тогда, когда бунинские творения будут одновременно поняты и

«изнутри», а не только как отступление от какого-то единого эталона. В. Афанасьев между тем книги Бунина нередко рассматривает не как самостоятельные исследования, открывающие нам нечто новое и неизведанное, а как отступление от заданной нормы. Тогда и получается, что достоинства бунинских произведений, а также их противоречивость и ограниченность трактуются поверхностно, внешне.

Всесторонний анализ миропонимания художника, его своеобразного историзма и гуманизма подменяется такими общими определениями, как «антиисторизм», «враждебное отношение к революции», «абстрактный гуманизм», «идеализация прошлого», «религиозный фатализм», «неверие в будущее» и т. п. Спору нет, Бунин враждебно относился к революции (понимая, однако, ее неизбежность в России), он нередко заблуждался в осмыслении хода истории, иногда в его книгах звучали религиозные мотивы, появлялись настроения безысходности и отчаяния. Но исчерпывается ли этим миропонимание художника, его искусство?

Взгляды Бунина и его книги были намного сложнее, богаче и оригинальнее. Они несводимы к политическому консерватизму. Недаром М. Горький говорил о «Деревне»: «Так еще не писали», «так глубоко, так исторически деревню никто не брал». Эти горьковские мысли развивает А. Мясников в послесловии к третьему тому нового собрания сочинений писателя, справедливо отмечая, что «шафос историзма пронизывает не только повесть о деревне, но и другие произведения Бунина, определяя их художественную структуру» (III, 450).

В. Афанасьев, наоборот, отказывает Бунину не только в способности мыслить исторически, но и вообще в способности видеть и объяснять мир по-своему. Сплошь и рядом самостоятельная мысль художника, его настойчивое стремление постичь неразгаданную «связь времен», тайны формирования человеческой психики или национального характера рассматриваются в монографии как заблуждение, отступление от реализма, бегство от современности, дань модернизму или упрощаются, сводятся к плоским, однолинейным понятиям.

Так, пристальное внимание Бунина к прошлому, к древней истории человечества, к истокам цивилизации, его путешествия в дальние страны расцениваются автором не как позитивное и весьма плодотворное стремление писателя «познать тоску всех стран и всех времен», через глубь веков подойти к осмыслению современности, а как бегство от современности, упорное игнорирование ее, как идеализация прошлого (стр. 77).

В рассказах Бунина 1915—1916 годов, посвященных исследованию сложных глубин человеческой психологии, ученый снова находит не художественные открытия, а лишь стремление писателя «уйти от социальных проблем» (стр. 258). Автор не замечает, что социальность бунинского творчества как раз заключалась в анализе человеческой личности. Подтверждением могли бы служить не только такие социально острые рассказы, как «Архивное дело», «Братья», «Старуха», «Господин из Сан-Франциско», значения которых не отрицает исследователь, но и произведения, социальность которых проявляется «скрыто» — в изображении человеческой личности, изломанной человеческой психики («Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Соотечественник», «Отто Штейн»). Другое дело, что социальные мотивировки не исчерпывают бунинского психологизма. Писатель зачастую осложняет их выяснением природно-биологических и национально-исторических основ человеческого поведения. Но это плодотворное стремление художника связать воедино социальные, бытовые, национальные, биологические и интеллектуальные истоки человеческой психики не попали в поле зрения исследователя.

Разнородные произведения Бунина о деревне, а вместе с тем и труднейшую проблему национального характера В. Афанасьев низводит до простой антитезы бунтарства и смирения. Не проясняя бунинской концепции бытия, выражающейся прежде всего в структуре произведений и в принципах изображения человека, автор варьировал мысль о сочувствии Бунина покорным, смиренным натурам и его неприязни к бунтарям и протестантам (см. стр. 117, 121—122, 218). На деле бунинские книги лишены однолинейности и одноцветности. Художник редко рисовал людей однотонными — злодеями или праведниками. Не поэтизация смирения и не ненависть к бунтарям определяют структуру бунинских книг. Писателя привлекало другое: сложное сплетение разнородных начал в человеческой натуре и в русском национальном характере. Бунин стремился понять стимулы поведения людей, причины их трагических судеб. Его волновала бесплодность прожитой жизни как людей недовольных, бунтующих, так и смиренных, покорных.

Непроясненными остаются в монографии и такие важные проблемы, как авторская позиция и способы ее выражения, как авторский идеал. Взгляды художника на возможные перспективы развития личности и общества. А без них невозможен сколько-нибудь серьезный разговор об историзме и гуманизме писателя, о проблематике его книг, об их эстетической ценности и современном значении. В результате анализ бунинских произведений нередко подменяется поверхностным пересказом и социологическим комментированием.

Так, анекдотически выглядит замечание автора по поводу философского рассказа Бунина «Сны Чанга»: «Герой рассказа пес Чанг выбран Буниным в качестве центрального персонажа вовсе не из желания вызвать „добрые“ и „нежные“ чув-

ства к животным, чем обычно руководствовались писатели-реалисты конца XIX — начала XX века» (стр. 258). Философский смысл рассказа исследователь усматривает лишь в трагическом фатализме (стр. 260). Однако художественному творчеству Бунина меньше всего была свойственна категоричность и окончательность выводов.³ След за Чеховым, выражая тенденции нового времени, Бунин большей частью ставил вопросы, намечал направление поисков, вглядывался в тайны и загадки бытия, но однозначных прогнозов избегал, считая, что время пророческих откровений не наступило. Рассказ «Сны Чанга», проникнутый раздумьями о законах земного существования, направлен именно против односторонних представлений о жизни — только прекрасной, счастливой или только мрачной, несчастной. Художник подводит к мысли о наличии «третьей правды», более мудрой и многозначной. Но содержания ее писатель не раскрывает, тем более не проповедует пессимизма или религиозного фатализма. Он заставляет читателя самостоятельно искать ответа, намечая лишь контуры возможно более совершенного — эстетического — познания мира, которое противостоит как догматически резонерским выводам капитана, его обедненно логическому, рационалистическому мышлению, так и сугубо чувственному, интуитивному восприятию Чанга.

Несравненно богаче, оригинальнее, глубже бунинская позиция и в известном рассказе «Братья», в котором автор монографии находит только критику колониализма и жестокости белых, поэтизацию «первобытного, естественного, простого и мудрого в этой своей простоте человека» (стр. 208). Бунин, наоборот, в поисках целостной концепции бытия осуждал как первобытные, так и буржуазно-индивидуалистические нравы, приобщая читателя к более высоким представлениям о человеке.

Авторский идеал в книгах Бунина угадывается по той высоте требований к человеческой личности, которая обуславливала беспощадное изображение писателем отступлений от нормы. Своими книгами художник учил людей постигать свое место в истории человечества, в цепи поколений, быть достойными человеческого призвания, развивая лучшие стороны своей натуры и подавляя, искореняя все худшее — эгоизм, своеволие, деспотизм, раболепие, косность. Лишь изредка, в таких рассказах, как «Лирник Родион», «Хороших кровей», «Божье древо», «Папти», «Ночь», «Воды многие», или в очерках «Думая о Пушкине», «Эртель», в романе «Жизнь Арсеньева» приоткрывал писатель свои позитивные представления о смысле жизни и назначении человека. Лучшими представителями человечества считал он Чехова, Л. Толстого, Пушкина — «воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса» (IX, 454). Возможные перспективы развития человека Бунин связывал с обогащением личности, с расширением ее гражданского, этического, философско-исторического, эмоционального и эстетического кругозора. Писатель ратовал за высокую культуру ума и сердца человека, умеющего распознать и реализовать свои индивидуальные способности, дарованные каждому природой и предшествующими поколениями. Мысль о высокой ответственности человека за собственную жизнь и все происходящее на земле одухотворяет произведения Бунина.

Но именно глубины авторских размышлений, эстетической и нравственной позиции художника, его мечты о гармонизации человеческой личности не замечает В. Афанасьев.

Что же тогда остается на долю Бунина-художника? Как объяснить достоинства его творчества? В чем современное звучание его искусства? Автор рецензируемой книги находит чрезвычайно простые ответы. Он ценит поэзию и прозу Бунина преимущественно за сочувствие угнетенным, за ненависть к собственническому миру, за способность «обличать», «критиковать», «обнажать» язвы буржуазного мира. Вновь читатель встречается с видимостью правды, с констатацией общеизвестного. Не надо обладать большой проницательностью, чтобы увидеть в творчестве Бунина сочувствие угнетенным, ненависть к насилию, обнажение пороков. Но буквально то же самое можно сказать о десятках талантливых русских и зарубежных писателей. В сотнях книг до Бунина гуманно изображались униженные и оскорбленные, гневно бичевались пороки. Но почему волнуют нас книги Бунина? Чем отличаются они, скажем, от книг Чехова или Тургенева? Чем сегодня обогащает нас бунинская поэзия и проза?

Неужели автор полагает, что произведения Бунина привлекают сегодняшнего читателя лишь как «ценное художественное средство» «в борьбе с остатками колониализма» (стр. 210) или как «документы эпохи», в которых запечатлена «историческая обреченность материально и духовно оскудевшего российского дворянства, гнетущая нищета старой русской деревни, пустота и бессмыслица убогого уездного

³ Речь идет именно о художественном творчестве Бунина. В публицистике писатель не раз прибегал к категоричным и определенным суждениям. В его статьях и воспоминаниях периода эмиграции, например, явно звучали реакционные политические выпады. Но в художественных произведениях, за редким исключением, он избегал и этой слепой злобы, и односторонности.

существования» (стр. 377)? Очевидно, чувствуя бескрылость подобных объяснений, В. Афанасьев (да и не он один) прибегает к спасительным рассуждениям о мастерстве. Он не раз восторгается зоркостью бунинского глаза, умением художника подметить тонкие детали, выразительно запечатлеть пейзаж, быт, портрет, речь, психологию.

Восставая на словах против разрыва формы и содержания, исследователь сам остается в плену тех худших традиций, когда анализ поэтики, формы, стиля дается лишь внешне, путем иллюстрации пейзажной и бытовой живописи, речевой и портретной характеристики. Правда, нужно отдать должное ученому. Он пытается понять специфику бунинского стиля. Он справедливо пишет о лирическом подтексте, о ритмичности бунинской прозы, об изменениях сюжетосложения и населенности бунинских произведений, о поисках «новых средств художественной выразительности, призванных зримо воплотить нервный, стремительный ритм эпохи» (стр. 230). И все-таки даже в тех случаях, когда В. Афанасьев оказывается фактически прав и тонок в своих наблюдениях, его суждения не соотносены с эстетическим освоением мира у Бунина, не служат прояснению глубинного смысла произведений, а являются в лучшем случае констатацией бунинских приемов письма, чаще — простым перечислением элементарных средств словесного искусства. «Существенную роль в произведениях Бунина... играет природа» (стр. 129), «Бунин предстает перед читателем и как мастер четкого, тщательного выписанного пластического рисунка» (стр. 130), «Изумительно мастерство Бунина в этом рассказе» (стр. 210) — к таким избитым формулам не раз прибегает автор.

Не увидев в бунинском творчестве почти никаких точек соприкосновения с нашим временем, В. Афанасьев склонен объяснять популярность писателя, эстетическую ценность его произведений художественным мастерством. Думается однако, что уровень сегодняшнего литературоведения не позволяет уже ограничиваться простыми ссылками на мастерство или талант писателя. Благодаря которому художник творит якобы вопреки своему миропониманию. Казалось бы, достаточно было дискуссий на эту тему, и не стоит повторять, что истинный талант отличается от посредственного ремесленничества именно глубиной мировосприятия, высотой идеала, устремленностью в будущее. Но рассматриваемая книга заставляет вспоминать методологические просчеты прошлых лет.

Отказавшись от конкретного выяснения миропонимания художника, его авторской позиции, взгляда на возможные перспективы развития личности, обвинив Бунина в антиисторизме, утопичности и нереальности идеалов, исследователь не смог провести грань между истинным искусством и заурядным ремесленничеством. Искусство настоящего большого художника оказалось в книге обесцвечено, обескровлено, лишено философско-эстетической самостоятельности, оригинальности мысли и накаленности чувств. Вместо подлинного облика Бунина в монографии появилась фигура третьестепенного писателя.

Поэтому вряд ли стоит спорить с автором по другим частным вопросам. Не о частностях идет речь, а о поверхностном толковании бунинского искусства. В книге В. Афанасьева есть факты и материалы, характеризующие творческий путь Бунина, есть отдельные наблюдения, но нет целостного представления о Бунине-художнике, обогатившем русскую и мировую литературу.

Монография о Бунине О. Михайлова оказалась удачнее. Написанная с меньшими претензиями, рассчитанная преимущественно на массового читателя, она дает общее представление о художнике, служит популяризации его творчества. А главное — она создана человеком, которому не чужды бунинское искрометное слово, его страстная натура, его художественные искания. О. Михайлов ведет речь о писателе в его «эстетическом ключе». Читатель узнает о необычайной целеустремленности Бунина, о его верности избранному пути, о его стремлении решать «вечные, первородные проблемы».

Автор справедливо воюет с упрощенным взглядом на искусство Бунина, при котором ранние ученические произведения писателя выглядят более демократичными и прогрессивными, нежели его лучшие вещи начала века и 1910-х годов. Плодотворны замечания О. Михайлова о влиянии бунинской поэзии на его прозу и, что, пожалуй, впервые подмечено критиком, — обратное влияние прозы на поэзию.

Особенно интересна глава «Бунин — поэт», в которой автор, вопреки сложившемуся мнению о старомодности, некоей ветхозаветности бунинской поэзии, раскрывает ее созвучие XX веку. Не модернизируя художника, отмечая, что Бунин-поэт «оставался в основном во власти „старой“ образной системы, ритмики, тематики», О. Михайлов весьма убедительно показывает, как удавалось Бунину «внешне банальными средствами добиваться небанального» (стр. 68). Эти рассуждения автора небесполезны для наших дней, когда новаторство старательно ищут в обязательной деформации устоявшихся форм стиха.

Вся глава насыщена сопоставлениями поэзии Бунина с поэзией Фета, Тютчева, Полонского, Брюсова, Бальмонта, Блока, Ахматовой, что явно помогает читателю почувствовать своеобразие бунинского стиха, особенности его поэтического мироощущения.

Чуждый схематичного социологизирования, критик улавливает связь с общественной жизнью не только бунинской прозы, но и его поэзии, справедливо утверждая, что связь эта «была не прямой и не непосредственной, как у большинства „знаниевцев“» (стр. 70—71). Если В. Афанасьев считает, что бунинская лирика предоктябрьского десятилетия была «почти совершенно лишена гражданских, социальных мотивов» и даже находилась вне борьбы «за лучшее будущее человечества» (стр. 187, 188), то О. Михайлов, высоко оценивая поэзию Бунина, справедливо пишет, что в ней «он поднимается до значительных художественных и философских обобщений» (стр. 72). При этом исследователь выделяет, пожалуй, самую характерную бунинскую черту — редкое свойство, говоря словами Достоевского о Пушкине, «перевоплощаться вполне в чужую национальность» (стр. 73, 74).

В книге О. Михайлова немало по-новому поставленных проблем, немало высказано оригинальных суждений, правда, часто не развернутых, брошенных вскользь, мимоходом. Критик пытается уяснить место Бунина в русской и мировой литературе, сопоставляя его с Л. Толстым, Чеховым, Гоголем, Тургеневым, Горьким, Куприным, писателями-демократами и таким корифеем модернизма, как Марсель Пруст. Не менее любопытны примеры, свидетельствующие о воздействии Бунина на младших современников — Б. Пильняка, В. Лидина (стр. 114—116). Обилие сопоставлений расширяет кругозор, будит мысль, заставляя иногда соглашаться, порой спорить с автором. Но спор большей частью возникает плодотворный, так как О. Михайлов стремится проникнуть в глубины бунинского искусства, раскрыть основы мировосприятия писателя.

Однако власть укоренившихся догм столь велика, что она захлестывает и молодого ученого, не раз воевавшего в своих статьях и рецензиях с однолинейными воззрениями на литературу начала XX века. В ряде случаев О. Михайлову изменяет проницательность, и он, не вдаваясь в подробности, повторяет набившие оскомину определения. Даже в удачной главе о поэзии Бунина встречаются бездоказательные, излишне категоричные выводы: «Бунин стремится реставрировать и идеализировать „дотатарскую“, старую Русь. Его взгляд на народ таит в себе черты своеобразного неославянофильства», его «отношение к прошлому России внеисторично и внесоциально» (стр. 73).

Центральные проблемы миропонимания художника — своеобразие его искусства, особенности отношения к народу, его концепция человеческой личности и национального характера — не стали предметом самостоятельного исследования критика. В их осмыслении он пошел проторенным путем, попав невольно в плен упрощенной социологии. Так, сложное отношение писателя к русскому народу, о котором говорилось выше, низводится до пресловутого пристратного сочувствия «патриархальному мужику» (стр. 103). Страницы, посвященные «Деревне» и «Суходолу», грешат поверхностным пересказом. Смысл многопроблемных повестей Бунина автор видит главным образом в беспощадной критике старой деревни — помещицкой и мужицкой. А при сопоставлении названных повестей с произведениями М. Горького О. Михайлов приходит и вовсе к странным выводам. Справедливо замечая, что Горький указывал пути преобразования действительности, «мечтал, звал к подвигу», автор тут же лишает книги Бунина всякого активного начала. Бунин, пишет критик, «не выходил за пределы „чистой“ образной системы», «целиком остался в пределах старого „созерцательного“ метода критического реализма, способного лишь объяснить мир, а не переделать его» (стр. 100, 101). Вряд ли стоит доказывать, что такое ограничение возможности критического реализма, в том числе и бунинского, неправомерно, ибо всякое истинное искусство всегда устремлено в будущее, всегда помогает людям не только постигать мир, но и переделывать его.

Непроясненность основ бунинского мировоззрения пагубно сказалась и на трактовке лучших вещей эмигрантских лет. О. Михайлов, как и его предшественники, сводит содержание зарубежных бунинских книг к автобиографическим воспоминаниям, проблемам любви и смерти, а позицию Бунина — к настроениям одиночества, пессимизма, отчаяния, растерянности перед роковыми силами судьбы и страсти. К счастью, художественный вкус спасает критика от банальности. Ему удается передать поэтический колорит и необычность таких бунинских шедевров, как «Митина любовь» и «Жизнь Арсеньева». Однако, доверившись догмам и увлекшись сопоставлением романов Бунина и Пруста («Жизнь Арсеньева» и «В поисках за утраченным временем»), автор ушел от выяснения оригинальности и сокровенного смысла бунинской книги, которая до сих пор остается непрочитанной и рождает у критиков многочисленные домыслы и легенды. Некоторые из них повторяет О. Михайлов. Рамки рецензии сковывают возможности развернутой полемики. Замечу только, что «Жизнь Арсеньева» — своеобразное поэтическое завещание Бунина — интересна, в первую очередь, как книга, раскрывающая до сих пор непознанные наукой тайны формирования таланта и личности будущего писателя. Становление настоящего художника-реалиста немислимо без ощущения хода истории, без сопричастности к жизни народа, без уяснения перспектив развития личности. Все эти проблемы по-своему ставит и освещает Бунин в романе.

Поэтому невозможно согласиться с теми, кто видит в «Жизни Арсеньева» «отсутствие ощущения истории» (О. Михайлов, стр. 160), антидемократизм (В. Афанасьев, стр. 343), а главное — проповедь эстетизма и «самоцельного, замкнутого в себе искусства» (О. Михайлов, стр. 26, 27, 161; В. Афанасьев, стр. 345—346). Придерживаясь подобных взглядов, авторы книг о Бунине не могут свести концы с концами и объяснить, в чем же заключается признаваемая ими значительность, масштабность бунинского романа, одного из замечательнейших явлений мировой литературы, по словам К. Паустовского.

Кстати сказать, толкование бунинского мироотношения и творчества эмигрантских лет во многих работах грешит заданностью и упрощением. Писателя обвиняют в «фатальной безнадежности», «катастрофичности мышления», «неизбежном пессимизме», снижении реализма, доморощенной наивной мистике, равнодушной описательности, эмпиризме и т. п. Облегченность, предвзятость и субъективность в объяснении трагедии писателя нашли высшее выражение в книге В. Катаева «Трава забвенья». На удивление просто, легковесно и абсолютно неверно трактует В. Катаев характер зарубежного творчества Бунина. «Он писал все, что хотел, не сдерживаемый никакими моральными обязательствами, даже иногда простыми приличиями. Как изобразитель он рос и к концу своей жизни достиг высшей степени пластического совершенства. Но отсутствие морального давления извне привело к тому, что Бунин-художник перестал выбирать точки приложения своих способностей своих душевных сил. Он не смог справиться с „тысячеглавой гидрой эмпиризма“, о которой говорил Гете, и она поглотила его, вернее он был разорван на куски, как глубоководная рыба... Для него художественное творчество перестало быть борьбой и превратилось в простую привычку изображать, в гимнастику восбуждения».⁴ На самом деле Бунин никогда не терял морального критерия творчества, не писал ради «гимнастики воображения». Он мог заблуждаться, враждебно относиться к революции, но творчество всегда оставалось для него борьбой за высокое, прекрасное и справедливое. В. Катаеву можно возразить словами самого Бунина в последней книге «Жизни Арсеньева»: «Но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому» (VI, 242).

Не ведая коренных путей изменения социальной несправедливости, Бунин тем не менее видел пороки буржуазного мира и ратовал за преобразование общества и человека. Вера в возможности человеческого разума, защита подлинных ценностей жизни и этических идеалов — все это отделяло Бунина от модернистов с их скепсисом и отчаянием, с неверием в человека и поступательный ход истории, с их утверждением исконной и непреодолимой испорченности человеческой природы. Однако в последних работах исследователи с особым рвением ищут точек соприкосновения Бунина с модернизмом. Так, автор талантливой статьи «Поздняя новелла Бунина» пишет: творчество Бунина, «писателя-эмигранта, лишенного идейной опоры и устремленности, — неожиданно сближается с искусством модернизма».⁵ «Отдавая дань модернистским увлечениям, Бунин ищет примеры вулканического извержения страсти, трагически подчиняющей человека своим слепым силам», — замечает О. Михайлов (стр. 148).

Хорошо известно между тем, что сам Бунин был ярким противником модернистских ухищрений в искусстве. Еще в 1913 году писатель произнес страстную речь в защиту традиций русской классической литературы, выступив против так называемых «новых исканий». «Немногое исчезло: совесть, чувство, такт, мера, ум... растет словесный блуд... Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась вульгарность и дурной тон, — напыщенный и неизменно фальшивый» (IX, 529), — говорил Бунин, имея в виду «Вальпургиеву ночь» в искусстве, когда со скандальным успехом выступали представители декаданса, символизма, порнографии, богоборчества, мифотворчества, мистического анархизма, акмеизма и футуризма.

Не менее суров был Бунин к модернистским новациям в эмигрантские годы. Об этом свидетельствуют его многочисленные высказывания о литературе. Показательна статья Бунина 1928 года «На поучение молодым писателям», в которой он вновь и вновь, как и 15 лет назад, защищал принципы реалистического искусства и свое творчество от упреков в «бытовизме», «описательности», «внешней изобразительности» (IX, 449—453).

Бунин всегда оставался приверженцем реализма, расширяя и обогащая своим творчеством его границы и возможности.

По-новому, непредвзято заставляет взглянуть на Бунина третья, совсем недавно вышедшая монография А. Бабореко. Она принадлежит ученому, долгие годы кропотливо собиравшему и публиковавшему разнородные материалы о жизни и

⁴ Валентин Катаев. Трава забвенья. Изд. «Детская литература», М., 1967, стр. 208.

⁵ М. Иофьев. Профили искусства. Изд. «Искусство», М., 1965, стр. 290.

творчестве художника. Самоотверженный труд не пропал даром. Книга, имеющая скромный подзаголовок — «Материалы для биографии», обрадует и обогатит каждого, кто к ней обратится.

Автор изучил не только все архивные фонды Бунина, имеющиеся в хранилищах Москвы, Ленинграда и Орла. Ему удалось разыскать материалы, находящиеся еще в частных собраниях, как в нашей стране, так и за рубежом. А. Бабореко получил интересные документы от лиц, близко знавших Бунина, — от жены писателя В. Н. Муромцевой-Буниной, от друзей и знакомых последних лет — Л. Ф. Зурова, Г. Н. Кузнецовой, А. Седых, Г. В. Адамовича и других. Широко используется в книге газетная и журнальная периодика. Автор выходит за рамки обозначенных в заглавии дат (1870—1917) и сообщает много интересного об эмигрантской жизни писателя.

Книга изобилует самыми разнообразными документами: дневниковые записи, письма, беседы, интервью, автобиографические заметки Бунина, а также письма к нему, воспоминания, отзывы критиков, писателей, видных деятелей культуры и, наконец, редкие фотографии. И весь этот разноликий и разностильный материал не рассыпается, не подавляет читателя. Наоборот, так удачно найдены жанр и способ изложения, что книга читается с неослабным интересом до последних страниц.

Автор не спешит с осмыслением всего наследия Бунина, не предлагает новых толкований произведений писателя. Его задача — скромнее: ввести в оборот как можно больше новых и малоизвестных фактов и сведений из жизни Бунина, которые помогут воспринять личность и творческий путь художника более многогранно.

Живые голоса Бунина и его современников (от Чехова и Горького до Романа Роллана и Франсуа Мориака), звучащие со страниц монографии, приобщают нас к kloкочущей атмосфере века и позволяют ощутить сложнейшую личность художника, его напряженно-мучительный труд, его трагическую судьбу, его взаимоотношения с людьми (интимно близкими, друзьями, братьями по перу), а также его участие в литературной борьбе эпохи, его отклики на бурные события времени.

83-летний тернистый жизненный путь выдающегося писателя встает перед нами со многими изломами, изгибами и превращениями его личной и литературной судьбы. Одно оставалось неизменным — верность призванию.

По охвату материала, по свежести и достоверности фактов, по огромному количеству новых сведений о Буине монография А. Бабореко не только превосходит рассмотренные выше книги, но и вносит много ценного в тот прочный фундамент, который закладывается сейчас общими усилиями для подлинно научного изучения бунинского наследия.

Кроме того, работа А. Бабореко убедительно доказывает необходимость возрождения жанра научной биографии. Незначительные, мелкие, второстепенные, на первый взгляд, детали из жизни талантливого художника помогают глубже понять его личность, мировосприятие, творческий метод.

Многие факты, собранные в книге, проясняют творческую историю произведений Бунина («Деревня», «Суходол», «Чаша жизни», «Сны Чанга», «Гость», «Жизнь Арсеньева»), а также характеризуют особенности его работы, его манеру письма, его требовательное отношение к себе, к слову, к искусству. «Для него... не было недостойных, неважных вещей на корабле его искусства. Все должно было быть безупречным, все должно было блеснуть последним совершенным блеском...» — вспоминает Г. Кузнецова (стр. 224).

Но главная ценность монографии несомненно в том, что под ее влиянием неизбежно должны рухнуть многие легенды и досужие вымыслы о художнике.

Вымышленную фигуру барина и помещика, отягощенного дворянской спесью и сословными предрассудками, вытесняет другой облик — облик писателя, с ранних лет испытывавшего нужду, всю жизнь не владевшего ничем, кроме чемодана. Не выглядят поэтому случайными демократические симпатии Бунина, его участие почти во всех прогрессивных журналах и издательствах начала XX века.

До удивительности современно звучат приводимые А. Бабореко слова автора «Деревни», обращенные в 1912 году к критикам, искаженно толковавшим его мировоззрение, его книги, его отношение к народу. «Критики обвиняют меня в сгущении красок в моих изображениях деревни, — говорил Бунин. — По их мнению, пессимистический характер моих произведений о мужике вытекает из того, что я сам барин. Я хотел бы раз навсегда рассеять подозрение, что никогда в жизни не владел землей и не занимался хозяйством. Равным образом никогда не стремился к собственности. Я люблю народ и с неменьшим сочувствием отношусь к борьбе за народные права, чем те, которые бросают мне в лицо „барина“» (стр. 174).

Опровергает книга и легенды о Буине как о человеке холодного сердца, пессимисте, аполитичном писателе, погруженном в созерцание прошлого, якобы мало интересовавшемся событиями современности. Монография А. Бабореко помогает узнать, что Бунин «жил всем тем, чем нельзя не жить». Писатель напряженно вглядывался в то, что происходило в России и во всем мире. Особенно

примечательны страницы из дневника Н. А. Пущешникова, где зафиксированы страстные монологи Бунина о первой мировой войне, о временном правительстве и его министрах, об отношении народа к войне и властям. Суждения писателя оказывались порой меткими и точными. Он говорил, например, в 1916 году: «Народ воевать не хочет, ему война надоела, он не понимает, за что мы воюем, ему нет дела до войны. А в газетах продолжается все та же брехня. Разные ослы вроде Ильиных, Бердяевых и др. долбят свое, ничего не понимая, с необыкновенным остервенением и самомонием» (стр. 210). Гневно и зло отзывался он о министре земледелия Чернове: «Ни уха ни рыла не понимать в экономических вопросах и сельском хозяйстве и залезть на пост министра земледелия! Что он может знать! Двенадцать лет в Италии прожил. В деревне за всю свою жизнь ни разу не был. Я уверен, что он пшена от проса не отличит» (стр. 211). Понимал художник и несостоятельность временного правительства, презрительно называл Керенского «каким-то исчадьем пустословия» (стр. 212).

Приведенные и подобные им факты заставят пересмотреть окостеневшие характеристики Бунина. Исторические и социально-политические воззрения писателя, его отношение к революции и народу оказываются более сложными и запутанными. Не только консерватизм, но и прозорливость были присущи его мышлению.

Собранные в книге отзывы писателей и видных деятелей искусства (М. Горького, В. Качалова, С. Рахманинова, А. Куприна, И. Шмелева, И. Соколова-Микитова, Романа Роллана, Рене Гийа, Франсуа Мориака и др.) — прозвительные и тонкие — вносят новые оттенки в понимание бунинских произведений, помогают расшеять вымыслы о творческом методе художника, о его авторской позиции. В противовес немалому числу литературоведов и критиков крупные художники видели в лучших творениях Бунина «обновление русского искусства», мужество и умение охватить жизнь в ее сложности и запутанности, откровения, несущие людям горечь и радость познания мира, проникновение в русскую и мировую историю («тоску всех стран и всех времен»), вдохновенную красоту, высоту нравственных идеалов, любовь к жизни.

Можно не умножать примеров. Из сказанного ясно: книга А. Бабореко вносит немалый вклад в изучение одного из лучших писателей начала XX века.

Есть, однако, и в этой добротной монографии свои недостатки и промахи, которые следует устранить при повторном издании (небольшой тираж ее явно не удовлетворил читательский спрос).

По замыслу автора, книга знакомит читателя с малоизвестными и новыми материалами из жизни Бунина. Думается однако, что работа, рассчитанная на широкую аудиторию, не может исключать известных, но весьма важных сведений для характеристики миропонимания, литературной деятельности и художественного метода Бунина. Автор иногда не упоминает и не уточняет факты, связанные с началом творческого пути писателя, не приводит чрезвычайно интересных писем и интервью Бунина. Например, следовало бы включить в книгу письмо Бунина к Телешову от 14 ноября 1899 года, раскрывающее творческие муки писателя в те годы. Следовало более подробно сказать о деятельности Бунина как редактора литературного отдела социал-демократического журнала «Правда» в 1904—1905 годах. А интервью писателя 1912 года, в котором он говорит о тяготении к социал-демократии (IX, 541), так и просится вставить рядом с полемическими высказываниями Бунина о своем мировоззрении (стр. 174), с резкой отповедью лицеисту «правых взглядов» (стр. 131) или временному правительству (стр. 211).

Значительно обогатили бы наше представление о художнике сведения о его взаимоотношениях с молодыми писателями (И. Касаткиным, К. Треневым, И. Нечаевым, В. Лидиным, Толстой-Крандиевской и др.).

Хотелось бы пожелать автору шире и глубже осветить поведение, настроение и общественно-политические взгляды Бунина, отличавшиеся необычайной сложностью, запутанностью и противоречивостью. Удачно избранный жанр позволял исследователю ввести более разносторонние документы, характеризующие позицию Бунина. К сожалению, иногда А. Бабореко уходит от выяснения трудных вопросов. Слишком бегло, например, говорится о жизни Бунина в Одессе в 1918—1919 годах, о его отношении к революции и большевикам. Бегло и подчас одно-сторонне характеризуется жизнь Бунина в эмиграции. Правда, автор ограничил рамки книги, поставив в подзаголовке даты 1870—1917. Однако 50 страниц все-таки отведено последнему 35-летию жизни писателя. Все, что приведено в этом разделе, — любопытно, интересно, необходимо. В то же время завершающие 50 страниц больше всего грешат односторонним подбором материала. Автор обходит молчанием тенденциозные и враждебные выступления Бунина против советской власти, против Ленина и советских писателей. С годами озлобление и ненависть утихли. Бунин собирался даже вернуться в Россию. Следовало бы в книге сказать об этом подробнее. А главное, необходимо было уточнить до сих пор неясный вопрос об отношении писателя к возможному возвращению в Советский Союз после разгрома гитлеровской Германии.

Не всегда удачно смонтирован материал в книге. Иногда не расставлены нужные акценты, не оттенены, особенно в интимной переписке, моменты, относящиеся к становлению бунинского сознания и художественного метода. Так, на стр. 36 лишь вскользь, походя упомянуты «афоризмы Щедрина», статьи Цебриковой и Шелгунова, которыми интересовался молодой Бунин. А на стр. 29 необычайно важное признание Бунина, что он «готовил себя с малолетства для другой, более идеалистической жизни», что ему надо «не „место“, а сохранять, как весталке, чистоту и силу души», пропадает в потоке интимных объяснений с В. В. Пащенко и жалоб на нужду.

Некоторые интересные факты не подтверждены документально, хотя бы ссылками на источник (отзывы Бунина о гимназических учителях, встречи его с видными деятелями народничества и поднадзорными, выступление в 1913 году на вечере, посвященном сорокалетию литературной деятельности крестьянина-поэта С. Д. Дрожжина). Отрывок из статьи Бунина «Происхождение моих рассказов» (стр. 243) автор цитирует по рукописи, а отсылает читателя к газетной публикации, в которой этих строк нет.

Характеристика творчества и отдельных произведений не входила в задачу исследователя. Но иногда он отступает от избранного жанра и грешит беглым пересказом, что явно не украшает книгу. Лучше вовсе не говорить о смысле бунинских творений, чем писать, что «„Сны Чанга“ — повествование о капитане, пережившем трагедию любви и мучительное одиночество, и о собаке Чанге, ставшей его другом» (стр. 207).

Почти безупречный справочный аппарат монографии стоило бы дополнить более подробной характеристикой тех новых материалов, которыми располагает автор. Многих, вероятно, заинтересует, что собой представляет автобиографический конспект Бунина 1881—1907 годов (когда он написан, каков его объем, какие факты отобраны и под каким углом зрения они освещены). То же относится к дневнику Н. А. Пущешникова и воспоминаниям Г. Н. Кузнецовой. Кстати сказать, эти документы вполне уместно было бы опубликовать в готовящемся бунинском томе «Литературного наследства».

Наконец, немалый недостаток книги — отсутствие указателей, именного и произведений Бунина. Как уже отмечалось, работа изобилует именами, документами, фактами. Наличие указателей в таких изданиях диктуется самой элементарной культурой, простым уважением к читателям.

Итак, настоящие встречи с Буниным только начинаются. Многие книги его ждут еще современного прочтения и толкования. Освещение долгого пути художника, освоение созданных им эстетических ценностей по-прежнему вырисовывается как нелегкая и сложная задача.

Л. А. ХОЛОДОВИЧ

ЯПОНСКИЙ КРИТИК О РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ» *

В 1967 году в Токио, в «Вестнике университета Хитоцубаси», была опубликована обширная работа профессора Юкихико Канэко о романе Тургенева «Ночь». Эта работа свидетельствует о непрерывно растущем интересе японских ученых к русской литературе. Юкихико Канэко — крупный представитель японского литературоведения. Ему принадлежат значительные исследования о Лермонтове, Тургеневе и других русских писателях, а также единственный в Японии краткий очерк истории русской литературы от древнейших времен до наших дней.

Рецензируемая работа профессора Канэко строится на большом материале. Автор тщательно изучил историческую, мемуарную и критическую литературу, посвященную 70-м годам XIX века.

В своей работе Юкихико Канэко выступает как талантливый последователь принципов реальной критики Добролюбова и считает решающим моментом в рассмотрении художественных образов соотношение их с жизнью. Вслед за Добролюбовым японский ученый пишет о сложности и диалектичности творческого процесса и протестует против прямолинейного отождествления художественных образов с теоретическими воззрениями писателей. Реальная жизнь с ее сложными процессами, по убеждению Канэко, оказывает мощное влияние на сознание ху-

* Ю. Канэко. «Сёдзёти» рон. Хитоцубаси дайгаку кэнкё нэмпо; сякайгаку кэнкё, 1967, № 2, стр. 145—224.

дожников; она многократно преобразовывает их первоначальные замыслы и составляет их постигать такие законы, которые им первоначально не были доступны. Эти принципы положены в основу работы Канэко.

В своем понимании своеобразия таланта Тургенева ученый также сближается с Добролюбовым. Он ценит в Тургеневе его поразительную чуткость к новому, его умение воспроизводить и обобщать явления, только еще рождающиеся, а также способность видеть и «домысливать» тенденцию развития русской жизни. По убеждению критика, эти стороны таланта Тургенева сохранились в 70-е годы и ярко проявились в романе «Новь».

Поэтому тщательное исследование эпохи 70-х годов выдвинуто Канэко на первый план. Знаменателен тот активный интерес, который проявляет японский ученый к историческому опыту русского народничества. В статье Канэко присутствует твердое убеждение в том, что только народ является решающей исторической силой. Эта мысль помогает исследователю правильно оценить узкую социальную основу народничества, не понятого и не поддержанного русским крестьянством, а также увидеть истоки исторической трагедии этого движения, поставившего такие задачи, которые не могли быть разрешены в России 70—80-х годов. Вместе с тем Канэко резко выступает против тех историков, которые полагали, что народничество было враждебно марксизму, поскольку оно задерживало развитие русской общественной мысли. Канэко высоко оценивает революционные традиции героического народничества, которые приняло и развило русское рабочее движение.

В работе Канэко дается подробный обзор критической литературы, посвященной роману Тургенева, начиная от времени его появления и кончая 60-ми годами XX века. Автор характеризует успехи советского литературоведения, достигнутые в изучении творчества Тургенева, в частности отмечает значительное развитие и обогащение представления о романе «Новь». Вместе с тем он выражает несогласие с рядом утверждений Г. А. Бялого, П. Г. Пустовойта и др. Он решительно расходится с теми исследователями, которые усматривают в романе противопоставление «постепеновской» тактики тактике революционной. Не ставя своей задачей обстоятельно характеризовать политические взгляды Тургенева 70-х годов, Канэко, однако, считает возможным говорить о некотором отходе писателя от реформистских идей.

Критический пафос романа исследователь видит в следующем: «Тургенев считал народническое движение обреченным на провал прежде всего потому, что оно пренебрегало участием народных масс, и он указывал в „Нови“ такие пути решения политических проблем, которые оказались в основном в большой исторической перспективе верными» (стр. 174).

В своей трактовке «Нови» Канэко развивает некоторые идеи советских литературоведов. Вместе с тем его концепция содержит много оригинального и самостоятельного. Главным в романе он считает изображение сложных идейных конфликтов 70-х годов XIX века. Размышляя над судьбами народнического движения, Канэко пишет о том, что только прочная связь с жизнью является основой плодотворного развития идей. В тех случаях, когда идеи отрываются от жизни, начинается то, что исследователь называет «самодвижением идей»: идеи превращаются в косную силу, становятся догмой и начинают подавлять естественные мысли и чувства людей, являясь причиной многих человеческих трагедий. По убеждению Канэко, Тургенев в романе «Новь» поднимается до такой оценки законов общественного развития.

Эта особая направленность интересов писателя определила всю систему образов романа и принципы построения характеров в нем. Прежде всего в судьбах и характерах главных героев отражается общая трагедия крушения народнических идей.

С этих позиций Канэко подходит к образам Нежданова и Маркелова и дает им оригинальную трактовку, которая обогащает сложившееся в литературоведении представление о них. Образ Нежданова, как думает Канэко, вобрал в себя все противоречия народничества: его героический пафос, свойственный ему дух самопожертвования и полное незнание народной жизни, народных требований. Главным в характере Нежданова Канэко считает его необычайную чуткость к новому, его наблюдательность, отличающую его как человека искусства и чем-то сближающую этого героя с самим Тургеневым, а также его высокую внутреннюю честность. Нежданов трагически быстро осознает противоречие между идеалами народников и реальными процессами русской жизни. Канэко пишет: «Для Тургенева самоубийство Нежданова не было предательством народнических идей, а, напротив, в самоубийстве Нежданова писатель видел трагическую победу идей, оторванных от жизни, над личностью талантливого человека» (стр. 176).

Если Нежданов является необыкновенно сложной и чуткой натурой, сразу улавливающей любое движение жизни, то Маркелов прямолинеен, духовно беден и примитивен. Канэко называет Маркелова революционным фанатиком, подчеркивает его духовную неподвижность и его пренебрежение к живой жизни. Маркелов — раб народнических идей. Он не соотносит свои идеи с ходом событий и

остаётся равнодушным ко всем толчкам и ударам жизни. Когда Маркелов в редких случаях все же видит разлад между своими идеями и жизнью, он готов решить, что тем хуже для жизни. Канэко специально подчеркивает раздумья Маркелова после его неудачи: «Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упрямиться — пулю ему в лоб, тут и разбираться нечего...» Канэко убежден, что именно в этих размышлениях Маркелова о крестьянах выявилась вся суть его характера и вся его духовная несостоятельность. Исследователь считает, что жизнь этого сильного человека может завершиться еще более страшной катастрофой, чем жизнь Нежданова. Он может оказаться врагом всего нового и побеждающего.

Своеобразие позиций Канэко проявилось и в истолковании образа Соломина. В этом образе критик видит идейный фокус романа и считает его свидетельством глубокой исторической проницательности Тургенева. Канэко убежден, что писатель вышел далеко за рамки своего первоначального замысла: вместо надуманного образа «постепеновца снизу» он создал фигуру деятеля, которой придал новаторские черты, подсказанные движением русской жизни. Правда, раскрыть образ Соломина в полный рост и понять его до конца он не смог. Только Соломин, по мнению Канэко, представляет в романе живые побеждающие идеи, и только этот герой в своей практике опирается на реальное движение русской жизни.

Отказываясь признать Соломина носителем реформистских идей, Канэко связывает его деятельность с первыми проблесками рабочего движения. Соломин, полагает ученый, был важен Тургеневу как деятель, которого выдвинула и сформировала сама народная жизнь. В нем Тургенев воссоздает черты истинно народного характера. На фоне неврастеничных, раздвоенных людей этот герой встает как воплощение духовного здоровья, внутренней цельности и гармонии. Он человек практик со здоровым, трезвым умом, огромными нравственными силами. В то же время он свободен от прямолинейности и догматизма Маркелова. Соломин знает народную жизнь, улавливает тонкие оттенки народных чувствований. Поэтому ему ясна беспочвенность народнических надежд на скорый революционный взрыв. Опираясь на многие факты романа, Канэко старается доказать, что Соломина нельзя признать врагом революционных идей. Он пишет о ярко выраженной антибуржуазности Соломина, о его непримиримой ненависти к правящим верхам и о его конфликте с либералами. Новаторский смысл образа Соломина Канэко видит также в совершенно особых социальных связях этого героя. Соломин вносит в роман стихию пролетарской жизни, дух формирующейся рабочей революционности. Рядом с этим героем стоят воспитанные им рабочие люди новых убеждений и характеров. Канэко ведет острую полемику с той оценкой, которую Гранжар дал образам Павла и Татьяны.¹ Отнюдь не крестьянских революционеров видит он в этих героях. Они для Канэко воплощают новые начала русской жизни. Исследователь устанавливает отдаленное родство между такими деятелями, как Павел, и пролетарскими революционерами типа Петра Алексеева.

Именно в такой идейной направленности романа Тургенева критик видит высокую победу русского реализма.

Нетрудно заметить, что, идя своими особыми, подсказанными иным национальным опытом путями, японский исследователь приходит к плодотворным выводам об идейной сущности романа Тургенева. В этом направлении работает и мысль советских ученых (работы Г. П. Макогоненко, Ф. Д. Кутищева и др.).²

Исследование Канэко представляет собою значительный этап в изучении и пропаганде наследия И. С. Тургенева в Японии.

¹ H. Granjard. Ivan Tourguènev et les courants politiques et sociaux de son temps. Paris, 1954.

² Г. П. Макогоненко. Политический смысл романа Тургенева «Новь». «Ученые записки Ленинградского государственного университета», 1939, № 47, стр. 248—272; Ф. Кутищев. Образы народников в романе И. С. Тургенева «Новь». «Ученые записки Шахтинского государственного педагогического института», 1957, т. II, вып. I, стр. 21—53.

А. А. ЖУК, В. В. ПРОЗОРОВ

ПАРАДОКС О САТИРЕ *

В последнее время вузовские «ученые записки», прежде пестрые и многоставные, все чаще превращаются в монографические издания. Этому примеру последовал недавно и Пензенский педагогический институт. Очередной 18-й выпуск его «ученых записок» целиком отдан работе А. Бочаровой «Салтыков-Щедрин. Полемический аспект сатиры».

А. Бочарова ставит перед собой крупные задачи: «Рассмотрению идейно-художественной концепции сатиры Салтыкова при учете специфики полемиического мышления писателя... посвящены все... разделы предлагаемой работы» (стр. 6); в центре ее внимания — «внутренние законы творчества и пафос» Щедрина (стр. 8). Оговорки (на первых и последних страницах) насчет того, что автор исследует «один из приемов», который не «исчерпывает все многообразие форм сатиры Щедрина», не отменяют того факта, что действительная цель работы — «разрешить загадку» и «найти слово», которое определило бы от альфы до омеги творческий мир Салтыкова.

Отказываясь от обычных эстетических категорий («при одной и той же эстетической мерке, которая традиционно повторяется во многих исследованиях... вряд ли можно прийти к безошибочным выводам» — стр. 4), А. Бочарова предлагает свою номенклатуру теоретических понятий: три кита, на которых, по ее мнению, «стоит» мир щедринской сатиры, суть полемика, пародия, парадокс.

Все эти термины утрачивают в рецензируемой книге свой обычный смысл и конкретное содержание. Приобретая безмерно расширенное значение, они вырастают в некие первичные универсальные понятия, подчиняющие себе весь строй художественного мышления писателя, обнимающие содержание и форму произведений. «Полемика — это мыслительный процесс сатирика в особых и характерных для него образах» (стр. 6), она же подменяет собой диалектику авторской мысли (см. стр. 52). Слово «полемика», впрочем, употребляется и в своем прямом значении — как спор, как противоборство с несходным мнением.

Такие же необъятные права присвоены пародии, особенность которой в «полемической заостренности» (стр. 14). А значит это, что «писатель-пародист имеет в виду не только конкретный признак жизненного явления или самый факт, но и то, что он видит за этим явлением» (стр. 14). Общее для искусства слова (и не только для него) свойство видеть за фактом нечто большее, чем одни его внешние очертания, объявляется привилегией Салтыкова-пародиста.

Что же касается парадокса, то смысл этого термина не расшифровывается вовсе — просто на первых же страницах сказано, что «парадоксальная аналогия» является «законом» щедринской сатиры (стр. 6), что «ведущие принципы художественного мышления» Салтыкова «обозначены в работе термином „парадоксальное тождество“, т. е. «сочетание „несочетаемых“ образов» (стр. 6, 19).

В подобном беспредельном расширительном толковании парадокс можно назвать любой троп, любое, не обязательно даже сатирическое, сближение далеко друг от друга отстоящих в жизни предметов, лиц, явлений. При желании «парадоксальные тождества» можно разглядеть и в самых общих принципах типизации.

А. Бочарова, «атакуя определенную проблему» («От редактора», стр. 202), именно на Щедрина переносит множество оттенков, которые закрепляются ею за понятиями «полемика», «пародия», «парадокс». Каковы взаимосвязь и иерархия их — а на них нанизывается чуть ли не все, созданное сатириком, от «Губернских очерков» до «Пошехонской старины», — автор не пояснит нигде. В дальнейшем изложении они немедленно срастаются в некий гибрид: «пародийно-полемическое осмысление материала» (стр. 12), «пародийно-полемическая картина с глубоким подтекстом» (стр. 11), пародийно-полемические «рассказ», «персонаж», «образ», «композиция» и т. д.

Неопределенный смысл этих терминов не случаен: в них не отражены реально открытые автором новые стороны в содержании и форме щедринской сатиры. Поэтому они выступают то как синонимы уже существующих, известных понятий (или как необязательные эпитеты к ним), то насильственно характеризуют в полном смещении самые разнородные явления: композицию и психологическую структуру образа, язык персонажа и «теоретические блуждания» писателя.

Что же получается в результате?

Книга А. Бочаровой поражает теоретической невнятистью. «Полемика», «пародия», «парадокс», «гротеск», «фантастика», «иносказание», «аллегория» и т. д. — все эти разнообразные термины свободно меняются местами, выступают в самых неожиданных контекстах и соединены какой-то странной логической связью.

* А. Бочарова. Салтыков-Щедрин. Полемический аспект сатиры. Под редакцией Я. Е. Эльсберга. Саратов—Пенза, 1967, 202 стр.

«Писатель широко пользуется пародией, сатирической персонификацией, контаминацией и фантастикой, подчиняя их также иносказанию» (стр. 11).

«Сама группировка персонажей по сходству, по смежности, зачисление их в один семантический ряд выступает как парадокс, как гротеск, как иносказание» (стр. 22).

«Гротеск, парадокс, сочетание несочетаемого как „выдумка“ и как содержание самой действительности — при столкновении этих двух планов парадокс перестает быть „нелепостью“, „побасенкой“» (стр. 25).

Или: «Фигуральный иносказательный язык служит Салтыкову средством покрова каких-то истин. Его образная система приближается к аллегорическому изображению басни, притчи, загадки. Аллегория, как поэтический троп, является искусством образного выражения. Такой она оказывается и у Салтыкова-Щедрина» (стр. 10). Затем «аллегория» на наших глазах внезапно подменяется далеко не равным ей, более емким и многозначным понятием «иносказание», а повествование А. Бочаровой продолжается безостановочно: и аллегория — «искусство образного выражения», и иносказание — «средство образного выражения», и... разницы никакой.

Историко-литературные параллели в книге столь же удивительны, сколь категоричны. В «писатели-парадоксалисты» и «полемисты» рекрутируется кто угодно, и характеристики эти идут чуть ли не на одних правах с определением «писатель-реалист». «Полемика в произведениях Достоевского, Толстого, Лескова подчас организует материал, содержание и оказывается как бы канвой, по которой автор тклет свой узор. Можно в этой „оболочке“ искать разные формы строения материала, но полемика остается постоянной величиной, оказывающей влияние и на содержание, и на форму произведения» (стр. 5). Недоумение в приведенном «узоре» способно вызвать многое: и то, что разные художники объявляются одинаково завзятыми полемистами, и то, что явившиеся плодом труда поколений литературоведов многозначные определения пафоса этих и других писателей России подменены все тем же термином «полемика». Безо всяких оснований разрушается необходимая в науке систематика и соподчиненность понятий: частность заступает место целого, явление — сущности, следствие — причины.

Но Л. Толстому, или — аналогично — Чернышевскому (стр. 34), или Радищеву (стр. 91) аттестации выдаются все же на ходу, между делом. Куда в более тяжелом состоянии оказывается Салтыков-Щедрин после массы подобных проведенных над ним операций. Всё многообразие щедринского художественного мира зачислено по тому же ведомству пародий, или полемики, или «парадоксального тождества».

Предположим, исследователи пишут о внутренней динамике авторского образа в произведениях сатирика — у А. Бочаровой появляется фраза: «Салтыков-Щедрин все более тяготеет к авторпародийной исповеди» (стр. 159). Наука ищет принципы построения щедринских очерковых циклов? У А. Бочаровой ответ готов: «Парадокс лежит в основе композиции всего цикла „Сатир в прозе“, и в этом парадоксе как раз и заключена разгадка авторского решения» (стр. 38). Скажут, трудно отыскать и обнаружить означенные «парадоксы»? Очень может быть — но А. Бочаровой все на этот счет ясно: «Парадоксы Салтыкова неожиданны, в потоке „заволакивающих слов“ подчас не различимы, но они-то наиболее для него характерны. Логика абсурда доведена до тончайшей правдивости остроумного анализа» (стр. 99—100). Что все это означает? — спросит озадаченный читатель. Автор не разъясняет, он спешит открыть загадку щедринского повествования в цикле «За рубежом»: «В парадоксальной аналогии Германии, Франции и России дан ответ на загадочности, представляющиеся взору сатирика в политической и общественной жизни этих стран» (стр. 123).

До чего же довело художника его безоглядное увлечение парадоксами и пародиями? По наблюдениям А. Бочаровой, в «Мелочах жизни» «в Имяреке завершается эволюция „авторпародийного героя“ Салтыкова, завершается она как распад пародии и как смыкание позиции повествователя и собственно автора. Духовная и политическая эволюция самого автора приобретает в таком случае законченно-гармонический характер» (стр. 180). Читателей здесь должно удивить то, что с сатириком случалась еще и эволюция. Ведь с первых и до последних глав он, знай себе, «ткет» свои замысловатые сатирические узоры по парадоксально-полемической канве, да и название соответственное получает: «писатель-парадоксалист» (стр. 7, 49 и др.) или «экспериментатор идей» (стр. 54). Но и обрета, наконец, «законченно-гармонический характер» (в середине 80-х годов), Салтыков, не выдержав, вступает на прежнюю стезю и вновь являет нам «прием парадоксального сближения и отождествления» уже в «Пошехонской старине» (стр. 191).

Но ведь и в «Современной идиллии», и в «Письмах к тетеньке», и в цикле «За рубежом» и т. д. действительно нередкие щедринские уподобления как раз и не смыкаются до полного тождества, сохраняя неповторимость, непохожесть в каждой из сопоставляемых частей: никак не привести нам, ценой любых манипуляций, к общему знаменателю погрязших в бесстыдстве клиентов адвоката Балалайкина и прочих рыцарей эпохи — негодяев из «Современной идиллии» —

и Глумова с Рассказчиком, в финале романа ощутивших «тоску проснувшегося стыда»; не идентичны Ноздрев, редактор «Помоев — издания ежедневного», и Тетенька, отношение автора к которой достаточно сложно: от сарказма до доверительной откровенности; понятием «парадоксальное тождество» не объять и персонажей «За рубежом» — западного «мальчика в штанах» и отечественного «мальчика без штанов» и т. д.

Между тем А. Бочарова буквально одержима стремлением всюду расставить знаки равенства, все унифицировать и привести к единице: в «Благонамеренных речах» «лицемерные лгуны и лгуны искренние повторяют друг друга» (стр. 116), рассказчик в «Истории одного города» «оказывается в ряду отождествления с другими сатирическими персонажами» (стр. 84), в «Помпадурах и помпадуршах» происходит отождествление всех градоначальников (см. стр. 72), в «Недоконченных беседах» все образы «возводятся» под один «уровень» (см. стр. 178), в «Мелочах жизни» все выведенные Салтыковым-Щедриным типы похожи друг на друга (см. стр. 183).

Подобрать один-единственный безотказный ключик к художественно-публицистическому миру Щедрина — попытка неблагоприятная. Мир щедринских образов теперь достаточно узнан, открыт, растолкован, и потому тот самый ключик, что автор книги именует «парадоксальным тождеством», очень часто в дело и не идет. В работе сосуществуют два параллельных ряда: сам Щедрин, точнее, обильные цитации из него, и тут же воспроизводимые отрывками, осколками, фрагментами верные трактовки его сатир, предложенные несколькими поколениями советских ученых, и другой ряд — собственно авторские «парадоксально-тождественные» построения. С одной стороны, происходит узнавание прежде не раз читанного. А с другой стороны — на некий «парадоксальный» манер препарированный Салтыков: «Сатирик как бы сваливает в одну кучу целый поток слов, понятий, определений, не дифференцируя их, хотя, как можно убедиться, в этом сплошном потоке можно выделить глуповцев, умновцев и поскупиццев» (стр. 50).

Вся эта хирургия для Щедрина бесследно не проходит. Наибольшие потери сатирик несет в части, касающейся идейно-философских и эстетических сторон его творчества.

Воспроизводить в деталях тот диковинно-путаный маршрут «идейного движения» Салтыкова, который предлагает А. Бочарова, нет необходимости. Достаточно сказать, что сфера «теории», просветительской идеологии, которая приравнивается к отвлеченным «умствованиям», отдается на откуп «автопародийному» повествователю — дряблему либералу. И его, конечно же, «пародийно-полемически» разоблачает Салтыков — поборник «практической деятельности» (см. стр. 64). Ядро разоблачаемых «воззрений» — «логически развивающаяся история». Такой формулой, проходящей через всю книгу, автор обозначает концепции «умеренных и благонамеренных либералов, почвенников, западников, славянофилов» (стр. 109). С каким же изумлением на предпоследних страницах узнаешь, что Салтыков в «Похехонской старине» «завершил» свое развитие тем, что отныне «он уже не противопоставляет так резко практическую революционную борьбу „логически развивающейся истории“, а рассматривает их как звенья одного целого!» (стр. 197). Правда, если учесть, что под «логически развивающейся историей» А. Бочарова понимает еще и объективный исторический прогресс (стр. 24), — вина сатирика смягчается...

Но мы хотим обратить внимание на другое. Принятая А. Бочаровой «методология» неизбежно ведет к тому, что писатель, и на практике и в теории исповедовавший заветную мысль: «без ясно осознанной идеи художественное произведение является сбродом случайностей», — предстает перед нами едва ли не сочинителем формального толка.

В книге, разумеется, нет недостатка в общих утверждениях, что Салтыков-Щедрин был «убежденным сторонником социалистических идеалов» (стр. 129), «связующим звеном между революционными демократами и позднейшими революционными народниками» (стр. 7), что «мысли и убеждения сатирика развивались в одном направлении — в сторону признания революционной борьбы масс» (стр. 104) и т. д. Это, так сказать, традиционный ряд, знакомый со времен выступлений первых щедриноведов — марксистов. Параллельно же — и вот это действительно нельзя не посчитать парадоксом — идет рассказ автора о том, как Салтыков чуть ли не безразлично пародирует и правых и левых, назавтра отказывается от того, что отстаивал вчера. Его неистощимые художнические поиски, всегда отмеченные высоким гражданским пафосом, предстают как «обыгрывание образов в различных комбинациях», как «постоянные перемены в суждениях за и против» (стр. 38). И это не просто неудачные формулировки. Мысль о щедринском творчестве как самоцельной игре формой варьируется непрестанно, на все лады: «...сам Салтыков, — убеждена А. Бочарова, — дает на это право своими тезисами за и против, своими отдельными прямолинейными выводами, которые, впрочем, сейчас же им самими и отвергаются» (стр. 41). Обнаруживается, что если сатирик и «тяготеет к категорическим высказываниям, то, в действительности, ничего ими не решается» (стр. 44), что Салтыков «часто как бы противоречит

себе, отрицает и тот путь, на котором стремится удержаться, вернее, не верит и в него, в революционное просветительство» (стр. 48). О писателе, полагавшем, что «неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю», о писателе, с негодованием отвергавшем бесцельно-изощренную, манерную игру поэтической фантазии, в книге А. Бочаровой можно прочесть: «Такая прихотливая, затапливая игра его образов может, на первый взгляд, не обнаружиться, меж тем он пишет о глуповцах и новоглуповцах (умновцах), парадоксально их сближая» (стр. 45). У Салтыкова вообще нередка «капризная игра идентичных образов» (стр. 50). Этому предшествует еще более удивительный пассаж: оказывается, Салтыков-Щедрин «все время издевается над положением, только что выдаваемым за истину, постоянно таит скрытую усмешку, преследует своей иронией и ту высокую цель, которую, казалось, утверждает» (стр. 44).

Автор книги предлагает сомнительной ценности силлогизм: «Ирония чужда догматическому способу мышления» — Салтыков, надо думать, не догматик — значит, «Салтыков все время иронизирует» (стр. 44). И это уже не упрощенный и обидный портрет писателя. Сатирик, публицист, мыслитель низведен до уровня некоего провинциального Мефистофеля, лишённого определенной позиции, убеждений, страсти.

Итог получается ложный. В еще большей степени страдает богатейший художественный мир Щедрина, замененный удручающе унылой цепью «парадоксальных тождеств», рожденных, якобы, «капризно-прихотливой» игрой воображения писателя.

Книга А. Бочаровой изобилует многочисленными упоминаниями разнообразных историко-литературных фактов и имен. При беглом ознакомлении они производят впечатление, но посмотрим на эту «базу» более внимательным взглядом.

На странице 111 приведена известная цитата из «Убежища Монрепо» («...я... читаю Кабе, Маркса, Прудона и даже... „Вперед“ или „Набат“») и многозначительно замечено: «Ссылка на Маркса и тут же на „Набат“ и „Вперед“ приобретает большой интерес», «если предположить», что Щедрин был «в курсе полемики между Марксом... и Бакуниным». Но почему, собственно, само имя М. А. Бакунина ассоциируется у А. Бочаровой с изданиями П. Н. Ткачева («Набат») и П. Л. Лаврова («Вперед»), к которым он не имел отношения? Откуда эта «парадоксальная аналогия» и какой же из нее может следовать «большой интерес»? Ответа, естественно, нет. Или: особое значение в уяснении «пародийной основы рассказчика „За рубежом“» придается упоминаниям о Швейцарии. «Швейцария в 70-х годах, — пишет А. Бочарова, — центр русской эмиграции... здесь издавались русские газеты и журналы, здесь были центры связи с лондонской агитацией Герцена и Огарева... так что для автора в этом смысле Швейцария и представляет особый интерес» (стр. 127). Но какую «связь с лондонской агитацией» Герцена, умершего в начале 1870 года, и Огарева, ушедшего из жизни семью годами позже, может иметь сатира, созданная Щедриным в 1880—1881 годах? Подобных неточностей, не идущих к делу сведений, холостых выстрелов в работе немало.

Неясность и запутанность в мыслях с неизбежностью вызывает и соответствующий стиль изложения. А. Бочарова о самых простых вещах говорит языком изощренной учености. Известно, что литературоведу нужно читать и художественные произведения. Аксиома облачается в строго академическую одежду: «Творческая концепция художника как организующее начало произведения ориентирует на глубокое прочтение текста. Приведем в свете постановки вопроса...» (стр. 3). Простая истина — щедринская сатира, отталкиваясь от конкретных фактов, поднимается до емких обобщений — А. Бочаровой изложена так: «Пародийно-полемическое изображение всегда ориентировано на какой-либо конкретный материал, однако писатель добивается общеизменности художественного обобщения» (стр. 11). А бывает и так: вроде бы что-то важное и ответственное высказано, между тем полезная информация отсутствует полностью: «Авторская позиция характернее всего обнаруживается в особой системе образов, отличающей Салтыкова как писателя своеобразных конструкций» (стр. 6). Или: «Тема истории Щедрина требует особого рассмотрения, но указание на общность природы сатиры имеет здесь свой смысл, хотя бы сатиричности изображения придавался тот или иной аспект» (стр. 200). Или: «Образ Салтыкова-писателя поворачивается перед читателем разными своими гранями и попадает в любом повороте в фокус восприятия» (стр. 61).

И уже перестаешь удивляться тому, что Щедрин всего чаще у А. Бочаровой цитируется по двенадцатитомному приложению к журналу «Огонек», а свидетельства современников сатирика, отзывы периодической печати берутся не из первоисточников, но извлекаются из трудов щедринистов (стр. 110, 112 и др.), или что вдруг автор книги ставит под сомнение бесспорную принадлежность Горькому известной мысли об умении Щедрина «улавливать политику в быте» (стр. 9) и т. д.

Иные частные наблюдения А. Бочаровой верны и приводимые ею примеры действительно «подлинны» сатирические парадоксы, занимающие свое место в образной структуре щедринских произведений (стр. 99). Представляют интерес

некоторые предложенные А. Бочаровой реальные комментарии к щедринским сатирам (например, к главе из «Современной идиллии» «Драма в Кашинском окружном суде»). Но эти наблюдения остаются разрозненными частностями, построить на них новую концепцию щедринского творчества невозможно.

В. В. БАЗАНОВ

НОВЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О С. А. ЕСЕНИНЕ

Наблюдающееся в последние годы интенсивное изучение жизни и творчества С. А. Есенина, стремительно увеличивающееся число посвященных ему исследований обусловили необходимость создания обстоятельных библиографических работ о поэте, поскольку опубликованные ранее указатели литературы о Есенине — краткие библиографические справки М. Швейдель (1926)¹ и В. П. Полонского (1930),² значительно более полные работы Н. И. Мордовченко (1927),³ В. И. Вольпина и Н. Н. Захарова-Мэнского (1927),⁴ «Памятка» Н. И. Ховрякова (1958),⁵ небольшой справочник В. Б. Серебрякова (1962),⁶ указатель Г. Я. Галаган (1963)⁷ — уже не могли удовлетворить современные запросы читателей как по причине своей хронологической ограниченности (работы Н. И. Мордовченко, В. И. Вольпина и Н. Н. Захарова-Мэнского), так и из-за сравнительно небольшого охвата литературы о поэте (последующие справочники).

Откликаясь на требования современности, крупнейшие библиотеки страны составили ряд библиографических списков о Есенине. Например, Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина составила два списка: «Сергей Александрович Есенин. Произведения. Литература о жизни и творчестве. 1945—1964 гг.» и «Литература о жизни и творчестве С. А. Есенина. 1965—I-е полугодие 1966 г.» (в них зарегистрировано свыше 280 работ о поэте). Всесоюзной государственной библиотечной иностранной литературы подготовлена библиография «Переводы произведений С. Есенина на иностранные языки. Книжки, журнальные и газетные публикации. 1922—1964 гг.» (свыше 300 номеров), Азербайджанской республиканской библиотечной им. М. Ф. Ахундова — список «Сергей Есенин и Азербайджан. 1924—1965 гг.» (свыше 40 названий), Государственной библиотекой Литовской ССР — список «Сергей Есенин на литовском языке. 1914—1966 гг.» (произведения поэта и литература о нем — более 70 названий) и т. д.⁸

¹ М. Швейдель. Литература о Есенине. В кн.: Есенин. Жизнь. — Личность. — Творчество. Под ред. Е. Ф. Никитиной. М., 1926, стр. 281—286 (материалы 1916—1926 годов — всего около 80 номеров).

² Вячеслав Полонский. С. А. Есенин. В его кн.: Очерки современной литературы. Изд. 3-е, доп., ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 344—346 (статьи 1919—1929 годов — около 60 номеров).

³ Н. Мордовченко. К библиографии С. А. Есенина. Рязань, 1927 (Труды Общества исследователей Рязанского края, вып. VIII) (произведения Есенина и литература о нем 1926—1927 годов — свыше 330 номеров).

⁴ В. И. Вольпин и Н. Н. Захаров-Мэнский. Библиография. В кн.: Сергей Есенин, Стихи и проза, т. IV, ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 444—467, 477—484 (зарегистрировано свыше 500 номеров). См. также: Сергей Есенин, Стихи и проза, т. IV, Л., [1928], стр. 430—482 (зарегистрировано свыше 1000 номеров).

⁵ Н. Ховряков. Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Памятка читателю. Под ред. И. М. Еськова. Караганда, 1958 (произведения Есенина, изданные в 1934—1958 годах (14 номеров) и литература о нем 1940—1958 годов, около 90 номеров).

⁶ Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Указатель литературы. (Сост. В. Б. Серебряков). Рязань, 1962 (произведения поэта и литература о нем — всего около 180 названий). Изд. 2-е, доп.: Рязань, 1965.

⁷ [Г. Я. Галаган]. Есенин Сергей Александрович. В кн.: История русской литературы конца XIX—начала XX века. Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 234—237 (учтена преимущественно литература о дореволюционном периоде жизни и творчества Есенина — свыше 100 номеров).

⁸ Более полные сведения об этих списках см. в издаваемом Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина двухнедельном «Информационном указателе библиографических списков и картотек, составленных библиотеками Советского Союза».

Наконец, были опубликованы и новые библиографические материалы о С. Есенине: справочник Е. Л. Карпова (1966),⁹ работы А. П. Ломана и Н. И. Ховрякова, вошедшие в изданный Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР сборник «Есенин и русская поэзия».¹⁰

Материалы к фототрапезе (сост. А. П. Ломан) содержат библиографию музыкальных произведений на слова и сюжеты Есенина (свыше 100 названий) и указатель произведений поэта, положенных на музыку. Не являясь первоочередной задачей в работе над обширной библиографией Есенина, справочник этот, однако, значительно углубляет наше представление о поэте, предваряет разработку почти совершенно не изученной многогранной темы «Есенин и музыка».

Материал в указателе расположен в алфавитном порядке имен композиторов, что дает возможность проследить работу каждого из них над текстами произведений С. А. Есенина. Однако можно было бы расположить материал и в соответствии с хронологией его создания. Это позволило бы осветить историю освоения есенинского наследия нашими композиторами и охарактеризовать популярность Есенина в те или иные годы.

Работа А. П. Ломана и Н. И. Ховрякова, регистрирующая отдельные издания произведений поэта, представляет для исследователей его творчества особый интерес. О давно назревшей необходимости в ней убедительно говорится в предпосланной разделу «Библиография» статье А. П. Ломана «Об издании произведений С. А. Есенина. (Критические заметки)» (стр. 363—371).

В библиографии выделено три раздела: издания на русском языке, на языках народов СССР и на языках народов зарубежных стран. Внутри разделов материал расположен в хронологическом порядке. Всего зарегистрировано около 160 сборников С. Есенина. Кроме того, в первом разделе сообщается о 24 неосуществленных изданиях произведений поэта.

Ценность работы достаточно очевидна. В то же время нельзя не отметить некоторые присущие ей недочеты.

Основной из них — в том, что библиография не раскрывает содержания сборников. Между тем в опубликованной в 1965 году библиографии прижизненных изданий Есенина¹¹ (часть первого раздела рецензируемой работы) было раскрыто содержание не только вышедших, но и неизданных сборников поэта. Трудно согласиться и с включением зарубежных сборников Есенина в общий список изданий поэта на русском языке, выпущенных в нашей стране. По-видимому, целесообразнее было бы отделить издания произведений писателя, опубликованные на его родине, от зарубежных публикаций (хотя бы и на русском языке), располагая последние либо по алфавиту языков, либо по хронологии издания сборников.¹² Нельзя не пожалеть, что в библиографии отсутствуют указатель языков, на которые переведены произведения писателя, а также сведения о переводчиках. Не всегда, конечно, их можно установить, но, судя по списку Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы, во многих сборниках переводчики и составители все же указаны. Являясь необходимой частью библиографического описания, эти сведения, кроме того, дают богатый материал для выявления литературных связей зарубежных поэтов с Сергеем Есениным.

В целом же работа А. П. Ломана и Н. И. Ховрякова вносит значительный вклад в изучение творчества поэта и заслуживает положительной оценки.

Библиографический справочник Е. Карпова, представляющий попытку дать полный свод научно-критической литературы о Сергее Есенине за 50 лет (1915—1965), предназначен прежде всего для научно-исследовательской работы. Однако автор, на наш взгляд, только положил начало научной библиографии о Есенине. В его работе отсутствуют многие ценные материалы о Есенине. Нам трудно судить о принципах отбора литературы в этом справочнике, поскольку Е. Карпов, по существу, ничего не говорит о них.¹³ Но каковы бы они ни были, невозможно

⁹ Е. Л. Карпов. С. А. Есенин. Библиографический справочник. Изд. «Высшая школа», М., 1966.

¹⁰ Есенин и русская поэзия. Изд. «Наука», Л., 1967, стр. 372—392.

¹¹ См.: Прижизненные сборники С. А. Есенина. В кн.: Сергей Есенин. Словесных рек кипение и шорох. Стихи и поэмы. (Сост. А. П. Ломан и Н. И. Хомчук). Лениздат, 1965, стр. 803—822.

¹² В библиографии, судя по списку Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы, отсутствуют следующие издания книг Есенина: S. Jessenin. Poesie. Trad. a cura di O. Resnevio e T. Maticotta. Modena, 1946; S. Eсенин. Poesie. Firenze, 1947; S. A. Eсенин. Poemeti, liriche, frammenti. Trad., introd. e nota a cura di R. Poggioli. Torino, 1961; S. A. Eсенин. Gedichte. Übersetzt von Karl Dedecius. München, 1961; S. Eсенин. Poeme. Jasi, 1937; Serge Essénine. Choix de textes bibliographie, portraits. Une étude par S. Laffitte. [Paris], 1959; S. Jessenin. Básné. Přel. J. Viška. [B. m.], 1945; S. Eсенин. Requiem. Paris, 1930. Не указаны также японские издания произведений Есенина (1923).

¹³ Имеющиеся на стр. 8 несколько слов об этом («В библиографию не включены (за редким исключением) периферийные газетные публикации, некрологи,

оправдать пропуск в библиографии таких, например, материалов, как первые отклики и заметки современников о поэзии С. Есенина 1915—1918 годов: Л. Бермана, М. Левита (псевд. — Левидов), Н. Шебуева, И. Оксенова (псевд. — А. Иноков), И. Розанова¹⁴ и мн. др.¹⁵

В целом нельзя назвать ни одного периода, за который литература была бы учтена с достаточной полнотой. Особенно досадны пропуски многих материалов, опубликованных при жизни Есенина.¹⁶ Не желая загромождать рецензию многочисленными ссылками на литературу 20—40-х годов, отметим лишь некоторые неучтенные Е. Карповым материалы из послевоенной литературы. Это — статья А. Скороходова,¹⁷ в которой впервые были опубликованы воспоминания матери поэта, рецензия П. Скуратова,¹⁸ редакционная статья «Литературное наследие С. Есенина»,¹⁹ статья Л. Мкртчяна «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»,²⁰ воспоминания Б. Сорокина,²¹ материалы о пребывании Есенина в Туле,²² в Баку,²³ статьи в «учебных записках» вузов и в сборниках студенческих научных работ (О. Мамонтовой — «О некоторых особенностях поэзии С. Есенина»,²⁴ Н. К. Шведовой — «Наблюдения над художественным стилем лирики Есенина 1924—1925 годов»,²⁵ А. З. Жаворонкова — «С. А. Есенин и А. С. Пушкин»,²⁶ В. И. Харчевникова — «Поэтика „Персидских мотивов“ С. Есенина»),²⁷ ряд работ К. Л. Зелинского,²⁸ книга М. И. Фетисова

хроника (около 120 номеров), а также стихотворения, посвященные Есенину. Отсутствует большая часть иконографии, почти исключена белоэмигрантская пресса, а также книги зарубежных исследователей) не дают представления о принципах отбора литературы и даже не соответствуют действительности: в справочнике учтено свыше 40 некрологов, большое количество хроникальных заметок; нередко регистрируются как публикации в периферийных изданиях, так и работы белоэмигрантов.

¹⁴ Л. Берман. Мушка на щеке. (К вопросу о конкретности в искусстве). «Голос жизни», 1915, № 26, 24 июня, стр. 14—16; Мих. Левидов. «Народная поэзия. «Журнал журналов», 1915, № 30, ноябрь, стр. 8—9; Н. Шебуев. Впечатления. «Обозрение театров», 1916, № 3014—3015, 7—8 февраля, стр. 9; И. Оксенов. Литературный год. «Новый журнал для всех», 1916, № 1, стр. 57—59; Ив. Розанов. Реквизиция Бога. «Понедельник», 1918, № 19, 8 июля, стр. 3; А. Иноков. Певучий зов. (Поэт-крестьянин Сергей Есенин). «Жизнь железнодорожника», 1918, № 30, 15 октября, стр. 7—8.

¹⁵ В рамках рецензии невозможно отметить все пропущенные статьи. Поэтому указанные здесь и далее работы (важнейшие из пропущенных Е. Карповым) следует рассматривать лишь как иллюстративный материал, а не как дополнение справочника.

¹⁶ Нет, например, статьи Александра Селихановича «Сергей Есенин» («Бакинский рабочий», 1924, № 217, 25 сентября, стр. 5), заметок Н. Осинского «Литературный год» («Правда», 1925, № 1, 1 января, стр. 4) и «Литературные заметки» («Правда», 1925, № 170, 28 июля, стр. 5) и многих других материалов.

¹⁷ А. Скороходов. На родине Сергея Есенина. (К 20-летию со дня смерти поэта). «Сталинское знамя», Рязань, 1945, № 255, 28 декабря, стр. 2.

¹⁸ П. Скуратов. Стихи Сергея Есенина. «Сталинское знамя», 1953, № 83, 26 апреля, стр. 2.

¹⁹ «Литературная газета», 1956, № 146, 8 декабря, стр. 2.

²⁰ «Коммунист», Ереван, 1959, № 39, 15 февраля, стр. 3.

²¹ Б. Сорокин. «Путешествие в прекрасное». [Отрывок из рукописи воспоминаний о С. А. Есенине]. «Земля родная. Литературно-художественный альманах», Пенза, 1962, № 2, стр. 56—58.

²² Н. Добротвор. Страничка из истории тульской революционной печати. «Литературная Тула», 13, 1957, стр. 291—304 (о Есенине — на стр. 303—304).

²³ См., например: С. Турабов. «Моя лирика жива... любовью к Родине». «Бакинский рабочий», 1960, № 232, 4 октября, стр. 4; Б. Каплун. Есенин в Баку. «Вышка», Баку, 1964, № 154, 1 июля, стр. 4; Р. Михалкина. Есенин в Баку. Комментарий к двум фотографиям С. Есенина. «Баку», 1964, № 169, 18 июля, стр. 4; В. Михайлов. Сергей Есенин у водников. «Молодежь Азербайджана», 1963, № 24, 24 февраля, стр. 8; По есенинским местам в Баку. «Вышка», Баку, 1965, № 28, 4 февраля, стр. 3, и другие материалы.

²⁴ Сборник студенческих научных работ Благовещенского государственного педагогического института им. М. И. Калинина, вып. III, 1957, стр. 47—54.

²⁵ «Ученые записки Рязанского государственного педагогического института», т. XVII (Сборник научных студенческих работ), 1958, стр. 109—115.

²⁶ «Ученые записки Новгородского государственного педагогического института», т. IX (Из истории русской литературы), 1963, стр. 37—55.

²⁷ «Известия Чечено-Ингушского научно-исследовательского института при Совете Министров Чечено-Ингушской АССР», т. III, вып. 3 (Литературоведение), 1962, стр. 110—125.

²⁸ Например, «Сергей Есенин» (в кн.: С. Есенин. Стихотворения. Библиотека поэта, малая серия. «Советский писатель», Л., 1953, стр. 5—52 — первый в нашей

«Народный поэт Чувашии П. П. Хузангай» (Чувашгосиздат, Чебоксары, 1957), где рассматривается влияние Есенина на творчество Хузангая (стр. 22 и сл.) и многие другие материалы.

Таков фактический уровень библиографии Е. Карпова. Неполнота справочника усугубляется к тому же тем, что автор не указывает использованные им источники. Это значительно затрудняет дальнейшие поиски литературы.

Полнота учета литературы — главное, но не единственное требование, характеризующее библиографию. Ценность справочника во многом обуславливается также его структурой и точностью в описании материала библиографии.

Избранный Е. Карповым принцип расположения материала (хронологический) не вызывает возражений, поскольку он действительно «дает возможность проследить эволюцию критических суждений о жизни и творчестве поэта за 50 лет» (стр. 8). Однако он предполагает наличие хорошо разработанных вспомогательных указателей: алфавитного указателя имен авторов и упомянутых лиц, алфавитного указателя произведений писателя, предметно-тематического указателя и т. п. В работе Е. Карпова они отсутствуют. Все это затрудняет пользование библиографией. Так, например, очень трудно (а иногда и просто невозможно) по справочнику Е. Л. Карпова установить или уточнить выходные данные работы того или иного автора, ибо для этого надо пролистать всю книгу. Трудности усугубляются также и тем, что материал расположен не по хронологии опубликования, а по хронологии написания его авторами. При этом первая публикация нередко вообще не указывается (см., например, письма А. Блока). Опубликованные в 1958 году отзывы А. С. Серафимовича о Есенине регистрируются Е. Карповым (частично — на основании предположительной датировки их) под 1922, 1926, 1940 годами (№№ 73, 280, 502). Такой принцип подачи материала уместен в летописи жизни и творчества писателя, а не в библиографии литературы о нем. Понятно желание библиографа возможно более точно показать «эволюцию критических суждений» о Есенине, но нельзя забывать о том, что любая работа включается в литературную жизнь общества, получает какой-либо общественный резонанс лишь после опубликования ее. В подобных случаях целесообразнее, по-видимому, вводить систему отсылок.

С другой стороны, автор нередко принимает за первоисточник далеко не первую публикацию. Так, воспоминания Л. Н. Сейфуллиной, регистрируемые под 1958 годом (№ 584), были впервые опубликованы еще в 1941 году (см.: «Красный Крым», 1941, № 87, 13 апреля, стр. 3). В значительно дополненном виде они были перепечатаны в 1955 году («Знамя», 1955, № 4, стр. 170—174), а затем послужили основой позднейших перепечаток в различных сборниках.

Нет в справочнике и единообразия в описании материала. Лишь некоторые работы (например, В. Киршона, № 325) снабжены сведениями о позднейших перепечатках в книгах их авторов или в других сборниках. Отмечая, например, журнальную публикацию работы Г. А. Покровского (псевд. — Г. А. Медынский) «Есенин — есенинщина — религия» (№ 489), Е. Карпов ничего не говорит о том, что она дважды (в 1929 и в 1930 годах) выходила отдельным изданием. Крайне редко отмечается перепечатка журнальных и газетных статей в сборниках.

Отсутствие в справочнике точных указаний как на первые публикации работ, так и на последующие переиздания их очень мешает порою не только проследить путь одной и той же статьи, но и отграничить одну работу от другой. К. Л. Зелинский, например, опубликовал в последние годы ряд статей о Есенине. Являются ли эти публикации различными вариантами одной и той же статьи, или это каждый раз новая работа, — на это, в первую очередь, должен дать ответ библиографический указатель литературы о поэте. Таких данных, за редким исключением, в справочнике, к сожалению, нет.

Одно из основных условий любой библиографической работы — наличие максимальной точности в описании материала. Нельзя сказать, что работа Е. Карпова отвечает этому требованию. Неполно или неправильно даны библиографические описания публикации Т. Дмитриевой (№ 565), работ А. З. Жаворонкова (№ 538), В. А. Кузнецова (№ 577), П. С. Выходцева (№ 709), Е. С. Добычиной (№ 711), А. М. Микешина (№ 715), П. Ф. Юшина (№ 786) и мн. др. Встречаются в справочнике и неточности. Так, воспоминания Т. Табидзе (№ 295) опубликованы не в 1926-м, а в 1927 году.²⁹ Под № 142 регистрируется работа А. К. Воронского «Литературные силуэты. Сергей Есенин». Здесь же сообщается, что эта статья

стране обширный очерк жизни и творчества поэта), глава о Есенине в «Истории русской советской литературы в трех томах» (т. I. 1917—1929. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 374—396), вступительные статьи ко многим сборникам Есенина (например: Сергей Есенин. Сочинения. Стихотворения. Поэмы. Куйбышевское кн. изд., 1958; Сергей Есенин. Избранное. Казгослитиздат, Алма-Ата, 1960, и др.).

²⁹ См.: Тициан Табидзе. С. Есенин в Грузии. «Заря Востока», 1927, № 1372, 6 января, стр. 4. В январе 1926 года в этой газете, кроме некролога, была напечатана лишь статья Мих. Данилова «Певец Голубени» (№ 1068, 1 января, стр. 6), которая, кстати, не отмечена Е. Карповым.

перепечатана в 1963 году в книге А. Воронского «Литературно-критические статьи» («Советский писатель», М., 1963). Это не совсем верно, в сборнике 1963 года работа печатается по другому источнику: А. Воронский. Литературные портреты, т. I. Изд. «Федерация», М., 1928. В основе публикации 1928 года действительно лежит статья «Литературные слуги», Сергей Есенин, но она дополнена здесь другой статьей Воронского — «Литературные заметки» («Прожектор», 1925, № 5). Е. Карпов этого не заметил. Более того, публикацию 1928 года он и вовсе не учел в своем справочнике. Одним из недостатков библиографии следует признать также то, что в ней нет отсылок к имеющимся рецензиям на регистрируемую литературу, хотя эти рецензии и включены в справочник.

Несомненное достоинство работы Е. Карпова в том, что все материалы в ней, как правило, аннотированы. Действительно, только в аннотированной библиографии можно раскрыть все богатство зарегистрированной литературы. Однако и в этом отношении справочник далек от совершенства. Основная задача аннотации — раскрытие тематики и важнейших особенностей регистрируемой литературы, но не пересказ ее содержания. Именно этим страдают многие аннотации справочника. Порой мы встречаем здесь не только пересказ той или иной работы, но и изложение отдельных моментов биографии поэта. Общеизвестно, например, что «Есенин был одним из первых поэтов, воссоздавших образ Ленина в художественных произведениях», что «бывшая учительница Шаганэ Нерсесовна Тальян... послужила Есенину прототипом образа Шаганэ», и, аннотируя статьи Т. Тихомировой (№ 658) и А. Логвиненко (№ 607), излишне говорить об этом, поскольку аннотация должна отмечать лишь то новое, что вносит работа в изучение жизни и творчества поэта.

Излишни также сведения об авторе аннотируемой работы, уместные в рекомендательной библиографии, тем более, что даются они нередко на уровне школьных знаний. Любой школьник, например, знает, что Н. С. Тихонов — поэт и писатель (№ 213), а Н. Ф. Погодин — драматург (№ 397).

Почти все аннотации перегружены такими пустыми, ничего не значащими словами, как «автор книги» (брошюры, статьи, обзора, заметки, рецензии, некролога и т. п.). Никакого значения эти выражения, конечно, не имеют (и без того ясно, что пишет «автор», а не кто-либо другой) и лишь загромождают аннотации. В первых ста аннотациях, например, лишь в 19 случаях нет слова «автор», зато в остальных (81) оно употребляется около двухсот раз. В некоторых описаниях оно встречается три, четыре и даже пять раз.

Язык аннотаций также оставляет желать лучшего. Не вдаваясь в детальный анализ, отметим лишь такие выражения, как «посмертные произведения» (№ 274) и «некролог о смерти» (№ 291).

Создание научной библиографии критической литературы о Сергее Есенине — давно назревшая необходимость. К сожалению, справочник Е. Карпова не восполняет существующий пробел, хотя на сегодняшний день его работа и является наиболее полным сводом научно-критической литературы о С. А. Есенине.

А. И. ПАВЛОВСКИЙ

КНИГА О ЛИТЕРАТУРНОЙ СИБИРИ ПЕРВЫХ ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ *

История советской литературы, насчитывающая уже половину века, столь многообразна и богата, что даже многочисленные исследования, появившиеся в последние годы, не исключая академического трехтомника и истории советского романа, а также книг по драматургии и сатире, не исчерпывают всех ее явлений, имен, произведений и событий. До сих пор вне поля зрения литературоведов остаются огромные пласты литературы, развивавшейся на так называемой «периферии». Правда, можно уже назвать несколько книг, посвященных творчеству писателей, работавших и работающих в тех или иных областях и районах нашей страны, но эти книги, как правило, не имеют систематического, обобщающего характера и играют своего рода справочно-познавательную роль.¹

* В. Трушкин. Литературная Сибирь первых лет революции. Восточно-Сибирское книжное издательство, [Иркутск], 1967, 312 стр.

¹ См., например: И. Д. Воронин. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1951; Д. И. Руманова. Писатели советского Дона. Ростов-на-Дону, 1958; И. Т. Трофимов. Писатели Смоленщины. Смоленск, 1959; А. А. Иванов. Писатели советской Карелии. Петрозаводск, 1959; В. И. Жарникова. Писатели Кубани. Краснодар, 1959; Е. А. Кондратьева. Писатели-вологоджане. Вологда, 1958; И. Н. Войханская. Писатели Кировской области. Киров, 1960; и др.

Книга В. Трушкина «Литературная Сибирь первых лет революции», вышедшая недавно в Иркутске, выгодно отличается от некоторых других изданий, посвященных «областным» литературам, прежде всего своей обстоятельностью и хорошей литературоведческой основой. Исследователь ограничился сравнительно небольшим периодом в развитии литературы Сибири: он заканчивает свое повествование 1926 годом — годом первого съезда сибирских писателей. Но, строго говоря, хронологические рамки его книги еще несколько уже: в поле его зрения находятся в основном произведения, созданные до 1923-го, реже — до 1924 года. Подобное ограничение не является, разумеется, недостатком книги — таково авторское задание. И это по-своему справедливо, так как именно в первые годы после Октября начинались многие и многие писательские судьбы, формировались художники слова, сделавшиеся затем известными и общесоюзному читателю. Тут достаточно вспомнить хотя бы Лидию Сейфуллину, или Леонида Мартынова, или Кондратия Урманова, а также Анну Караваеву, Джека Алтаузену, Иосифа Уткина...

Книга открывается главой, посвященной предоктябрьской литературной жизни Сибири («Предгрозовье»). В этом разделе, как, впрочем, и в других, автор, широко пользуясь архивными материалами, письмами, неопубликованными воспоминаниями и сибирскими газетами 1914—1917 годов, воссоздает литературно-общественную обстановку той поры. Он пишет об основных литературных очагах, где с большей или меньшей интенсивностью развивалась литература Сибири, в частности о газетах «Степной край», «Омский вестник» (Омск), «Сибирская жизнь» (Томск), «Жизнь Алтая» (Барнаул), «Приишимье» (Петропавловск), о творчестве таких известных в то время писателей-сибиряков, как например Антон Сорокин, Петр Драверт, И. Тачалов, Г. Гребенщиков, А. Новоселов, В. Митрич (Соколов), Арт. Ершов, А. Жилияков, С. Исаков, Г. Вяткин, о первых рассказах Кондратия Урманова и Всеволода Иванова. Автор справедливо говорит, что «сибирским писателям в дореволюционное время приходилось жить и работать в необычайно тяжелых условиях. Молодая, еще не окрепшая литература создавалась на одной из отдаленных российских окраин при полной изоляции и безразличии со стороны общепризнанных культурных центров — Москвы и Петербурга» (стр. 6). Главными культурными очагами Сибири являлись тогда, как и позднее, в первые послеоктябрьские годы, Барнаул, Томск, Омск, Красноярск, Иркутск. Исследование В. Трушкина, подчиненное главным образом хронологическому принципу, композиционно распадается вместе с тем на главы, специально посвященные литературно-общественной жизни названных городов и творчеству работавших там писателей. Так, говоря, например, об Иркутске, он пишет об И. Уткине, Д. Алтаузене, И. Молчанове, В. Друзине, М. Скуратове, о первых стихах Льва Черноморцева и Василия Непомянуха, о деятельности журнала «Красные зори» и коллективных поэтических сборниках «Май» и «Ильичу»; говоря о Новосибирске (Новониколаевске), приводит сведения о журнале «Сибирские огни» и о таких малоизвестных изданиях, как «Таяжные зори» и «Пролетарские побеги», открывает читателю интересного поэта-лирика В. Итина и впервые обстоятельно пишет о творчестве Валериана Правдухина.

Несмотря на то, что сибирским писателям, как сказано автором, приходилось до революции работать в очень тяжелых условиях, литература Сибири и тогда, в те трудные годы, жила достаточно полнокровной и интересной жизнью. «Литературный процесс, — отмечает исследователь, — был тут поистине многогранен и по-своему сложен» (стр. 8). В предреволюционные годы особенно велика была роль Иркутска и Красноярска. В этих городах усилиями как коренных сибиряков, так и ссыльных интеллигентов, среди которых было немало выдающихся политических и общественных деятелей, поддерживался высокий культурный уровень. Автор убедительно, с фактами в руках, спорит с тем довольно распространенным заблуждением, будто Сибирь до революции была некоей «спящей царевной», недвижно лежавшей в ледяном гробу. «Конечно же, старая дореволюционная Сибирь, — замечает В. Трушкин, — была глухой, отдаленнейшей окраиной обширной царской империи. Все это бесспорно. И все же, в отличие от других захолустьев, она, особенно в начале XX века, в самый канун революции, жила напряженной и интенсивной общественно-политической жизнью. Крепко заснуть ледяной красавице не давали то революция 1905 года, мощным гулом отозвавшаяся в ее снежных просторах, то кровавая трагедия Лены, то постепенно нараставшее недовольство империалистической войной 1914—1917 годов. Особенно осязательным и сильным было влияние на нее политической ссылки, систематически наводнявшей Сибирь тысячами революционеров, прошедших суровую жизненную и политическую школу» (стр. 9). Характерным в этом отношении явлением культурной жизни дореволюционной Сибири был журнал «Багульник», выходивший в 1916—1917 годах. Анализируя состав журнала, его поэзию и прозу, его политическую позицию, В. Трушкин приходит к выводу, что гражданская направленность этого органа, выступавшего — в политике — против войны, а в эстетике — за реализм, была безусловно прогрессивной. В связи с этим журналом автор освещает творчество нескольких литераторов, в частности поэтов В. Пруссак, Федора Лыткина и Д. Глушкова (Олерона). Имена эти сейчас забыты, но в свое время они были известны не

только в Сибири. Сборник В. Пруссакса «Цветы на свалке» был доброжелательно замечен горьковской «Летописью». В творчестве этих поэтов предощущение приближающейся революции было выражено с большой эмоциональной силой.

С точки зрения историко-литературной творчество как этих, так и иных писателей интересно тем, что оно было, по сути дела, тесно связано с общим литературным процессом.

В литературной жизни Сибири, до революции и после нее, существовали различные тенденции и направления. В частности, в отличие от журнала «Багульник», красноярские «Сибирские записки», которым в исследовании посвящен целый раздел, придерживались ярко выраженных областнических тенденций. В. Трушкин говорит в связи с этим о работах Е. Колосова, Г. Потанина, Н. Козьмина, о программных статьях редактора журнала В. Крутовского. Он правильно указывает на ошибочность их воззрений, сводившихся, при всех модуляциях и вариантах, к утверждению автономности и изолированности Сибири от западной России. Однако он отмечает и культурно-историческое значение журнала, сумевшего, несмотря на известную ограниченность его руководителей, сплотить вокруг себя лучшие литературные силы. В творчестве В. Бахметьева, И. Гольдберга, В. Шишкова, С. Елпатьевского разрабатывались темы, связанные не только со спецификой сибирской деревни, но и выходявшие за ее пределы. «Все честное... — обобщает автор исследования, — рвалось... навстречу освежающей революционной буре... Литераторов Иркутска и Красноярска, Барнаула и Омска волновали во многом одни и те же проблемы, волновала в конечном итоге судьба народа и родины, идущих к революции» (стр. 49). Нам только представляется, что автор в своем стремлении восстановить забытые и полузабытые имена, сообщить те или иные колоритные факты, иногда излишне подробно останавливается на малозначительных и третестепенных литературных явлениях. Он прав, когда пишет об интересном и, надо думать, незабвенно забытом поэте-трибуне, легендарном герое гражданской войны Федоре Лыткине, но так ли уж необходимо обстоятельно писать об Антоне Сорокине, Г. Вяткине или Г. Гребенщикове? Называя А. Сорокина «колоритнейшей личностью», чьи выступления всегда имели «привкус скандала» (стр. 51), В. Трушкин упускает из виду главное — его собственно художественное творчество, не поднимавшееся, при всей злободневности тем, выше весьма посредственного уровня. Это же можно сказать о Г. Вяткине и Г. Гребенщикове, сотрудниках белогвардейской прессы, активно не принявших Октябрьскую революцию. Автор со скрупулезной объективностью стремится найти и показать отдельные удачи этих литераторов, но, судя даже по тем цитатам, которые приведены в его книге, удачи эти были в одних случаях кратковременны («Хохот желтого дьявола» А. Сорокина), а в других — сомнительны. Это тем более бросается в глаза, что о некоторых действительно ярких дарованиях сказано с гораздо меньшей обстоятельностью и глубиной. Так, например, бегло говорится о начальном творчестве А. Гастева, совершенно не анализируется творчество Н. Асеева, читатель книги ничего не узнает о В. Шишкове, поверхностно и односторонне сказано о Л. Сейфуллиной, Ф. Березовском и В. Бахметьеве.

Поэтому главный интерес и ценность рецензируемой книги следует видеть в систематизации огромного фактического материала вокруг отдельных так называемых литературных гнезд или, точнее говоря, культурных центров тогдашней Сибири. Интересно, например, освещена деятельность дальневосточной группы «Творчество», куда входили Николай Чужак, Сергей Третьяков, Давид Бурлюк, Сергей Алымов, Николай Асеев, Ольга Петровская и др. Первый номер «Творчества», вышедший в 1920 году, открывался серией программных статей и выступлений в защиту футуризма. В. Трушкин, знакомя читателей с многообразными материалами этого журнала, говорит о серьезных эстетических и политических ошибках его создателей и авторов. В особенности это касается теоретических статей Н. Чужака, в которых он открыто выступал против политики партии в области литературы. Вместе с тем он отмечает и определенное историко-культурное значение этого органа, деятельность которого, по справедливому мнению исследователя, нельзя сводить лишь к отстаиванию интересов футуризма. Он пишет в связи с этим о многочисленных стихотворных фельетонах, посвященных политической злобе дня, и смелых (в тогдашней обстановке) выпадах против белогвардейщины и интервентов. С. Третьяков, Н. Асеев, С. Алымов сотрудничали не только в «Творчестве», но и в многочисленных дальневосточных газетах, выступали на многочисленных рабочих и партизанских митингах.

Как показывает В. Трушкин, деятельность различных органов печати и литературных объединений, находившихся в Чите, Красноярске, Новониколаевске или Барнауле, не была разобщенной. Журнал «Сибирские огни», например, регулярно освещал события литературной жизни в разных уголках Сибири, а основной критик «Сибирских огней» Валериан Правдухин горячо спорил с ошибочными положениями отдельных статей журнала «Творчество».

Особо останавливается автор на газете героической 5-й Армии «Красный стрелок». Он открывает здесь немало интересного. Газета действительно заслуживает того, чтобы посвятить ей специальный раздел в монографии. В этой газете

печатались Я. Гашек, В. Зазубрин, В. Лебедев-Кумач, Игорь Славнин, здесь же начал свой литературный путь старейший сибирский поэт Михаил Скуратов. В. Лебедев-Кумач опубликовал в газете десятки стихотворных фельетонов, частушек и песен. По свидетельству поэта, приводимому В. Трушкиным, эта работа была для него «школой большевистской печати, оставившей след на всем последующем творчестве» (стр. 151). О том же пишет и М. Скуратов. «Купелью моего литературного крещения, — говорит он, — стала боевая газета 5-й Красной Армии — победительницы Колчака, — „Красный стрелок“».² Большинство материалов, печатавшихся в газете, как показывает автор, были типичным газетным «агитационным материалом», но для многих литераторов, работавших здесь, эта деятельность стала действительно серьезной политической школой. Надо думать, что и знаменитый роман В. Зазубрина «Два мира» во многом обязан корреспондентской деятельности писателя, немало почерпнувшего для своего произведения как из материалов газеты, так в особенности из личных впечатлений, которых у него, корреспондента и активного участника борьбы, было немало.

Книга В. Трушкина построена таким образом, что, следуя в основном хронологическому принципу, освещая жизнь тех или иных культурных центров, анализируя сборники и журналы, автор попутно дает более или менее обстоятельные характеристики целому ряду сибирских литераторов. Мы уже говорили о том, что творчество некоторых из них раскрыто в книге недостаточно полно и выразительно. Это относится главным образом к писателям, приобретшим впоследствии всесоюзную известность. Возможно, что подобной краткости способствовало убеждение автора в том, что творческий путь таких художников, как например В. Шишков или Вс. Иванов, уже с достаточной полнотой проанализирован во многих статьях и специальных монографиях. Вряд ли с этим можно согласиться: картина литературной жизни Сибири без подробного разговора о крупнейших художниках слова (или о тех, кто впоследствии сделались выдающимися деятелями советской литературы) неизбежно обедняется, выглядит односторонней и неполной. Достаточно сказать, что деятельность А. Сорокина, к которому автор относится с необычайным шкотовством, освещена значительно полнее, чем творчество Вс. Иванова, не говоря уже об Иосифе Уткине, Л. Сейфуллиной, Анне Караваевой, Е. Ярославском и др. Но — так или иначе — все же читатель, в особенности хорошо знающий историю советской литературы, а потому имеющий возможность дополнять опущенное автором и проводить собственные аналогии, безусловно получает богатый дополнительный материал. Этюды о Ф. Лыткине, раннем М. Скуратове, В. Пруссак, А. Олениче (Гнененко), А. Новоселове, П. Незнамов, Д. Глушкове (Олероне), В. Непомнящих, В. Митриче, Л. Лесной и многих других расширяют наши представления об истинных путях развития советской литературы в годы гражданской войны. Как видно из исследования В. Трушкина, развитие сибирской литературной жизни во многом определялось теми же закономерностями, что и всей советской литературы, в том числе и так называемой «столичной», т. е. петроградской и московской. Так же, как в Москве и Петрограде (и других городах), некоторые сибирские поэты переболели и футуризмом, и имажинизмом, и пролеткультовскими крайностями, так же недостаточно полно в первые годы воссоздавался на страницах сибирских произведений облик человека нового мира, скупой и неразвернуто изображался его внутренний мир, его психология — все это хорошо знакомо и по литературе западной России. Поэтому нельзя не согласиться с В. Трушкиным, когда он пишет в своей интересной книге, что внимательное изучение конкретных литературных фактов может дать немало свидетельств «непосредственной связи Сибири, несмотря на ее отдаленность и определенную изоляцию от центра, с общерусским литературным процессом. Литературную общественность Сибири волновали те же проблемы, что и литераторов Москвы и Петрограда. Читинцы спорили об имажинистах и Хлебникове, Маяковском и Пастернаке столь же увлеченно, искали новых путей в искусстве с той же страстью, что и их столичные собратья по перу» (стр. 148).

Эта мысль, проходящая через все исследование В. Трушкина и подкрепленная массой доказательств и новых фактов, является безусловно справедливой. Книга несомненно сыграет свою положительную роль в сложном и далеком еще не завершеном деле воссоздания истинной и полной картины развития советской литературы в годы революции, гражданской войны и первых лет советской власти.

² Из письма М. Скуратова В. Трушкину от 31 января 1966 года (стр. 151).

Н. А. ГРОЗНОВА

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ЛЕОНОВЕ *

В 1967 году белградское издательство «Культура» выпустило двенадцатитомное собрание сочинений Леонида Леонова. Хотя югославский читатель уже был достаточно знаком с творчеством этого выдающегося советского писателя, появление в Югославии первого собрания сочинений Леонова — факт немаловажного историко-литературного значения. Подготовленное с особым, видимо, творческим пристрастием настоящее издание примечательно рядом своих качеств.

Уже одно то, что открывается издание специальным обращением Л. М. Леонова к югославскому читателю, выделяет его из ряда других зарубежных изданий леоновских произведений. Исполненное вдохновенного и глубокого раздумья о пройденном творческом пути, о предназначении писателя это обращение являет собою яркую страницу в творческой биографии Леонова, и оно должно привлечь внимание не только югославского читателя.

Белградское собрание сочинений Леонова отличается и особой, по сравнению с другими зарубежными изданиями, полнотой материала. В нем всесторонне представлена малая проза, которая до сих пор менее всего известна за рубежом.

Обращает на себя внимание и структура издания. В основе её — жанровый принцип. Новеллистические произведения сосредоточены в первых двух томах, драматургия — в двух последних, восемь книг посвящены романам. Такой способ подачи материала обусловлен, наверное, рядом причин. С одной стороны, трудностями, связанными с неполным переводным изданием, с другой, — видимо, стремлением помочь ориентироваться читателю и тем самым приблизить леоновские произведения к более широким читательским кругам. Но, несмотря на эти обстоятельства, принятый подход все же представляется в ряде моментов спорным. Вряд ли правомочно, например, непосредственное, основанное лишь на жанровом сходстве, соседство рассказов 20-х годов и повести «Евгения Ивановна». Трудно объяснить также абсолютное отсутствие жанра публицистики, столь ярко раскрывающего дарование писателя.

Особую роль в освещении творчества Леонова играет привлеченный к изданию литературоведческий материал, который сосредоточен в первом и четвертом томах собрания сочинений. В первом томе — общая характеристика творчества писателя («Леонид Леонов»), в четвертом — обстоятельное, почти на ста страницах, исследование: «„Вор“ Леонида Леонова». Автором этих работ является известный славист, много сделавший для популяризации и изучения произведений Леонова, — Милосав Бабович.

Предисловие к первому тому сочинений интересно попыткой проследить в творчестве Леонова сквозные темы, идеи, образы. Особенно плодотворны рассуждения Бабовича о национальном колорите, о своеобразии темы революции в леоновских произведениях, об устремлении писателя к общечеловеческим идеалам.

Хотя в столь полном объеме произведения писателя появляются в Югославии впервые, перед изданием стояла, надо полагать, задача не только представить югославскому читателю многообразие леоновской прозы, но и раскрыть оригинальность леоновских концепций, расшифровать те социально-философские, эстетические формулы, которые лежат в основе творчества писателя. Выбор «Вора» для решения этой задачи вполне закономерен и оправдан. Существование двух разделенных не одним десятилетием редакций этого романа дает особого содержания материал, характеризующий эволюцию Леонова, своеобразие его художественного мышления. Предисловие к четвертому тому белградского издания сочинений Леонова выходит за привычные рамки жанра предисловия. Широта постановки проблем, тщательность художественного анализа, концепционность сообщают ему характер самостоятельного научного поиска.

Автор уходит от частностей, стремясь обнаружить для читателя главное русло леоновских исканий, и поэтому в некоторых существенных моментах его работа имеет точки соприкосновения с уже утвердившимися в критике взглядами на те или иные проблемы «Вора». Так, Бабович не расходится с общепринятой трактовкой образа Дмитрия Векшина, считая, что Леонов во второй редакции привел этого героя к полному падению; в традиционном плане рассматривается образ

* Milosav Babović. «Lopov» Leonida Leonova. In: Sabrana dela Leonida Leonova. «Kultura», Beograd, 1967, I—XII. Preveli s ruskog: M. Jovanović, M. Carcagracević, N. Nikolajević, M. Babović, S. Matić, P. Mitropan, S. Jaksić, T. Kasiković, D. Lazović, B. Cović, R. Zogović, R. Lalić, M. Nicolčić.

Настоящая рецензия написана в сотрудничестве с В. К. Петуховым, оказавшим помощь в переводе рецензируемой работы.

Фирсова, тема искусства в романе, особенности композиционных, сюжетных изменений, внесенных писателем во вторую редакцию. Однако и в этих разделах имеется ряд оригинальных суждений.

При знакомом, казалось бы, общем рисунке оценок работа Бабовича отличается несомненной новизной содержания. Пожалуй, впервые в критике столь обстоятельно и глубоко проанализированы система конфликтности и система характеров в «Воре». Особенность подхода Бабовича состоит в том, что автор стремится наиболее внимательно обследовать и всесторонне показать психологическую наполненность характеров, не ограничиваясь лишь той или иной их доминантой. Подобная «раскованность» литературоведческого анализа позволила сделать целый ряд интереснейших наблюдений над социально-психологическим содержанием леоновских образов.

Так, например, приравняваемый обычно всего лишь к «манометру», определяющему меру векшинской жестокости, образ Саньки Бабкина, прошедшего путь от «полнейшей покорности, вызванной не дисциплиной, а любовью, до великого гнева и отступничества», в трактовке исследователя обретает самостоятельное, оригинальное значение. Скупые события биографии этого героя принято в критике расценивать как свидетельство до истерики надрывного и потому во многом бессильного протеста Саньки против нравственного насилия Векшина. М. Бабович сумел показать, что строй интимных и гражданских эмоций этого героя обладает более сложным содержанием, которое в ряде моментов не зависит от реакции Векшина. Нелегкий протест героя — вторичное, производное явление, оно порождено активным, охватившим все существо Бабкина процессом становления новой гуманности. Рождение новых убеждений раскрылось в сломавшей все сословные и житейские преграды борьбе героя за судьбу падшей женщины (Ксения). Таким образом, во многом иначе раскрывается соотношение психологических, социально-нравственных сил в одном из самых острых поединков в романе: Векшин — Бабкин.

По-видимому, такая трактовка с интересом будет встречена исследователями «Вора», как, впрочем, и данная Бабовичем характеристика взаимоотношений Векшина с Арташезом, с Пчховым. Здесь также присутствует стремление автора раскрыть содержание характеров, не сосредоточиваясь лишь на соподчиненности в их связи между собой. И вновь исследователю удается обнаружить новые грани, новые координаты романа. В гибких очертаниях выступает образ Пчхова, его этическое учение предстает как явление противоречивое. Бессилие перед движением исторической жизни, маска невмешательства не заслоняют, по мнению Бабовича, сердечного, искреннего отношения этого героя к Векшину, не лишают его права судить людские судьбы (Пчхов является в ряде критических моментов мудрым комментатором событий в романе). Бабович отмечает, что влияние Пчхова на движение сюжета более сложно, чем это принято думать, его образ не сводится только к иллюстрации идеи социальной пассивности.

Хотя, может быть, и не столь многогранным, как образ Бабкина, но ярким и целенаправленным в анализе Бабовича предстает образ Арташеза. Автор предисловия прослеживает, при каких обстоятельствах этот герой от роли лекаря, стремящегося исцелить душевные раны Векшина, в первой редакции (он не столько судил тогда Векшина, сколько пытался понять его и помочь, и оттого был наделен чувством сопричастности к векшинской судьбе) перешел к исполнению обязанностей его непримиримого судьи — во второй.

В то же время мнение исследователя о происшедшей будто бы во второй редакции переоценке образа Арташеза, о заострении в этом характере качеств, делающих героя представителем обюрократившейся прослойки, на наш взгляд, не подтверждается текстом романа.

Самостоятельное содержание у Бабовича получает и образ Матвея Балуева. В характере этого героя, в «номенклатуре» его обязанностей усматриваются реальные, но не развитые в романе возможности одного из главных оппонентов Векшина, противников его догматической жестокости. Эта точка зрения в рецензируемой работе еще, правда, недостаточно аргументирована и нуждается в дальнейшем развитии, тем более что внимание исследователей постоянно привлечено к системе двойников и оппонентов в «Воре».

В работе Бабовича особо следует отметить тонкий анализ темы любви в романе. Эта тема представлена не только как одна из важных сфер конфликтности романа, но и как область чрезвычайно ценных для современности нравственных исканий.

Стремление раскрыть многогранность леоновского мира позволило Бабовичу в ряде случаев интересно охарактеризовать писательскую манеру Леонова, особенности его художнического мышления. Плодотворны размышления исследователя о таких доминантах леоновского восприятия мира, как «относительность сущего и универсальная конфликтность»; о системе психологических мотивировок у Леонова, которая, наряду с непосредственным влиянием социальных явлений, включает и «антропологический феномен» (оригинальную биологическую природу каждого из героев), и процессы, протекающие в глубине человеческого сознания. Эти явления, создающие порой впечатление алогичности во внешнем поведении персонажей, са-

мым активным образом, по наблюдению Бабовича, участвуют в создании взаимозависимости психологических компонентов личности героев в «Воре».

Особенно интересно освещение Бабовичем вопроса о влиянии Достоевского на творчество Леонова. Автор не стремится во что бы то ни стало только размежевать этих художников. Считая неоспоримой мысль об органичности традиций Достоевского в творчестве Леонова, Бабович рассматривает близость ряда конфликтов, сюжетных ситуаций в произведениях этих писателей как результат разработки сходных проблем, поставленных действительностью перед тем и другим художником. Бабович защищает ту мысль, что Леонов в своем творчестве, подтверждая «непреходящую ценность мировосприятия Достоевского», как художник другой эпохи раскрывает, «в чем время и история переросли гений Достоевского, его взгляды и решения». Исследователь стремится установить в творчестве Леонова реальные историко-литературные предпосылки традиции Достоевского, и это открывает многогранные аспекты в проблеме «Леонов и Достоевский», которые требуют специальных научных разысканий.

Если в подходе к анализу психологии отдельной личности, отдельных образов, Бабович стремится к всесторонности изучения, то состояние исторической эпохи 20-х годов он заключает скорее в жесткие рамки простейших формул. Воссозданное в «Воре» движение истории автор предисловия рассматривает порою несколько субъективно, в связи с чем оказываются упрощенными и факты творческой истории романа.

Бабович считает, что созданный в 1927 году «Вор» был диссонансом в общей праздничной оратории, якобы поглотившей те годы. Противоречил современности 20-х годов сам Векшин. Он был слишком не похож на ту «железную личность», которая, по мнению Бабовича, в силу исторической необходимости была выдвинута эпохой как единственно приемлемая для того времени фигура. Герой «Вора», как считает автор, был мягок и незащищен рядом с героями Серафимовича и Н. Островского. В силу этого «несоответствия характеров», по мнению исследователя, роман оказался «в ссылке», путь его постепенно отделился от пути его автора, — и потребовалось другое историческое время, а вместе с ним и «другая рука и другие чернила», чтобы вернуть книгу к жизни. Бабович связывает появление второй редакции непосредственно с изменениями в общественной жизни середины 50-х годов и рассматривает образ Векшина только как однозначную прямую реакцию на эти изменения.

Хотя такая позиция и позволяет уяснить некоторые стороны леоновской концепции, помогая исследователю раскрыть те социальные пути в романе, которые были подсказаны художнику движением реальной истории (в связи с этим интересны замечания Бабовича об эволюции образов Заварихина и Чикилева), все же сложно развивающееся содержание «Вора» предстает в таком случае во многом упрощенным.

Поэтому, например, одна из центральных проблем философской концепции романа, связанная с осмыслением законов исторической преемственности в социально-нравственной жизни человечества, изложена в рецензируемой работе схематично. Эта проблема выпрямлена до простейшей конструктивной формулы: при движении вперед прошлое должно быть преодолено и отброшено («масса без сожаления уйдет из благушинских трущоб»), поэтому и приверженность героя прошлому рассматривается в значительной мере как художническая, априорно принимаемая критиком условность. В результате своеобразие национальной традиции в восприятии истории, характеризующейся особым переживанием чувства социально-исторической наследственности, недостаточно учитывается исследователем. По-видимому, именно поэтому неправомерно преуменьшено Бабовичем значение образа бывшего дворянина Манюкина, который, по существу, выведен им из главного сюжетного русла. Во второй редакции этот герой обретает принципиально важное содержание. Благодаря ему в романе живет история России от петровских времен. Сюжетная линия Манюкина позволила писателю историю родины призвать в свидетели, в наставники, в судьи фактов современности. Взаимоотношения Векшина с Манюкиным очень важны в концепции романа. Они определяют «эстафетность» поколений на переломе эпох. Манюкин, наряду с крестьянской Россией, с тем Демятиным, куда к могиле отца пришел просить прощения Векшин, передает в романе новому поколению наследство истории. В этом заключается один из ответственных моментов идейно-эстетического содержания «Вора».

Вопрос об исторической вине Векшина вполне оправдан и поставлен Бабовичем закономерно, но избранный маршрут поиска социальных причин драмы Векшина требует уточнений. Основанное главным образом на внешнем сходстве метафор — «железная личность», «железный поток», «как закалялась сталь», — сопоставление не имеет под собой ни социальной, ни историко-литературной почвы. Трагедия векшинской жизни заключается в том, что в поединке за революцию не смог Векшин (и в этом его отличие от героев Н. Островского и Серафимовича) возродить, поднять в себе дарованные ему землей отцов, историей отцов благородные гуманистические силы.

При изучении таких выдающихся произведений, как роман Леонова, нельзя не учитывать тех социально-нравственных явлений, которые связаны с национальными особенностями исторического процесса, которые усложняют, обогащают этот процесс. Проблематику «Вора», оригинальность писательских решений в книге трудно понять вне этих особенностей. Тем более что во второй редакции романа тема России, тема своеобразия национальной исторической судьбы получили свое новое развитие. Именно здесь и следует искать положительные тенденции воссозданной в романе исторической жизни.

В критической литературе о Леонове до сих пор недостаточно выявлено своеобразие того этапа исторического движения, который изображен в романе; не вполне очерчены социально-исторические предпосылки и истоки характеров романа.

Если вторая редакция книги рассматривалась в соотнесенности с фактами современной литературы, то попыток рассмотреть «Вора» в ряду крупнейших явлений советской литературы в целом, по сути дела, не предпринималось, хотя уже, видимо, наступило время сопоставить особенности леоновского исследования конфликтов революционной эпохи с опытом прежде всего таких художников, как Шолохов и Федин.

Пока еще остается неизученной та философская традиция, которая живет в «Воре»; не выяснены особенности философских решений, содержащихся в этом романе, хотя утверждение о принадлежности «Вора» к философскому эпическому жанру и стало общим местом в критике.

Назрела задача более углубленного изучения леоновского романа. Всестороннее освещение творческой истории «Вора», его историко-литературного окружения позволило бы показать прежде всего, что 20-е годы, время создания первой редакции романа, походили не только и, может быть, даже не столько на торжественную бравурную ораторию, сколько на симфоническую поэму, которая сумела в сложном единстве совместить глубокие, как жизнь, многогранные психологические и философские мотивы. Со своей яркой, хотя и противоречиво развивающейся мелодией входил в это звучание и «Вор». Его присутствие было постоянно ощутимо в советской литературе. Жизнь этой книги сложна, путь ее оригинален потому, что очень многими гранями уже в пору самого своего рождения она была связана с глубинными течениями жизни. Они-то в своем бурном развитии и привели это произведение к новому его расцвету.

Появление работы М. Бабовича свидетельствует о том, что важнейшие стороны леоновского творчества глубоко осваиваются зарубежными учеными. Исследование Бабовича отмечено напряженным поиском. Именно это качество придает работе особую ценность, так как оно настраивает на такой же поиск и читателя (тем более читателя зарубежного), приступающего к «Вору», книге, которая вся обращена против схематизма мышления и эстетической нормативности.

В то же время исследование югославского ученого позволяет понять, сколь серьезны задачи изучения творчества одного из крупнейших современных художников, задачи, которые обязана решить наша наука. В наше время, когда советская литература становится широко известной зарубежному читателю, когда она все теснее сплетается с социально-нравственными поисками современности, на наше литературоведение ложится особая ответственность раскрыть оригинальность, полноту звучания ее социально-эстетических идей. Необходимо более целеустремленно и всесторонне изучать как общечеловеческое содержание ее устремлений, так и неповторимость ее национальных качеств.

К. И. РОВДА

М. ГОРЬКИЙ У БОЛГАР

В статье об изучении русско-болгарских литературных связей за пятнадцать лет (1944—1959) В. Велчев и С. Русакиев показали, что по сравнению с предвоенным временем это изучение приняло в социалистической Болгарии иные масштабы и иной характер.¹ Оно не только расширилось, но и поднялось на новый теоретический и методологический уровень, чему значительно способствовала организа-

¹ В. Велчев и С. Русакиев. Изучаване на руско-българските и съветско-българските литературни връзки за петнадесет години. «Годишник на Софийския университет. Филологически факултет», том LIV, кн. 2, София, 1960, стр. 87—127.

ция кафедры русской филологии на филологическом факультете Софийского университета и учреждение секции русско-болгарских отношений в Институте литературы Болгарской академии наук. К этому надо добавить, что усилились исследования в этой области и в СССР, где был восстановлен существовавший ранее Институт славяноведения Академии наук СССР и начато изучение славянских литератур в университетах и педагогических институтах.

Работы, которые ведут десятки болгарских и советских ученых, уже много дали в изучении русско-болгарского литературного общения и сотрудничества. Они позволяют глубже оценить международное значение отдельных писателей и литературных направлений и с большей точностью учесть факторы, способствующие развитию национальных литератур, определить «то новое, что данный писатель или литература вносят в общий фонд литературных ценностей».²

Тема «Горький и болгарская литература» разрабатывается многими болгарскими и советскими учеными, среди которых в первую очередь надо назвать Ст. Каракозова, П. Зарева, Г. Константинова, Г. Цанева, И. Понева, Хр. Дудевско, В. Велчева, Ем. Стефанова, И. Цветкова (Болгария), Д. Ф. Маркова, А. Л. Григорьева, Р. Н. Кренделя, В. И. Злыднева (СССР) и др.

Высокой и заслуженной оценки в свое время удостоилась книга Ст. Каракозова о Горьком в Болгарии.³ Исследователь нарисовал широкую картину распространения произведений великого художника в болгарском обществе и поставил узловые проблемы изучения роли Горького в развитии общественной и художественной мысли страны. Несмотря на недостатки теоретического характера, а также на ряд фактических ошибок, книга Каракозова имела важное значение, которого не утратила и поныне. Ст. Каракозов ввел в научный оборот обильный конкретный материал, большую библиографию, опубликовал ответы многих болгарских писателей на вопросы об их отношении к творчеству Горького и роли последнего в творческом развитии каждого из них.

Значительный материал был обобщен в работах советских ученых, например, в исследовании А. Л. Григорьева.⁴ Важное методологическое значение имела статья Д. Ф. Маркова,⁵ наметившая конкретные пути изучения восприятия горьковского творчества писателями разных литературных направлений в разные исторические периоды.

Появился ряд исследований и статей, в которых широко привлекается новый материал, делаются попытки сопоставления произведений Максима Горького с творениями болгарских писателей и т. д.⁶ Особенно много нового материала вводит Р. Н. Крендель в статье «М. Горький в Болгарии».⁷ На основе забытых печатных и неизвестных архивных источников автор статьи воссоздает историю переводов произведений Горького на болгарский язык за период с 1900-го по 1951 год, показывает характер восприятия его творчества болгарской критикой и описывает личные связи Горького с болгарскими писателями и общественными деятелями.

² Там же, стр. 87.

³ Ст. Каракозов. Максим Горки и българската литература. Влияние и връзки. София, 1947.

⁴ А. Л. Григорьев. Горький и болгарская литература. «Доклады и сообщения филологического института Ленинградского гос. университета», вып. 3, 1951, стр. 24—54.

⁵ Д. Ф. Марков. Горький и болгарская литература. «Краткие сообщения Института славяноведения», вып. 6, 1951, стр. 9—33.

⁶ См.: Е. Стефанов. Руско-български обществено-литературни връзки. Жената на Максим Горки и П. Ю. Тодоров. «Изкуство», 1947, № 5—6, стр. 565—567; А. Л. Александров. М. Горький и славянские литературы. «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена», т. 87, 1949, стр. 148—167; Хр. Дудевски. Горки и развитието на българската литература. «Език и литература», 1956, кн. 5, стр. 355—364; В. Велчев. Максим Горки в България. «Език и литература», 1958, № 3, стр. 207—221; Ж. Авджиев. 1) Максим Горки и Георги Бакалов. (Някои нови данни за влиянието на Горки върху Бакалов). «Литературна мисъл», 1958, № 3, стр. 130—139; 2) Роман «Мать» в Болгарии. «Славяне», 1958, № 3, стр. 21—23; Ст. Каракозов. Максим Горький и Димитр Полянов. «Славяне», 1958, № 2, стр. 48—49; Ив. Цветков. В личной библиотеке Горького... «История булгар». «Славяне», 1958, № 3, стр. 26—27; В. Колевски. «Литературен критик» и съветската литература. «Литературна мисъл», 1959, № 6, стр. 107—112; Переписка А. М. Горького с зарубежными писателями (Г. Бакалов, П. Тодоров и др.). В кн.: Архив А. М. Горького, т. VIII. Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 137—153; И. Цветков. Първите пиеса на Максим Горки в оценките на българската критика. «Литературна мисъл», 1962, № 1, стр. 40—57; Хр. Дудевски. Българо-съветски литературни връзки. София, 1963; В. П. Вильчинский. Д. Ризов и М. Горький. В сб.: М. Горький и его современники. Изд. «Наука», Л., 1968, стр. 204—214.

⁷ Горьковские чтения. 1953—1957. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 503—550.

* * *

В 60-е годы изучение восприятия Максима Горького в Болгарии не только продолжается, но расширяется и углубляется. Важным стимулом к этому послужили дискуссии о взаимосвязях и взаимодействиях национальных литератур в Москве,⁸ V Международный съезд славистов в Софии,⁹ славистические конференции в ряде республик Советского Союза. Серьезным подспорьем исследователям, занимающимся проблемами литературных взаимоотношений разных стран, в том числе Болгарии и России, являются библиографические пособия нового типа, издание которых началось в 60-е годы.¹⁰

Богатый материал для изучения русско-болгарских литературных связей советского времени содержит, в частности, такое издание, как двухтомный сборник материалов, воспоминаний и документов под названием «Советская литература в Болгарии», подготовленный Институтом литературы Болгарской академии наук.¹¹ Нельзя не указать также на наличие большого конкретного материала в исследовании Васила Колевского, посвященном той же эпохе: «Пафос Октября. Советская литература в болгарской пролетарской и антифашистской печати».¹²

Тема «М. Горький в Болгарии» разрабатывается в различных направлениях: история переводов и изданий произведений русского писателя в Болгарии, постановка горьковских пьес на болгарской сцене, оценка болгарской литературной и театральной критикой Горького, его влияние на общественную жизнь страны, на развитие эстетической мысли и критики в Болгарии, творческое воздействие Горького на болгарских писателей и т. д.

В ряде трудов советских и болгарских авторов рассматриваются одновременно многие из этих проблем. К таким трудам можно отнести книгу В. И. Злыднева «Русско-болгарские литературные связи XX века» (изд. АН СССР, М., 1964).¹³ Многопроблемностью характеризуется и упоминавшееся нами выше исследование Васила Колевского «Пафос Октября». Воздействию М. Горького на общественно-литературную жизнь в Болгарии посвящены исследования В. Велчева «Пьеса Максима Горького „На дне“ и прогрессивная общественность в Болгарии»¹⁴ и И. Цонева «Роман М. Горького „Мать“ в нашей идейной борьбе».¹⁵ Влияние Горького на эстетические взгляды и общественно-литературную деятельность

⁸ См.: Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. Материалы дискуссии, 11—15 января 1960 г. Изд. АН СССР, М., 1961.

⁹ См.: Славянска филология. Материали от V Международен конгрес на славистите, том VIII. Литературознание. София, 1966.

¹⁰ Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. Библиография (1955—1960). Фундаментальная библиотека общественных наук (далее: ФБОН) и Библиотека Института мировой литературы АН СССР (далее: Библиотека ИМЛИ АН СССР). М., 1962; Советское славяноведение. Литература о зарубежных славянских странах на русском языке. 1918—1960. ФБОН. Изд. АН СССР, М., 1963; Веселин Трайков. България в чуждата литература. 1954—1963. Библиографски указател. Нар. библиотека «Кирил и Методий». София, 1965; Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира. Библиография (1961—1965). ФБОН и Библиотека ИМЛИ АН СССР. М., 1968. Кроме того, выходят периодические указатели: Новая литература по Болгарии. Библиографический бюллетень. ФБОН (с 1952 года). Реферативный бюллетень болгарской научной литературы. Центральная библиотека и Отдел научной и технической информации Болгарской академии наук (выходит с 1959 года).

¹¹ Съветската литература в България. 1918—1944. Сборник от материали, спомени и документи, т. I. Съставили и редактирали Стойко Божков, Стоян Стоименов, Христо Дудевски. Изд. на БАН, София, 1961, 515 стр.; т. II, 1964, 491 стр. См. рец.: В. Бузник. Советская литература в Болгарии. «Русская литература», 1965, № 4, стр. 188—192.

¹² В. Колевски. Патосът на Октомври. Съветската литература в българския пролетарски и антифашистки литературни печат. 1917—1943. Изд. на БАН, София, 1967, 633 стр.

¹³ См. рец.: Л. Лихачева. Книга о дружбе. «Иностранная литература», 1964, № 10, стр. 261—262; Георги Константинов. Нов труд за руско-българските литературни връзки. «Литературна мисъл», 1965, № 2, стр. 148—153; К. И. Ровда. Дружеские связи литератур. «Русская литература», 1965, № 4, стр. 178—179. В. Андреев. Русско-болгарские литературные связи XX века. «Вопросы литературы», 1965, № 8, стр. 218—221.

¹⁴ В. Велчев. Пьесата на Максим Горки «На дне» и прогрессивната общественост в България. В кн.: Славистични студии. Сборник по случай V Международен славистичен конгрес в София. Изд. «Наука и изкуство», София, 1963, стр. 337—358.

¹⁵ И. Цонев. Романът на М. Горки «Майка» в нашите идейни борби. В кн.: Славистични студии, стр. 443—463.

Г. Бакалова анализирует И. Цветков в статье «Георгий Бакалов и Максим Горький».¹⁶

Больше всего работ посвящено воздействию Максима Горького на болгарских писателей. В этом плане обращают на себя внимание статьи Ивана Цветкова «Максим Горький и формирование социалистического реализма в болгарской литературе»¹⁷ и В. Малеевой «Творческое развитие Елина Пелина и традиции Максима Горького»,¹⁸ а также ее диссертация, посвященная влиянию Максима Горького на становление критического реализма в болгарской литературе.¹⁹ К этим работам примыкает статья советского исследователя Б. О. Шайкевича о воздействии Максима Горького на творческую практику Н. Вапцарова.²⁰

Все исследователи русско-болгарских литературных связей исходят из новейших достижений марксистского литературоведения в области изучения межнациональных литературных связей и взаимодействий. Они подчеркивают, что русская литература и в особенности творчество М. Горького явились той силой, которая ускорила историко-литературный процесс в Болгарии и помогла оформиться естественно возникающим на болгарской почве новым явлениям.

* * *

Существенным вкладом в изучение русско-болгарских литературных связей XX века является книга В. И. Злыднева. Она написана сжато, лаконично, но в ней дана такая систематизация фактов и намечена такая схема анализа литературного сотрудничества Болгарии и России, которые облегчают дальнейшие исследования в этом направлении. Важным достоинством книги В. И. Злыднева является то, что ученый исходит в вопросе влияния русской литературы на болгарскую из внутренних законов развития последней и дифференцированно подходит к вопросу об отношении к Горькому представителей различных литературных направлений болгарской литературы.

В разделе «Г. Бакалов и его роль в распространении русской и советской литературы» В. И. Злыднев, опираясь на работы своих предшественников, показывает, какую громадную роль сыграл Г. Бакалов в распространении и пропаганде произведений М. Горького в Болгарии и какое значение личность великого пролетарского писателя и его творчество имели в общественно-литературной деятельности болгарского критика, в развитии его эстетических взглядов, в преодолении ошибок. «Эволюция взглядов Г. Бакалова на литературу — от идей Плеханова к идеям Ленина, — отмечает ученый, — шла не без воздействия М. Горького, особенно его очерка о Ленине. Глубокое освоение болгарским критиком наследия Л. Толстого происходило и через труды В. И. Ленина и через восприятие взглядов М. Горького».²¹ Г. Бакалов впервые в болгарской критике раскрыл огромную роль Горького в развитии общественно-культурной и литературной жизни Болгарии, и все последующие исследователи продолжают так или иначе то, что им начато в конце 20-х годов и сделано в дальнейшем. Своими статьями о Горьком Бакалов «открывает очень важную и глубоко актуальную проблему русско-болгарских связей в советский период».²²

Важное место занимает М. Горький и в другой части работы В. И. Злыднева, которая носит название «Связи Л. Стоянова с русской и советской литературой». В ней показано, какую роль играл пример Максима Горького, писателя и борца, для болгарского поэта, порвавшего с символизмом и вступившего на путь общественной борьбы. «Горький, — пишет В. И. Злыднев, — своим обликом человека и писателя способствовал утверждению Стоянова на позициях революционного искусства, утверждению его как писателя социалистического реализма».²³

¹⁶ И. Цветков. Георги Бакалов и Максим Горки. «Литературна мисъл», 1963, № 6, стр. 100—108.

¹⁷ И. Цветков. Максим Горки и формирането на социалистическия реализъм в българската литература. «Известия на Института за литература», кн. XIV—XV, София, 1963, стр. 5—22.

¹⁸ В. Малеева. Творческото развитие на Елин Пелин и традициите на Максим Горки. «Език и литература», 1967, № 5, стр. 27—46.

¹⁹ В. М. Малеева. М. Горький и българската литература. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1968, 31 стр.

²⁰ Б. О. Шайкевич. Н. Вапцаров і М. Горький. В кн.: Слов'янське літературознавство і фольклористика, вип. 1. Вид. «Наукова думка», Київ, 1965, стор. 35—50.

²¹ В. И. Злыднев. Русско-болгарские литературные связи XX века, стр. 131—132.

²² Там же, стр. 133.

²³ Там же, стр. 201.

Любой исследователь связей Максима Горького с болгарской литературой должен будет обратиться к упоминавшейся нами книге Васила Колевского «Пафос Октября», изданной к пятидесятилетию Октябрьской революции.²⁴ Вслед за сборником документов «Советская литература в Болгарии 1918—1944 гг.» этот труд является необходимым этапом в целостном изучении проблемы «советская литература в Болгарии». Имея перед собой указанный сборник в двух томах и обширную монографию В. Колевского, в которой тщательно и детально анализируются все материалы и статьи, помещавшиеся в болгарской прогрессивной печати о советской литературе на протяжении более чем четверти века, исследователь русско-болгарских литературных связей этой эпохи уже располагает основными фактами, использование которых позволит решить ряд важных и интересных задач.

В книге В. Колевского даны очерки, отражающие борьбу болгарской прогрессивной печати в условиях довоенной буржуазной Болгарии за распространение советской литературы. Прогрессивные журналы и литературные газеты преследовались цензурой и полицией, закрывались один за другим. Но неутомимые издатели продолжали выпускать их под другими названиями и неизменно пропагандировали произведения советских писателей, отражая попытки реакции преградить путь советской литературе в Болгарию. Автор воссоздает историю этой борьбы, которую в разное время вели «Работнически вестник» и «Ново време» (1917—1923) — органы Коммунистической партии, их преемник «Нов път» (1923—1925) и журнал певца сентябрьского восстания Гео Милева «Пламя» (1924—1925), «Наковальня» (1925—1933), руководимая Д. Поляновым, и «Ведрина» (1926—1927), издаваемая А. Страшимировым, орган нового искусства «Новис» (1929—1932) и борющийся «РЛФ» — «Работнически литературен фронт» (1929—1934), сгруппировавший вокруг себя всех передовых писателей, коммунистов и беспартийных, «Фронт на трудоборческите писатели в България» (1932—1933) и руководимые Г. Бакаловым «Звезда» (1932—1934), «Нова литература» и «Мисъл» (1935—1936), «Щит» (1933—1934) и «Литературен преглед» (1934—1935), выходившие под редакцией Людмила Стоянова, «Завой» (1939—1941) и «Изкуство и критика» (1938—1942), объединявшие цвет болгарской литературы (Т. Павлов, Л. Стоянов, Г. Караславов, Н. Вапцаров, Г. Цанев, Орлин Василев, Хр. Радевский и многие другие).

Всматриваясь в деятельность этих боевых прогрессивных органов, исследователь отмечает, что советская литература имела громадное значение для развития болгарской прогрессивной мысли вообще и прогрессивной художественной литературы в частности. Изолируйте болгарскую литературу от советской — и вы ничего не поймете в ее истории. «В сущности, — пишет автор, — в самых общих чертах влияние советской литературы у нас сводится именно к утверждению и развитию социалистическо-реалистического направления в болгарской литературе, к воспитанию писателей и читателей в коммунистическом духе. И естественно, что самыми популярными, самыми крупными авторитетами, оказывавшими наибольшее влияние у нас, были те советские писатели, которые сделали больше всего для развития социалистического реализма в литературе — М. Горький и Вл. Маяковский».²⁵ О том, как их произведения и общественная деятельность воспринимались прогрессивными деятелями культуры в Болгарии, читатель найдет в книге В. Колевского огромный и хорошо прокомментированный материал.

Журналы и газеты, о которых идет речь в книге, давно стали библиографической редкостью в Болгарии, а в Советском Союзе их, пожалуй, не найдешь и вовсе. Поэтому нельзя не оценить в достаточной мере того, что автор книги обильно и со всей тщательностью цитирует статьи и заметки из них, подчеркивая, что цитаты в книге взяты непосредственно из изданий и строго выверены.²⁶

* * *

М. Горький в Болгарии всегда воспринимался как художник большого общественно-политического звучания, как провозвестник социалистических идей. Особенной популярностью пользовались такие произведения, как пьеса «На дне» и роман «Мать». И потому естествен интерес исследователей к той роли, какую эти произведения играли в общественно-литературной борьбе. Данного вопроса касались многие ученые, а В. Велчев и Й. Цонев посвятили ему специальные монографические этюды. Авторы давно занимаются изучением творчества Максима Горького вообще и его восприятием в Болгарии.²⁷

²⁴ См. рец.: И. Вандов. Ценен и актуален труд. «Литературна мисъл», 1968, № 2, стр. 149—153.

²⁵ В. Колевски. Патосът на Октомври, стр. 8.

²⁶ См. там же, стр. 6.

²⁷ Кроме указанной выше статьи «Максим Горки в България», перу В. Велчева принадлежит книга «Пьеса на М. Горки „На дне“ в ново осветление» (изд. «Народна просвета», София, 1948, 156 стр.). Йордан Цонев опубликовал статью

Отмечая национальные корни пьесы «На дне», В. Велчев рассматривает ее как произведение мирового значения в широком плане «борьбы между капиталистической и социалистической формацией в разрешении проблемы человека». И хотя между героями нет лиц с определенной социальной программой, «своим общим звучанием, — пишет ученый, — пьеса зовет на борьбу со старым миром, дышит прометеевским пафосом и уверенностью в грядущей победе свободного человека».²⁸

Этим В. Велчев объясняет необычайный успех пьесы «На дне» в Болгарии в начале века, когда пьеса оказалась «отдушиной не только для мечтающего о социальном освобождении рабочего класса, но и для других слоев народа — для большей части социалистической и народной интеллигенции».²⁹ Исследователь ссылается на интересные документы, открытые им самим и опубликованные ранее,³⁰ о восприятии горьковского творчества рабочими и социалистически настроенной интеллигенцией, показывает острую идейную борьбу вокруг пьесы между реакционными слоями общества и прогрессивными кругами, а также между оппортунистическим крылом в рабочем движении и последовательно революционным теснячеством. Большой интерес представляют публицистические отклики на постановку «На дне». Пьеса настолько взволновала рабочих и прогрессивную интеллигенцию (рабочие уже тогда устраивали коллективные посещения спектаклей), что в одной из буржуазных газет появилась паническая статья об ужасных перспективах, открывающихся перед буржуазным обществом в связи с тем волнением страстей, какие вызвала постановка горьковской пьесы.

Статья рассматривает восприятие пьесы «На дне» лишь до Октябрьской революции. Творчество Максима Горького в тот период, пишет Велчев, «поддерживает реалистические традиции в болгарской литературе, вооружает часть болгарской интеллигенции для отпора модернистским течениям, которые утверждаются в тот период, вливает свои освежающие соки в пролетарскую литературу, стимулирует развитие в ней новых принципов художественного обобщения».³¹

Однако мы думаем, что процесс развития пролетарской литературы в ее ранний период и влияние раннего Горького на болгарских пролетарских писателей были более сложными и противоречивыми, чем кажется болгарскому исследователю. О сложности этого влияния свидетельствует, в частности, ответ основоположника пролетарской литературы в Болгарии Д. Полянова на анкету Стефана Каракостова. Полянов заявляет, что, увлеченный реализмом Бальзака и натурализмом Золя, он «вначале не мог полюбить певца босяков». Восхищаясь поздние «Врагами» и «Матерью», он не принимает «Дела Артамоновых» и видит в Горьком лишь провозвестника пролетарской литературы, а не ее основоположника. И только в 40-е годы образ Горького предстает перед ним «целостным, монументальным, единственным в мировой литературе: первый пролетарский и первый социалистический поэт, беллетрист и критик».³²

Соглашаясь с тем, что «На дне» подводит зрителя к идее действенного гуманизма, предполагающего «устройство всего общества на началах социализма», и с тем, что в пьесе нет героев с определенной социальной программой, нельзя не возразить В. Велчеву, когда он, противореча самому себе, пытается все же приписать наличие такой программы некоторым действующим лицам. Он пишет, что «свою позицию социалиста» Горький выразил «в знаменитом монологе Сатина о человеке».³³ Как показали исследователи творчества Горького, философия Сатина весьма противоречива и носит на себе печать анархо-индивидуализма.³⁴ Револю-

«Дебютът на Горки» («Годишник на Софийския университет, факултет по славянска филология», т. 61, кн. 2. София, 1967, стр. 69—138) и книгу: «Романът на Максим Горки „Майка“» (София, 1967, 130 стр.). См. рец.: В. И. Злыднев. Горький в Болгарии. «Вопросы литературы», 1968, № 4, стр. 230—232.

²⁸ В. Велчев. Пьесата на Максим Горки «На дне» и прогресивната общественост в България, стр. 339.

²⁹ Там же, стр. 340.

³⁰ См.: В. Велчев. Максим Горки в България. «Език и литература», 1958, № 3, стр. 207—221.

³¹ В. Велчев. Пьесата на Максим Горки «На дне» и прогресивната общественост в България, стр. 347.

³² См.: Ст. Каракостов. Максим Горький и Димитр Полянов. «Славяне», 1958, № 2, стр. 48—49.

³³ В. Велчев. Пьесата на Максим Горки «На дне» и прогресивната общественост в България, стр. 339.

³⁴ См.: Б. В. Михайловский. Драматургия М. Горького эпохи Первой русской революции. Изд. «Искусство», М., 1955, стр. 111. См. также: С. Касторский. Драматургия Горького. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 35. Касторский возражает В. Велчеву, который впервые эту свою мысль высказал еще в 1948 году в работе «Пьеса Максима Горького „На дне“ в новом освещении».

ционный смысл пьесы выражен не одним этим монологом, а всей системой ее образов, всем ее смыслом.

Йордан Цонев в статье «Роман М. Горького „Мать“ в нашей идейной борьбе» характеризует путь, каким шла болгарская прогрессивная критика в последовательном раскрытии идейно-художественного богатства одного из «этапных произведений русской и мировой литературы».³⁵ В борьбе против реакционной критики, отрицавшей художественный талант автора «Матери», преодолевая меньшевистскую недооценку этого романа, болгарская пролетарская критика еще до 9 сентября 1944 года в лице ведущего критика—марксиста Г. Бакалова сумела, говорит Й. Цонев, оценить этот роман как произведение социалистического реализма. а Горького как «первого ратника социалистического реализма» (Г. Бакалов).³⁶ Чтобы понять важность этого факта, достаточно вспомнить, что еще в начале 60-х годов высказывались мнения о том, будто «Максим Горький не является основоположником социалистического реализма», что это якобы «не доказано» (Е. Стефанов).

Однако Й. Цонев прав, когда заявляет, что современная болгарская литературная критика или, вернее, литературоведение еще в долгу перед этим прекрасным произведением М. Горького. Болгарские литературоведы в настоящее время могут и должны создать «глубокие и детальные исследования об идейно-художественном мастерстве Горького, проявившемся в романе „Мать“».³⁷

В 1964 году Иван Цветков выступил с обобщающей работой «Максим Горький и болгарская литература».³⁸ Это первая часть задуманного автором обширного исследования о Горьком в Болгарии. Она посвящена интерпретации творчества русского писателя болгарской критикой с конца XIX века и до настоящего времени.

Нельзя не приветствовать подобной попытки. Нельзя не согласиться с автором в том, что Горький «не вменяется в традиционные рамки чисто литературных влияний и связей». Его творчество обладает настолько сильным социально-эстетическим зарядом, что выходит за пределы литературы и становится общественным событием, будоражит читателя и зрителя, поднимает на борьбу. Для болгарской литературы, пишет И. Цветков, «он (Горький, — К. Р.) явился рано — вследствие отсталости она еще не пережила той стадии внутреннего развития, не выработала тех предпосылок, которые приводят к большим результатам при соприкосновении с внешними импульсами». «Но встреча с ищущей общественной мыслью, с идейным кипением, с потребностями новых идеалов рождает великую искру глубокого родства, неослабевающей духовной близости».³⁹ Показать широкую картину восприятия Горького в Болгарии как пример теснейшей связи литературы с жизнью и ставит своей целью исследователь.

Задача большая и почетная. Ведь Горький — фигура эпохальная. Его воздействие на болгарскую жизнь и литературу в период смены двух общественно-экономических формаций неизмеримо. Почти семьдесят лет он активно участвует своим творчеством в развитии болгарской общественной жизни и художественной культуры. Самое сильное влияние оказывает Горький непосредственно на сознание читательских масс. «Никакой другой писатель, кроме Ботева, — говорит Л. Стоянов, — не помогал так много революционному, культурному и общественно-гуманистическому воспитанию широчайших кругов у нас, как Горький».⁴⁰ Своими произведениями он воздействует на развитие идей социализма в литературе, театре. Целый коллектив болгарских и советских ученых работает над тем, чтобы раскрыть картину этого воздействия. И тот, кто задумал создать обобщающий труд на эту тему, должен заботливо собрать все, что уже сделано до него, не пропустив ни одного ценного наблюдения или факта, и, добавив собственные наблюдения и добытые факты, привести все в систему, осветить общей мыслью, сделать выводы.

В какой же мере И. Цветков справился с поставленной задачей?

В его книге много интересных фактов, наблюдений, связанных с восприятием горьковского творчества в Болгарии на протяжении десятков лет, показана острая идейная борьба вокруг него в довоенный период, охарактеризовано воздействие Горького на рост демократических сил в болгарской литературе. Однако трудно определить то новое, что внес в исследование вопроса сам автор. Он широко использует опыт, накопленный в изучении поставленной темы, но в указателе имен в конце книги отсутствуют имена советских и болгарских ученых, которые давно и плодотворно занимаются этой темой. И как бы положительно ни относиться

³⁵ Й. Цонев. Роман на М. Горки «Майка» в нашите идейни борби, стр. 443.

³⁶ Там же, стр. 455.

³⁷ Там же, стр. 463.

³⁸ И. Цветков. Максим Горки и българската литература. Изд. на БАН, София, 1964, 255 стр.

³⁹ Там же, стр. 11—12.

⁴⁰ Слово на академик Людмил Стоянов. «Литературен фронт», 1968, 4 апрел, бр. 15, стр. 2.

в общем к работе Ивана Цветкова, нельзя не согласиться с многими упреками, адресованными ему Ст. Каракостовым в его рецензии на труд И. Цветкова⁴¹ и в книге Васила Колевского «Пафос Октября».⁴² В исследовании Цветкова опущены ценные факты, касающиеся постановок горьковских пьес в болгарском театре, хотя есть специальная глава «На болгарской сцене»; ничего нет о том, что горьковские пьесы ставились рабочими-любителями под наблюдением Д. Благоева; не использованы многие критические материалы прогрессивной печати. Недостаточное внимание обращено на роль Максима Горького в развитии болгарской пролетарской литературной критики, в ее борьбе за социалистический реализм, принципы партийности. Необъективно излагается отношение к Горькому некоторых печатных органов («Наковальня», «РЛФ»).

Вместе с тем в книге Цветкова целая глава посвящена ошибкам и заблуждениям М. Горького в первые годы революции (сказавшимся, в частности, в его публицистике) и реакции на них в буржуазной Болгарии. По мнению И. Цветкова, советские исследователи замалчивают этот период деятельности М. Горького, что вовсе не соответствует истине.⁴³

В 1922 году реакционное издательство «Зара» использовало момент и издало статьи М. Горького «Несвоевременные мысли», печатавшиеся в 1917 году в газете «Новая жизнь», отдельной брошюрой под заглавием «Революция и культура». Издание преследовало провокационную цель — подорвать авторитет большевиков и советской власти у болгар. Цветкову же кажется, что переводчик этих статей поступил хорошо: он-де желал предупредить опасности, которые угрожают Болгарии, если она пойдет по пути России. Не ясно ли, что переводчик и издатель думали не об уменьшении издержек пролетарской революции в Болгарии, а о том, чтобы ее не было вообще.

* * *

В Болгарии объявлено о выходе в свет новой книги Ивана Цветкова под названием «Проблемы и образы».⁴⁴ В ней рассматриваются вопросы горьковского влияния на болгарских писателей. У нас книга пока не получена. Но нам известны некоторые статьи ее автора, посвященные данной теме и опубликованные в журналах («Вапцаров и Горький»⁴⁵ и «Максим Горький и формирование социалистического реализма в болгарской литературе»)⁴⁶. Вопросов влияния творчества Максима Горького на болгарских писателей Иван Цветков касается также в статье, посвященной столетию со дня рождения писателя.⁴⁷

Цветков стремится к пониманию процесса влияния во всей его сложности и историческом своеобразии, как чего-то органичного, соприкасающегося с самыми интимными сторонами индивидуального мира художника. Исследователь говорит о влиянии Максима Горького на критических реалистов: Страшимирова, Яворова, Елину Пелина, Йовкова, П. Ю. Тодорова. Но только художник, сам подошедший к методу социалистического реализма, мог испытать влияние Максима Горького как социалистического реалиста. Таким художником был Хр. Смирненский. Он создал образы горьковского звучания, «но свои, национальные, неповторимые».⁴⁸

Сопоставляя творчество Смирненского и Горького, И. Цветков делает ценные наблюдения над миром идей и образов этих писателей. Он видит не только близость между образными системами Горького и Смирненского, но и различие, объясняющееся, с одной стороны, национальными и индивидуальными особенностями каждого из писателей, с другой — историческими причинами. У Смирненского романтическая символика, свойственная раннему Горькому, решительно от-

⁴¹ Ст. Каракостов. За по-задълбочено и отговорно изучаване въздействието на М. Горки в България. «Език и литература», 1966, № 2, стр. 82—86.

⁴² В. Колевски. Патосът на Октомври. стр. 6, 58—60, 176, 180, 298—300.

⁴³ См., например: К. Д. Муратова. М. Горький в борьбе за развитие советской литературы (Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 9—22, 118—121) и А. Овчаренко. Публицистика М. Горького («Советский писатель», М., 1961, стр. 373—438, 470—484).

⁴⁴ См.: «Език и литература», 1967, № 6 (на обложке).

⁴⁵ И. Цветков. Вапцаров и Горки. «Литературна мисъл», 1959, № 6, стр. 19—28.

⁴⁶ И. Цветков. Максим Горки и формирането на социалистическия реализъм в българската литература. «Известия на Института за литература», кн. XIV—XV. Изд. на БАН, София, 1963, стр. 5—22. В эту статью в качестве ее первого раздела почти целиком вошла указанная выше статья о Вапцарове и Горьком.

⁴⁷ И. Цветков. И той тръгна по света... 100 години от рождението на Горки. «Септември», 1968, № 3, стр. 150—160.

⁴⁸ И. Цветков. Максим Горки и формирането на социалистическия реализъм в българската литература, стр. 7.

ступает перед конкретным историзмом, перед ясными реалистическими образами: Хр. Смирненский формировался в более развитый период общественных отношений и был близок к зрелому творчеству Горького и больше всего к «Матери».

Развитость общественных отношений в Болгарии в 30-е годы, отмечает Цветков, позволила и Н. Вапцарову ясно и глубоко понять принципы социалистического реализма. Для этого у него были и субъективные предпосылки. И не в деталях он близок к Горькому, а в главном: революционный гуманизм, неистребимая вера в человека, в героическое — вот что привлекало его в Горьком. Оставаясь в традициях национальной литературы, оба поэта — Смирненский и Вапцаров — испытали на себе плодотворное влияние русского прозаика.

Отмечая вслед за Цветковым, что идейная близость Вапцарова к Горькому «дала болгарскому поэту возможность постичь Горького-художника и использовать его достижения в соответствии с собственной творческой манерой»,⁴⁹ Б. О. Шайкевич, сопоставляя произведения Вапцарова и Горького, показывает общность идейно-эстетической атмосферы их творчества (ненависть к рабству, призыв к революционной борьбе, духовно «выпрямляющей» человека труда) и протекающую из этого общность тематики (темы труда, народа), близость концепции человека, созвучность ряда стихотворений болгарского поэта основным мотивам творчества М. Горького.

В. М. Малеева поставила своей целью показать характер влияния социалистических идей и творчества Максима Горького на формирование и развитие критического реализма в болгарской литературе.⁵⁰ Для раскрытия темы она выбрала творчество трех крупнейших художников Болгарии, испытавших на себе благотворное воздействие русского пролетарского писателя: Елина Пелина, А. Страшимирова и П. Яворова. Она рассматривает их произведения не изолированно, а в историко-литературном контексте эпохи, в одном ряду с другими именами. Это помогает исследовательнице воссоздать общую картину воздействия Максима Горького на болгарских писателей и показать особенности его воздействия на каждого из избранных ею беллетристов.

Неудивительно, что в центре исследования — влияние творчества Максима Горького на художественную практику Елина Пелина. Воздействие Горького на этого талантливого и оригинального писателя было очень заметным, сильным и плодотворным, о чем он сам заявил в письме к Ст. Каракостову.⁵¹ И хотя у исследовательницы и был такой серьезный предшественник по теме, как Пеньо Русев, ей удалось сказать и свое слово. Ее сопоставления и параллели не повторяют наблюдений предшественника. В отличие от Пеньо Русева она убедительно показывает, что влияние раннего Горького на Елина Пелина не прекращается и после 1905 года. Исследовательница попыталась по-новому подойти и к следующему вопросу: почему Елин Пелин остался на позициях критического реализма, а не пошел по пути Горького и не стал социалистическим реалистом? Однако вывод В. М. Малеевой о том, что Елин Пелин после 1904 года порывает связи с крестьянством,⁵² по меньшей мере спорен, а указание на отсутствие у него связей с рабочим классом и социал-демократической партией как на причину, обусловившую невозможность перехода Елина Пелина на позиции социалистического реализма, не исчерпывает всей сложности этой проблемы. Социал-демократ Д. И. Полянов был тесно связан с болгарским рабочим движением, однако и он не сразу стал социалистическим реалистом, долго не понимал значения романа «Мать» как произведения социалистического реализма и не испытал на себе его творческого влияния,⁵³ хотя роман этот в переводе Г. Бакалова пользовался большой популярностью среди болгарских рабочих еще в самом начале века.

Болгарские исследователи (в том числе и Малеева) отмечают, что в мировоззрении и творчестве Елина Пелина были субъективные предпосылки для перехода на позиции социалистического реализма. Но в Болгарии дооктябрьского периода отсутствовали объективные условия для того, чтобы этот переход мог осуще-

⁴⁹ Б. О. Шайкевич. Н. Вапцаров и М. Горький, стр. 41.

⁵⁰ В. М. Малеева. М. Горький и болгарская литература. Автореферат дисс., 31 стр.

⁵¹ «Оригинальные сюжеты, идейность, любовь к человеку, к выброшенным из жизни людям, художественная сила его описаний и характеристик ошеломили меня, — писал Елин Пелин. — Его гений дышал какой-то первозданной силой, которая меня волновала и изумляла. Я чувствовал, что сам прошел какую-то большую школу, обогатился многими знаниями... Именно таков был смысл его влияния на меня» (Ст. Каракостов. Максим Горький и болгарская литература, стр. 38).

⁵² В. Малеева. Творческое развитие на Елин Пелин и традициите на Максим Горьки, стр. 45—46.

⁵³ См.: Ст. Каракостов. Максим Горький и Димитр Полянов, стр. 48—49; Д. Ф. Марков. Зарождение пролетарской литературы. В кн.: Очерки истории болгарской литературы XIX—XX веков. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 236.

ствиться. Когда же объективные условия возникли, Елин Пелин уже утратил субъективные предпосылки — к этому привел отрыв от прогрессивной общественности, знакомство с людьми, близкими к царскому двору, непонимание значения Октябрьской революции и т. д.⁵⁴

Такова диалектика творческого развития Елина Пелина, связанная с диалектикой общественного развития в Болгарии. Тот социализм, под влиянием которого находились критические реалисты Болгарии в конце XIX—самом начале XX века, нес на себе груз мелкобуржуазных иллюзий, а в дальнейшем теснящий догматизм и сектантство не способствовали переходу связанных с крестьянством писателей на позиции научного социализма. Так в общей форме решается вопрос о том, почему Елин Пелин не стал социалистическим реалистом и не пошел в своем развитии по пути Горького.

Теперь об отношении к предшественникам в исследовании темы. Среди них В. М. Малеева и в статье, и в реферате на первое место ставит совершенно заслуженно Пеньо Русева. Она пишет: «Опыт серьезного рассмотрения активного восприятия Горького в художественном творчестве Елина Пелина мы встречаем в работах Пеньо Русева, Кр. Генова, П. Пондева и др.»⁵⁵ И тут же заявляет, что работа Пеньо Русева «страдает упрощенческим подходом к проблеме литературного воздействия», что «на основе внешнего, элементарного сопоставления исследователь подходит... к ошибочным выводам».⁵⁶ Между тем Пеньо Русев теоретически наиболее глубоко по сравнению с другими учеными решает проблему восприятия творческого опыта Максима Горького Елином Пелином, и если в его статьях и книгах могут быть обнаружены неправильные и спорные моменты, то общий подход к проблеме и направление, избранное им для ее решения, не могут вызывать сомнений.

Работа Пеньо Русева,⁵⁷ почти не замеченная в нашем литературоведении в свое время и не вполне оцененная в Болгарии, стоит того, чтобы о ней вспомнить, так как ее автор вносит серьезный вклад в разработку теоретических принципов изучения литературных влияний.⁵⁸ Используя обширные наблюдения над творчеством Елина Пелина и сопоставляя его с произведениями А. П. Чехова и Максима Горького, исследователь рассматривает литературное влияние как творческий акт сознательного усвоения болгарским писателем опыта русских художников.

Пеньо Русев убедительно показывает, какое громадное значение для молодого болгарского беллетриста имел опыт русской литературы и особенно творчество двух ее замечательных мастеров — А. П. Чехова и Максима Горького. Творческая учеба Елина Пелина у русских писателей не только не подавляла его индивидуальности, а, напротив, способствовала ее развитию.

Болгарский исследователь поступает, на мой взгляд, глубоко верно, когда рассматривает воздействие этих двух писателей в одной статье в неразрывной связи. Влияние Чехова и Горького, как отмечает Русев, имело место в период формирования писательского мастерства Елина Пелина, совпало со временем широкого распространения творчества обоих писателей в Болгарии, обстановка в которой в конце прошлого века характеризовалась стихийными восстаниями крестьянской бедноты и ростом рабочего социалистического движения.

Участь у русских мастеров слова, Елин Пелин усваивает основные черты метода критического реализма, присущие им приемы и способы художественной типизации. Ему близок активный гуманизм русских писателей и в особенности романтический протест раннего Горького. Углубляясь в творческий процесс молодого Елина Пелина и сопоставляя его художественные приемы и метод художественного обобщения с приемами и методом Чехова и Горького, Пеньо Русев пока-

⁵⁴ См.: Хр. Йорданов. Творческият път на Елин Пелин. «Литературна мисъл», 1958, № 3, стр. 140—149.

⁵⁵ В. Малеева. Творческото развитие на Елин Пелин и традициите на Максим Горки, стр. 28; см. также: В. М. Малеева. М. Горький и болгарская литература, стр. 10.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ П. Русев. Творчество на Чехов и Горки — школа за реализма и майсторство на Елин Пелин. «Известия на Института за българска литература», кн. V. Изд. на БАН, София, 1957, стр. 169—250; см.: К. И. Ровда. Литературоведы стран народной демократии о русско-славянских литературных связях. В кн.: Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур. Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 385—387; В. Велчев и С. Русакиев. Изучаване на руско-българските и съветско-българските връзки, стр. 101; Емил Георгиев. Общо и сравнително славянско литературознание. Изд. «Наука и изкуство», София, 1965, стр. 384.

⁵⁸ См.: П. Русев. 1) Литературните влияния като школа за творческото израстване на писателя. В кн.: Славянска филология. Материали от V Международен конгрес на славистите, т. VIII. Литературознание. София, 1966, стр. 149—150; 2) Участие и роля на различните компоненти на психиката в процеса на художественно възприемане. «Литературна мисъл», 1968, № 1, стр. 54—68.

зывает, как усвоение их опыта помогло оформиться наиболее важным особенностям его реализма. Анализируя рассказы Елина Пелина, исследователь делает очевидным тот факт, что в совершенствовании своего мастерства болгарский беллетрист получал не косвенную, а непосредственную помощь русских писателей, участь у них законам жанра и композиции. П. Русев указывает целые группы рассказов писателя, на одни из которых повлияла писательская манера Чехова, на другие — Горького, но все они остались все-таки рассказами Елина Пелина, неповторимыми и своеобразными.

* * *

Мы обозрели статьи и исследования, написанные собственно по интересующей нас проблеме. К этому надо добавить, что ни одна серьезная литературоведческая статья, ни одна монография или курс истории болгарской литературы XX века не обходятся без обращения к творчеству Максима Горького как основоположника социалистического реализма и к вопросу о его роли в развитии болгарской литературы.⁵⁹

Болгарская пресса широко отметила горьковский юбилей. Привлекает не только обилие материалов, посвященных великому писателю, но и та проникновенность, теплота, с какой говорят о нем болгары. Максим Горький и сегодня является живым участником общественной и литературной жизни Болгарии. Последователь Елина Пелина и Максима Горького писатель Ст. Ц. Даскалов пишет: «Мы, болгары, считаем его и нашим писателем: десятилетиями его изучают ученые, рабочие, крестьяне, интеллигенты, писатели, драматурги, философы», и каждый «находит у него то, чего ему самому недостает. Он вошел в каждый дом, в каждую душу. Он живет в Болгарии, как в родной стране».⁶⁰

В статье «Горький и современность»⁶¹ Лазар Цветков подчеркивает, что и сегодня писатель находится в общем строю. Цветков пишет об исключительной роли, какую играл Горький в развитии болгарской литературы, в утверждении метода социалистического реализма: «Для только что возникающей социалистической литературы, создававшейся в тяжелых социальных условиях, лишенной традиций, блуждавшей в поисках правильного пути, пример такого художника, как Горький, имел решающее значение».⁶²

Как художник и мыслитель, продолжает Лазар Цветков, Максим Горький ставил крупнейшие «проблемы нашей современности» и охватывал «кардинальные процессы общественного развития», и потому в большинстве стран он — «копир искусства нового типа, учитель прогрессивных писателей. И не только вчера, но сегодня». И не только писателей. «Горьковское наследие имеет конструктивное значение для всех областей современного искусства». Горький всегда был притягательным центром для людей искусства, «влюбленных в истину, ненавидящих несправедливость, устремленных к будущему своего народа», — заключает Лазар Цветков.⁶³

По теме «Горький в Болгарии» написано немало. Накоплено большое количество материала, сделаны ценные наблюдения. В Болгарии вообще активно разрабатываются теоретические проблемы литературоведения и такой его области, как теория литературных связей. Нельзя не обратить должное внимание на известные у нас труды в области эстетики и теории литературы академика Тодора Павлова, имеющего большие заслуги в разработке ленинской теории отражения. В прошлом году вышло солидное исследование его ученика и последователя Стефана Василева «Теория отражения и художественная специфика», получившее положительную оценку в советской и болгарской печати.⁶⁴ Проблемам взаимосвязей и взаимодействия славянских литератур посвящено серьезное исследование Емила Георгиева «Общее и сравнительное славянское литературоведение».⁶⁵ Большой интерес представляет труд Михаила Арnaudова «Психология литературного творчества»,⁶⁶ подобного которому у нас пока нет.

⁵⁹ См.: Очерки истории болгарской литературы XIX—XX веков. Изд. АН СССР, М., 1959 (по указателю).

⁶⁰ Ст. Ц. Даскалов. Безсмъртие. «Народна култура», 1968, 30 март, бр. 13.

⁶¹ «Литературна мисъл», 1968, № 2.

⁶² Там же, стр. 27.

⁶³ Там же, стр. 27—28.

⁶⁴ С. Василев. Теория на отражението и художествената специфика. Изд. на БАН, София, 1967, 377 стр. См. рец.: С. М о ж н я г у н. Василев С. Теория отражения и специфика искусства. «Новые книги за рубежом по общественным наукам», М., 1968, № 2, стр. 34—39.

⁶⁵ Е. Георгиев. Общо и сравнително славянско литературознание. Изд. «Наука и изкуство». София, 1965, 397 стр.

⁶⁶ М. Арnaudов. Психология на литературното творчество. Изд. «Наука и изкуство», София, 1965, 528 стр.

Работы в области литературных связей и взаимодействий даются нелегко. Это относится и к неисчерпаемой теме «Горький в Болгарии». Коллективными усилиями болгарских ученых при содействии их советских коллег может и должно быть создано фундаментальное исследование, которое раскроет во всем богатстве и многообразии жизнь творений М. Горького в Болгарии. В нем найдется место и наиболее полному изложению фактов и самым широким обобщениям. Надо надеяться, что там будет представлена исчерпывающая библиография предмета, будет показано воздействие Горького на общественную жизнь, литературу, театр, изобразительное искусство, будет изложена история переводов горьковских произведений в Болгарии. И тогда во всем величии предстанет перед нами образ Максима Горького таким, каким его воспринимают и знают наши болгарские друзья и братья.

В. Н. БАСКАКОВ, Е. И. БИЙКО

МОНОГРАФИЯ ПОЛЬСКОГО УЧЕНОГО О ТУРГЕНЕВЕ *

В польской литературоведческой науке далеко не последнее место принадлежит той ее отрасли, которая занимается исследованием русской литературы и польско-русских литературных взаимоотношений. Только за последние годы польские издательства выпустили в свет исследования и научно-популярные монографии, посвященные творчеству многих выдающихся представителей русской литературы XIX века, среди которых Бестужев-Марлинский и Рылеев, Гоголь и Тургенев, Достоевский и Салтыков-Щедрин, Толстой и Чехов.

Изданная Польской Академией наук монография А. Семчука «Иван Тургенев и литературное движение в России в 1834—1855 годах», являясь хронологически последней в ряду указанных трудов, представляет собою первую в польском литературоведении работу о писателе, выполненную на основе тщательного изучения обширного комплекса документальных материалов и с учетом результатов предшествующих исследований в этой области, производившихся советскими, польскими и французскими учеными. Наше обращение к этой монографии обусловлено не только значительностью проблем, поставленных и решаемых ее автором, но также и тем обстоятельством, что вышла она в канун 150-летнего юбилея со дня рождения Тургенева, став свидетельством живой заинтересованности польской науки творчеством великого русского писателя, произведения которого пользуются в Польше широкой и неизменной популярностью.

Монография о Тургеневе не первая работа А. Семчука в области изучения русской литературы 1830—1850-х годов. Ему принадлежат исследования о Гоголе, Достоевском, Тургеневе, Л. Толстом, отличающиеся стремлением рассматривать творчество изучаемого писателя через призму общественно-литературного движения указанного периода. Таковы статьи «Гоголь и „натуральная школа“ в литературных полемиках 1840-х годов» («Slavia Orientalis», 1960, № 3, s. 463—474), «Лев Толстой и литературное движение 1850-х годов в России» («Slavia Orientalis», 1961, № 2, s. 187—204), «Лев Толстой и Иван Тургенев — конфликт двух литературных концепций» («Slavia Orientalis», 1963, № 3, s. 357—373) и др. Монография о Тургеневе, являясь результатом естественного развития научных интересов ее автора, посвящена анализу раннего творчества писателя. Следует отметить, что этот период творческой биографии Тургенева изучен в меньшей степени, нежели поздние этапы его литературной деятельности. Используя широкий круг материалов, касающихся как художественных творений писателя, так и общественно-литературного движения его времени, А. Семчук подходит к ним строго критически, вступая подчас в полемику со своими предшественниками.

Предпринимая последовательное изучение раннего творчества Тургенева с точки зрения общего развития русского литературного движения эпохи (см. авторское предисловие, стр. 5), А. Семчук сосредоточивает свое внимание на разработке трех важнейших проблем, определяющих в указанных выше хронологических рамках, направление идейных поисков писателя и характер процесса совершенствования его как художника.

В первом разделе книги автор стремится выявить многообразные связи раннего Тургенева с русским романтизмом в различных его аспектах и проявлениях; во втором — рассматривает творчество писателя с точки зрения эстетических и

* A. Semczuk. Iwan Turgieniew i ruch literacki w Rosji w latach 1834—1855. Wydawnictwo PAN, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, 190 str. (Komitet słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk).

общественных задач, которые ставили перед собой представители натуральной школы, и, наконец, заключительный раздел книги посвящает анализу произведений, созданных после 1848 года, когда, как утверждается в монографии, Тургенев пережил «духовный кризис».

Первый раздел книги — «Тургенев и проблемы романтизма» — хронологически ограничен 1834—1846 годами. А. Семчук прослеживает здесь путь писателя от подражательной драматической поэмы «Стено» к лирической сюите «Деревня», представляющей поэтическую программу позднейших «Записок охотника».

Присоединяясь к исследователям, которые считают, что многие лирические стихотворения Тургенева 1830-х годов написаны под влиянием Жуковского, А. Семчук в то же время предпринимает попытку установить путем сравнительного анализа разнообразие и особенности поэтических приемов, воспринятых писателем у поэта-романтика и органически вошедших в его собственную творческую систему. Кроме того, анализируя поэму «Стено», он высказывает предположение о возможном влиянии на Тургенева Жуковского-переводчика, отвергавшего принцип рабского следования за переводимым оригиналом. Автор рецензируемой работы справедливо отмечает далее, что после 1840 года воздействие поэзии Жуковского на Тургенева ослабевает, хотя следы бывшего увлечения сентиментально-меланхолическим романтизмом можно обнаружить и в зрелом творчестве писателя.

Одновременно с разработкой проблемы творческой взаимосвязи Тургенева и Жуковского А. Семчук обращается к выяснению степени и глубины влияния на ранние произведения Тургенева Бенедиктова и Бестужева-Марлинского, интерес к которым характерен для молодого писателя и ощущим вплоть до развенчания их славы в статьях Белинского 1835 года.

Центральное место в первом разделе книги А. Семчук отвел исследованию связей Тургенева с кружком Н. В. Станкевича. Историю знакомства и сближения Тургенева со Станкевичем автор прослеживает на широком фоне идейных исканий передовой русской молодежи конца 1830-х — начала 1840-х годов. Общее направление этих исканий определило, в свою очередь, перекличку некоторых тем и мотивов лирики Тургенева той поры и творчества поэтов кружка Станкевича. В книге приведены интересные наблюдения, дающие А. Семчку основания писать о непосредственном влиянии элегий В. Красова и И. Ключникова на элегии Тургенева. Однако наличие этого влияния еще не означает, что Тургенев не учился в то же время у Пушкина и Лермонтова. Думается, что отсутствие раздела, посвященного выяснению связей лирики Тургенева с творчеством Пушкина и Лермонтова, является существенным пробелом работы Семчука.

Последняя глава первого раздела книги посвящена реалистическим произведениям Тургенева. Автор, вслед за другими исследователями, отмечает, что в поэме «Параша», в повестях «Три портрета», «Бретер» и в особенности в статье о «Фаусте» Гете Тургенев выступил с критикой романтизма не только как литературного метода, но и как типа мировоззрения, индивидуалистического и анти-социального по своей сущности.

Тургеневу как одному из основных участников натуральной школы посвящен второй раздел книги. Опираясь на работы русских исследователей, А. Семчук рассматривает историю зарождения в русской литературе физиологического очерка, который, как он считает, был ведущим жанром на первом этапе существования натуральной школы. Следует отметить однако, что при этом автор книги сужает рамки натуральной школы и искусственно отрывает ее от общей линии развития русского реализма. Вряд ли можно также согласиться с утверждением А. Семчука, что «натуральная школа у своих истоков не была школой реализма, понимаемого исторически». Эта точка зрения определила и стремление автора представить поэму Тургенева «Помещик» (1845) как произведение, не соответствующее эстетическим принципам натуральной школы. В данном случае А. Семчук вступил в полемику с Белинским, который назвал в 1848 году стихотворный рассказ Тургенева «Помещик» физиологическим очерком помещичьего быта. Автор книги считает, что близость «Помещика» к «Тамбовской казначейше» Лермонтова и вообще к пушкинско-лермонтовской традиции является достаточным основанием для выведения этой поэмы за рамки натуральной школы. Между тем Белинский, теоретик и организатор натуральной школы, что важно учитывать при решении этой проблемы, всегда подчеркивал преемственность, существующую между творчеством Пушкина и Лермонтова и писателей натуральной школы. Следует, однако, отметить, что споры по поводу историко-литературного толкования понятия «натуральная школа» идут и сейчас,¹ и наше возражение А. Семчку не носит поэтому категорического характера, являясь естественным продолжением этого спора.

В том же разделе «Тургенев и натуральная школа» автор высказал интересные соображения, уточняющие датировку так называемых «Сюжетов» Тургенева, и сделал попытку объяснить, почему замысел цикла физиологических очерков

¹ Ср.: Ю. Манн. Человек и среда. (Заметки о «натуральной школе»), «Вопросы литературы», 1968, № 9, стр. 115—134.

остался неосуществленным. Автору следовало бы, однако, отметить, что некоторые из «сюжетов» впоследствии были разработаны Тургеневым и включены в его художественные произведения.

Значительное место в книге отведено анализу «Записок охотника». А. Семчук справедливо пишет, что Тургенев предпринял «попытку физиологического очерка из жизни деревни, опираясь на традиции очерков Даля», что жизнь деревни стала ведущей темой литературы второй половины 1840-х годов, что автор «Записок охотника» изображал процессы, происходившие в деревне, с западных позиций. Все эти выводы, к которым А. Семчук пришел в результате анализа и сопоставлений разнообразных документов эпохи, литературных материалов и суждений современных исследователей, весьма существенны для уяснения общего направления художественных поисков Тургенева и определения его места в литературной и общественной борьбе того времени. При всем том нам кажется, что автор книги недооценивает роль Белинского в формировании Тургенева как писателя реалистического направления и не принимает во внимание то обстоятельство, что «Записки охотника» были задуманы и создавались в значительной степени под влиянием идей критика-демократа.

Анализируя общую художественную структуру «Записок охотника» как единого композиционного целого, А. Семчук высказывает ряд интересных и тонких наблюдений. Он считает, что 1847 год был неким рубежом, отделившим первые тринадцать очерков от всех других, написанных в последующие годы. По мнению автора, именно в это время Тургенев «предпринял несколько смелых художественных решений, придавших новое направление его творчеству». После некоторых колебаний, отразившихся в очерках «Бирюк» и «Малиновая вода», Тургенев обратился к нравственно-психологической проблематике. В этой связи в монографии подробно рассматривается ряд произведений — от «Уездного лекаря» до «Гамлета Штирковского уезда».

Заключительный раздел монографии хронологически ограничен 1849—1855 годами. Он называется «От духовного кризиса 1848 года к роману „Рудин“». А. Семчук, вслед за французским исследователем творчества Тургенева А. Гранжаром,² считает, что под влиянием событий революции 1848 года писатель пережил «духовный кризис» и пришел к пессимистическому взгляду на возможности прогрессивного общественно-политического развития человечества. В этот же период, утверждает автор, в мирозерцании Тургенева определилась склонность к трагическому восприятию судьбы человека, находящейся в фатальной зависимости от «чарующей, но враждебной человеку природы» (стр. 150).

В данном случае автор книги коснулся одного из самых сложных и в то же время важных вопросов, возникающих при изучении мировоззрения Тургенева. При этом, однако, нам кажется, что А. Семчук несколько упростил проблему, связав формирование у Тургенева натурфилософских пессимистических взглядов с разочарованием в политических перспективах западноевропейской революционного движения.

Как известно, Тургенев всегда подчеркивал, что человек живет не только в обществе, развивающемся исторически, но он в то же время зависит от вечных и внеисторических стихийных сил природы. Поэтому трагическое восприятие извечной коллизии «человек—природа», характерное для Тургенева, не может быть объяснено поражением революции 1848 года, т. е. событием, относящимся только к сфере исторического бытия человека. К тому же элементы пессимистических воззрений этого рода были присущи писателю и до 1848 года, и он их неоднократно высказывал в своих письмах.

Все произведения, относящиеся к исследуемому в данном разделе периоду, автор монографии рассматривает в двух аспектах. В их отношении к предыдущему периоду творчества Тургенева, с одной стороны, и к первому роману писателя «Рудин», с другой стороны. В процессе решения этих проблем раскрываются широкие связи Тургенева с предшествующей и современной русской литературой, выясняются художественные образцы и традиции, которым он следовал, создавая свой первый роман.

В заключение следует отметить, что А. Семчук написал интересную и полезную монографию, представляющую собою серьезное итоговое исследование. Работа польского ученого является заметным вкладом в изучение творчества Тургенева и представит интерес не только для польского, но и для советского литературоведения.



² См.: Н. Granjard. Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps, Paris, 1954.

ХРОНИКА

ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 169-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА

5 июня 1968 года в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР состоялось торжественное заседание, посвященное 169-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. Заседание открыл академик М. П. Алексеев (Ленинград), предоставивший слово для доклада «Пушкиноведение на пороге новых задач» доктору филолог. наук Б. С. Мейлаху (Ленинград). В настоящее время, отметил Б. С. Мейлах, мы становимся очевидцами огромного интереса к Пушкину в самых широких кругах нашего народа. Об этом свидетельствует, например, тот поистине всенародный характер, который приняли праздники «День поэзии», ежегодно проводимые 6 июня в Пушкинском заповеднике и привлекающие огромное количество участников, в том числе и зарубежных деятелей культуры и искусства. Этические и эстетические идеалы, которые выражал в своем творчестве Пушкин, не потеряли актуального значения и для нашей эпохи; именно этим объясняется огромная популярность его поэзии. Пушкинская ясность и гармоничность становятся как бы эталоном поэтического совершенства, способствуя созреванию поэтических дарований и высокого литературного мастерства. Неслучайно выдающиеся поэты современности — Блок, Пастернак, Ахматова, Маяковский, отмечали исключительное и ни с чем не сравнимое воздействие творчества Пушкина, высокая простота и жизненность которого становились доступными для них в полной мере лишь в процессе их собственного творческого возмужания. В наши дни, подчеркнул докладчик, сфера воздействия Пушкина значительно расширилась. В результате громадных исторических перемен в жизни человечества и фантастических побед научной революции неизмеримо возросли возможности всестороннего познания мира природы и общественных отношений. Аналитический подход к самым разнообразным жизненным впечатлениям и явлениям становится всеобъемлющим. Однако рационализм, который сам по себе является столь важным в познании, может обернуться схематизмом, узостью, ограничением богатой эмоциональной

сферы, всех оттенков психологических состояний, эстетических переживаний, если одновременно с ростом аналитических элементов мышления и восприятия не будет постоянно осваиваться великое искусство гениев художественного творчества, в котором мысль и чувство, разум и воображение находились в гармонической уравновешенности. В этом отношении знаменательно признание Эйнштейна, который заявил, что Достоевский дал ему больше, чем великий математик Гаусс. Пушкин является величайшим из поэтов, который сумел не только достигнуть гармонии сфер мышления и эмоций, но и доказать ее необходимость. Он говорил об этом в своеобразных поэтических формулах (таковы его постоянные упоминания о союзе «ума» и «сердца» или знаменитые строки в стихотворении «Герой»: «Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран...»). Все это свидетельствует о том, что наследие Пушкина является сегодня могучим стимулом в развитии мышления и мировосприятия современного человека, стимулом, уравновешивающим анализ и эмоциональную сферу, и, следовательно, стимулом в развитии и художественного и научного познания.

Пушкиноведение, таким образом, не может отстраниться и от этих вопросов значения наследия великого поэта для всей современной культуры, если оно не хочет замкнуться в узкой сфере.

Нет необходимости говорить о достижениях советского пушкиноведения: они значительны и очевидны. Издание полного академического собрания сочинений Пушкина, серийных трудов, коллективных сборников, монографий, посвященных жизни и творчеству Пушкина, библиографий произведений Пушкина и литературы о нем и других специальных пушкиноведческих работ свидетельствует о больших и несомненных успехах науки о Пушкине. «В настоящее время эта наука стоит на пороге новых задач», — заявил докладчик. В частности, он отметил необходимость нового академического издания сочинений Пушкина и создания «Пушкинской энциклопедии».

Необходимо, считает Б. С. Мейлах, отрешиться от устаревших представлений и предвзятых схем, тормозящих дальнейшее развитие нашей науки. Не менее важны и поиски новых путей и новых аспектов в изучении пушкинского наследия. Так, весьма плодотворным представляется синтетическое изучение деятельности Пушкина в сложной совокупности всех ее областей — поэзии, прозы, публицистики, критики, истории, во всем жанровом многообразии этой деятельности, пронизанной единством проблематики. Следует более глубоко и масштабно, нежели это делалось до сих пор, рассматривать проблему пушкинского историзма, привлекая более широкий круг источников и фактов и одновременно освещая сложные вопросы философии истории. Нужно также вернуться и к литературно-критической интерпретации Пушкина писателями и деятелями культуры различных исторических эпох; в частности, пересмотреть и уточнить некоторые положения концепций пушкинского творчества, выдвинутых Белинским, Достоевским, революционными демократами. В заключение докладчик остановился на значении новых комплексных методов в литературоведении, подчеркнув вместе с тем необходимость дальнейшего совершенствования и обогащения традиционных методов изучения художественного творчества.

Доктор филолог. наук Б. П. Городецкий (Ленинград) выступил с докладом «Пушкин и некоторые вопросы русской культуры». Огромное явление Пушкина, начал он свое выступление, выходит далеко за пределы пушкиноведения и литературоведения, захватывая историю общественной мысли и русской культуры в целом. В настоящее время Пушкин — общенациональная и общекультурная проблема. Определяя культуру как совокупность достижений нации в области литературы, искусства и научного прогресса, Б. П. Городецкий поставил своей задачей определить вклад Пушкина в развитие русской культуры. Однако осознавая, что в полной мере осветить эти достижения невозможно в пределах доклада, Б. П. Городецкий остановился лишь на самых важных аспектах своей темы. Необходимо, отметил докладчик, различать две ее стороны: влияние предшествовавшей культуры на формирование Пушкина и активное воздействие творчества поэта на современную ему культуру и культуру последующих исторических эпох.

В докладе были подробно проанализированы ленинские высказывания о двух культурах. В свете этого учения, подчеркнул Б. П. Городецкий, особое значение приобретает роль Пушкина в развитии русской демократической культуры, которая, в свою очередь, в лице наиболее выдающихся ее представителей (Фонвизина, Радищева, про-

светителей XVIII века) сыграла огромную роль в формировании самого Пушкина. Особенно велика роль этих традиций в исторических размышлениях Пушкина о прошлом и современности. Таковы, например, произведения Пушкина, исторические и художественные, посвященные эпохе Петра I. «Роль национальной русской культуры в формировании такого огромного ее явления, каким представляется творчество Пушкина, не снимает вопроса об исключительной важности для Пушкина европейской культуры», — отметил докладчик.

От рассмотрения общих вопросов творческой эволюции Пушкина в его отношении к русской и мировой культуре Б. П. Городецкий перешел к анализу деятельности Пушкина как историка, публициста, руководителя современной ему литературы. Характерно, что Пушкин поддерживал ростки нового в литературе и критике, приветствовал Гоголя и Белинского, содействовал успеху многих молодых поэтов. В своем творчестве он дал высокие образцы подлинно реалистического искусства. Пушкин определил облик русской прозы, романа и повести. Именно в пушкинских прозаических произведениях («Повестях Белкина», «Капитанской дочке», отрывках из «Русского Пелама» и др.) содержится глубокий анализ социально-исторических и общественно-политических проблем русской действительности 20—30-х годов XIX века. В заключение Б. П. Городецкий остановился на значении Пушкина для нашей современности.

Кандидат филолог. наук С. Г. Бочаров (Москва) в своем докладе «Автор и рассказчик в „Повестях Белкина“ Пушкина» обратился к «проблеме Белкина», до сих пор вызывающей споры и представляющей первоочередной интерес не только для понимания «Повестей Белкина», но и других произведений Пушкина (например, «Истории села Горюхина»). Докладчик отметил, что существуют две точки зрения на образ Белкина. Многие литературоведы считают Белкина типом героя, близко стоящего к народу, носителем черт народного сознания. Однако в ряде работ Белкин рассматривается как своего рода фикция, маскирующая непосредственное участие автора в повествовании. Докладчик задался целью выяснить идейно-художественную и структурную роль рассказчика «Повестей Белкина». Наиболее близок к правильному пониманию этой роли, по мнению С. Г. Бочарова, был Аполлон Григорьев, видевший в Белкине воплощение «смирненного» начала русской нации. Однако, заметил докладчик, в пушкиноведении не всегда учитывается, что А. Григорьев был далек от безусловной апологии Белкина — носителя смирненного начала, которая была свойственна, например, Н. Н. Страхову, значительно

упростившему мысль Аполлона Григорьева. Необходимо иметь в виду, подчеркнул С. Г. Бочаров, что в истолковании Григорьева Белкин обнаруживает свои положительные стороны лишь в соотношении с другими пушкинскими героями, воплощающими мятежное и бунтующее начало. Аполлон Григорьев подметил заключающиеся в характере Белкина потенции косности, застоя, которые, по мнению критика, являются оборотной стороной белкинского смирения перед жизнью как таковой. Опираясь на точку зрения А. Григорьева, рассматривающего Белкина как определенный тип отношения к действительности, С. Г. Бочаров характеризует наиболее существенные особенности этого пушкинского персонажа. Бросается в глаза, подчеркивает докладчик, неопределенность этого образа: у Белкина как бы отсутствуют противоположные свойства, образующие динамику характера. Эти наблюдения приводят докладчика к выводу, что роль Белкина в «Повестях Белкина» особая, скорее структурная, чем идейно-художественная. С Белкиным, считает С. Г. Бочаров, связан вопрос о самоопределении пушкинской прозы. Он является посредником между автором и читателем, облегчая автору трудности объективированного повествования в прозе в отличие от субъективной манеры, свойственной поэзии. Введение в «Повести Белкина» бытового рассказчика, резюмирует докладчик, определяет простоту фабулы и особенности стиля пушкинского произведения. Однако простота «Повестей Белкина» — это сознательный прием, их важнейшая композиционно-структурная особенность, сочетающаяся со сложным сюжетным построением и богатством проблематики.

Присутствующие на заседании заслушали также доклад кандидата филолог. наук В. В. Кожина (Москва) «О характере реализма Пушкина». Русскую реалистическую литературу периода ее становления, заявил докладчик, нередко сопоставляют с современной ей литературой Запада. Между тем это едва ли правомерно: за плечами западноевропейских реалистов XIX века была уже многовековая реалистическая традиция, тогда как русский реализм только начинал складываться, а русское искусство в целом ряде отношений оказывалось близким искусству и культуре европейского Ренессанса. Неслучайно

поэтому, заметил В. В. Кожин, многие видные европейские критики (например, Мериме) сравнивали русских писателей (Пушкина, Гоголя) с представителями античной и ренессансной литературы. Докладчик останавливается на понятии Ренессанса в применении к русской культуре первой половины XIX века, подчеркивая, что ренессансные задачи вставали перед каждой нацией в период ее выхода на арену мировой истории. Было бы недостаточным, считает В. В. Кожин, определять эпоху Ренессанса как эпоху «рождения личности». Ее задачи гораздо шире и значительнее, это эпоха рождения нации, национальной культуры, национального языка. Особенно важное значение приобрели в этот период проблемы создания литературного языка. Культура слова, какой она была в пушкинское время, утверждалась не только усилиями Пушкина, но и Баратынского, Языкова, Дельвига и других современников Пушкина; именно в пушкинскую эпоху русская литература обрела окончательно сформировавшийся литературный язык. Недаром А. Блок назвал ее «единственной культурной эпохой в России прошлого века». В. В. Кожин приводит и комментирует высказывания Г. О. Винокура об этой «золотой поре» русской культуры, отмечая в то же время, что охарактеризованный исследователем единый процесс становления личности и нации, сказавшийся в слиянии индивидуального стиля с общенациональным литературным языком, составляет решающую особенность именно ренессансной эпохи.

Свою мысль о том, что пушкинское творчество есть воплощение ренессансного начала, понимаемого как умение увидеть и передать бездонность и неисчерпаемость жизни во всем ее многообразии, в самых противоречивых и разнохарактерных ее проявлениях, В. В. Кожин иллюстрирует конкретными примерами из поэзии Пушкина. Анализом стихотворения «Дорожные жалобы», полемически заостренным против его истолкования Г. А. Гуковским, завершил В. В. Кожин свой доклад.

В заключение присутствующие на торжественном заседании прослушали стихи Пушкина в исполнении мастеров художественного слова.

Р. В. ИЕЗУИТОВА

ПАМЯТИ Д. И. ПИСАРЕВА

27 июня 1968 года состоялось заседание ученого совета Института русской литературы, посвященное 100-летию со дня смерти выдающегося русского литературного критика и публициста Дмитрия Ивановича Писарева.

Заседание открыл заведующий сектором новой русской литературы, доктор филолог. наук Н. И. Пруцков. С докладом «Судьба литературного наследия Д. И. Писарева» выступил доктор филолог. наук Ю. С. Сорокин.

Выяснение судьбы литературного наследия писателя, по мнению докладчика, предполагает ответы на следующие вопросы: 1) насколько собрано, учтено и известно это наследие; 2) насколько и каким образом оно понято и истолковано; какую роль играло оно в формировании взглядов последующих поколений, насколько оказалось живым и действенным.

Судьба писаревского наследия представляет живой интерес, а в истории отношения к Писареву его современников и последующих поколений много закономерного, поучительного и вместе с тем нередко парадоксального.

Писарев был первым русским критиком, собрание сочинений которого было подготовлено еще при жизни и завершено изданием вскоре после его смерти. Значение этого издания, вышедшего в 10 частях в 1866—1869 годах значительным по тому времени тиражом (3000 экз.), трудно переоценить. Оно явилось одним из основных текстологических источников для изданий Писарева. Некоторые статьи были в нем опубликованы впервые («Генрих Гейне», «Пчелы», «Наши усыпители»). В первом издании сочинений были устранены существенные цензурные искажения, имевшие место в первых журнальных публикациях статей критика (например, в «Реалистах»). История этого издания представляет одну из ярких страниц борьбы с царской цензурой. В 1866—1868 годах был наложен арест на вторую его часть (за помещенные в ней статьи «Бедная русская мысль» и «Русский Дон-Кихот») и состоялся судебный процесс против издателя. Решающую роль в осуществлении этого издания сыграл прогрессивный русский деятель, друг и приверженец Писарева Ф. Ф. Павленков. С ним и его издательством связано и дальнейшее распространение и издание сочинений Писарева вплоть до Октябрьской революции. Первое издание сочинений имело большой успех и быстро стало библиографической редкостью. Уже в 1870 году Павленковым было предпринято второе издание, повторяющее первое; однако из-за цензурных преследований его полностью осуществить не удалось.

Затем наступает перерыв в издании сочинений критика, совпадающий с временным падением интереса к Писареву в 80-е годы. Лишь в середине 90-х годов Павленкову удалось добиться разрешения на выпуск нового, более полного собрания сочинений в шести томах убоистой печати (первое издание шеститомника — 1894; пятое, последнее — 1909—1913; отдельные тома вышли шестым изданием). Начался второй период в распространении сочинений Писарева, совпадающий с усилением читательского интереса к его наследию на самом рубеже второго и третьего периодов в развитии русского освободи-

тельного движения. Это издание, имевшее очень большой успех у читателя, и до сих пор остается наиболее полным собранием текстов Писарева. Однако оно все-таки не было полным. Первые издания шеститомника подверглись цензурным преследованиям, и в них имели место вопиющие искажения и усеечения текста ряда статей («Очерки из истории труда», опубликованные в шеститомнике под названием «Зарождение культуры», «Генрих Гейне», «Исторические эскизы»). Некоторые статьи вообще не могли войти в это издание и появились только в дополнительном выпуске к нему, вышедшем после революции 1905 года трижды (1-е изд. — 1907; 3-е — 1913; сюда вошли ранее запрещавшиеся цензурой статьи «Мыслящий пролетариат», «Бедная русская мысль» и «Наши усыпители», а также впервые опубликованная по сохранившейся рукописи статья «Мысли по поводу сочинений Марка Вовчка»). Шеститомник был лишен необходимого критико-библиографического аппарата; текстологически он далеко не во всем удовлетворяет современным научным требованиям. Не свободно было издание и от отдельных промахов в хронологическом отношении материалов. Так, статья «Генрих Гейне», написанная в 1867 году, была приурочена к 1862 году. Эта неполнота и очевидные недостатки шеститомного издания, наряду с тем, что и оно скоро стало библиографической редкостью, уже давно поставили на очередь вопрос о выпуске в свет действительно полного, текстологически вполне достоверного собрания всех известных сочинений и сохранившихся писем критика.

В советскую эпоху была проделана большая работа по изучению наследия Писарева, по розыскам ранее не опубликованных материалов в архивных фондах и их описанию. Здесь следует отметить существенные публикации новых текстов, осуществленные в 1920—1950 годах Е. Казанович (в частности, незаконченной статьи «Дидро и его время»), М. К. Лемке (полный текст прокламации по поводу Шедо-Ферротти). Б. П. Козьмина, К. Н. Григорьяна (в приложении к составленному им описанию рукописей Писарева из собрания Пушкинского дома, 1941), Ф. Ф. Кузнецова, Э. И. Розенберга, В. А. Архипова (рукописный список статьи о романе «Что делать?» Чернышевского) и др. Можно смело сказать, что теперь уже определился в целом корпус будущего полного собрания сочинений. Неразысканными остаются лишь некоторые статьи его, о которых имеются в существующей литературе о Писареве лишь упоминания («Пульхерия Ивановна», физиологический очерк «Рука»).

В 1930—1950 годах были осуществлены два издания избранных сочинений Писарева (1934—1935 — в двух томах, текстологическая подготовка

Н. Ф. Бельчикова; 1955—1956 — в четырех томах, текстологическая подготовка Ю. С. Сорокина). В них была учтена большая работа, проделанная в области изучения произведений Писарева. Они вышли значительным тиражом, что свидетельствует о неослабевающем интересе читателей к творчеству критика. В советские годы неоднократно публиковались сочинения Писарева в том или ином объеме, а также отдельные его статьи. Однако издание академического полного собрания сочинений Писарева, о котором уже давно и неоднократно поднимался вопрос, до сих пор остается неосуществленным. В интересах широких читательских кругов и дальнейшего углубления изучения писаревского наследия необходимо скорее приступить к его подготовке. Это тем более необходимо, что из корифеев русской демократической мысли XIX века только Писарев еще ожидает такого издания.

Докладчик подчеркнул далее, что ни один русский критик не являлся объектом таких ожесточенных и длительных споров, столь разноречивых и прямо противоположных оценок, как Писарев. Вместе с тем чрезвычайно характерно для истекшего столетия резкое расхождение между исключительно широкой популярностью писаревского наследия, интересом к нему широких кругов читателей, с одной стороны, и строгостью, а нередко и очевидной предвзятостью отношения к нему критики, с другой, причем часто возникало ощущение недостаточной изученности этого наследия (на что неоднократно указывали многие авторы работ, посвященных Писареву). Споры в известной степени определялись также и теми противоречиями, которые были внутренне присущи мировоззрению Писарева, резкой заостренностью многих его высказываний и сложной, но вместе с тем нередко стремительной эволюцией его взглядов.

Дискуссия вокруг литературного наследия Писарева затрагивала круг следующих вопросов: отношение к демократической революции и народу, особенно — крестьянству как основной опоре демократического движения 60-х годов; отношение к капитализму и социализму; отношение к вопросу о свободе личности как одному из основных требований общедемократической программы; соотношение, в ходе развертывания движения трудящихся масс, народа и интеллигенции и их роль в общественном прогрессе; соотношение революционного действия и просветительской пропаганды, связанной с потребностями переустройства общества и развития идеологии, и — конкретно — значение распространения естественно-научных знаний для формирования мировоззрения и общественной роль литературы и различных видов искусства.

Все эти вопросы были поставлены уже современной Писареву критикой. «Современник», ведший резкую полемику с «Русским словом» и особенно с Писаревым в период создания им «теории реализма» (1864—1865), обвинял Писарева в отступлении от идей Чернышевского и Добролюбова, в «понижении тона», т. е. в уступках либеральному просветительству и в отходе от революционной программы, в неверии в силы народа, в преувеличении роли развития и распространения естественно-научных знаний как источника общественного прогресса, в искажении основ материалистической эстетики Чернышевского. К этому сводилась критика Писарева слева, на страницах позднего «Современника» (М. Е. Салтыков-Щедрин, М. А. Антонович). Реакционный и либерально-охранительный лагерь (Н. Н. Страхов, Е. Ф. Зарин, Н. И. Соловьев и др.) рассматривал Писарева как законченного представителя литературного «нигилизма»; критика справа стремилась опровергнуть материалистические взгляды Писарева, показать их «вульгарность» и особенно несостоятельность его эстетических концепций, свести всю программу Писарева к голому отрицанию и разрушению прежних «ценностей».

За одиночными исключениями критика 70—80-х годов ограничивалась воспроизведением этих двух подходов к наследию Писарева. Реакционную и либеральную точку зрения на Писарева повторяли в своих обзорах литературного движения 60-х годов А. Волынский, И. И. Иванов, К. Головин и др. Народническая критика, особенно в лице ее эпигонов, эволюционировавших к либерализму, продолжая по традиции противопоставлять Писарева Чернышевскому и Добролюбову, смотрела на него как на временного «попутчика» демократического движения 60-х годов, готова была видеть в нем проповедника ничем не сдерживаемого индивидуализма и гедонизма, якобы игнорировавшего основной социальный вопрос, поверхностного утилитариста и т. д. (А. М. Скабичевский, М. А. Протопопов, И. Р. Иванов-Разумник, Н. М. Михайловский). Только в критических статьях и воспоминаниях ветерана революционного движения шестидесятника Н. В. Шелгунова Писарев рассматривался как своеобразный, но последовательный представитель демократических идей 60-х годов.

Новый этап в освещении и оценке идейного наследия Писарева и начало его углубленного исторического изучения связаны с распространением и развитием марксизма в России. Многие свидетельства сохранили нам факты исключительного внимания к Писареву со стороны участников марксистских рабочих кружков 90-х годов. Известно, как высоко ценил силу и смелость писаревской мысли В. И. Ленин. Первой

попыткой дать марксистский анализ деятельности и мировоззрения Писарева явилась статья В. И. Засулич (1900), полемически направленная против реакционно-либеральной и народнической интерпретации Писарева. Эту статью Ленин оценивал как «превосходную». В ней впервые с большой силой было подчеркнуто, что основным для Писарева в период наивысшего подъема его творчества, т. е. в период развития им «теории реализма», был вопрос «о голодных и раздетых». В. И. Засулич стремилась раскрыть идейную эволюцию Писарева, представляя ее в виде восходящей линии от первых, еще нередко распылчатых идей освобождения личности от гнета окружающей среды ко все более обостренному вниманию к проблематике социальной, к поискам путей для утверждения истинно демократических и социалистических идеалов и способов покончить с господством нищеты и эксплуатации человека человеком. Невозможность рассматривать Писарева как чистого просветителя, вне связи с основным развитием демократического движения 60-х годов, подчеркивал и В. В. Воровский (1908).

Дальнейшая разработка наследия Писарева относится к советской эпохе. Советские историки, философы и литературоведы подвергли внимательному изучению многие факты биографии Писарева, широкий круг его статей, историю создания важнейших его произведений, отдельные этапы его недолгой, но интенсивной журнальной деятельности. Число работ, посвященных Писареву, его жизни и деятельности в журналах «Рассвет», «Русское слово» и «Отечественные записки», анализу его социально-политических, философских, этических, эстетических воззрений, педагогических взглядов, особенностей его критического метода, его стиля и языка и т. д., особенно заметно возрастает начиная с 30—40-х годов (монографии и статьи Б. П. Козьмина, Н. И. Четунвой, Л. А. Плоткина, Ф. Ф. Кузнецова, Л. Э. Варустина, Л. Я. Станис и др.). Вместе с тем в исследованиях, посвященных Писареву, в последние четыре десятилетия нашли отражение и некоторые прежние тенденции освещения его идейного пути, вспыхивали с новой силой старые споры о направлении и основном значении его эволюции. Еще в статье о Писареве В. Ф. Переверзева (1926), отражающей характерные черты его механистического подхода к явлениям идеологии, несмотря на попытку рассматривать творчество Писарева как наиболее близкое к марксизму звено в развитии русской общественной мысли, Писарев все же расценивался как представитель «индустриализма» на его первой стадии, когда интересы буржуазии и пролетариата еще не являлись достаточно противопоставленными. В книге В. Я. Кирпотина «Радикальный разно-

чинец Д. И. Писарев» (1934) эволюция критика представлялась как дугобразная кривая, высшей точкой которой были его статьи 1861—1862 годов (к ним относилась и статья «Генрих Гейне»); затем, по мнению Кирпотина, Писарев якобы от нестойкой и не вполне оформившейся революционности перешел к мелкобуржуазному просветительству, а его взгляды времени «теории реализма», при всем их кричащем радикализме, оказались позади воззрений Чернышевского и Добролюбова. Вновь возрождалась концепция о Писареве как временном и непоследовательном попутчике революционной демократии 60-х годов. С некоторыми вариациями этот взгляд на эволюцию Писарева был изложен и С. С. Борщевским (Щедрин и Достоевский. М., 1956). Правда, переход Писарева в «Отечественные записки» незадолго до его смерти рассматривался (недостаточно аргументированно) как новый поворот, как известное возвратное сближение с линией Чернышевского—Добролюбова.

Этой точке зрения во многих существенных пунктах противостояла концепция Б. П. Козьмина, изложенная им в работе «Писарев и социализм» (1929). Заслугой Козьмина явилось тщательное выяснение точек сближения Писарева с идеями социализма именно в решающих, наиболее важный период его творчества (1864—1865). Б. П. Козьмин поставил вопрос о воздействии на Писарева развивающегося рабочего движения на Западе, об усилившемся у него интересе к проблеме пролетариата. Вместе с тем Козьмин, рассматривая деятельность Писарева в общем русле революционно-демократического движения России 60-х годов, подчеркивал особое направление ее. Писарева он считал свободным от народнических тенденций, в особенности — от взгляда на русскую крестьянскую общину как условие, создающее возможность миновать капиталистический путь развития. Писарев, по его мнению, уже не мог рассчитывать на решающие успехи крестьянского движения как основы коренного демократического переустройства страны в ближайшем будущем.

В работах о Писареве 40—50-х годов обстоятельно раскрывалось основное содержание идейной программы Писарева, все более четко определялся взгляд на Писарева как на одного из выдающихся представителей революционно-демократического направления 60-х годов. Было убедительно показано, что при всем своеобразием, внутренних противоречиях и крайностях его позиция в центральных для его творчества годы не была отступничеством от основных идеалов революционно-демократической мысли, что он и в период создания своей «теории реализма» продолжал оставаться убежденным материалистом, защитником народных интересов, бор-

дом против реакции и буржуазного либерализма, горячим сторонником общественного прогресса. Вместе с тем у ряда авторов в 40—50-х годах наметилась тенденция известного сглаживания внутренних противоречий, присутствующих мировоззрению Писарева. Не всегда учитывалось своеобразие его идейной программы, особенно в том виде, как она сложилась после 1861 года, ее отличие от конкретной социально-политической программы Чернышевского и Добролюбова в период революционной ситуации. Указания на отдельные расхождения, в частности в отношении к естествознанию и отдельным видам искусства, нередко расценивались как ошибки Писарева без детального выяснения их обусловленности общим направлением трудных поисков решения основного социального вопроса в условиях, сложившихся в 60-х годах под воздействием новых факторов общественной жизни в России и на Западе (развитие капиталистических отношений, кризис различных систем утопического социализма, усиливающаяся дифференциация демократического движения и развитие самостоятельного рабочего движения). В истолковании идейного содержания наследия Писарева еще иногда дает себя знать недостаточно широкое привлечение всех известных материалов (в частности, до сих пор мало внимания уделялось историческим очеркам Писарева 1864—1866 годов); представление о характерных чертах писаревского мировоззрения, его формирования и развитии иногда опирается на отдельные высказывания критика, выхваченные из общей системы его воззрений.

В заключение своего доклада Ю. С. Сорокин сказал, что важнейшей задачей ближайшего будущего остается детальная и целостная характеристика системы взглядов Писарева на различных этапах его деятельности, убедительная и подкрепленная конкретно-историческим анализом демонстрация как того, что объединяло его с общим направлением революционно-демократической мысли 60-х годов, так и того, что делало его представителем особого направления в развитии этой мысли.

Доклад канд. философ. наук Э. И. Розенберга был посвящен спорным вопросам современного изучения наследия Писарева.

Хотя со дня смерти Писарева прошло 100 лет и литература о нем превалила 400 названий, споры о Писареве, о смысле и значении его творчества не прекращаются до сих пор. Наряду с научно выверенными представлениями о великом публицисте до сих пор продолжают распространяться и неправильные взгляды, бытующие в силу литературной традиции и слабой осведомленности о «подлинном Писареве». Последнее не может не вы-

зывать беспокойства, поскольку некоторые реакционные «советологи» за рубежом используют ошибочные концепции для подтверждения своих теоретических построений в области русской культуры.

Как отметил докладчик, произведения Писарева сами дают некоторый повод к разноречивым мнениям о нем. В трудах публициста было немало противоречий. Одни из них являются отражением сложности исторического периода, другие — следствием идейного роста Писарева, его непрестанного поиска, третьи — «увлечений» и «крайностей», характерных для молодого критика. Но при всем этом взглядом Писарева было присуще внутреннее единство, которое может быть раскрыто лишь при правильном подходе к его творчеству.

Творческая деятельность Писарева была чрезвычайно многогранной; он интересовался не только художественной литературой, но и философией, историей, этикой, педагогикой, естествознанием и т. д. Неудивительно, что каждая из этих сторон творчества Писарева привлекает к себе внимание исследователей, каждая дает повод к многочисленным работам. Но, подчеркнул докладчик, при этом нередко из поля зрения некоторых авторов ускользает главное — то, что Писарев был прежде всего публицистом, подчинившим свой труд задачам революционной борьбы. Без этого невозможно постигнуть многое из того, что делал Писарев, без этого остаются непонятными источники его сугубого утилитаризма, «разрушения эстетики» и другие «крайности». При изучении творчества Писарева особенно важен целостный подход, учитывающий всю сложность взглядов критика, их внутреннюю связь и логику.

Все произведения Писарева написаны эзоповским языком, все они имеют подтекст. Чтобы раскрыть его, необходимо заглянуть в архивы, познакомиться с цензурными изъятиями, с мемуарами, из которых видно, как воспринимали произведения Писарева его современники, какой смысл вкладывали они в условные термины. На примерах некоторых недавно появившихся статей докладчик показал, к каким недоразумениям можно прийти при забвении этого условия.

Хотя творчество Писарева охватывает всего 9 лет, но было бы неправильно не видеть его идейной эволюции. Многие противоречия в высказываниях Писарева снимаются, если связать их с переходом от одного этапа его идейного развития к другому, более высокому. В этой связи докладчик подверг критике некоторые из появившихся в последнее время статей о Писареве. Если одни исследователи повторяют давно раскрытые взгляды, приносящие Писарева, то другие, наоборот, проявляют тенденцию к преувели-

чению его значения, игнорируют эволюцию критика. Так, в ряде статей, посвященных сотрудничеству Писарева в журнале «Рассвет», молодой, начинающий литератор изображен как сложившийся во всех отношениях революционный демократ, тогда как имеется множество фактов, говорящих о том, что мировоззрение Писарева продолжало складываться даже тогда, когда он перешел в редакцию «Русского слова».

Как полагает Э. И. Розенберг, многообразные расхождения в оценке взглядов Писарева могут быть в конечном счете сведены к трем наиболее важным моментам.

Одним из них является вопрос об идейных истоках творчества Писарева. В противовес реакционно-либеральной историографии, подчеркивавшей влияние на Писарева зарубежных теорий, в нашей литературе утвердилось совершенно правильное мнение, что идейными учителями критика были великие русские революционные демократы. Однако наряду с этим стала проявляться тенденция к замалчиванию того, что дало Писареву знакомство с европейской общественной мыслью. Между тем не может быть сомнения в том, что на Писарева произвели определенное впечатление труды Бокля, Кэри, Молешотта, Конта, которые при всех свойственных им недостатках в конкретных условиях России 60-х годов имели определенное положительное значение. Этот вопрос представляет особый интерес еще и по той причине, что Писарев, восприняв некоторые идеи этих мыслителей, вместе с тем подверг критике многие из их концепций, он был, в частности, одним из первых в России критиков позитивизма.

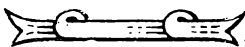
Докладчик высказал мнение, что в литературе последнего времени имеется ряд недостатков в освещении роли Писарева в демократическом движении 60-х годов. Бесспорно, что Писарев был одним из видных представителей революционно-демократического лагеря. Но, правильно подчеркивая общность взглядов Писарева и других революционных демократов, некоторые авторы снимают вопрос о специфике идейной позиции публициста. Существует, однако, множество фактов, свидетельствующих, что взглядам Писарева были присущи такие черты, которые позволяют рассматривать его как представителя особого направления в среде револю-

ционных демократов, отразившего в своеобразной форме новые явления пореформенного развития, в частности перемещение центра тяжести демократического движения в город.

В связи с этим докладчик остановился на последних работах, освещающих известную полемику между «Русским словом» и «Современником». Он полагает, что эту полемику невозможно понять без учета особенностей ситуации, когда волна крестьянского движения спала (хотя революционные возможности крестьянства далеко еще не были исчерпаны), а рабочее движение еще не развернулось с полной силой (хотя оно уже начало давать себя чувствовать и за ним было будущее). С этим связано понимание значения Писарева в развитии русской общественной мысли. По мнению Э. И. Розенберга, бытующее в литературе убеждение, что уровень общественной мысли в России после ссылки Чернышевского понизился, не имеет основания. То обстоятельство, что в своем творчестве Писарев и другие близкие к нему деятели допустили ряд серьезных промахов, не означает, что они в других вопросах не могли сделать шаг вперед. Писарев более глубоко подошел к пониманию исторической роли капитализма, он больше внимания уделил «рабочему вопросу», он не идеализировал крестьянство и сельскую общину, связывая судьбы революции прежде всего с городским рабочим людом и присоединившейся к нему демократической интеллигенцией; в его взглядах проявилась тенденция к индустриализму, а в связи с этим — повышенный интерес к науке и технике, он по-иному подошел к разработке социалистического идеала, в частности — идеала всесторонне развитой личности, он глубже обосновал идею соединения социализма («общечеловеческой солидарности») с литературой и литературной критикой и т. д. Однако эти моменты, характеризующие появление во второй половине 60-х годов новых тенденций в русской общественной жизни, пока еще не нашли глубокого освещения в литературе.

Писарева мы еще не знаем в достаточной степени, его роль еще полностью не оценена, а это наносит урон нашему представлению о развитии русской общественной мысли XIX века — таков вывод, к которому приходит докладчик.

О. П.



ПАМЯТИ УЧЕНОГО

23 августа 1968 года в поселке Токсово под Ленинградом скончался известный советский историк литературы, автор многочисленных работ о Пушкине, Гоголе, Белинском, Герцене, Тургеневе, Чехове и других русских писателях XIX и XX века, один из старейших и авторитетнейших исследователей жизни и творчества Ф. М. Достоевского в русской послеоктябрьской науке, профессор Аркадий Семенович Долинин.

А. С. Долинин (Искоз) родился 17 (29) апреля 1880 года в местечке Монастырчино Мстиславского уезда Смоленской губернии.¹

В 1904 году, подготовившись самостоятельно, А. С. Долинин сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости и поступил на работу в статистическое бюро Смоленского земства. В это время по поручению социал-демократической организации он вел агитацию среди крестьян Гжатского уезда, за что подвергся политическому преследованию. Чтобы избежать ареста, он уехал в Вену, где в 1904—1906 годах слушал лекции по философии и истории литературы в Венском университете. По возвращении на родину в 1907 году А. С. Долинин поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1912 году. В университете он был активным участником пушкинского семинария профессора С. А. Венгерова, который обратил внимание на склонность своего ученика к научной работе и привлек его — в то время еще студента — к участию в подготовке выходившего под редакцией самого Венгерова собрания сочинений А. С. Пушкина (в серии «Библиотека великих писателей» издательства Брокгауз—Ефрон).

Литературная деятельность А. С. Долинина началась в 1905 году.² В 1906—1914 годах он выступает на страницах ряда газет и журналов с рецензиями на научные труды по истории литературы и критическими статьями о современной литературе. В 1910 году в IV томе собрания сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова появляются статьи А. С. Долинина о «Повестях Белкина» и «Истории села Горюхина» — один из первых опытов историко-литературного анализа и оценки пушкинской прозы. В эти же годы была опубликована первая работа А. С. Долинина о Достоевском — писателе, изучение которого стало главным делом его жизни (Новое о Ф. М. Достоевском, «Русская мысль», 1913, № 2, отд. II, стр. 12—16).

С 1915-го по 1917 год Долинин находился в действующей армии (в саперных частях) на Рижском фронте. После Великой Октябрьской социалистической революции он вернулся в Петроград и был привлечен С. А. Венгеровым к работе в Книжной палате, которая командировала его в 1918 году в Архангельск для сбора старообрядческих рукописей; здесь А. С. Долинин начал работу в высшей школе. До середины 1920 года он читал лекции в Архангельском педагогическом институте.

После возвращения в Петроград А. С. Долинин (до 1935 года) вел преподавательскую работу на кафедре языка и литературы Военно-политической школы им. Ф. Энгельса. Параллельно он читал лекционные курсы и вел семинарии в Педагогическом институте им. А. И. Герцена, Библиотечном институте им. Н. К. Крупской, занимался научно-исследовательской работой в Ленинградском отделении Коммунистической академии (1930—1933). В 1934 году А. С. Долинин был приглашен руководить специальным семинарием по творчеству Достоевского на филологическом факультете Ленинградского государственного университета и вел его в течение ряда лет. Многие советские исследователи Достоевского были участ-

¹ В «Краткой литературной энциклопедии» и других биографических источниках ошибочно указан 1883 год.

² Библиографию работ А. С. Долинина см.: И. Т. Трофимов. Писатели Смоленщины. Био-библиографический справочник. Смоленск, 1959, стр. 227—228; Очерки по истории русской литературы. Л., 1966, стр. 372—373 («Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 309).

никами этого семинария, так же как многие исследователи творчества Герцена начали свой путь в герценовских семинариях ученого.

Преподавательская работа А. С. Долинина в университете продолжалась с перерывами до 1955 года.

В 1930-е годы А. С. Долинин возглавил работу по изучению Достоевского и в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Много сил А. С. Долинин отдал делу подготовки учителей. С 1936 года по 1957-й он преподавал в Педагогическом институте им. М. Н. Покровского, а затем в Институте им. Герцена (до ухода на пенсию в 1962 году).

Исследования А. С. Долинина относятся ко всем основным областям истории русской литературы XIX века. Кроме работ о Пушкине,³ особенно большое значение имеют его труды о Тургеневе, Герцене и Чехове.⁴ Но, как уже отмечалось, главным в творчестве А. С. Долинина были исследования о Ф. М. Достоевском, писателе, которого он горячо любил и которому посвятил более 50 лет напряженного труда. А. С. Долинин вместе с Л. П. Гроссманом и В. Л. Комаровичем явился одним из создателей советской науки о Достоевском, основанной на тщательном критическом анализе его рукописного наследства, биографических и мемуарных источников. В 1920-е годы под редакцией А. С. Долинина вышли сборники «Достоевский. Статьи и материалы» (т. 1, 1922; т. 2, 1924), в которых редактору удалось объединить почти всех литературоведов, занятых изучением Достоевского, и поставить перед ними задачу широкого комплексного исследования жизни и творчества писателя. Кроме ценных статей, в которых были впервые поставлены многие основные проблемы мировоззрения и художественного метода Достоевского, в этих сборниках Долининым были опубликованы неизвестные ранее черновые материалы к «Кроткой» и «Бесам», исключенные цензурой страницы из «Записок из Мертвого Дома» и т. д. В 1928 году вышли со вступительной статьей и комментариями А. С. Долинина воспоминания А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским»; в 1935 году — черновые редакции и варианты к «Братьям Карамазовым».⁵ Но самым важным трудом ученого явилось вышедшее в 1928—1959 годах четырехтомное издание писем Достоевского, получившее мировую известность и переведенное на ряд иностранных языков. Это издание — результат многолетнего кропотливого труда — стало настольной книгой каждого изучающего жизнь и творчество писателя. В комментариях к нему редактором критически изложен огромный фактический материал, собранный на протяжении целой жизни, без обращения к которому в наше время невозможна научная работа над Достоевским.

В 1947 году вышла в свет работа Долинина «В творческой лаборатории Достоевского (история создания романа «Подросток»)». Она наряду с другими исследованиями о проблемах мировоззрения, поэтики и стиля Достоевского была переиздана в 1963 году.⁶ В 1964 году издательством «Художественная литература» выпущен составленный А. С. Долининым двухтомный сборник мемуаров о Достоевском.⁷

А. С. Долинин был одним из редакторов десяти томного собрания сочинений Достоевского, выпущенного Гослитиздатом в 1956—1958 годах. Он принимал участие также в подготовке академического издания Полного собрания сочинений

³ Кроме перечисленных выше, см. также: «Цыганы» А. С. Пушкина. В кн.: Пушкинист. Историко-литературный сборник, т. I. Под ред. проф. С. А. Венгерова. СПб., 1914, стр. 18—44; Пушкин и Гоголь. (К вопросу об их личных отношениях). В кн.: Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова (Пушкинист, IV). ГИЗ, М.—Пг., 1922, стр. 181—197; Русские писатели XIX века о Пушкине. Ред. текстов и предисл. А. С. Долинина. Гослитиздат, 1938; и др.

⁴ См.: Тургенев и Чехов (параллельный анализ «Свидания» Тургенева и «Егеря» Чехова). В кн.: Творческий путь Тургенева. Изд. «Сеятель», Пг., 1923, стр. 277—318; А. П. Чехов. Затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. Под ред. М. Д. Беляева и А. С. Долинина. Изд. «Атеней», Л., 1925; Герцен и Белинский (к вопросу о философских основах критического реализма сороковых годов). «Ученые записки Ленинградского педагогического института», факультет языка и литературы, 1954, т. IX, вып. III, стр. 39—76; О книге В. А. Путинцева «Герцен-писатель». «Ученые записки Ленинградского педагогического института», факультет языка и литературы, 1954, т. IX, вып. III, стр. 305—323.

⁵ Братья Карамазовы. Ред., вступ. статья и комментарии А. С. Долинина. В кн.: Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Изд. АН СССР, Л., 1935, стр. 9—393.

⁶ См.: А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». «Советский писатель», М.—Л., 1963.

⁷ Достоевский в воспоминаниях современников. Изд. «Художественная литература», М., 1964.

писателя, осуществляемого Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, в качестве одного из редакторов второго тома этого издания. В 1965 году «Литературным наследством» были изданы подготовленные к печати А. С. Долининым с его комментарием творческие рукописи «Подростка» («Литературное наследство», т. 77, 1965, стр. 57—507).

А. С. Долинин был человеком исключительной научной увлеченности и честности. Его лекции и семинарии имели большое воспитательное значение для молодежи. На протяжении всей жизни Долинина отличали удивительное бескорыстие, искренность, доброта и отзывчивость, неутомимость в постоянном научном труде. Светлый облик этого прекрасного человека и выдающегося деятеля советской науки навсегда сохранится в памяти его товарищей и многочисленных учеников.

Г. М. ФРИДЛЕНДЕР



**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 1968 ГОДУ**

№ Стр.

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

Альми И. Л. Метод и стиль лирики Е. А. Баратынского	1	96
Андреев Ю. А. Революционный гуманизм и старая демократия (заметки о некоторых общественно-литературных дискуссиях первых лет Октября)	2	36
Бобров С. П. Русский тонический стих с ритмом неопределенной четности и варьирующей силлабикой (опыт сравнительного описания русского вольного стиха)	2	61
Бушмин А. С. Об аналитическом рассмотрении художественного произведения	3	3
Бялый Г. А. О психологической манере Тургенева (Тургенев и Достоевский)	4	34
Голованова Т. П. Тургенев и советская литература	4	20
Домановский Л. В. Вопросы народознания в советской фольклористике и этнографии начала 20-х годов	1	81
Евнин Ф. И. Мышкин и другие (к столетию романа «Идиот»)	3	37
Жовтис А. Л. В рассыпанном строю... (Графика современного русского стиха)	1	123
Зимина С. С. Архив великого писателя	2	3
Из архива А. М. Горького.		
М. Горький о Л. Н. Толстом (публикация В. С. Барахова)	2	13
М. Горький о Ф. Достоевском (публикация С. И. Доморацкой)	2	17
Иоффе Ф. М. Заметки М. Горького о творчестве Н. С. Лескова	2	22
Ковалев В. А. Пути изучения истории русской советской литературы	1	73
Муратова К. Д. Горьковедение 1960-х годов	1	6
Муратова К. Д. К спорам о русском характере в канун пролетарской революции	3	52
Прийма Ф. Я. Великий художник русского слова	4	3
Прийма Ф. Я. Черты поэтического стиля Некрасова	3	15
Рыленков Н. И. Мой Горький	1	3
Семенов Е. И. Об идейно-эстетических противоречиях романа Ф. М. Достоевского «Подросток»	2	45
Смирнова А. Н. О теме народа в прозе первых лет революции (1917—1921)	4	51
Стенник Ю. В. О роли национальных поэтических традиций XVIII века в поэме Пушкина «Руслан и Людмила»	1	107
Трифонов Н. А. Соратники (Луначарский и Горький после Октября)	1	23
Фридлендер Г. М. К. Маркс и судьбы буржуазной литературы XIX—XX веков	1	62
Чеботарева В. Г. Народно-поэтические мотивы в романе «Русский лес» Лурье Я. С.	3	66
Шишкина А. Н. О концепции характера в творчестве М. Горького до октябрьского периода	1	49

ПОЛЕМИКА

Алексеев М. П. Еще раз о стихотворении Пушкина «Роза»	3	91
Бирюков Ф. Г. «Тихий Дон» и его критики	2	88
Бритиков А. Ф. Старое и новое в трактовке трагедии Григория Мелехова	4	131
Викери Уолтер (США). К вопросу о замысле «Розы» Пушкина	3	82
Лихачев Д. С. Национальное единообразие и национальное разнообразие	1	135
Лурье Я. С. Еще раз о Дракуле и макиавеллизме	1	142
Морозов А. А. Проблема значительно сложнее	4	148

	№	Стр.
ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ		
Бушканец Е. Г. Об ошибочной атрибуции стихотворения «Смело, друзья, не теряйте...»	2	111
Гишпиус Е. В., Шириева П. Г. Об авторе русского текста «Красного знамени» (по поводу заметки В. Е. Гусева «Кто же был автором „Красного знамени“?»)	2	115
Гусев В. Е. Еще раз об авторе «Красного знамени»	4	162
Заборова Р. Б. Изучая рукописи Есенина	4	153
ПУБЛИКАЦИЯ И СООБЩЕНИЯ		
Александров А. А. О стихотворной повести 30-х годов	3	142
Альтшуллер А. Я. Чехов и Александринский театр его времени	3	164
Афанасьев В. Н. И. А. Бунин и русское декадентство 90-х годов (в порядке постановки вопроса)	3	175
Бабкин Д. С. Русская потаенная социальная утопия XVIII века	4	92
Базанов В. Г. «Капитал» Карла Маркса в годы «хождения в народ» в России (1872—1875)	3	116
Бельская Л. Л. Роль А. Блока в становлении поэтики раннего Есенина	4	120
Бройтман С. Н. К вопросу о центральной проблеме книги В. Луговского «Середина века»	2	138
Воробьев В. Ф. К публикации письма В. И. Ленина А. М. Горькому от 15 сентября 1919 года	2	134
Гин М. М. Неизвестное письмо Н. К. Михайловского о М. Горьком	3	158
Горбанев Н. А. Плеханов и реакционная беллетристика 80—90-х годов	1	159
Грибушин И. И. Заметки о Дмитрие Веневитинове	1	192
Иезуитов А. Н. Книга, дающая заряд на всю жизнь (В. И. Ленин и роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»)	1	147
Капелюш Б. Н. Письмо Некрасова к Полонскому	2	176
Ковалев И. Ф., Захаров С. В. Документальные материалы о Л. Н. Толстом (обзор материалов, хранящихся в Центральном государственном историческом архиве СССР)	2	162
Конспект Карла Маркса книги Ф. Бутервека «История итальянской поэзии и красноречия» (публикация Г. М. Фридлендера)	2	125
Кузминская Т. А. об А. А. Фете (публикация Н. П. Пузина)	2	170
Лебедев В. К. Книгоиздательство «Посредник» и цензура (1885—1889)	2	163
Ленина Л. И. Огарев и Лермонтов	2	180
Литвин Э. С. Эволюция исторической прозы Брюсова (роман «Алтарь Победы»)	2	154
Малышев В. И. Новые поступления в собрание древнерусских рукописей Пушкинского дома	2	201
Малышев В. И. Об изучении наследия протопопа Аввакума	4	89
Мартинович Нико С. (<i>Югославия</i>). Передовые писатели Черногории и Советская Россия	2	145
Мартынов И. Ф. «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова и литературная полемика 60—70-х годов XVIII века	3	184
Мирсалимова Т. А. О творчестве Александра Аросева	3	151
Назарова Л. Н. Тургенев в полном издании (к завершению академического собрания сочинений и писем И. С. Тургенева)	3	131
Неизвестное письмо А. А. Фадеева (публикация Л. А. Заманского)	1	158
Окунов Б. Г. Тургенев и литературный сборник «Отклик»	1	183
Ольховский Е. Р. История одного несостоявшегося псевдонима	3	160
Орлов П. А. Повесть Н. М. Карамзина «Марфа Посадница»	2	192
Пищулин Ю. П. М. Е. Салтыков-Щедрин и «Священная дружина» (по новым материалам)	1	176
Полотай А. М. Новый список стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»	1	188
Порочкина И. М. Воспоминания М. Горького о Л. Толстом в откликах славянской печати	4	116
Рошаль А. А. М. Горький и А. Ф. Писемский	3	155
Руденко Ю. К. К вопросу о юношеских дневниках Н. Г. Чернышевского как литературном произведении	4	107
Смирнова А. Д. Пометы М. Горького на книгах И. С. Тургенева	4	65
Статья С. Г. Скитальца о Тургеневе (публикация В. А. Громова)	4	73
Удалов В. Л. Новое о Мамине-Сибиряке—драматурге (письма писателя в редакцию журнала «Артист»)	1	170
Фирсов Г. Г. Тургеневская общественная библиотека в Париже	4	80
Харден Эвелин (<i>США</i>). Два письма А. С. Грибоедова	3	182

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

	№	Стр.
Афанасьев В. Н. И. А. Бунин и Н. Н. Ляшко	1	206
Гурьянов В. П. Когда В. В. Капнист познакомился с «Путешествием» Радищева?	1	202
Есин Б. И. Расправа за память о Добролюбова	2	210
Куприяновский П. В. Нельзя ли без ошибок?	2	207
Макеев А. Ф. Г. Н. Потанин-писатель и Г. Н. Потанин-путешественник	3	197
Могиланский А. П. Незвестный автор «Современника»	1	203
Привалова М. И. От Курочкина или от Щедрина? (Об истоках одного сатирического приема)	3	195
Смирнский В. В. Встреча с М. Горьким	2	205
Стадников Г. В. К вопросу об одной «неточности» в рецензии Н. А. Добролюбова «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова»	3	192
Шахов В. В. Об одной книге М. А. Воронова, П. И. Вейнберга и Н. А. Степанова	1	204
Шерстюк И. А. Забытый экспромт Маяковского?	2	206

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Базанов В. В. Новые библиографические материалы о С. А. Есенине	4	199
Баскаков В. Н., Кийко Е. И. Монография польского ученого о Тургене-неве (A. Semczuk. Iwan Turgieniew i ruch literacki w Rosji w latach 1834—1855. Wrocław—Warszawa—Kraków, Wydawnictwo PAN, 1968, 190 str. (Komitet słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk)	4	221
Березина В. Г. Успешное завершение многолетнего труда (В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842—1848. Изд. «Наука». 1967, 526 стр.)	2	231
Вильчинский В. П. Книга об истории «Подпольной России» (Е. Таратута. «Подпольная Россия». Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского. Изд. «Книга», М., 1967, 272 стр.)	3	225
Вомперский В. П. Стилистика художественной речи и аспекты ее изучения (Р. Р. Гельгардт. Избранные статьи. Языкознание. Фольклористика. Вступительная статья и редакция члена-корреспондента Академии наук СССР С. Г. Бархударова. Калинин, 1966, 534 стр.)	1	225
Григорьев А. Л. Русский модернизм в зарубежном литературоведении	3	199
Грознова Н. А. Новое исследование о Леонове (Milosav Babović. «Lorov» Leonida Leonova. In: Sabrana dela Leonida Leonova. «Kultura». Beograd, 1967, I—XII. Preveli s ruskog: M. Jovanović, M. Carcarasević, N. Nikolajević, M. Babović, S. Matić, P. Mitropan, S. Jaksić, T. Kasiković, D. Lazović, B. Cović, R. Zogović, R. Lalić, M. Nolić	4	207
Деркач С. С. Поэзия первых русских социалистов (Поэты-петрашевцы. «Библиотека поэта», малая серия. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. В. Жданова. «Советский писатель», М.—Л., 1966, 391 стр.)	1	221
Ершов Л. Ф. Польская исследовательница о драматургии Леонида Леон-ова (Janina Salajczyk. Teatr Leonida Leonova (wybrane zagadnienia). Wyd. Polskiej Akademii Nauk. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1967, 138 str.)	3	223
Жук А. А., Прозоров В. В. Парадокс о сатире (А. Бочарова. Салтыков-Щедрин. Полемиический аспект сатиры. Под редакцией Я. Е. Эльсберга. Саратов—Пенза, 1967, 202 стр.)	4	195
Журавлев И. К. Творчество М. Горького в оценке социалистической критики США (1901—1917 годы)	2	212
Крутикова Л. В. Прочитан ли Бунин? (В. А. Афанасьев. И. А. Бунин. Очерк творчества. Изд. «Просвещение», М., 1966, 384 стр.; О. Н. Михайлов. Иван Алексеевич Бунин. Очерк творчества. Изд. «Наука», М., 1967, 175 стр.; А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). Изд. «Художественная литература», М., 1967, 332 стр.)	4	182
Мануйлов В. А. Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны («Литературное наследство», т. 78 (I, II), 1966)	1	212
Михайлов М. С. Горький в Турции	1	207
Осмоловский В. Ф. Восприятие Салтыкова-Щедрина на Украине в XIX веке	2	218

	№	Стр.
Павловский А. И. Книга о литературной Сибири первых лет революции (В. Трушкин. Литературная Сибирь первых лет революции. Восточно-Сибирское книжное издательство, [Иркутск], 1967, 312 стр.)	4	203
Рев Мария (Венгрия). Салтыков-Щедрин в венгерской прессе и литературной критике (1859—1945)	3	215
Ровда К. И. М. Горький у болгар	4	210
Фомичев С. А. Новое издание произведений А. С. Грибоедова (А. С. Грибоедов. Сочинения в стихах. Вступительная статья, подготовка текста и примечания И. Н. Медведевой. Библиотека поэта, большая серия. «Советский писатель», Ленинградское отделение, 1967)	3	221
Холодович Л. А. Японский критик о романе И. С. Тургенева «Новь» (Ю. Канэко. «Сёдзёти» рон. Хотопубаси дайгаку кэнкё нэмпо; сякайгаку кэнкё, 1967, № 2, стр. 145—224)	4	192
Шошин В. А. Полезный труд (Literaturen der Völker der Sovjetunion. УЕВ Bibliographisches Institut, Leipzig, 1967, 439 S.)	1	219
Шошин В. А. Сердцем друга (Очерки истории русской литературы Узбекистана. Изд. ФАН Узбекской ССР, Ташкент, 1967, 327 стр.)	4	174
Яхина Г. А. Исследовательская статика вместо историзма (Н. М. Элиаш. Русские свадебные песни (историко-этнографический анализ тематики, образов, поэтики жанра). Орел, 1966, 80 стр.)	2	228
Х Р О Н И К А	1	254
	2	242
	3	235
	4	224
Желтова Н. И. Василий Алексеевич Десницкий (к 90-летию со дня рождения)	1	246
Пиксанов Н. К. Гражданская патетика раннего Горького в юношеском восприятии (из моих студенческих воспоминаний)	3	232
Ревякин А. И. Николай Кирьякович Пиксанов (к 90-летию со дня рождения)	1	234
Травушкин Н. С. Революционные кружки молодежи и пропагандистская литература в Юрьеве в начале 900-х годов (из студенческих лет Н. К. Пиксанова)	1	230
Фридлендер Г. М. Памяти ученого	4	232
Шифман А. И. Памяти Николая Николаевича Гусева	1	252



Технический редактор М. Н. Кондратьева
Корректоры Р. Г. Гершинская, А. И. Кац и Г. А. Мошкина

Сдано в набор 13/IX 1968 г. Подписано к печати 12/XII 1968 г. М-50074. Бум. л. 7,5.
Бумага 70 × 108¹/₁₆. Печ. л. 15—21 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,50. Тираж. 10065. Зак. 1309.

1-я тип. издательства «Наука», Ленинград, В-34, 9 лин., д. 12

НОВЫЕ КНИГИ

- К. Н. Батюшков, Ф. Д. Батюшков, А. И. Куприн.** Материалы Всеросс. научн. конференции в Устюжне о жизни и творчестве Батюшковых и А. Куприна (28—29 сент. 1966 г.). [Ред. В. В. Гура]. Вологда, 1968, 176 с. (Вологодский пед. инст., Нар. музей Батюшковых—Куприна).
- Будагов Р. А.** Литературные языки и языковые стили. Изд. «Высшая школа», М., 1967, 376 с. (Б-ка филолога).
- Гачев Г. Д.** Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. Изд. «Просвещение», М., 1968, 303 с.
- Губарев И. М.** «Петербургские повести» Гоголя. Книжное изд., Ростов н/Д, 1968, 157 с. (Таганрогский пед. инст.).
- Еремин И. П.** Лекции по древней русской литературе. Изд. Ленингр. унив., Л., 1968, 208 с. (Ленингр. унив.).
- Западов А. Новиков.** Изд. «Молодая гвардия», М., 1968, 192 с. (Жизнь замечат. людей).
- Зельдович М. Г.** Чернышевский и проблемы критики. Изд. Харьковского унив., Харьков, 1968, 224 с.
- Маевская Т. П.** Слово и подвиг. Жизнь и творчество С. М. Степняка-Кравчинского. Изд. «Наукова думка», Киев, 1968, 227 с.
- От Пушкина до Блока.** Сборник статей. [Отв. ред. С. М. Тарасенков]. Краснодар, 1968, 296 с. (Научн. труды Краснодарского пед. инст., вып. 60).
- Петрушков В. К. М. Станюкович и театральная критика. — Этюды об артистах. — Драматургия.** Изд. «Ирфон», Душанбе, 1908, 238 с. (Таджикский унив. им. В. И. Ленина).
- Поляков М.** Позиция критической мысли. О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории. Изд. «Советский писатель», М., 1968, 342 с.
- Пушкинский сборник.** [Доклады II и III пушкинских межвузовских научн. конференций. Ред. коллегия: Е. Маймин (отв. ред.) и др.]. Псков, 1968, 205 с. (Псковский пед. инст.).
- Рубцов А. Б. Драматургия А. Блока.** Под ред. Ф. И. Кулешова. Изд. «Высшая школа», Минск, 1968, 135 с.
- Славянские литературы. VI международный съезд славистов. (Прага, авг. 1968).** Изд. «Наука», М., 1968, 647 с. (АН СССР, Советский комитет славистов).
- Славянские литературные связи.** [Сборник статей. Отв. ред. М. П. Алексеев]. Изд. «Наука», Л., 1968, 285 с. (Инст. русской лит-ры).
- Тихомиров М. Н.** Русская культура X—XVIII веков. Изд. «Наука», М., 1968, 447 с. (АН СССР, Отд. истории, Археогр. комиссия, Архив АН СССР).
- Труды по русской и славянской филологии, [т.] 11.** [Отв. ред. Б. Ф. Егоров]. Тарту, 1968, 366 с. (Ученые записки Тартуского унив., вып. 209).
- Тургеневский сборник, вып. 4** [Ред. Н. В. Измайлов и Л. Н. Назарова]. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. [Ред. коллегия: М. П. Алексеев (главн. ред.) и др.]. Изд. «Наука», Л., 1968, 429 с. (Инст. русской лит-ры).
- Холодов Е. А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества.** Верхне-Волжское кн. изд., Ярославль, 1968, 228 с.
- Чудинов В. Н.** О специфике детской литературы. (Из наследства революционных демократов). Маркнигоиздат, Йошкар-Ола, 1968, 36 с.
- Владимирцев В. П.** Народно-поэтические основы «Песни о Буревестнике». Таткнигоиздат, Казань, 1968, 86 с.
- Вопросы истории и теории литературы.** [Сборник статей], вып. 3. Советская литература. [Отв. ред. В. П. Раков]. Челябинск, 1968, 133 с. (Челябинский пед. инст.).
- Воробьев В. Ф. А. М. Горький о социалистическом реализме.** Изд. Киевского унив., Киев, 1968, 278 с.
- Воронин С.** Думы о жизни. Изд. «Советская Россия», М., 1968, 63 с. (Писатели о творчестве).
- М. Горький и марийская литература.** [Сборник]. Маркнигоиздат, Йошкар-Ола, 1968, 68 с.
- Горький и Якутия. Сочинения, письма, воспоминания.** Якуткнигоиздат, Якутск, 1968, 184 с.
- Максиму Горькому. Н. Андриевский, Е. Бандуренко, И. Бескромный и др.** [Сборник статей, посвящ. 100-летию со дня рождения. Отв. ред. В. Г. Шляховой]. Изд. «Маяк», Одесса, 1968, 192 с.
- Гринберг И.** Пути советской поэзии. Изд. «Художественная литература», М., 1968, 384 с.
- Денисова И. М. Луконин. Преодоление.** Изд. «Советская Россия», М., 1968, 78 с. (Писатели Советской России).
- Дмитровский М.** Оружием смеха. [О советском фельетоне]. Изд. «Казахстан», Алма-Ата, 1968, 144 с.

- Дымшиц А. Звенья памяти. Портреты и зарисовки. Изд. «Советский писатель», М., 1968, 427 с.
- Есенина А. Родное и близкое. Воспоминания [о С. А. Есенине]. Изд. «Советская Россия», М., 1968, 85 с.
- Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и исследования. [Предисл. П. Топера]. Изд. «Советский писатель», М., 1968, 562 с.
- Кузьмичев И. Вадим Шефнер. Очерк творчества. Изд. «Советский писатель», Л., 1968, 203 с.
- Мазепа Н. Р. Поэзия мысли. [О соврем. философской лирике]. Изд. «Наукова думка», Киев, 1968, 122 с. (АН УССР, Инст. лит-ры им. Т. Г. Шевченко).
- Македонов А. Николай Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы. [Изд. «Советский писатель», Л.], 1968, 362 с.
- Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний [о М. Волошине, М. Цветаевой, О. Мандельштаме, В. Маяковском, М. Булгакове, Ю. Олефе, А. Коллонтай, К. Паустовском, С. Маршаке и др.]. Изд. «Советский писатель», М., 1968, 490, [5] с.
- Объединенный пленум правлений творческих союзов и организаций СССР и РСФСР. Москва, 1967. Всегда с партией, всегда с народом. [Стенограмма объединенного юбилейного пленума...]. Изд. «Литературной газеты», М., 1968, 136 с.
- Осетров Е. Познание России. Литературоведческие, искусствоведческие и книговедческие очерки. Изд. «Московский рабочий», М., 1968, 311 с.
- Панков В. М. Горький и советская действительность. Изд. «Московский рабочий», М., 1968, 350 с.
- Проблемы взаимосвязи и взаимообогащения литературы и искусства народов СССР. [Сборник статей. Ред. коллегия: М. Н. Пархоменко (отв. ред.) и др.]. Изд. «Мысль», М., 1968, 287 с. (Акад. обществ. наук при ЦК КПСС).
- Проблемы жанров в журналистике. [Сборник статей. Отв. ред. А. Я. Гребенщиков]. Изд. Ленингр. ун-в, Л., 1968, 111 с. (Лен. гос. ун-в.).
- Пути к художественной правде. Статьи о современной советской прозе. Изд. «Советский писатель», Л., 1968, 415 с.
- Раков В. П. Маяковский и советская поэзия 20-х годов. Южно-Уральское кн. изд., Челябинск, 1968, 439 с. (Челябинский пед. инст.).
- Русская революция и вопросы развития литературы. [Сборник статей. Отв. ред. С. И. Андреева]. Л., 1968, 266 с. (Уч. зап. Ленинградского пед. инст. им. А. И. Герцена).
- Сарнов Б. С. Маршак. (Очерк поэзии). Изд. «Художественная литература», М., 1968, 191 с.
- Советская литература — зеркало социального прогресса. [Сборник статей. Отв. ред. В. С. Ващенко]. Днепропетровск, 1967, 169 с. (Днепропетровский ун-в.).
- Соловьева Л. А. Использование фольклора в романах сибирских писателей о гражданской войне. Бурятское книжное изд., Улан-Удэ, 1968, 55 с. (АН, Сиб. отделение, Бурятский филиал, Бурятский инст. обществ. наук).
- Теория стиха. [Сборник статей. Отв. ред. В. Е. Холшевников]. Изд. «Наука», Л., 1968, 316 с. (Инст. русской лит-ры).
- Ульрих Л. Творчество Ф. Гладкова. Изд. «Фан», Ташкент, 1968, 251 с. (М-во высшего и среднего спец. образования УзССР, Респ. пед. инст. русского яз. и лит-ры).
- Финк В. Литературные воспоминания. Изд. «Художественная литература», М., 1968, 296 с.
- Фольклор и художественная самодеятельность. [Сборник статей. Отв. ред. Н. В. Новиков]. Изд. «Наука», Л., 1968, 232 с. (Инст. русской лит-ры).
- Фоняков И. Сказать несказанное. Заметки о поэзии. Западно-Сибирское кн. изд., Новосибирск, 1968, 95 с.
- Фрадкина С. Я. Творчество К. Симонова. Изд. «Наука», М., 1968, 207 с.
- Хазин М. Г. Трудники слова. Статьи и заметки. Изд. «Карта молдовеняскэ», Кишинев, 1968, 194 с.
- Эстетический идеал и проблема художественного многообразия. [Сборник статей. Ред. коллегия: В. В. Новиков (отв. ред.) и др.]. Изд. «Мысль», М., 1968, 359 с. (Акад. обществ. наук при ЦК КПСС).
- Желтова Н. И., Колесникова М. И. Творческая история произведений русских и советских писателей. Библиографический указатель. Ред. и предисл. Н. К. Пясанова. Изд. «Книга», М., 1968, 111 с.
- Ливанова Т., сост. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века, вып. 4, ч. 2. 1851—1860. Изд. «Советский композитор», М., 1968, 339 с.
- Русские советские писатели-прозаики, т. 5. Библиографический указатель. Изд. «Книга», М., 1968, 623 с. (Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).